ISSN 0012-6756

Дружба народов

11/2021

Дружба на вырост

В номере:

По традиции ноябрьский номер — «Дружба на вырост».

«Только детские книги читать…»

В 2015 году мы впервые предложили своим авторам — писателям из России и «ближнего» и «дальнего» зарубежья — вспомнить КНИГУ своего детства и рассказать о том, что любят (и любят ли) читать их дети и внуки. В этом номере — новые писатели разных поколений и новые книги: «Три мушкетёра» и «Повести Белкина», «Пеппи Длинныйчулок» и «Динка», «Республика ШКИД» и «Легенды и мифы Древней Греции», «Винни Пух» и истории про Муми-троллей, «Приключения Бибигона» и «Робинзон Крузо», «Непоседа, Мякиш и Нетак» и «Легенда об Уленшпигеле»… За семь лет в нашей копилке собралось 125 историй книжной любви.

Дети индиго — кто они?

«Считающий ворон», «понимающий дельфинов», «видящая ауру», «слепые и безгласные, утопающие в информационном поле»… Герои романа Сюзанны КУЛЕШОВОЙ «Игры индиго» — они кто? Несчастные непонимаемые родителями дети — или дети с особыми способностями, непонятным и, может быть, ненужным даром? «Костя может увидеть то, что очень хочет. Кроме мамы, кроме бабушки, кроме сестры, кроме реального мира. Но кто определил, какой мир реальный?» Порознь — им трудно. А собранные вместе — они готовы сбежать. Из нашего мира в мир собственных иллюзий.

«Если воздух соткан из чудес»

Не каждый поэт, даже чистый лирик, даже женщина-поэт, поэтесса или поэтка, могут писать детские стихи или писать для детей. Наши замечательные авторы с этой задачей справились.
Стихи Эгвины ФЕТ «Сом в летнюю ночь» — про необыкновенного Сома: «Не всякий сом гуляет псом/ на поводке ума,/ из неучёного сома/ до знаний приставуч/ стал сом, совсем как/ этот как, ну как его зовут».
Страшную сказку «Богатыри» про Алёшу Поповича и Илью Муромца по-новому рассказал Роман РУБАНОВ.
Стихи-раздумья Ольги ЗЛОТНИКОВОЙ — о доме и детстве, когда «тоскуешь не по времени даже,/ не по плоти — по общей утробе/ света в каждом счастливом слове,/ по его воробьиной храбрости,/ детской нежности…»
А Ганна ШЕВЧЕНКО честно призналась: «Я верю в сказки, в дедушку Мороза,/ в добро, в машину времени, в любовь».

Достоевский 200+

«Несмотря на то, что многие восхищаются творчеством Достоевского, я считаю его сложным и немного несовременным».
«Достоевский заставил меня задуматься над вопросом: если убийство является самым страшным грехом, то все участники боевых действий, отнимавшие жизни других людей, должны гореть в аду?..»
«Самое главное: он предлагает не сваливать все свои неудачи на несовершенный мир…»

В юбилейный год мы предложили нашим постоянным авторам — белгородским школьникам — подумать о том, зачем сегодня русским — и не только — мальчикам и девочкам читать Достоевского.

Дружба народов

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

11'2021

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
http://дружбанародов.com

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Ольга БРЕЙНИНГЕР

Ирина ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария АНУФРИЕВА
Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Ольга БАЛЛА
Дмитрий БИРМАН
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Ольга ЛЕБЕДУШКИНА
Фарид НАГИМ
Илья ОДЕГОВ
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.09.2021.
Подписано в печать 25.10.2021.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 9849. Цена свободная.

16+

СОДЕРЖАНИЕ

«Только детские книги читать...» *В заочном «круглом столе» принимают участие: Вера БОГДАНОВА, Ксения БУКША, Евгений БУНИМОВИЧ, Керен КЛИМОВСКИ, Владимир ЛИДСКИЙ, Ирина МУРАВЬЁВА, Лев ОБОРИН, Алексей ПОЛЯРИНОВ, Андрей РУБАНОВ, Антон СЕКИСОВ, Булат ХАНОВ, Евгений ЧИЖОВ, Дмитрий ШЕВАРОВ* **3**

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Эгвина ФЕТ. Сом в летнюю ночь. *Стихи* **30**

Сюзанна КУЛЕШОВА. Игры индиго. *Роман* **34**

Ольга ЗЛОТНИКОВА. Как детский шарик золотой. *Стихи* **121**

Надя АЛЕКСЕЕВА. Два рассказа **125**

Татьяна МЛЫНЧИК. Ксения Петербургская позвонит. *Рассказ* **143**

Ганна ШЕВЧЕНКО. В кругу такого водевиля. *Стихи* **148**

Максим ГУРЕЕВ. Сова. *Рассказ* **151**

Никита КОНТУКОВ. «Кровь моя, за вас изливаемая». *Рассказ* **161**

Роман РУБАНОВ. Богатыри. *Стихи* **169**

Ирина ГОРОШКО. Рассказы **173**

Дмитрий СИРОТИН. Красный свет детства. *Рассказы* **185**

Ольга МИХАЙЛОВА. Для Бога времени нет! *Стихи* **190**

УРОКИ ОБЖ

Евгений БУНИМОВИЧ. Один день из жизни детского омбудсмена **192**

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Анатолий ЦИРУЛЬНИКОВ. Из тайных архивов русской школы. *История образования в портретах и документах* **201**

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Возможна ли «кровь по совести»?.. *Белгородские школьники читают Достоевского* **234**

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Николай АЛЕКСАНДРОВ. «Жизни спутанные нити» (*С.Беляков. «Парижские мальчики в сталинской Москве»*) **251**

Ольга ГЕРТМАН. Иномосковье, которое всегда с нами (*Н.Беленькая. «Девочки-колдуньи»*) **254**

Мария АНУФРИЕВА. Недетская история игрушек (*«Дизайн детства: Игрушки и материальная культура детства с 1700 года до наших дней»*) **257**

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Огромная, как большой мир (*«Дочки-матери, или Во что играют большие девочки»; Ева Левит. «Мама, ты лучше всех!»*) **262**

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Эй, взрослые! **268**

© «Дружба народов», 2021

«Только детские книги читать...»

В заочном «круглом столе» принимают участие:

Вера БОГДАНОВА, Ксения БУКША, Евгений БУНИМОВИЧ, Керен КЛИМОВСКИ, Владимир ЛИДСКИЙ, Ирина МУРАВЬЁВА, Лев ОБОРИН, Алексей ПОЛЯРИНОВ, Андрей РУБАНОВ, Антон СЕКИСОВ, Булат ХАНОВ, Евгений ЧИЖОВ, Дмитрий ШЕВАРОВ

В 2015 году «ДН» впервые предложила своим авторам — писателям из России и «ближнего» и «дальнего» зарубежья — вспомнить КНИГУ своего детства и рассказать о том, что любят (и любят ли) читать их дети и внуки.

В этом номере — новые писатели и новые книги.

За семь лет в нашей копилке собралось 125 историй о любви.

Вера Богданова, *прозаик (г. Москва)*

«Вот она — взрослая жизнь, полная приключений...»

«Четыре товарища пустились в путь: Атос на лошади, которой он был обязан своей жене, Арамис — любовнице, Портос — прокурорше, а д'Артаньян — своей удаче, лучшей из всех любовниц».

Дюма-отца не принято считать серьезным писателем. Качество страдало от количества: платили ему построчно, поэтому писал он много и даже ввел в «Трёх мушкетёров» персонажа, молчаливого Гримо, который отвечал односложно. Этот ответ тоже считался за строку и потому оплачивался. Дюма упрекали в том, что он вырезает куски из пьес других авторов и вставляет их в свои, что он покупает рукописей на двести пятьдесят франков, чтобы затем перепродать их за десять тысяч. Он написал путеводитель по Египту, хотя ни разу в Египте не был. Он нанимал помощников-соавторов (ходили слухи, что их у него собрался целый штат), был хвастуном и врагом, но все это, по сути, не имело значения. Как писал Андре Моруа в «Трёх Дюма»: «Его обвиняли в том, что он забавен, плодовит и расточителен. Неужели для писателя лучше быть скучным, бесплодным и скаредным?»

Я в свои шесть лет ничего из этого не знала, и мне все нравилось.

Мы с бабушкой были в гостях, и тут по телевизору показали его: советский трехсерийный музыкальный телефильм «Д'Артаньян и три мушкетёра», снятый в 1978 году на Одесской киностудии режиссером Георгием Юнгвальд-Хилькевичем. Тот самый, с потрясающей музыкой Максима Дунаевского, шляпой Михаила Боярского и его тысячей чер-ртей и мерси боку. Посмотреть я успела лишь первую серию. Дома телевизора не было — бабушка считала, что нужно читать книги и учиться, а телевидение отвлекает и от первого, и от второго, поэтому я — разве у меня был выбор? — читала запоем все, что попадалось мне под руку. Просто мне было смертельно скучно.

Вернувшись домой, я отыскала в шкафах подписку Дюма-отца — иллюстрированные и увесистые тома 1978 года, на которые я раньше не обращала внимания. По их желтоватым страницам до сих пор можно определить, когда я садилась есть: прозрачное жирное пятно от упавшего ломтика жареной картошки здесь, следы от пальцев там, загнутый уголок. «Трёх мушкетёров» я проглотила за два дня и тут же принялась за «Двадцать лет спустя». Разумеется, д'Артаньян говорил в моей голове исключительно голосом Михаила Боярского, Атос, Портос и Арамис выглядели как Смехов, Смирнитский и Старыгин, а в конце каждого абзаца я мысленно добавляла «тысяча чер-ртей!».

«Три мушкетёра» сформировали Идеальный Париж моего детства: солнечный, добрый и чистый, сказочно-прекрасный. Опасный, но ровно настолько, чтобы приятно пощекотать нервы. Когда в две тысячи тринадцатом году, на Рождество, я впервые побывала во Франции, мой Идеальный Париж вдруг оказался смесью романтической фантазии Дюма, Львова и Одессы. Настоящий же Париж не имел с этим образом ничего общего. Я все пыталась отыскать знакомые с детства виды, но фантазия не стыковалась с реальностью, не смыкалась с ней ни одним углом: настоящий Париж был холодным, ветреным, сероватым. На его улицах я никак не могла представить кареты и мушкетеров, их вытеснили автомобили и туристы, делающие селфи. С тех пор я не очень его люблю — хотя, может, дело было в том, что в Париж я прилетела почти без денег и питалась запахами из ресторанов.

«Три мушкетёра» — роман-фельетон, образчик нового для начала XIX века жанра: авантюрный роман, который сначала выходил по главам в газетах и лишь затем был издан в виде книги. Главной задачей автора романа-фельетона было привлечь и захватить внимание читателя. В этом Дюма-отцу не было равных. Он работал по 12 часов в сутки, переписывая и дополняя тексты, которые приносили ему нанятые «соавторы», добавлял детали и закручивал интригу, обрывая повествование на самом интересном моменте.

Удачей «Трёх мушкетёров» стал не только увлекательный сюжет, но и обаятельные главные герои. Четыре характера, которые, по мнению того же Моруа, отражают «настоящий французский дух»: храбрый до безрассудства, порывистый гасконец д'Артаньян (так похожий на самого Дюма), меланхоличный и загадочный Атос — аристократ с темным прошлым, элегантный соблазнитель Арамис и силач Портос. Персонажи настолько разные, что иногда непонятно, как их вообще свела судьба, в реальности такая дружба вряд ли возможна. Они живые, полнокровные, смелые, не лишены недостатков: д'Артаньян излишне вспыльчив, Портос любит поесть, у Арамиса связи с замужними дамами, а Атос, судя по всему, довольно депрессивный тип. Так они становятся еще ближе читателю, — не безупречные хирургически-ледяные образы, а такие же, как и мы с вами, обычные люди, к тому же бесстрашные, чистые душой, не способные на подлость и обман. Честь превыше всего. Дружба превыше

всего. Не думая, мушкетеры бросаются в бой, совершают подвиги, куда-то мчатся, чуть что вытаскивают шпаги и бросают эффектные реплики — Дюма мастерски писал диалоги. Герои соприкасаются с реальными историческими личностями и сами становятся частью большой истории, так или иначе влияют на ее ход — мечта о великой судьбе, которую отчасти воплощают современные авторы в фантастических романах о «попаданцах», когда обычный парень вдруг оказывается в теле Сталина/ Наполеона/президента любой страны на выбор.

К слову — об истории: история в исполнении Дюма имеет мало общего с реальными событиями во времена правления Людовика XIII. У Дюма она красочная, выстроенная на контрастах. Добро и зло, плохие герои и хорошие — очень четкое, абсолютно нереалистичное и наивное разделение, которое прекрасно работает в приключенческих романах и идет на ура у молодого читателя. Сколько раз в детстве мы с друзьями играли в мушкетеров (все хотели быть Атосом, Арамисом или Миледи, а Констанция как-то проигрывала на общем фоне), фехтовали на палках, один за всех и все за одного. Вот она — взрослая жизнь, полная приключений, вот она — настоящая дружба, которую не в силах разрушить даже смерть... ну или крик с балкона, что пора домой, сколько же можно, уже темнеет.

«Три мушкетёра» — в первую очередь роман о заре жизни, который и нужно читать на этой самой заре, когда еще веришь в дружбу до гроба, в верность до самоотречения, в любовь на разрыв. За это яркое ощущение настоящей жизни и вкус ненастоящего Парижа Дюма-отцу, великому рассказчику историй, умеющему держать внимание читателя от первой строчки до последней, мое merci beaucoup.

Ксения Букша, прозаик (г. Санкт-Петербург)

«Как будто всё время нечто оставалось за углом…»

А.А.Милн. Винни-Пух и все-все-все. Художники Калиновский и Диодоров.

Я погуглила это издание: при мне у книги уже не было суперобложки. Раньше книгой владели мои дядья и изрядно ее заляпали краской. Одна страница была совершенно залита красным, на другой отпечатался кружок (стояла баночка с водой). В некоторых местах были карандашные рисунки (в точности теми карандашами, которые получил Винни-Пух), например, на форзаце — ирреальный, похожий на пятно, но все же узнаваемый силуэт пионера, отдающего салют. Иллюстрации, как и эти случайные пятна и каракули дядьев, производили на меня (6—7 лет) огромное впечатление. Я имею в виду прежде всего лаконичные картинки, черно-белые с зеленым, например, картинку, на которой Иа-Иа опустил хвост в воду, или ту, где Сова бредет куда-то с травинкой в клюве, или (самая-самая) ворона, сидящая на дереве при наводнении. Были там и подробные цветные картинки, от которых у меня создавалось ощущение застывшего цветного ковра, похожего на загадку, где главное скрыто. (Например, картинка «поехавшего» в результате урагана интерьера в доме Совы.) Вообще эта загадочность мира (Леса) была во всех иллюстрациях, да и в тексте тоже. Как будто все время нечто оставалось за углом — что невозможно рассказать, описать; в этом не было никаких эмоций, и при этом оно (это нечто) было очень

знакомым и составляло, собственно, весь интерес. Оно как будто намекало — как в картинках, так и в длинных диалогах героев. Создавалось ощущение, что внутри книги есть движение, что все там куда-то направляется, на что-то указывает. И сейчас, когда я вижу эти картинки, чувство загадки и невидимого глазу течения меня не отпускает. Нет, это вполне реалистичные детские иллюстрации, и я допускаю, что многие ничего «такого» в них не увидят. В конце концов, то, что я пытаюсь передать, действительно трудно обозначить словами. Но вот в чем штука: похожие ощущения (хотя и не такие сильные, как от текста в сочетании с теми картинками) я испытываю и от самого текста Заходера, да и от оригинала Милна. Возможно, Калиновский и Диодоров тоже были в него погружены — и им удалось создать действительно конгениальный тексту визуальный ряд.

«Винни-Пух» — одна из самых моих любимых детских книг, из тех, которые я не устаю читать вслух. Мне нравится там юмор, характеры, ход мысли, темы. Но больше всего — «это», не знаю что.

Евгений Бунимович, поэт (г. Москва)

Три мушки тёра

Кресло раскладывалось в кровать вдоль бесконечных шкафов родительской библиотеки, и потому читать я учился, упрямо борясь с неминуемым сном, по тем переплетам, что оказывались на уровне полусонных глаз.

Дю-ма — это короткое загадочное слово засело в памяти чуть не первым.

Хотя наверняка было на корешке и имя, определяющее мужской род, куда сильнее оказались очевидные, изначальные законы родного языка, по которым Дюма — это, конечно, она. Дюма книжку написала.

Осиленное по слогам не с первого раза название «Три-муш-ке-тё-ра» преобразовалось в более понятное «Три мушки тёра» и тут же обернулось страшным сном про трех огромных бородатых полотеров, которые зачем-то ожесточенно размазывали по полу дохлых осенних мух и мушек на нашей облезлой дачной веранде в Кратово. Как (признаюсь) и сам я делал от обиды на жизнь в один холодный сентябрьский вечер незадолго от описываемых событий, когда так не хотелось возвращаться в Москву... А надо. И даже сама цифра «три» в том далеком сне обретала неприятно-повелительное наклонение: «Три!»

Десять лет спустя эта моя Дюма стала упоительным сочинителем Александром Дюма, и обнаружить в книге помимо трех мушкетеров заглавия еще и четвертого оказалось куда бо́льшим изумлением, чем позднее в какой-то смелой оттепельной книжке обнаружить Зиновьева, выползающего из хрестоматийного ленинского шалаша. Ибо одинокий вождь в мемориальном шалаше — это была их легенда, хоть и заученная по программе, а вот Дюма — моя.

Моя жизнь, моё взросление, мой выбор.

Моя Дюма, моё Дюма, мой Дюма.

В школе в обязательном порядке, с биографиями и докладами отличников мы изучали совсем других писателей. Да и в семейной библиотеке Дюма-отец был представлен не солидным многотомным собранием с золотыми буквами и непременным портретом в начале первого тома, как положено настоящему классику, а этими самыми «Тремя мушкетёрами», изрядно потрепанными еще старшим братом. Плюс прочие разнокалиберные графы, графини, королевы и всяческие шевалье, включая бесконечного виконта, совсем уж незатейливо изданного в Алма-Ате.

Опешил, уткнувшись однажды на открытой по другому поводу странице «Большой советской энциклопедии» в малоодухотворенную взъерошенную физиономию Дюма-отца. Чистый Портос!

При этом абсолютно уверенный, что он благородный Атос и одновременно изысканный Арамис.

В общем, вылитый Дима Быков, только в затейливом шейном платке.

Что и зачем я искал тогда в энциклопедии, как и многое другое, казавшееся важным, необходимым, бесследно стерлось в памяти, байты которой раз и навсегда сдались без боя отважным королевским мушкетерам и злобным гвардейцам кардинала... Вот уж воистину — заученный не по программе, Дюма-пэр нам не навязан никем.

Даже во Франции, как выяснилось, до сего дня нет академического полного собрания его сочинений.

Что объяснимо при этой его — нет, не безмерности, скорее чрезмерности в мире мер.

Только напечатаешь самое полное собрание Дюма, а тут неровен час еще тысячапервое неизвестное его творение обнаружат.

Кстати, у нас не так давно перевели и издали его новый (!) обнаруженный во Франции роман.

Разумеется, роман про некую Виолетту. Ну не про Асю же Клячину.

К Дюма-отцу мы относимся снисходительно, с высоты прожитых лет. Все — начиная, как известно, с его собственного Дюма-сына. Мы неумолимо взрослеем, года к суровой прозе клонят, блажен, кто вовремя созрел, а он...

Он так и не созрел.

Врун, хвастун, болтун, автор незабвенной развесистой клюквы и моря других незатейливых глупостей и ошибок, на которых так легко его поймать.

В Париже издали «Словарь глупостей».

«Труп был совершенно мертв», — с удовольствием цитируют составители словаря все тех же «Трёх мушкетёров».

Ну и что тут такого, что этот труп оказался *совершенно мертв*?

У классиков, как известно, попадаются и живые трупы.

И даже внезапно оживающие после второго антракта.

А вот этот труп был именно что мертв. Более того — совершенно мертв!

Кстати — о развесистой клюкве и о его книге про Россию.

Ну не Кюстин, не все тут понял, не во всем разобрался, запивая пельмени и расстегаи понятно чем. Зато сколько удивления, радости, приязни...

Между прочим, сам Дюма прощал своим героям куда большее, чем глупости и ошибки. Потому что любил их чрезмерно, взахлеб.

Любил и откровенно восхищался — хроническим алкоголиком Атосом, лицемером Арамисом, вруном и альфонсом Портосом, нахальным провинциальным карьеристом Д'Артаньяном.

И написал о них так, что не полюбить их невозможно.

Хотя какое нам, в сущности, дело до подвесок Анны Австрийской? До сих пор даже не поинтересовался, к чему она их там подвешивала.

Как ни печально осознавать штатным сотрудникам контор духовно-нравственного воспитания молодежи, не по их унылым методичкам, не по их получающих государственные субсидии и награды, вставляемых в обязательные школьные списки поделкам, а совсем по другим книгам и фильмам, вместе с совсем другими героями постигают наши отроки и отроковицы, поколение за поколением, что есть честь и бесчестье, дружба и предательство, любовь и ненависть, жизнь и смерть.

Постигают вместе с упомянутой выше весьма сомнительной четверкой безбашенных проходимцев, с прочими не менее подозрительными с педагогической точки зрения флибустьерами и авантюристами.

Я читал Дюма подряд, взахлеб, несчетное число раз. И «Три мушкетёра», и все что двадцать, а потом и десять лет спустя.

Оказалось, есть такие книги, которые читаешь и тут же перечитываешь, а потом снова.

А зачем? Помню, этот вопрос однокашника озадачил. Действительно, зачем? Сюжет уже известен в мельчайших деталях, точно знаешь, кто кого любил, кто кого убил. Зачем снова читать?

Я читал Дюма подряд, взахлеб, несчетное число раз.

А потом больше никогда не открыл.

Керен Климовски, прозаик, драматург, переводчик (г. Мальме, Швеция)

Муми-вселенная

Мне сложно назвать любимую детскую книгу. Тем более сложно отдать этот титул «Муми-троллям» — ведь там не одна книга, а как минимум семь, и почти все одинаково важны и значимы. Но я с чистым сердцем могу сказать, что Муми-тролли — моя любимая вселенная.

Смутно помню, как книги Туве Янссон появились в нашем доме, в моем еще до-израильском, московском детстве. Кажется, их привезла сестра. А потом, еще до того, как я научилась читать, эти книги то ли читал вслух, то ли пересказывал старший брат. В общем, мне кажется, что эти причудливые, ироничные герои были в моей жизни всегда. И неудивительно, что предметом первой влюбленности стал Снусмумрик: из-за его недоступности, из-за того, что он все время уходил, каждую осень, а Муми-тролль ждал его и тосковал (я очень рано поняла, что ожидание не только усиливает, но и взращивает любовь). И этот муми-мир, пронизанный особым добрым, немного грустным скандинавским юмором, — он тоже был в моей жизни всегда — такая же неотъемлемая часть детства, как лето на даче и спортивная стенка в комнате.

Поэтому, когда в двадцать пять лет я неожиданно влюбилась в одного странствующего артиста и переехала к нему в Швецию, у меня возникло чувство

узнавания. Вот он, этот знакомый по картинкам, описаниям и ощущениям шведский уют, абсолютно лишенный пафоса, прекрасный и манящий в своей доступности: вазочки с вареньем, булочки и кофе в термосе, и пикники на берегу, и грот, и лежание в гамаке, и буфет Муми-мамы, и купальня Туу-Тикки...

А еще несколько лет спустя, впервые читая эти книги вслух пятилетнему сыну, я заново прочувствовала их, прожила, и еще на шаг приблизилась к пониманию ментальности страны, где к тому времени жила уже полдекады. Очень показательна в этом плане история с Хемулем из «Волшебной зимы». Громкий, бестактный, неотесанный, самовлюбленный, этот Хемуль-горнолыжник страшно надоел и Муми-троллю, и другим обитателям муми-долины. О чем он, конечно же, не догадывается. И вот Муми-тролль и Туу-Тикки обсуждают варианты избавления от Хемуля и в итоге сочиняют историю про холмы в Пустынных горах, где гораздо лучше кататься на лыжах. Но сказать ему напрямую о том, что их напрягает его общество, никто не решается. И дело не в лицемерии. Наоборот: надо, чтобы Хемуль ушел как можно скорее, чтобы он не догадался, что его не любят, чтобы не понял, как он, по сути, одинок. Помню, при чтении вдруг обожгло — это же вроде очевидная, но очень гуманная мысль, на которой шведы и в самом деле строят культуру взаимоотношений: даже если нам кто-то неприятен, надо щадить его чувства. Ключ к муми-вселенной: каждого можно если не принять, то хотя бы понять. Здесь нет отрицательных персонажей. Даже огромная Морра, от которой буквально веет холодом и вблизи которой потухают костры и гаснет свет, сама одинока и ищет тепла и участия, и когда муми-тролль понимает это и жалость к Морре начинает преобладать над страхом, ему удается ее приручить.

«Муми-тролли» — энциклопедия жизни, которая по-доброму, с юмором и без нравоучений учит жить. Эти книги прекрасно читаются детьми, но на самом деле далеко не детские или, точней, далеко не только детские. Под причудливой и милой фактурой выдуманных зверюшек, кроются глубокие философские тексты про отношения, принятие, прощение, про одиночество и неизбежность расставаний, про любовь и поддержку. Эпизод про «лютую стужу» в «Волшебной зиме» — очень тонкое наблюдение про первое столкновение со смертью. «В конце ноября» — самая грустная книга — про взросление и преодоление: в ней главными героями вдруг становятся все второстепенные персонажи муми-мира. Оказавшись в муми-доме во время отсутствия хозяев (вероятно, окончательного), они, с одной стороны, осиротели, с другой — именно в эту непростую, тоскливую осень учатся существовать самостоятельно и одновременно поддерживать друг друга.

А книжка «Опасное лето», в которой во время наводнения семья муми-троллей переселяется в плавучий театр, одна из лучших в мире книг про театр. Начиная с язвительно-меткого определения театра: «Театр — это самое важное в мире, потому что там показывают, какими все должны быть и какими мечтают быть — правда, многим не хватает на это смелости — и какие они в жизни.

— Так это же исправительный дом! — в ужасе воскликнула Муми-мама». Театральный мир, который Янссон, очевидно, хорошо знала, показан здесь с немалой долей иронии, но и с огромной любовью, которая передалась и мне — навсегда. А в финале — когда на горе-спектакль муми-троллей, поставленный по муми-паповской вымученной пьесе «Невесты льва», приплывают пропавшие Муми-тролль и фрекен Снорк, малышка Мю и Снусмумрик, и все воссоединяются прямо на сцене

не завершая спектакль, просто плавно меняя одно действо на другое, — это же наглядный и яркий пример иммерсивного театра с участием зрителей! Разумеется, Туве Янссон писала задолго до появления слова «иммерсивность» в этом контексте и даже задолго до экспериментов Гротовского. Но она понимала главное: театр — это о жизни, о настоящей жизни. И я имею в виду не обязательно направление реализма, а просто то, что и боль, и радость должны быть настоящие, даже если реквизит (муми-тролли долго думали, что Реквизит — это такой дяденька) из гипса и картона.

Чем больше перечитываешь Муми-книги, тем больше открытий. Например, значимость книги «Мемуары Муми-Папы» я поняла, только прочитав ее уже матерью двоих детей. Я имею в виду невероятный конец, когда все персонажи "Мемуаров..."» — друзья муми-папиной буйной молодости — вдруг, по окончании прочтения мемуаров вслух, вваливаются к ним домой, и потом они все вместе отправляются на поиски приключений. Маленькой я не могла оценить всю гениальность этого момента. Ведь это же тайная фантазия многих из нас, отчаянно не желающих взрослеть, тоскующих по молодым версиям себя, самая сокровенная мечта. Соединить то, что мы ценим и любим, то, что построили за все эти годы: семью, дом, комфорт, и надежность (сад, муми-дол, «вообще все, что идет следом за молодостью»), и лихую свободу, легкость и обаяние юности, ощущение того, что все открыто и все — впереди.

И тут... вдруг deus ex machina: раздается стук в дверь, а там, за дверью на веранде — Фредрикссон, Привидение и все остальные герои Папиных мемуаров. Невероятный, фантастический шанс соединить, воссоединить обе половинки твоей жизни, пустившись в новое совместное путешествие вместе со всеми нажитыми за эти годы друзьями и потомками. Оказывается, ничего не упущено и не позади — все еще возможно: «— Завтра мы снова отправляемся на поиски Приключения! — объявил Фредрикссон. — Мы улетаем на “Морском оркестре”! Все вместе. Мамы, папы и дети!

— Не завтра, а уже сегодня! — уточнил Муми-тролль.

И туманной предрассветной ранью вся компания высыпала в сад. На востоке небо уже чуть посветлело в ожидании восхода солнца, а оно уже было готово вот-вот взойти. Ночь кончалась, и все очень хотело начаться сначала. Распахнулись новые ворота в Невероятное и Возможное. Начался Новый День, когда все может случиться, если ты не имеешь ничего против этого».

Для меня финал этой книги — и есть абсолютное счастье. Высшая утопия.

И еще одна вещь — последняя, но, возможно, самая для меня дорогая в муми-вселенной. В этих книгах рассказывалось о том, какой должна быть семья. О том, что можно сильно любить и заботиться, при этом уважая ребенка как личность, доверяя и предоставляя свободу. Я очень смутно понимала это тогда, на уровне ощущений, но оглядываясь назад, уверена: эта книга помогла мне понять, куда надо двигаться. И здесь, конечно, централен и архетипичен персонаж Муми-мамы. Может показаться, что она — просто уютная домохозяйка, которая готовит брусничное варенье, печет пирожки и чистит песочные дорожки, носит полосатый передник, роется в своей сумочке, не спит от волнения за свою семью и обо всех заботится. И это тоже правда. Но в характере у Муми-мамы есть и другая сторона, совсем неординарная, даже немного эксцентричная. Вот, например, ее реакция на то, что вода полностью затопила ее дом:

«Вскоре Муми-маме удалось впервые поглядеть на свою кухню сверху. Словно зачарованная, уставилась она в глубину слабо освещенного изумрудного

аквариума. На самом дне она с трудом разглядела плиту, мойку и мусорное ведро. А все стулья и стол плавали по кругу под самым потолком.

– Ужас как весело, — сказала мама и расхохоталась.

Она просто падала от хохота, так что ее усадили в кресло-качалку. Вот до чего смешно смотреть на свою кухню сверху.

– Хорошо еще, что я выбросила мусор из ведра, — сказала она, вытерев глаза. — И забыла принести дров!

– Сегодня мне не придется мыть посуду, — радовалась мама. — Кто знает, может, мне вообще не придется этим заниматься?»

В Муми-маме подкупает озорство, радостный и незамутненный взгляд ребенка, особо ценный в ответственном существе, на чьих плечах лежит забота о многочисленном семействе, все расширяющемся, потому что муми-тролли берут под крыло и «усыновляют» всех и каждого. Все свои бытовые обязанности Муми-мама делает легко, игриво, не парясь и не заморачиваясь. Любое ее действие совершается не потому, что она «должна» или «обязана», а исключительно по любви, поэтому она умеет во всем видеть положительную сторону, заряжать и заражать радостью. Вот эта невероятная легкость, открытость, уверенность в том, что любая вещь, на первый взгляд не самая приятная, это возможность или приключение, полное приятие мира и доверие к нему — в этом главное обаяние муми-мамы, ее мудрость, и именно благодаря этому качеству она способна на безусловную любовь...

Муми-мама — мой недосягаемый идеал. И хотя мой сын утверждает, что я не могу быть похожей на муми-маму, потому что у меня нет шерсти и хвоста, я все же не теряю надежды. И собираюсь каждые несколько лет повторно проходить мастер-класс — перечитывать «муми-троллей».

Владимир Лидский, прозаик, драматург, историк кино
(г. Бишкек, Республика Кыргызстан)

Выстоять и победить

Вряд ли можно выделить одну книгу, в детстве оказавшую на тебя такое влияние, какое могло бы определить будущую жизнь. Таких книг обычно много. Книги и действительно формируют нас, иногда очень причудливо.

Сколько помню себя — я всегда был в обнимку с книгой. Читать я научился рано, года в четыре плюс-минус — и все норовил, по словам родителей, бросив игрушки, взяться за «Мурзилку» либо «Весёлые картинки».

Первые мои книги — «Приключения Чиполлино» и «Золотой ключик». Их читал мне, трехлетке, мой романтический герой, дед со стороны папы, человек необычайный, в молодости — герой-разбойник, в зрелости — герой войны. Деда я воспринимал тогда только в связи с Чиполлино и Буратино и все донимал старика, оставаясь дома под его приглядом: «Дед, читай!» И дед читал. Восьмиметровая комнатка, в которой мы жили на Садово-Кудринской, светилась солнечным светом, золотым, дрожащим, приторно пахнущим старым медом, в открытое окно влетали

крики старьевщика — старье-е-е бере-е-ем! — а дед садился со мной рядом и читал — о справедливой борьбе мальчика-луковки или о проказах деревянного сорванца, — так здорово! и когда я болел, когда мучил меня злобный отит, дед так же садился на мою постель и, утишая боль внука, читал... а потом уж я сам стал читать и очень любил, помнится, «Робинзона Крузо», стойко сражавшегося, как сейчас понимаю, с пустотой бытия и грядущею тьмой.

Лет в восемь уже забирался я в домашний ковчег — то был круглый стол, крытый большой, свисавшей почти до пола скатертью, — залезал под стол с Робинзоном, который с первых страниц книги стал моим другом и, подсвечивая текст карманным фонариком, читал... а фонарик... фонарик был старинный, прямоугольный, с большой квадратной батарейкой и толстой линзой — его подарил мне дед... история фонарика связана у меня с книгами, а привез его дед из польской в те годы Белоруссии, — происхождение свое он, то есть фонарик, вел из Лиды конца двадцатых, когда дед прекратил свою фантастическую деятельность лидского Робин Гуда и стал заниматься полулегальными аферами в сфере землепользования и поветного строительства, оформляя кредиты на это дело в Виленском земельном банке. Он и до сих пор жив, тот фонарик, сделанный в США на заводе, между прочим, белорусского эмигранта Конрада Хьюберта, в родной стране носившего имя Акиба Горовиц.

С помощью фонарика спустя год-два после «Робинзона» я читал — уже под верблюжьим одеялом, чтоб не заметили родители, спавшие совсем рядом, — «Пятнадцатилетнего капитана», «Без семьи», «Последнего из могикан», «Всадника без головы» и уж не помню что, но много, запоем, без остановок, передышек и перерывов. Это была, конечно, болезнь, *высокая* болезнь. Родители, глядя в мои воспаленные глаза, подумывали о визите к офтальмологу, но я отбивался как мог и по-прежнему читал-читал-читал.

В школе, классе в третьем-четвертом, я читал, держа книгу под партой, пренебрегая уроком и рассказами учителя, и то были уже не только «Легенды и мифы Древней Греции», но и «Рыжик» Свирского, «Динка» Осеевой, «Кондуит и Швамбрания» Кассиля.

Еще подросши, читал «Дон Кихота», «Путешествия Гулливера» и толстенные романы Диккенса.

Свифта я воспринимал тогда как приключенческого писателя, хотя он и казался мне тяжелым; сейчас, повзрослев и немного осмыслив мир, я понимаю причину: идеология сатирика, несмотря на все его хохмы и парадоксальный юмор, была пессимистичной и отчасти упаднической, я интуитивно не принимал ее. То ли дело победительный посыл «Робинзона Крузо»! Человек преобразовывал мир вокруг, сражался с природой, с обстоятельствами, с одиночеством, страхом. И всегда побеждал.

И когда уже почти взрослым, лет в восемнадцать я взялся за Фолкнера, тогда, наверное, и пришло ко мне окончательное понимание: человек всегда должен побеждать. Тем более, это подтвердил сам Фолкнер, сказав в своей Нобелевской речи: «Я верю в то, что человек не только выстоит, — он победит».

Я еще не служил в армии, не видел жизни, не совершал ошибок, но сердцем, кожей, нервами и, наверное, душой чувствовал: человек победит потому лишь, что он способен страдать и со-страдать, он умеет жалеть, протягивать руку помощи, жертвовать собой, он знает, что есть такое надежда, мужество, воля, он может быть альтруистом, может проявлять эмпатию, бескорыстно любить, преодолевать гордыню и страх — и даже страх смерти.

Ирина Муравьёва, прозаик, издатель (г. Бостон, США)

Хвала тебе, детство

Были прекрасные книги. Самая маленькая — выгоревшая, зеленая, с потускневшей картинкой на обложке. Она начиналась такими словами:

В глубокой песчаной ложбинке,
Где летняя травка свежа,
Привольно живётся Ежинке,
Единственной внучке Ежа...

Это напоминало меня саму, и лето, и дачу. Главное, что и я была единственной. Мама умерла, остались бабуля и папа. Они и любили меня с такой силой, что жить внутри этой любви бывало непросто. Не то что непросто, но я очень часто любовь ощущала как острую боль.

С Ежинкой случилась беда: какие-то дети, горластые, глупые, скорее всего, пионеры, нашли ее в этой песчаной ложбинке. Связали две майки, Ежинку засунули, чтобы не кололась, на самое дно, и сразу обратно, в свой лагерь. У них там все время то горн, то зарядка, то песни, то слеты. Забор, разделяющий дачи и лагерь, был редким: все слышно, все видно. И стали они ее, бедную, мучить: поить ни с того ни с сего молоком. «Она и смотреть не хотела на миску с парным молоком». (Откуда парное у них, непонятно. Коров в этом лагере не было.) А дед, старый Ёж, торопился, спешил, набрал кучу ягод, опят, сыроежек (кормить пора девочку, проголодалась), скатился, как шарик, в ложбинку и замер: нет внучки. Тут я заливалась слезами. Под эти горючие слезы мои дед бросился в лес, на поля, на дорогу.

Мелькали березы и ёлки,
Дубовая роща и рожь,
Подняв, как оружье, иголки,
Бежал, ощетинившись, Ёж...

А вскоре стемнело, и похолодало, и выплыла в небе луна. Она осветила пустые поляны, заросшую просеку. Тропинку к болоту. Шуршащий овраг. Дед звал и кричал своим старческим голосом, таким, как у всех стариков, но потоньше. Нигде ее не было. Значит: убили. От ужаса я закрывалась ладонями, когда мне читали по сотому разу:

Упал под сосной и заплакал
измученный дедушка Ёж...

Но тут пионеры не то заскучали, не то, может быть, она им надоела. Вот что с такой делать? Играть — не играет, кормили — не ест. Они подцепили ее рукавицей, стряхнули в корзину и, бодрые, глупые, увы, ничего не понявшие в жизни, оставили в той же знакомой ложбинке. И дед как почувствовал. Он прибежал — еще даже не рассвело до конца.

От счастья мы плакали громко все трое: Ёж, внучка и я. Вот какая история.

* * *

Огромная тайна была. Тайна тайн.

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на чёрной скале.

Мне было семь лет, я умела читать. Читала и выучила наизусть. Ее рисовала везде, где могла. Царицу Тамару с кудрями до пяток. Я разрисовала весь том «М.Ю.Лермонтов». Про черную крепость на черной скале могла бы спокойно сама сочинить. И про «огонёк золотой». Что такого? У нас у самих абажур ярко-желтый. Но дальше — тоска. Слова не впускали меня, гнали прочь. Пастух черноглазый, купец и солдат, заслышав взволнованный голос царицы, спешили к ней в башню. И это понятно: они ведь устали в дороге, продрогли. В дверях их встречал этот «мрачный ЕвнУх». Наверное, сторож. ЕвнУх — его имя, грузинское имя. Как, скажем, наш Вася. Тамара лежала в кровати, одетая. На ней было платье и бусы. Парчовое платье. Бабуля сказала: «Почти как капрон». Парчового платья у нас не достать, но бархатное у меня тоже есть, из синего бархата.

Тамара ничем гостя не угощала, но сразу ему предлагала вина. У нас во дворе тоже многие пили, однако же им говорили: «Закусывай!» А не закусить, так домой не дотащишься. И этому тоже бывали примеры. Потом она прямо кидалась на гостя. Я очень отчетливо все это видела: он выпил и сел на кровать. Хотел отдохнуть или поговорить. Она же в него моментально влюблялась и лезла к нему целоваться.

Сплетались горячие руки,
Уста прилипали к устам...

Я густо краснела. Вот по телевизору показывают, как целуются люди. Обычно под музыку. Это приятно, но если смотреть, скажем, вместе с соседями, то как-то неловко. Сидит тетя Катя и лузгает семечки. С ней рядом бабуля и я. Еще может кто-то зайти, тоже сядет. Но как начинали в кино целоваться, я тихо слезала со стула и сразу бежала на кухню. Хотелось бы без никого посмотреть, как он наклоняется к ней, а она глаза закрывает и, вытянув шею, ему подставляет лицо. Чудесно! Но лучше без семечек и в одиночестве.

Тамара и гость целовались. Они были «выпимши». Люди, — как выпьют, — целуются и обнимают друг дружку. Но дальше-то, дальше!

И странные, дикие звуки
Всю ночь раздавалися там...

Тут воображенье мое начинало мигать и слоиться. Я всматривалась в эти мелкие строчки, расширив глаза, с колотящимся сердцем.

...Как будто в ту башню пустую
Сто юношей пылких и жён
Сошлися на свадьбу ночную,
На тризну больших похорон.

Представьте себе: ворвались, значит, юноши. Сто штук. С ними жены. Уселись за стол. И стали играть чью-то свадьбу. Но ночью? И что же за «дикие звуки» на свадьбе? На свадьбе поют и танцуют, едят и пьют очень много. Вон Митька, сосед, на собственной свадьбе, дурак, так напился, что вывалился из окошка. Невесту водой отливали, чуть не померла. Он выжил, конечно, вернулся домой, теперь ходит с палочкой, как инвалид.

С Тамарой и гостем случилось: *другое*. Но что? Что: *другое?* И разве бывает, что свадьба с гостями похожа на тризну? Я не поленилась, залезла в словарь, прочла: *тризна — это обряд или совокупность обрядов, которые языческие племена совершали на месте своих погребений.*

Кошмар. Племена. Погребения. Пляски. Все голые, в шкурах. Сто юношей пылких. Да, все это вместе, конечно, составило те «дикие звуки». Теперь понимаю, но не до конца.

Намучившись, я продолжала читать, и горло мое становилось соленым:

Но только что утра сиянье
Кидало свой луч по горам,
Мгновенно и мрак, и молчанье
Опять воцарялися там.
Лишь Терек в теснине Дарьяла,
Гремя, нарушал тишину,
Волна на волну набегала,
Волна погоняла волну. И с плачем
Безгласное тело
Спешили они унести.
В окне тогда что-то белело,
Звучало оттуда: прости.

Как время развенчивает наши тайны. И как оно к ним беспощадно. А жаль. Была тайна маленькой девочки, она с ней росла. Как может ребенок понять, что за звуки рождает любовь? Это тайна, запрет. А как объяснить все тому же ребенку, что есть формы страшных психозов, болезней, распадов сознанья, одним из которых страдала царица? Все это описано в книгах для взрослых, в учебных пособиях, в умных статьях.

Да вот, например: «аномальное сексуальное поведение есть не что иное, как разыгрывание театра для себя, свободная и замкнутая в себе деятельность, целиком связанная с индивидуальным воображением. Онтогенетический регресс актуализирует инфантильные формы активности со спонтанным эмоционально насыщенным поведением и стиранием границ между воображаемым и реальным миром». (А.П.Чуприков, Б.М.Цупрык. Общая и криминальная сексология: Учебное пособие)

Не дай Бог такое прочесть, — не заснешь. Хвала тебе, детство. Спасибо тебе.

Лев Оборин, поэт, переводчик, литературный критик (г. Москва)

«Ближайший аналог Шкиды в литературе — Хогвартс»

Мое детство было решительно не похоже на детство беспризорников, дефективных, шпаргонцев послереволюционного Петрограда — но, открывая истрепанную серую книжку, изданную где-то посередине между ними и мной, я ощущал радостное волнение и сопереживание: кажется, тогда я почувствовал, что значит «знают, о чем пишут». Предисловие, отменно скучное, пропускалось, и я пускался в еще полупустые коридоры и классы школы имени Достоевского. Довольно тихий мальчик с упоением читал про культ бузы, падение ростовщика Слаёнова и стихийную забастовку, которую шкидцы устроили, чтобы в школе оставили полюбившегося им педагога-проходимца. С грустью — про воровство картошки и любовные неудачи. Со скукой (но и пониманием, что это необходимо для сюжета) — про уроки политграмоты, про праздник учета, на котором вчерашняя шпана расстаралась перед номенклатурным начальством. Но больше всего меня привлекали, по-настоящему завораживали главы про творчество. Про то, как в Республике ШКИД писали стихи и переводили Гейне, а в какой-то момент поголовно заболели журнальной лихорадкой и выпускали шестьдесят журналов одновременно — то есть по одному на каждого воспитанника. Я был окружен книгами и журналами, мне хотелось делать их самому. «Республика ШКИД» мне объяснила, что так делать можно. Дефективный Лёнька Пантелеев показал, что можно взять и написать стихи. Я и взял, и написал — а потом еще и еще, так получилась целая общая тетрадь.

Перечитывая «Республику ШКИД» сегодня (а я перечитывал ее с разными целями: просто для собственного удовольствия; по работе, чтобы написать о ней для «Полки»; вслух старшему сыну — которого, кажется, все это тоже увлекло), я каждый раз думаю, что Белых и Пантелеев создали не образцовый, а исключительный роман о школе — школе как замкнутой, но притом очень большой вселенной, в которой читателю хочется оказаться. Эта вселенная подробно разработана (кажется, что авторам это было не так сложно — ведь они работали с деталями собственной биографии, — но мемуары других шкидцев показывают, что в «Республике» много вымысла и умолчаний). Она обладает своей мифологией, своим фольклором и юмором, не очень понятным «снаружи», своим верховным патроном (Викниксор) и пантеоном учителей-халдеев, своей системой наказаний и вообще своей этикой; у нее есть свои взлеты и падения. Ближайший аналог Шкиды в литературе — Хогвартс, который, хотя и выглядит не в пример престижнее, на самом деле тоже обладает множеством «подводных камней» (не говоря уж о том, что волшебники стараются не соприкасаться с большим, магловским миром). Ещё один пример — Дом из романа Мариам Петросян «Дом, в котором...»: братству шкидцев здесь соответствует братство детей с различными особенностями, в том числе скрытыми магическими. Как и в шкидцах, в них может иногда проснуться зверь — и дел он натворит пострашнее,

чем избиение халдеев в темноте или пьяный загул после сбыта краденого кофе. И, как почти всякий роман про школу, этот заканчивается выпуском. Выпуск — заранее заданная точка финала, дедлайн, которого в одних литературных школах ждут, волнуясь об экзаменах, в других — предчувствуя катастрофу. Так вот, эта точка повышенной невротичности, к которой сходятся сюжетные линии, в «Республике ШКИД» отсутствует: четвертое отделение, за жизнью которого мы следим с самого начала, разваливается в последних главах: кто-то уходит по собственной воле, кого-то переводят в сельхозтехникум (угроза перевода, отчисления из Шкиды — постоянный мотив, благодаря которому школа для дефективных, опять-таки, кажется волшебной академией). К этому времени в книге очевидна магистральная сюжетная линия — неотделимая, конечно, от идеологии. Перед нами роман воспитания, и это воспитание действует через немыслимые тернии: кривые зеркала человеческих отношений, не отлипающие от бывших беспризорников пороки прошлого. Через опыт самоорганизации, который на самом деле разделяет коллектив, поначалу охваченный комсомольской романтикой: блестящие бузотёры превращаются в без пяти минут функционеров. Обо всем этом в «Республике ШКИД» написано честно — но в ее эпилоге, нарочно камерном, остается одна нота — благодарности. Всё могло быть очень плохо, а вот — получились достойные люди. Мало кому из них в дальнейшем так везло, как в эти подростковые годы.

Алексей Поляринов, прозаик, критик, переводчик (г. Москва)

«Это было моё первое культурологическое открытие»

Одним из самых больших потрясений в детстве для меня стала книга «Непоседа, Мякиш и Нетак» Ефима Чеповецкого. Это была история о трех оживших игрушечных человечках, оставленных в кабинете труда, — один из них был сделан из гаек и пружинок, второй из пластилина, третий — из деревянного бруска. Сегодня я не могу вспомнить ни одной реплики или сюжета самой сказки; книга Чеповецкого — тот случай, когда отъехавшие иллюстрации полностью вытеснили, практически отменили текст.

Мякиш был лысым, пухлым, пузатым мужичком. У него было очень умиротворенное выражение лица, как у соседа, который с утра уже успел дрябнуть рюмашку и теперь вышел посидеть на лавочке. Он был в домашних тапочках и он нагонял на меня жуть. Он был нарисован так натуралистично, что мне всегда казалось, будто это живой, но очень сильно обгоревший человек, и я не мог избавиться от ощущения, что он испытывает невыносимую боль, но скрывает ее от Непоседы и Нетака. Его улыбка — вымученная и ненастоящая, думал я, и в путешествие он отправился, чтобы найти морфий, как-то облегчить свои страдания. Особенно ужасной была сцена, где героям нужно идти по паутине, как по канату. Мякиш ступает на паутину, но он сделан из пластилина, и тонкая струна вонзается в его плоть.

Каждая картинка в той книжке поражала своей фактурой и натуралистичностью — у иллюстратора явно были какие-то претензии к людям с лишним весом;

не только игрушка Мякиш, но и живые персонажи в книжке были решены в раблезианской манере — огромные, распирающие одежду тела, заплывшие лица и толстые шеи. Если я правильно понимаю, предполагалось, что юный читатель должен испытывать к ним отвращение.

Чуть позже я заметил, что подобная манера иллюстрации объединяет почти все сказочные книжки в СССР, от «Трёх толстяков» до «Бременских музыкантов». Веселые, обаятельные утрированно худые люди в советских сказках всегда сражались с гротескно-полными, омерзительно-натуралистичными бандитами/богачами (вспомните разбойников из «Бременских музыкантов» — они словно из другого мультфильма сбежали).

Примерно в том же возрасте я начал читать «Сказки тысяча и одной ночи» и споткнулся о сказку «Аладдин». Тут-то я и начал замечать паттерн — в оригинальной сказке, потерев лампу, Аладдин попросил у джинна не богатств или титулов, он попросил поесть.

«— Я Маймун Шамхураша! Я раб лампы и раб того, кто владеет лампой, — ответил джинн. — Требуй от меня чего хочешь. Если тебе угодно, чтобы я разрушил город или построил дворец, — приказывай!

— Принеси мне две жареные курицы да еще что-нибудь хорошее и потом убирайся, а то моя мать тебя боится!»

И даже больше — герои «Аладдина» не просто ели, они «ели досыта», автор все время подчеркивал эту деталь: «Аладдин с матерью начали есть и ели, пока не насытились». Как интересно, думал я, разве можно есть как-то иначе?

Это было мое первое — совсем еще детское — культурологическое открытие: у «Сказок тысяча и одной ночи» с советскими книжками было кое-что общее — их, очевидно, сочиняли люди, у которых было тяжелое, голодное детство. Довольно нехитрая мысль, но теперь я думаю, что именно отсюда и началась моя любовь к исследованию текстов и поискам связей между прошлым автора и его визуальным стилем.

Андрей Рубанов, прозаик, кинодраматург (г. Москва)

Книги просто так не приходят

Зимой 2006 года я участвовал в записи телевизионного развлекательного шоу. Тогда я еще был наивен и думал, что участие в таких делах поможет мне увеличить число читателей. Вместе со мной в том же шоу появился сын певца Игоря Талькова — Тальков-младший. После записи мы с ним познакомились, разговорились и выпили по чашке кофе в буфете «Останкино». Тальков подарил мне диск со своими песнями, я ему — свою книгу. Он внимательно ее осмотрел и сказал:

— Книги просто так не приходят.

И добавил, что сейчас читает «Розу мира».

Больше мы с ним не виделись. Впечатление он оставил очень хорошее: глубокий, думающий парень. Насколько мне известно, его музыкальная карьера не очень получилась. Фразу его я запомнил навсегда. Действительно, книга должна попасть в руки читателя не просто так, а в нужный момент. Тогда, когда надо. То есть это чистый божий промысел, таинство. И наоборот, часто бывает, что сильная книга приходит «просто так», невовремя, и оставляет человека равнодушным.

Для того, чтобы книга изменила человека, взорвала ему голову, помогла ему или даже спасла его, должно случиться совпадение; оно не зависит даже от качества книги. Иногда бывает, что скверно написанные или малоудачные романы поворачивают жизнь.

Разумеется, этот закон работает не только с книгами — любыми произведениями любых других искусств, и музыки, и живописи. И даже цирковое представление может перевернуть сознание зрителя.

У меня произошел как раз случай двойного воздействия: роман плюс телевизионный фильм. Книга — Жюль Верн, «20 тысяч лье под водой». Фильм — «Капитан Немо», три серии, производства Одесской киностудии. Что было раньше — не помню. Фильм вышел в 1975 году, потом его показывали по ТВ раза два или три каждый год. А книгу я прочитал в девять лет. Страстно увлекался фантастикой и перерыл все доступные библиотеки. В СССР фантастики издавали очень мало, и только идеологически правильную, но и такая была нарасхват, а из классиков — Жюль Верн и Герберт Уэллс. Устаревший Жюль Верн не мог нанести вреда воспитанию юных поколений строителей коммунизма. Уэллс, совершенно непохожий на Жюля Верна (за исключением того, что оба писали плохо), смотрел в будущее с пессимизмом, пророчил войны и катастрофы, но в свое время встречался с Лениным и вообще симпатизировал Советской России, поэтому Уэллса тоже разрешили.

Придуманный Жюлем Верном капитан Немо — романтический герой, загадочный беглец от цивилизации, полный мрачных тайн, потерявший любимую жену — или даже всю семью, уж сейчас не вспомню; главное, что на борту его «Наутилуса» царила атмосфера печали, меланхолии. В фильме, кстати, это особенно подчеркнуто. Никто там не веселился, не праздновал дней рождения. Вдобавок «Наутилус» вел боевые действия, топил английские корабли — французскому читателю это очень нравилось, а я, советский паренек, совершенно не осведомленный об отношениях французов и англичан, это просто проглатывал. Англичане плохие, они поработили индусов, а Немо, сам индус, — хороший, он мститель.

Сейчас его можно классифицировать как супергероя, такого же, как, например, Бэтмен. У супергероя всегда есть суперспособность, с помощью которой он побеждает всех своих врагов, сам же остается неуязвимым. Такой суперсилой для Немо было обладание «Наутилусом», уникальным подводным кораблем, приводимым в действие электричеством. Правда, по классической схеме против супергероя обычно сражается суперзлодей, почти такой же сильный. Если бы Жюль Верн делал свой роман сейчас, то за подводным кораблем капитана Немо охотился бы, допустим, летающий корабль английского генерала, подонка и извращенца. Но канон жанра во времена Жюля Верна еще не совсем сложился: врагом героя выступает абстрактный британский военный флот. Но зато есть дополнительное драматическое обстоятельство: мировой океан, неисследованная агрессивная среда. Ее капитан Немо изучает, добывает из нее все нужные ресурсы и даже деньги в прямом смысле слова. Немо влюблен в океан,

умеет с ним сожительствовать. Но океан опасен, смертоносен. Поэтому Немо всегда начеку.

Эта конструкция совершенно, как я думаю, гениальна. И не потому, что Жюль Верн предсказал появление подводных лодок. Он указал человечеству возможный новый путь, героический и захватывающий: освоение мирового океана, со всеми его неисчислимыми ресурсами. Дорога в золотой век, где не будет голода и недостатка энергии. Наконец, создан и предполагаемый образ покорителя нового неизведанного мира: бесстрашный талантливый инженер, влюбленный в покоряемый новый мир.

Зачем люди воюют меж собой за угольные шахты и плодородные пашни, зачем человек порабощает человека, вот же она, всем понятная альтернатива, счастье для всех, даром, и никто не уйдет обиженным!

Увы, с покорением океана случилось то же, что и с покорением космоса. Оказалось, что счастья даром не бывает, все очень дорого, посчитали — поняли, что дешевле воевать за нефть, чем покорять соленые глубины.

Но тогда, в 1978 году, я этого не понимал, и логика капитана Немо казалась мне неопровержимой. Правда, деньги на постройку своего корабля Немо не заработал, а раздобыл чудесным образом — это было, да, узкое место в сюжете, но ничего. Когда тебе девять лет, ты про деньги не думаешь.

Роман я с тех пор не перечитывал ни разу. Фильм иногда пересматриваю. А вот океан люблю очень.

Антон Секисов, прозаик (г. Москва)

Исследование чудовищ

Я сидел под кухонным столом, стравливая друг с другом две пластиковые фигурки: безоружного американского солдатика и лохнесское чудовище. От реальности меня укрывала клеенчатая скатерть. Под ней я чувствовал себя демиургом в своей герметичной вселенной. Но вдруг угол скатерти отогнулся, и герметичность нарушила голова отца. Она смотрела на меня с удивлением, снисходительной улыбкой и даже долей пренебрежения. Как будто отец рассчитывал, что его сын дошкольного возраста не играет с фигурками, а по меньшей мере работает над тезисами доклада в Академии наук.

Пристально изучив фигурку лохнесского чудовища, отец сказал:

— Морские твари водятся вообще где угодно. Ведь все водоемы сообщаются между собой.

Контекст этого утверждения утрачен: может, это было продолжение нашего разговора, а может, завуалированная шутка про тещу (он часто сравнивал ее с разными хищными рептилиями), а может, сообщил этот факт ни с того ни с сего.

Но я запомнил именно эту фразу, что-то в ней было простое и страшное, что навсегда поселило во мне ужас перед водой. С тех пор, даже плескаясь в маленьком надувном бассейне на дачном участке, я не чувствовал себя в безопасности. Казалось, в любой момент до кожи дотронется нечто холодное — я увижу толстое щупальце: мгновенно обвив ногу, оно утащит меня из надувного бассейна куда-то вниз, туда,

где все водоемы сходятся. То же относилось и к унитазу, к ванной, к раковине, к луже после дождя. Ужас перед водой не притуплялся, а только усиливался.

Прошло несколько лет, и по окончании пятого класса я узнал, что на лето меня отправляют на море, в Крым. Кошмарная новость! Я ехал туда с чувством глубокой тоски, ощущая себя кем-то вроде жертвенного животного.

Если уж подводный монстр мог достать меня в надувном бассейне, о море нечего было и говорить. Все знаки сулили мне самую горькую участь. Листая перед поездкой «Мифы Древней Греции» Куна, я прочел, как гигантские змеи, выйдя из моря, разорвали троянца Лаокоона и его сыновей на куски.

Как будто в насмешку, отец подарил мне книжку «Загадочные явления». На обложке был изображен целый ассортимент таинственных персонажей: гуманоид, какой-то светящийся человек (шаровая молния?), йети, привидение в виде поднимающейся над полом простыни, а на переднем плане — гигантская каракатица, комкающая корабль, как конфетную обертку, и утягивающая его в пучину. Ужасал даже не размер и не общий вид монстра, а его бесстрастные глаза-блюдца. Они не выражали совсем ничего. В глазах-блюдцах было безразличие камня, растения, газонокосилки: чудище уничтожит вас не из злобы, а просто сотрет как чуждую форму жизни. Я знал, что оно придет за мной. Теперь уже эти глаза-блюдца мерещились мне повсюду.

Мое поведение на пляже было самым жалким. Я был недостаточно изобретателен, чтобы выдумать ложь, которая позволила бы остаться дома. Был недостаточно коммуникабельным, чтобы завести друзей и под предлогом общения и интересных дел избегать купания. И тем более недостаточно храбр, чтобы заглянуть в лицо опасности и поплыть. Я плескался у берега, следя только за тем, чтобы между мной и морской бездной все время бы находилась прослойка других купающихся — которых, как я надеялся, чудище сожрет прежде, чем я успею выплыть на берег. Представляю, насколько я был смехотворен — на фоне бесстрашно заплывавших на далекую отмель своих сверстников. Безумцы, безумцы! — хотелось кричать им.

Древний ужас перед хтоническими силами, казалось, меня совсем поработил и ослепил. Но неожиданный выход нашелся в районной библиотеке. Лучшим оружием против страха морских глубин оказался советский позитивизм.

Эта книга сама отыскала меня. Помню, как она буквально упала мне в руки с полки фантастической литературы. Это была книжка Кира Булычёва «Конец Атлантиды». Повесть из огромной серии о приключениях девочки Алисы Селезнёвой. На обложке был изображен гигантский морской змей, обвивающий батискаф. В нем сидят двое детей в скафандрах. Но дети, кажется, смотрят в глаза змея невозмутимо, а тот и вовсе улыбается детям беззубой стариковской улыбкой.

Как я сейчас сужу, это была проходная булычевская повесть, одна из многих десятков. Булычёв писал их с 60-х по нулевые. Его Алиса не только борется с космическими пиратами в «Тайне третьей планеты». По прихоти Булычёва она отправляется на Землю и в Космос, в прошлое, будущее, в разнообразные сказочные и альтернативные миры.

Но именно «Конец Атлантиды» оказался моим спасением. Эта повесть захватила меня своей атмосферой с первой строчки. Алиса Селезнёва идет по берегу океана. Ясно, что на морских чудовищ ей глубоко наплевать. Она живет на биостанции, в окружении смелых и строгих ученых: зоологов, гидрологов, вулканологов. Советских ученых, давно и бесповоротно покоривших природу. У Булычёва они жили жизнью пиратов и древнегреческих полубогов. Их жизнь была так непохожа на жизнь

ученых-друзей моего отца — в сальных растянутых свитерах, растерянных, чешущих бороду. Мой отец и его друзья были геологами: я рассудил тогда, что жизнь гидрологов и вулканологов была устроена принципиально иначе.

По сюжету Алиса находит бутылку с запиской. Это толкает ее на морские приключения, на которые она отправляется со своим напарником Пашкой. Они погружаются в океанские пучины, где находят затонувшую Атлантиду. Ни на секунду их не посещает страх. Да и откуда ему взяться у самоуверенных прогрессистов, у смелых советских детей из будущего, смотрящих на мир романтически чисто, легко и в то же время насмешливо.

Завидев силуэт 30-метрового морского чудовища, они не спасаются в ужасе, а направляют свой луч прожектора ему прямо в физиономию. Когда перед тобой маячит возможность научного открытия, не остается места архаическим суевериям.

Подчиняясь позитивистской логике, чудовище оказывается добродушным и игривым, как спаниель. В проломе на дне дети находят ворота в государство атлантов. Его населяют люди, названные именами греческих богов: Гера, Посейдон, Гермес и другие (почему-то в тексте фигурируют одновременно Гермес и его римский двойник Меркурий). Все они напоминают обыкновенных советских служащих. Мегера-начальница по имени Гера. Бог-проводник в мир мертвых Гермес, превращенный в рассеянного старика-вахтера. Он только и делает, что твердит про протекающий потолок и общую разруху. Само собой, все они говорят по-русски. Спутник Алисы Пашка объясняет все им, что русский язык, причем его современная версия — это и есть родной язык атлантов.

Эта небольшая простая повесть оказала на меня мгновенный мощнейший эффект. Дочитав «Конец Атлантиды», я затребовал у родителей очки и трубку для изучения морского дна. Из затравленного и сходящего с ума персонажа вселенной Лавкрафта я превратился в бесстрашного исследователя: от ужаса перед водой не осталось и следа. Я твердо решил, что стану ученым, который первым доберется до самых потаенных подводных глубин.

Я полюбил плавание. Теперь уже я бесстрашно катался на самых высоких волнах: в шторм, когда не многие решаются не то что войти в воду, но даже расположиться на пляже. Меня сминало волной и пребольно швыряло о камни. Но я бесстрашно бросался в пучину вновь и вновь, поглядывая на сверстниц. Я был уверен, что они смотрели на меня с восхищением и думали что-нибудь вроде: боже мой, вот это смельчак! Вот бы другие мальчики были б хоть в половину такими смелыми, как этот отважный герой, борец с волнами! Тогда мне было еще невдомек, как я действительно выглядел со стороны (увы, пленка VHS все это увековечила): какой-то задохлик кувыркается в пене и водорослях, и его время от времени выносит на берег, как кривую корягу. Потом он отплевывается, сопли текут — ужасно.

Однако действие «Конца Атлантиды» оказалось сколь сильным, столь и скоротечным. Вернувшись с моря, я записался на курсы при биофаке МГУ, но мгновенно заскучал — никаких морских приключений, а только и разговоры, что об инфузории-туфельке. А потом вернулся страх воды. И даже теперь вид раковины, наполненной темной мыльной водой, навевает тревогу. «Все водоемы сообщаются между собой», — слышу я голос отца в голове, а из глубин раковины все так же зловеще глядят блюдца.

Булат Ханов, прозаик, литературовед (г. Казань)

«И только сейчас мне открылась страшная истина...»

Может быть, люди, повзрослев, продолжают читать потому, что хотят повторить удовольствие, испытанное ими в детстве от увлекательной книжки. Затея гиблая, что и говорить. Никакой Достоевский не электризует вас так же, как, например, первые прочитанные сказки.

Складывать буквы в слова меня научили в шесть, а пик читательской активности пришелся на девять-десять. Тогда я зачитал до дыр пьесу «На дне», с каждым разом открывая в себе новые и новые глубины сопереживания несчастным ночлежникам. Тот же период включал в себя «Незнайку на Луне» и книгу с длинным названием, которое для удобства сокращают до «Робинзона Крузо». Первый из текстов в развлекательной форме рассказывал о классовой борьбе и капиталистической формации, а второй отлично заменял книгу о вкусной и здоровой пище.

Кроме того, мне сильно полюбился роман беллетриста Мориса Леблана «Призрак замка Роборэй» (в других переводах он называется «Канатная плясунья»). Леблан больше известен как писатель, который взял на себя почетную миссию — дать симметричный ответ нагло-саксонскому Шерлоку Холмсу и перетянуть симпатии читательской публики на сторону французских героев. Ответ, как водится, вышел асимметричным. Шерлок Холмс остался любим и обожаем, зато и Леблан сотворил персонажа на все времена. Благородного, обаятельного, харизматичного, утонченного... жулика по имени Арсен Люпен. Джентльмена-вегетарианца.

Хотя в «Призраке замка Роборэй» Арсен Люпен никак не фигурирует, роман пропитан духом авантюризма и наживы и, разумеется, заверен печатью благочестия.

Итак, Франция, 1921 год. Первая мировая позади. По стране колесит цирковой фургон. Актерская труппа состоит из пяти сирот. За главную среди них Доротея, дочь князя Д'Аргоня, скончавшегося в госпитале в разгар Великой войны. Доротее немногим за двадцать, но волей обстоятельств она заменяет четверке своих друзей (дворянскому отпрыску Кантэну, близнецам Кастору и Поллуксу, малютке Монфокону по прозвищу Капитан) и мать, и старшую сестру, и мудрого наставника. Мальчишки, понятное дело, влюблены в Доротею по уши, но Морис Леблан, надо сразу отметить, все грязные намеки и табуированные приемы обходит за десять лье. В плане нравственного облика роман отвечает стыдливым канонам XIX века. Столь умилительная старомодность не портит текст. Напротив, добавляет ему очарования.

Доротее выпадает шанс разгадать тайну, доставшуюся по наследству от отца. По свидетельству очевидцев, князь перед смертью повторял слово «Роборэй». В один из дней цирковой фургон заезжает в департамент Ори, где Доротея и Кантэн обнаруживают замок с тем же названием. С замком связана старая легенда о сокровищах. Выясняется, что граф Шаньи, хозяин замка, был приятелем Д'Аргоня и вместе с ним искал клад.

Узлы завязываются, мотивы множатся, конфликты развиваются — все работает как положено. Пересказывать сюжет приключенческих книг, конечно, затея дрянная, да я и не собираюсь. Важно лишь знать, что в хорошей приключенческой книге злодей

чертовски изворотлив, а протагонист, несмотря на ограничения, наложенные на него моральным выбором, еще изворотливее. А «Призрак замка Роборэй» — это хорошая приключенческая книга.

Любопытнее другое. Аккуратно следуя жанровым правилам, Морис Леблан тем не менее решается на смелый ход. В главные герои у него выводится женщина. Да не просто женщина, а мятежная аристократка, стреляющая по мишеням из ржавых револьверов и обладающая навыками полевого командира. Случись такой персонаж в советской литературе 1920-х, никто бы не удивился (например, в те же годы, что и «Призрак замка Роборэй», писался и «Сорок первый» Лавренёва). Только это не советский, а французский писатель со всеми традициями патриархального письма и лишенный страсти к авангардным экспериментам. Сдается мне, что «Призрак замка Роборэй» — очередной плутовской роман Леблана, разве что плутовское начало воплощает не центральный персонаж, а сам автор.

По отдельности ни одно из качеств, которыми наделил Леблан княжну Д'Аргонь, не производит впечатление особенного. Особенность в их сочетании. Добрая, остроумная, образованная, проницательная, прозорливая, заботливая, бескорыстная, справедливая, непредсказуемая, игривая, принципиальная... И это всего лишь толика тех черт, что есть в Доротее. Вместе они складываются в образ Женщины. Именно так, с большой буквы. Образ обманчиво-приземленный, мнимо-реалистичный и недосягаемый. Недаром параллельно с поиском бриллиантов в книге разворачивается второй сюжет, где многочисленные мужские персонажи — и славные малые, и законченные негодяи, и деревенские графы, и провинциальные нотариусы, и заграничные красавцы — борются за сердце героини. Борются столь же усердно, сколь и тщетно. Ясно же, что, если она согласится на предложенную роль (а ей предлагают роли равноправной жены, дорогой сестры, любимой дочери, просто лакомой добычи), Доротея потеряет все очарование. Перейдет из статуса Женщины в статус женщины, формально сохранив за собой все положительные качества, которые с такой откровенной любовью собирает автор.

«Призрак замка Роборэй» я прочел в девять. То есть в том возрасте, когда мальчишки все еще поголовно сторонятся девчонок и считают их существами второго сорта. И даже меня, отягощенного целым ворохом гендерных предубеждений, Морис Леблан в Доротею влюбил. Собственно, шансов устоять было немного.

И только сейчас мне открылась страшная истина. Не отпустив Доротею в руки недостойных соперников (а быть достойным ее невозможно по умолчанию), Леблан совершил большой писательский грех. Он оставил Доротею себе. Пигмалионство чистой воды.

Евгений Чижов, прозаик, переводчик (г. Москва)

Легенда об «Уленшпигеле»

Это была огромная книга. Толстенный черный том с алым профилем Уленшпигеля на обложке, раза в два больше всех остальных книг в родительской библиотеке, величиной с приличный альбом по искусству. И он был мой — кто-то из родственников, уже не вспомнить кто, подарил мне его на день рождения в одном из младших классов, в каком точно, тоже не помню, но осталось впечатление, что Уленшпигель был со мной рядом все детство, уступая на время место персонажам Купера, Гюго или Жюля Верна, Кожаному Чулку или капитану Немо, но они уходили, а он всегда возвращался, никогда не бросал меня одного (на это была своя причина, о которой ниже). Отчасти это действительно был альбом по искусству, потому что множество страниц книги украшали великолепные, полностью затягивавшие меня иллюстрации Павла Бунина, и если многие приключения Тиля давно улетучились из памяти, то иллюстрации по-прежнему отчетливо стоят перед глазами: ощетинившиеся копьями армии на залитых солнцем равнинах, испанские галеоны и кренящиеся на волнах корабли гезов, хищная ухмылка Уленшпигеля, всегда нарисованного в каком-то кривом издевающемся ракурсе, скрестивший руки Клаас на костре, опустившая взгляд Нэле и Сооткин в высоком белом чепце, толстый Ламме, безжалостный герцог Альба в плоеном воротнике — я мог разглядывать их часами. На некоторых страницах текст занимал не больше четверти листа, тогда как иллюстрация свободно раскидывалась на весь разворот. Работы Бунина служили подспорьем детскому воображению, но, в отличие от кино, не подменяли его, позволяя самому обживать книгу, осваиваться в ее огромном просторном мире. Жуткий фильм Алова и Наумова по роману Шарля де Костера вышел, когда мне было десять лет, я уговорил маму повести меня на него, и это было ошибкой: на «широкоформатном» экране (помню восторг предвкушения, когда обычный экран раздвигался вверх, вниз и в стороны до широкого формата) был кромешный ад пыток инквизиции, герои распинались, калечились и поджаривались на огне самыми изощренными способами, даже для выросшего на фильмах о войне и ко многому привыкшего советского зрителя это было чересчур. В книге тоже были и пытки, и жестокость инквизиции, и костры с еретиками, и, например, убийца-рыбник, прокусывавший своим жертвам шеи вафельницей с острыми зубьями, чтобы думали, будто на них напал волк-оборотень, но вся эта жуть не заслоняла громадного разнообразного мира романа, полного веселья, приключений, сражений, жратвы, грубых шуток, мистики и даже любви. Впрочем, любовь меня в том возрасте еще совсем не интересовала. Вообще сейчас мне представляется, будто прочитывая в детстве главу за главой, я словно наблюдал в щелку за необъятным взрослым миром: каждый эпизод по-отдельности был понятен, но мир в целом не вмещался в детское воображение и оставался непостижимым, я подсматривал за тем, что не было для меня предназначено, и оно становилось от этого еще более влекущим. В детском восприятии нет эстетических критериев, и я зачитывался романом Костера не потому, что он хорошо написан — я и посейчас не знаю, как он написан, книги у меня больше нет, и я не могу оценить качество текста, — а потому, что это давало возможность приблизиться к героям, вместе с ними (но все же на безопасном расстоянии) испытать

их приключения, оглядеться в их восхитительном и страшном мире. Страшное, конечно, притягивало к себе сильнее всего (другим суперхитом в том возрасте был учебник криминалистики из родительской библиотеки с фотографиями расчлененных трупов, обеспечивший мне, когда я принес его в школу, популярность среди одноклассников), особенно когда ты в любой момент можешь захлопнуть книгу и убедиться, что оно тебе не грозит. Но и все Средневековье с его рыцарями в железных латах, крепостями и замками, королями и ведьмами, с его простыми и понятными страстями ближе детскому восприятию, чем другие эпохи человечества. Оно, кажется, лишь наполовину вышло из сказки и всегда готово в нее вернуться, и в то же время уже реально, уже принадлежит истории. Хотя я никогда не пытался соотнести роман Костера с подлинной историей, выяснить подробности борьбы Фландрии за независимость — книга обладала для меня неопровержимой самодостаточной действительностью, и что там было на самом деле, меня не особенно интересовало. Именно несомненная достоверность происходящего, складывавшаяся из таких вещей, как непотребные шутки Уленшпигеля, толстое брюхо Ламме, ломящиеся от снеди столы, и великого множества других, отличала роман Костера от остальных книг о Средневековье, например, романов Вальтера Скотта, которые я тоже заглатывал все подряд, но никогда к ним не возвращался, так что не помню из них ровным счетом ничего. Зато сцена смерти испанской герцогини (придворной дамы Филиппа Второго?) из «Уленшпигеля» запомнилась во всех подробностях, так что теперь мне даже кажется, что осознание смерти впервые пришло ко мне из книги Костера: болевшая герцогиня попросила принести ей в постель дыню, съела большой кусок, и ей стало холодно, начался озноб, она умоляла накрыть ее одеялом, потом еще одним и еще, но это не помогало, озноб не проходил, пока она не умерла. «И наследство получил король», — эта фраза, жутким рефреном проходящая сквозь всю книгу, завершала каждое описание смерти или казни.

Меня тоже часто бил озноб, когда на груди у меня лежала «Легенда об Уленшпигеле», и жар прожигал насквозь, как фламандских еретиков на костре инквизиции. Но причиной тому была не повышенная детская восприимчивость, а размеры и тяжесть книги, которой придавливали горчичники, когда я болел. А болел я часто, раза по три-четыре за осенне-зимний сезон, чем и объясняется, что Уленшпигель не расставался со мной все детство. Стоило начать кашлять или сморкаться, а столбику ртути в термометре под мышкой преодолеть планку тридцати семи градусов, и неделя прекрасной свободы была мне обеспечена. Не нужно было не только идти в школу, но и вообще вставать с постели, можно было валяться весь становящийся почти бесконечным день, пить чай с сухарями или лимонными дольками и читать. Никто от меня больше ничего не требовал, наоборот, родители заглядывали ко мне только затем, чтобы спросить, не хочу ли я чего-нибудь. В их голосах были сочувствие и забота, и нужно было следить за собой, чтобы не выдать, что я абсолютно счастлив, а то могли заставить что-то делать, скажем, учить пропущенное в школе. Только старый друг Уленшпигель мог разделить со мной мою радость, жаркое — все-таки температура — блаженство свободы. На школу мне было плевать, какое значение имеют алгебра и геометрия, когда гезы разворачивают корабли для десанта, Филипп Второй подписывает новые жестокие указы, а пепел Клааса стучит в мое сердце! Все мелкие неприятности простуды вроде кашля или больного горла я переносил легко, понимая, что это неизбежная плата за свободу, от насморка на переносицу клали носок, полный нагретой на сковородке соли, это помогало, а ежевечерние горчичники я даже любил. Помня о перенесенных

Уленшпигелем инквизиторских пытках, я давал себе слово вытерпеть, сколько смогу. И терпел до конца, до предела, когда жар горчичников достигал максимума и все тело пылало, а потом и за предел, когда терпеть становилось почти невозможно, совсем невозможно, окончательно невозможно. После этого нужно было продержаться еще немного, и охваченное огнем тело переходило в какое-то иное, почти отделенное от меня состояние, перед глазами плавал пульсирующий туман, но я знал, что теперь мне ничего не страшно, я могу выдержать пытки и никого не предать! Конечно, я устраивал себе такие испытания не каждый раз, но достаточно регулярно. Снимая с меня горчичники, отец или мать дивились моей выносливости и смазывали кремом следы ожогов. В награду за перенесенную пытку я получал разрешение еще полчаса или час почитать перед сном «Легенду об Уленшпигеле»

Дмитрий Шеваров, прозаик (г. Москва)

«У каждого дня была своя любимая книга»

О любимых книжках детства, особенно раннего, очень радостно и очень трудно говорить.

До школы книги были внутри того мира, в котором я родился. Они жили наравне с липами под окном, музыкой, облаками, камушками, речкой, снегом и бабушкиными пирожками.

У каждого дня была своя любимая книга. И это не обязательно плод писательских трудов в бумажной плоти.

Книгой был и детский радиотеатр, и грампластинка, а иногда просто потолок. Я просыпался ночью и видел, как свет и тьма сменяют друг друга на потолке, будто кто-то листает огромную книгу — это проезжала машина, освещая фарами дорогу.

Лет в пять или шесть книги отделились от всего остального, но и я будто отделился вместе с ними.

Книги так навсегда и остались родным моим окружением. В армии я сразу находил полковую или батальонную библиотеку, чтобы хоть на несколько минут оказаться дома. Счастьем было увидеть на полке знакомый корешок и взять в руки точно такую же книгу, какая осталась дома, у мамы.

Книга улыбалась и подмигивала мне, а я ей.

Как у каждого человека есть выражение лица, так у книги есть выражение обложки.

И не только одной обложки. Книга всегда или притягивает или отталкивает. И нельзя сказать, что тут все решает рисунок на обложке или цвет корешка.

Нет, тут есть что-то неопределенное, как сумерки, и из этих сумерек кто-то говорит с тобой, и ты сразу догадываешься — твоя это книга или нет. Ты еще не прочитал ни строчки, а уже чувствуешь книгу. Вернее, предчувствуешь. И это предчувствие редко обманывает.

А детей оно вовсе не обманывает. Наше притяжение в детстве к той или иной книге мы, и став взрослыми, объяснить себе не в состоянии. А если и находим объяснение, то это чаще всего что-то придуманное нами задним числом.

Любовь к книге, как и любовь к женщине, необъяснима.

Вспоминая свои любимые детские книги, я вспоминаю не сюжеты и не героев, а запах пыльного корешка, если книжка была старенькой, или запах типографии, клея и красок, если она была новой. Вспоминаю, как иногда между страниц встречались кончики ниток, они лезли из переплета.

И, конечно, картинки! Живость восприятия иллюстраций в любимой книге доходила до того, что я бесконечно возвращался к одним и тем же картинкам, каждый раз участвуя мысленно в изображенной сцене.

Почти все книжки, полюбившиеся мне в раннем детстве, к счастью, по-прежнему со мной. Поэтому мне легко их назвать.

Корней Чуковский. Джек, покоритель великанов, и другие сказки для детей. — М.: «Детская литература», 1966.

Подарок от мамы и папы к новому 1967 году. Иллюстрации Фёдора Лемкуля. Шедевр свободы, озорства и счастья. Каждый рисунок дышит и смеется.

Корней Чуковский. Приключения Бибигона. — М.: «Советская Россия», 1966.

Книжка от корки до корки придуманная Маем Митуричем. Она начиналась со слов: «Я живу на даче в Переделкине». Переделкино представлялось мне раем. Когда я первый раз приехал в писательский поселок, мне было уже за тридцать, но я принялся искать переделкинский рай. И нашел его в доме-музее Корнея Ивановича. Правда, дом оказался не одноэтажным, как на иллюстрациях Мая Митурича, а двухэтажным. В этом доме я обрел друзей на всю жизнь — Льва Шилова, Сергея Агапова и Павла Крючкова.

Лилиан Муур. Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду. — М.: «Детская литература», 1966.

Эта книжка — любимица нашей семьи в трех поколениях. Трехлетняя внучка постоянно приводила Енота в пример бабушке, которая робела лезть с ней на дерево или на высокую горку: «Бабушка должна быть храброй, как Енот!»

Виталий Бианки. Как Муравьишка домой спешил. — М.: «Детская литература», 1966. Рисунки Льва Токмакова.

Через сорок лет я познакомился с Львом Алексеевичем Токмаковым. Я приходил в его крошечную, как голубятня, мастерскую, располагавшуюся у «Речного вокзала». Как-то я посетовал на происходящее в стране, и Лев Алексеевич вспомнил свой давний стишок.

Бывают хуже времена:
Смотри налево из окна.

В начале 1960-х молодой и никому в Москве не известный художник Токмаков пришел в Большой Черкасский переулок, где располагался «Детгиз» и попросил, чтобы ему дали проиллюстрировать какую-нибудь книжку. Ему ответили: «Подождите в коридоре на диване». И вот он месяцами сидел на продавленном кожаном диване в полумраке коридора и ждал. Однажды он пожаловался на свою судьбу старичку-редактору. «Ты счастливчик, — сказал старичок, — бывали хуже времена...» А потом подозвал к окну: «Погляди налево...» А налево из переулка было видно здание на Лубянке.

Борис Ташев. Собака Клык. — София, 1966.

Болгарская книжка о пограничных собаках с брутальными рисунками поднимала мой боевой дух. «Клык знал, что нарушителя надо взять живьем...» Или вот: «Прогремели пистолетные выстрелы. Пирин лизнул пограничника в щеку и помчался по следу...»

Дочитав книжку, я выбегал во двор и тоже мчался по следу.

Виталий Коржиков. Что случилось на границе. — М.: «Детская литература», 1967.

Еще одна книга о пограничниках и пограничных собаках. Я читал ее в пору событий на Даманском, а в книге дело происходит как раз на таежной заставе близ границы с Китаем.

Илья Туричин. Три Андрюши и добрый волшебник. — Л.: «Детская литература», 1968.

Три мальчика не поделили во дворе книжку, она разорвалась на части и из нее выпал волшебник. Очень простая история с очень простыми рисунками, но мне почему-то нравилась.

Трехтомник Николая Носова с предисловием Валентина Катаева. — М.: «Детская литература», 1969.

Любимый том третий — там, где «Незнайка на Луне».

Сергей Баруздин. Шел по улице солдат. Рассказ о нашей армии. — М.: «Детская литература», 1969. Рисунки Анатолия Иткина.

Мальчишеская книга про летчиков, саперов, зенитчиков... Особенно меня впечатлял рисунок, где летчик катапультируется из самолета.

Р. Киплинг. Рикки-Тикки-Тави. — Л.: «Художник РСФСР», 1970.
Перевод К.Чуковского. Стихи в переводе С.Маршака. Рисунки В.Кудрова.

Подарок от мамы по случаю окончания первой четверти 2-го класса. Полюбил эту книжку с маминого голоса — она чудесно читала ее нам с сестренкой.

Юрий Гагарин. Вижу Землю... — М.:, «Детская литература», 1971.

Я очень любил космонавтов, а Гагарина, конечно, больше всех. Череда трагедий в нашей космонавтике — гибель Комарова, Гагарина, а потом Добровольского, Пацаева и Волкова — пришлась на мое раннее детство и навсегда осталась рубцами в памяти.

Для моих дочек это уже была давняя история. Космос их не очень интересовал, поэтому книжка о Юрии Алексеевиче Гагарине долго лежала без движения. Но вот появилась внучка, и неожиданно ее любимым героем стал Гагарин. Все, что с ним связано, страшно интересовало ее. Сейчас она уже в третьем классе, но Гагарина по-прежнему любит.

Мои дочери родились в конце 1980-х.

Старшая вспоминает как любимые «Пеппи Длинный Чулок» Астрид Лидгрен, «Пятеро детей и чудище» Эдит Несбит и «Маленькую принцессу» Бернетт.

Младшая мечтала лечить и выхаживать животных, поэтому очень любила доктора Айболита и все истории о нем.

Старшая внучка, третьеклассница, любит пушкинские «Повести Белкина» (особенно «Метель»), Виктора Драгунского и Юрия Коваля.

Пятилетний внук еще недавно любил книги про динозавров и космос, теперь обожает сказку Якоба Мартина Стрида про гигантскую грушу.

Эгвина Фет

Сом в летнюю ночь

Явление сома

В магазине
на витрине
за стеклянною стеной
сом глядел потухшим взглядом
в свой последний выходной.
Свой последний выходной,
где
рыб не ловят на обед,
где
не сажают их в посуду,
как изысканное блюдо,
а гуляют с ними в парке,
рассуждая о Ламарке.
Точно так же, как с котом,
точно так же, как с конём,
точно так же, как с шарпеем,
по аллеям,
по бродвеям,
по проспектам, авеню.
Сом винит природу рыбью,
рыбью всю свою родню
в том,
что не волен быть котом,
в том,
что не волен быть конём,
в хоре певчем быть дроздом,

Эгвина Фет (псевдоним; настоящее имя — Марина Григорьева) — поэт, редактор, издатель. Родилась в 1984 году в Ставрополе. Окончила пединститут Пятигорского государственного лингвистического университета, кандидат политических наук. Редактор литературного журнала «Балкон» (с 2017 г.). Автор книги стихов «Последних полевых букетов шапки» (Ставрополь, 2018). Живет в Ставрополе.

добывать себе червей
не с крючка,
не висеть на леске вместо,
вместо, вместо
червячка.

Сом глядел в своё окошко,
поправлял свои усы,
понял я в тот миг,
что сложно
мне оставить здесь сома,
потому что мы с ним схожи
в философии ума.

Я иду к себе домой
не с котом,
я иду к себе домой
не с конём,
а иду к себе домой
по проспектам,
по дворам,
как в бреду,
и сома на поводке
я веду.
Отчего сом стал так весом

Я сам сома растил и пас —
сом ростом стал с баркас.
Мой самоходный сом весом
среди морей и туч —
я приучал сома лежать,
сидеть, служить, бежать.
Не всякий сом гуляет псом
на поводке ума,
из неучёного сома
до знаний приставуч
стал сом, совсем как
этот, как, ну как его зовут.

С сомом мы вышли как-то раз
на травке погулять,
пусть я с ушами,
он безух —
нас путают всегда.
Соседка влюблена в меня,
а смотрит на сома,
меня зажарить для него
готовится она.

Всё потому, всё потому,
что ей не достаёт
сомовьей мудрости
понять, кто сом из нас,
кто я.

И каждый всякий, кто когда
посмеет усомниться
в сомовьей мудрости ума,
пусть воспитает сам сома
и будет им гордиться.

Ночь скребётся о газон

Я когда-то был несмел
и признаться я не смел
в том, что я боюсь без лампы
засыпать, поддавшись страху.
Я лежу под одеялом
и дрожу под одеялом.
Страх внутри меня растёкся,
как малиновый компот,
он внутри меня мурлычет,
он внутри меня поёт —
мыр-мыр-мыр.
Но я не трус,
утром я с ним разберусь.
Буду я большим и грозным,
как неспелый абрикос,
и опасным, ядовитым.
Если кто меня надкусит,
если страх ко мне подпустит,
сам скорее пусть страшится
и лежит под одеялом,
и дрожит под одеялом,
я его страшнее стану.

Целый день хожу, рычу,
униматься не хочу.
Лёг в кровать,
а сон боится,
не приходит засыпать.
— Мыр-мыр-мыр, —
зову я сон.
Ночь скребётся о газон.
Чешет спину сонный сом.

Только я один не сплю,
будто спать я не люблю,
будто спать я разучился
и ни разу я не спал.
Но зато я излечился,
страх из комнаты изгнал.

Смысл бытия

У меня спросила речка,
у меня спросил кузнечик,
отчего сирень линяет,
кони по полю гуляют,
совы песни не поют,
знают только у-да у-,
лев рычит и ловит ланей —
узник низменных желаний.
Кони, совы, сом и я,
лани, в поле полынья, —
ничего не смыслим в этом
содержаньи бытия.
Я лежу, мурчу и в этом
содержание моё,
и по всем моим приметам,
и по всем моим повадкам
мне со мною повезло.

Сюзанна Кулешова

Игры индиго

Роман

Тарас и море

Тарас с разбегу ныряет в море, плывет до глубины, переворачивается на спину, лежит, глядя в небо, слушает. Море покачивает, поет на разные голоса, небо лепит барельефы. В вышине собирается армада имперских кораблей, и вот-вот начнется бой. Но что-то идет не так, и вместо флагманского крейсера Тарас видит фигуру девчонки с поднятыми вверх руками — Марина.

Тарас зажмуривается, уходит в глубину, открывает глаза. В зеленоватом пространстве проплывает розовая медуза с пурпурными щупальцами. Следом другая, с рыжими, третья, четвертая, много медуз — август. Море наполнено звуками: вот где-то поют афалины, под Тарасом попискивают мальки тараньки, а медузы молчаливы.

До Адаларов метров сто. Мало кто в поселке отважится вплавь добраться от берега до скал. Тарас еще два года назад проплыл на спор это расстояние. И теперь он часто повторяет свой подвиг. Хотя какой это подвиг? Проплывет треть пути или даже половину, полежит, помечтает. Море само его подтянет ближе. На скалах он забирается на вершину одного из братьев смотреть вдаль.

Он возвращается домой поздно. Мать вздыхает, молча ставит на стол яичницу с пампушками и уходит в свою комнату. Ей вставать рано, она работает в Артеке. Зимой учителем литературы в школе, летом вожатой.

В москитную сетку на окне бьются мотыльки, летящие на свет. Огромный хрущ врезается, обиженно чихает надкрыльями и падает в траву. Воздух наполнен пением летучих мышей, — для Тараса это лучшая колыбельная. Непонятно, почему никто не слышит ее. Он выключает свет, — жалко жуков и мотыльков. За окном ухает волна и рокочет галькой, отступая обратно в море.

«Марррина», — слышит Тарас, засыпая.

Кулешова Сюзанна Марковна родилась в Ленинграде. Окончила Горный институт по специальности «Палеонтология». Печаталась в журналах «Нева», «Аврора» и других. Лауреат литературных конкурсов. Живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 4.

Отчаянно кричит дельфин.

Рассвет слегка поранил горизонт, ставший цвета свежей ссадины. Начало шестого. Тарас, словно во сне, выскальзывает из дома, бежит к морю. Он окончательно просыпается, лишь коснувшись ступнями остывшей за ночь гальки. Прямо у кромки воды бьется дельфин. Волны ласково тянутся к нему. Ночью был шторм, и этого бедолагу выбросило на берег. Тарас пытается помочь. Но афалина, хоть и такой некрупный, метра два всего, подросток, весит не менее ста килограммов. Скоро солнце полоснет его нежную спину, высушит, и конец. Тарас будто сам чувствует ожог между лопаток. Он бежит в поселок, в корпус, где живет доктор Николай Андреевич. Стучит, никто не отвечает, но дверь не заперта.

— Скорей, там дельфин на берегу!

— Что? Что случилось? — доктор не может проснуться.

— Дельфин! Там! Он погибнет!

Тарас пытается объяснить, но мысли путаются. И вдруг, неожиданно для себя самого, кричит, как дельфин.

Николай Андреевич, как ни странно, понимает:

— Показывай, где!

Солнце скользит по берегу, подкрадываясь к дельфину, море посылает волну за волной, чтобы смочить высыхающую кожу. Метрах в десяти от берега плещется стая.

Николай Андреевич сдирает рубашку:

— Давай!

Тарас расстилает ее сбоку от дельфина, держит ногами и руками, стоя на четвереньках, пока Николай Андреевич перекатывает на нее почти безжизненное тело. Море, волнуясь, подбивает Тараса под колени, и он оказывается на темно-синей спине дельфина, примяв треугольный плавник. Держа рубашку за рукава, они оттаскивают дельфина в воду.

Пара мгновений, и тот несется к своей стае.

Тарас хлопает руками над головой, а метрах в пятнадцати из моря высовываются дельфиньи головы, кивают и щелкают.

— Они смеются! Они благодарят! Вы слышите?

— Ты что? Караулил здесь всю ночь? — Николай Андреевич тоже смеется.

— Всю ночь? Нет. Я спал. Мне приснилось, что кричит дельфин.

Врач глядит на Тараса, который носится по берегу и хлопает в ладоши над головой в такт кивающим дельфинам.

— Интересный парнишка.

Николай Андреевич раньше работал педиатром в Санкт-Петербурге. Но четыре года назад перевез в Крым свою жену и семилетнего сына, которому не подошел родной северный климат. Теперь он отвечает за здоровье артековцев и всех гурзуфских детишек.

Сын Лёвка и Тарас — одноклассники.

Тарас оказался чуть ли не первым его пациентом.

— Только, пожалуйста, никому не рассказывайте, ладно? Он у меня странный, — мамаша застенчиво улыбалась, теребя семилетнего пацана за рукав рубашки.

Выразительно глянув на доктора, она подвела сына к окну, а сама присела на детский стульчик около стола.

— Ну что вы? — доктор произнес положенные слова о конфиденциальности и прочих правилах. — Так чем странный-то?

— Понимаете, я его без мужа родила, — зашептала она, чтобы сын не расслышал. — Отца биологического мало знала, к сожалению. Он тоже приезжий был, из Питера вашего. Тоже медик. Влюбилась, — она застенчиво пожала плечами и оглянулась на Тараса. — Он необыкновенный и странный немного. Может, это генетическое что-то?

Доктор понимающе кивнул и продолжил терпеливо спрашивать:

— А странности какие?

— Говорит, что слышит море, — мать покраснела. — Не в том смысле, что шум волн, как все мы слышим, а в том, что море у него разговаривает.

— Ну, — врач рассмеялся. — Скорее всего, детское воображение. И пусть. Ничего странного. Здоровый парень! Так? — он обратился к Тарасу, который в это время с интересом изучал стетоскоп.

— Здоровый, — Тарас полностью скопировал интонацию.

— Так еще и летучих мышей. Это же ультразвук, — мать понизила голос.

— Ну-у-у, — протянул доктор. — Чем мыши-то хуже моря? Пусть забавляется. Главное, чтобы не болел, как думаете?

Мать неуверенно кивнула, и доктор продолжил:

— Отставаний в развитии нет. Не вижу никаких оснований беспокоиться. Радуйтесь, что ребенок с воображением.

— Да я все понимаю, — вздохнула она. — Сама учительница. Литературы. Так что про воображение можете не рассказывать. Все это просто, когда ученики, и сложно, когда родное дитя.

Как-то само собой получилось, что доктор с семьей стали частыми гостями в доме Тараса, вместе встретили Новый год, а в конце мая, когда гурзуфские мужики залатали и просмолили баркасы, Лёвка уговорил отца взять Тараса на рыбалку.

Вышли затемно, море тихо вздыхало, лодка легко скользила. Планировали поднять расставленные загодя неводы и немного порыбачить удочками для удовольствия. Вряд ли в эту пору стоило ждать большого улова, — основной нерест еще не начался.

Однако, когда втащили сети, среди всякой мелочи — тюльки, бычков, барабульки и нескольких приличных скумбрий, — по дну лодки забился огромный, около метра длиной луфарь.

— Ах, ты ж! — вскрикнул кто-то из рыбаков.

— Да не может быть! — радостно подхватил другой.

— Почему не может? Вот же он, — Лёвка постарался придать суровости дрожащему от восторга голосу. Он первый раз видел такую рыбину.

— А потому не может, — усмехнулся Николай Андреевич, — что, во-первых, рыба эта стайная, а во-вторых, вроде, не время им еще. Невесть откуда дуралей этот взялся.

— Не время, — пробасил самый старый на баркасе рыбак в бандане, похожий на капитана пиратского судна. — Да только вот что скажу: подошли косяки скумбри*и*, — он сделал ударение на последнем звуке. — На пару недель раньше. Бывает. А за ней, как водится, и эти прут, — проглоты. Повезло. Андреич, тебе и отдадим, накормишь мальцов своих. Царь-рыба! Жаль, один. Но где один, там и другой.

Тарас смутно слышал все эти разговоры. Он не отрывал взгляда от огромной рыбины, которая билась на дне лодки, судорожно хватая ртом воздух, и чувствовал что-то странное — как будто он сам эта задыхающаяся рыбина. Глаза луфаря, выпученные, огромные, казалось, уже подернулись предсмертной мутью, и Тарас

разглядел в них ужас и отчаяние. А потом услышал крик. Он даже закрыл уши руками и посмотрел на Лёвку, на остальных, но они галдели и явно не слышали рыбьего плача.

— Ему плохо. Отпустите его, — Тарас вцепился в штанину Николая Андреевича. Но тот лишь улыбнулся:

— Не бойся, малыш, он не укусит.

Один из рыбаков поднял луфаря за жабры.

— Кило десять, не меньше!

Рыба изловчилась и вырвалась. В жабрах показалась кровь, и Тарасу стало душно. Ему почудилось, что воздух сделался пустым, в нем исчезло все, чем дышат. Он хотел крикнуть, но лишь прохрипел что-то невнятное. Однако у него достало сил ухватить рыбину поперек туловища, а та, понимая, замерла, и дотащить ее до высокого борта. Он даже залез на какие-то снасти с луфарём в объятьях и перевалил его через край. Но и сам не удержался и оказался в воде.

— Ты что?! Придурок?! — орал Лёвка, когда Тараса втащили в баркас. — Слышал? Это же царь-рыба! А ты!

— Зачем ты сделал это, малец? — «пират» сурово смотрел прямо в глаза Тарасу. — Он же все равно подохнет с жабрами-то...

— Не подохнет, — неожиданно твердо проговорил Тарас.

— Рыбку ему жалко стало! — продолжал Лёвка. — Заплачь еще!

— Лёва, прекрати! — Николай Андреевич не улыбался, и Тарас не понял, на чьей тот стороне. — Ладно. Не ругайте вы его. Все равно рыбу хотели мне отдать, считайте, отдали.

— Да при чем здесь!.. А, пропади всё!.. — не унимался кто-то из рыбаков.

Лёвка снова заорал:

— Ты знаешь, какая это примета?! Знаешь?! Все лето улова не будет!

Тарас теперь сидел посреди баркаса, как луфарь, лишенный родной стихии, а вокруг стояли взрослые мужики и приятель Лёвка, и все смотрели на него как на врага. Но это и придало смелости:

— Глупая примета, — отрезал он. — Считайте, что принесли дар Нептуну.

И отвернулся от них ото всех, прислушиваясь к доброжелательному пению моря.

«Люди! — думал он, — что с них взять? А он-то кто? Если рыбу услышал. Не рыба же?!»

Однажды мама сказала Тарасу, когда он задал «тот самый вопрос», что встречает он своего отца каждый день. Что муж ее, и, стало быть, отец Тараса, — само Чёрное море. Поэтому имя у него такое. Ведь Тарас — сын самого Посейдона и нимфы Сатирион. Вот история и повторилась, как это часто бывает. Саму легенду он так и не узнал, мама сказала, что никому не известно, что там случилось в древние времена, но в свое происхождение поверил. Кому же, как ни морскому сыну, слышать жалобы подводных обитателей?

Он так и сказал вечером пацанам, которые собрались на пляже и дружно хохотали, услышав Лёвкину версию о спасении луфаря.

— Ну ты даешь, Тараска, — Денис-второгодник ухмыльнулся то ли презрительно, то ли снисходительно. — Ты чего? Правда, не знаешь, откуда дети берутся?

— Рождаются, — Тарас пожал плечами. — Кто ж не знает?

— Ага, — Денис подкинул камешек и ловко поймал его. — А до того?

— Что до того? — не понял Тарас.

Все покатились со смеху.

— Ой, не могу! Ой, не знает! — Лёвка стонал, ухватившись за живот.

— Слухай сюда, — Денис наклонился к лицу Тараса, словно собирался его укусить. — Хотя нет. Лёвчик, иди ты, просвети одноклассника. А мы трохи покурим-послухаем!

Лёвка стоял, широко расставив ноги, руки держал в карманах, старался быть похожим на Дениса.

— Ну чё? Рассказать? Или в книжке прочтешь? Ты же любишь книжки читать? — ехидничал Лёвка.

— Не-е, расскажи ему, — потребовали пацаны. — Охота посмотреть, как он застремается.

И Лёвка все поведал в мельчайших подробностях, не очень-то подбирая выражения. А в конце наградил мать Тараса такими эпитетами, что тот не выдержал, нагнулся, поднял пригоршню мелких окатышей и запустил прямо в лицо давешнего приятеля.

— Ты, что! Сказился?! — слышал он в спину крики пацанов. — Ты ж ему фасад попортил!

Но Тарасу было все равно, он бежал к воде. Мать обманула! Он был уверен, — то, что рассказали пацаны, — правда! Непонятно почему, но плохое — правда! Да и как может быть иначе, если все так просто? Проще некуда! И она врала! Врала! А над ним все смеются!

Он с разбегу плюхнулся в легкие ласковые волны, но обычно приятные ощущения сейчас злили, словно море было соучастником лжи.

«Ах так, — решил Тарас. — Значит, мой отец — Чёрное море! Отлично, мама! Пусть он меня теперь и забирает к себе».

Тарас плыл, плыл туда, за буйки, за сети, в открытое, еще холодное море, он не собирался поворачивать назад ни за что. Он ничего не слышал, что кричали ему с берега, не видел, как Денис попытался броситься следом, но быстро замерз, отстал и вылез из воды, как Лёвка побежал в поселок. Он хотел только одного — больше никогда никого из них не видеть. Даже мать.

Наконец он понял, что выбивается из сил, лег на воду и стал ждать конца. Он надеялся, как слышал о тех, кто оказался в холодной воде, у него начнутся судороги, он утонет, и не понимал, почему совсем не чувствует никакой температуры, словно море такое же теплое, как и он сам. И пусть. Рано или поздно он окоченеет, но ничего не станет делать, — будет лежать вот так, пока этому гадкому морю не надоест. Через некоторое время он задремал, но ничего не произошло, наоборот, стало легче. И тут почувствовал нежное прикосновение к спине, и еще услышал пение и стрекот, щелчки и покашливание, и увидел словно не глазами, а сразу мозгом, смеющуюся дельфинью физиономию. Он перевернулся на живот, — вокруг плескалась стая небольших дельфинов-афалин. Они играли и приглашали Тараса порезвиться вместе. И он все забыл: кто он и что произошло. Стало легко и весело. Он тоже начал стрекотать и щелкать, и у него неплохо получалось — дельфины дружно закивали ему и запрыгали еще выше. Он резвился с ними, пока вдруг не почувствовал, что достает ногами дно. Оглядевшись, Тарас понял, что находится на косе относительно недалеко от берега, и отсюда, даже сильно устав и замерзнув, можно легко доплыть до пляжа. Эти хитрецы спасли его. И тут что-то обрушилось, что-то огромное, чистое и приятное. Нет, не обрушилось, а опять проникло внутрь, минуя органы чувств. Это было *з н а н и е*. Вот так бы учебники загружались. Сейчас он четко ощущал, что чуть было не совершил в буквальном смысле слова смертельную ошибку. Пацаны-то ни при чем. Они вели себя по пацанским правилам. Это ему, Тарасу, пока ума не хватает понять, что к чему, раз чуть глупостей не наделал. Но и это нестрашно, это даже

нормально, это со всеми бывает, — глупости делать. А мама у него самая лучшая в мире. И не лгала ему! Не всегда все бывает так, как хочется, и, если у кого-то что-то не получилось, он совсем не виноват и не должен быть наказан. Кто бы что ни говорил. А ведь Тарас собирался наказать именно маму за ложь, за то, что сделала, за то, что не смогла удержать отца. «Удержать» — какое слово плохое! Он ощутил боль, которую мама бы чувствовала, не вернись он сегодня домой. И вот эта боль была гораздо сильнее, чем та, что он испытал после слов Лёвки. Он оглянулся, дельфины плавали вокруг, словно ждали чего-то.

А зачат он был в море — это было еще одно знание, которое родилось внутри. Так что не обошлось без Посейдона.

— Спасибо, — сказал Тарас.

Дельфины запрыгали, защелкали, закивали. И понеслись прочь от берега. Тарас вернулся на пляж.

Там собрались чуть не все жители Гурзуфа: «пират» готовил баркас разыскивать утопленника, Николай Андреевич держал за руку Лёвку, у которого вся физиономия была в зеленке, Денис, укутанный одеялом, и вся их компания теснились в сторонке, как чайки, напуганные наплывом отдыхающих, а посередине — заплаканная мама.

— Я хочу узнать, что здесь произошло? — услышал Тарас строгий голос доктора.

— Это я Лёвку, — буркнул он.

— Я хочу знать, почему ты полез в эту холодную воду! — Николай Андреевич почти кричал и тряс рукой, указывая на море.

— Да не холодная она, — Тарас не сменил тона.

Он быстро взглянул на Лёвку, тот шмыгал носом.

— Хорошо. Еще раз. Что произошло между тобой и Лёвой перед тем, как ты бросил в него гальку?

Тарас хотел сказать что-то вроде «это наше мужское дело, сами разберемся, все живы, и слава богу», но вот этих-то слов и не нашел, поэтому пожал плечами:

— Ничего.

— Но ведь он тебе сказал что-то. И это связано с этим неладным луфарем? — не унимался Лёвкин отец.

— Не-а, не связано, — Тарас первый раз за весь разговор взглянул в глаза доктору.

— Тогда что? Ладно. Лёва признался, что обидел тебя, но не говорит, как. Я должен знать! — настаивал Николай Андреевич.

— Зачем? — вдруг выпалил Тарас. — Ведь все закончилось.

Доктор внимательно смотрел на Тараса, который теперь не отводил взгляда.

— Возможно, ты прав, — наконец проговорил он. — Надеюсь, мой сын однажды наберется смелости и расскажет все сам. Но я должен тебя осмотреть, ты долго пробыл в холодной воде.

Купание вообще никак не отразилось на здоровье Тараса, и доктор, поразмыслив, пришел к выводу, что жизнь в Крыму, на побережье, закалила детский организм. Тарас все больше нравился Николаю Андреевичу, он был доволен, что они с Лёвкой дружат. А подрались, — так какая мальчишеская дружба без драк.

Лёвка и остальные пацаны никогда больше не касались того, что произошло в тот день на берегу, и, казалось, все забылось и никто особо не замечал, что Тарас стал больше времени проводить в море, где-то на скалах или в труднодоступных бухточках, которых полно в районе Гурзуфа. Тарас не обижался, просто ему было неинтересно с людьми, больше тянуло к дельфинам и рыбам. А с Лёвкой? С Лёвкой они — приятели. Этого достаточно.

Однажды к маме приехала в гости бывшая однокурсница по университету. С дочерью.

— Привет, Тарас, сын Сатирион. Я — Марина, — девчонка протянула ладонь поздороваться.

— С чего это? — Тарас не спешил с рукопожатием.

— Разве ты не знаешь, что значит твое имя? — Марина усмехнулась.

— Знаю. И что? Я сын своей мамы, — Тарасу не хотелось продолжать разговор, но гостья задорно рассмеялась:

— Да брось! Я просто подружиться хочу! Пошли купаться. Только я плавать не умею. Научишь?

— Научу, — буркнул Тарас и тут же понял, что девчонке слишком просто удалось втянуть его во что-то непонятное.

Но так и быть, она старше, и она — гость!

Уже через пару дней Тарас рассказал Марине и про дельфинов, и про луфаря. А Марина слушала и все понимала!

— Как хорошо, что дельфины тебе помогли, — прошептала она, когда Тарас закончил рассказ. — А как ты слышишь их голоса в море? Человек же не может слышать в воде.

— Я сам об этом думаю, — пожал плечами Тарас. — Может быть, я мутант.

— Я знаю, кто ты! И даже вижу! — вдруг выпалила Марина. — Ты — индиго!

— Кто?

— Индиго! Ну, как ты не слышал?! Ты же столько читаешь и в интернете роешься про своих китообразных да ластоногих! А таких простых вещей не знаешь?!

Марина поведала Тарасу об ауре человека и о том, что новая раса — это дети с синим сиянием. И что она, Марина, наверное, тоже, потому что иногда видит ореолы вокруг людей.

— Да ну, — сказки это, — смутился Тарас и тут же понял, что ляпнул глупость. — Прости.

— Забей, — Марина глянула исподлобья. — Я пошутила.

Она отвернулась от Тараса и пошла в сторону поселка.

Тарас бросился следом. Ему хотелось остановить ее, слушать про загадочных индиго, о которых на самом деле читал, но думал, что это фантастика.

— Марина, ну, прости! Ну, правда!

— Это песни твоих летучих мышей — сказки! — отрезала она, не останавливаясь.

Он забежал вперед и вдруг нашел нужные слова:

— Я просто смутился. Я читал про индиго, но не поверил, что это может быть правдой, и, вообще, что это про меня даже может быть.

— А про кого же? — она лишь прибавила ходу.

— Ну-у, про тебя. Ты же ауру видишь, — он снова обогнал ее.

— Ну, а я про что? Я вижу, ты слышишь. А знаешь, что я еще вижу? Ты никому не веришь на самом деле. Ни мне, ни маме, ни приятелю своему Лёвке, ни себе. Так, снизошел до простых смертных, до меня, например, позволяешь находиться рядом, особенный ты наш! Кстати, я с большим трудом разглядела твой цвет! Надо же так закрыться от мира! Подумаешь, глупостей ему в детстве наговорили!

Тарасу было обидно слушать это. Он злился на себя и хотел закончить разговор, но и не отпускать Марину, потому что без нее станет только хуже. И вдруг ни с того ни с сего выпалил:

— Хочешь с дельфинами поплавать?

Она остановилась:

— Хочу! А как? Я же не доплыву туда, до глубины, за буйки, где твои дельфины.

— Я лодку возьму, — обрадовался Тарас.

— Спасибо тебе. Никогда ничего подобного не чувствовала, — пару часов спустя Марина смотрела на Тараса так, что ему хотелось провалиться сквозь землю и тут же вылететь в небо, как дельфины выпрыгивают из воды. Но он просто спросил деловым тоном:

— А у дельфинов есть аура?

Марина задумалась, закрыла глаза и вдруг крикнула:

— Какой ты молодец! Я бы забыла. Есть! Она темно-темно-синяя, как кобальт, знаешь?

Он кивнул.

— Ну. Вот. Только прозрачная. Нет, — глубокая, как... как... — от переполняющих чувств она не могла найти подходящего сравнения.

— Как космос? — тихо подсказал Тарас.

— Да. Ты тоже видел?

— Я рядом с ними все время что-то вижу. Но только как будто внутри себя, а не глазами. И вот эту синюю глубину неба очень часто. Знаешь, говорят, что на юге черные ночи. Это неправда. Это лужи ночью черные, а море и небо никогда. Говорят, космос черный. Это тоже неправда, — он синий.

— Я даже верю тебе, — она легонько коснулась его плеча.

— Даже, — буркнул он.

— Нет, правда, — Марина перестала смеяться. — Расскажи, что ты видишь. Когда плаваешь с дельфинами.

И Тарас, сначала сбиваясь, потом все увереннее, стал рассказывать о каких-то образах, о совсем неземных ландшафтах, которые для себя окрестил иными мирами, о странных существах, которых он не видел, а только чувствовал их доброжелательное присутствие.

— Ты не смейся только, — закончил он.

— Да тут ничего смешного, — Марина и правда была серьезной.

— Я подумал, может, дельфины показывают мне, как они видят наш мир. Ведь уже доказано, что они — телепаты.

— Слушай, — Марина резко повернулась. — А давай пока так и думать. Ведь это больше всего похоже на правду. А когда ты вырастешь... Вот ты кем хочешь стать?

— Да я как-то пока... — промямлил Тарас.

И она передразнила:

— «Как-то пока...» Тебе нужно стать специалистом по дельфинам и все это изучить. Это же твой смысл жизни! Я тебе сейчас расскажу!

И Марина расписала план Тараса на ближайшее десятилетие. Жизнь Тараса тут же изменилась — у него появилась цель. И путеводной звездой стала Марина. Весь учебный год они общались ВКонтакте, строили планы на будущее лето.

А потом наступило лето, и Марина написала, что в августе приедет в Гурзуф.

— Тарас! Тарас! — голос прорезается сквозь дельфинье щелканье.

— Приехала! — мысль расцвела в мозгу долгожданным бутоном, и Тарас несется к берегу, коротко щелкнув на прощанье ухмыляющимся афалинам.

На берегу он видит двоих.

— Знакомься. Это — Кирилл, мой... — Марина смущается, бросает взгляд на парня, стоящего рядом с ней. — Мой одноклассник и друг.

Море резко холодное, и солнце неприятно ярко режет по глазам, когда Тарас пытается оглянуться, чтобы увидеть, ушла ли дельфинья стая, ему хочется немедленно вернуться к ним.

— Ты чего? Не рад, что мы приехали? Ну, Тарас! — Марина ничуть не изменилась за год. Словно они вчера расстались. А Тарас другой, он прожил целый год без Марины, он ждал ее все это время. Кто такой этот Кирилл?

— Вы подружитесь, — вдруг немного обиженно говорит Марина.

Тарас молчит.

— Он — считающий ворон, то есть — считает ворон, — то ли хихикает, то ли всхлипывает она.

Тарас медленно поворачивает голову и первый раз смотрит в глаза парню:

— Как это?

— Я слышу, что они думают, — улыбается Кирилл. — А они слышат меня.

— Только воро*н*ы? — Тарас с неохотой признает, что Марина права, подружиться можно.

— Пока только вороны. И... я думаю, может быть, мы и правда подружимся. Уж Доктор нас точно подружит.

— Какой доктор? Николай Андреевич?

Марина толкает Кирилла в бок:

— Он еще не знает. Он не знает, что мы, скорее всего, уедем отсюда вместе. Вместе, Тарас! Мы будем учиться в одной школе. У Доктора. И это не Николай Андреевич.

Считающий ворон

Все началось с похорон, когда бабушка крикнула матери:

— А я вам говорила, — он — зло! Беду в дом с ним принесли!

Или раньше? Когда воспитательница трясла его за плечо, а он никак не мог проснуться:

— Да что же такое?! За ним родители приехали! А он дрыхнет!

Он ждал этого, наверное, больше всех, но теперь не верил тому, что слышал. Казалось, сон продолжался, когда он стоял в коридоре босиком, в одной пижаме.

Он не помнил, как выглядели его родители, но эти двое с зовущими улыбками были не они. Тогда Кирилл повернулся спиной и пошел прочь. Воспитательница остановила его, улыбаясь чужакам особенно радушно.

— Не расстраивайтесь, — детки у нас непростые, сами знаете.

— Да мы понимаем, — женский голос показался Кириллу приятным, и он обернулся. — Подойди ко мне, малыш, давай познакомимся.

Воспитательница подтолкнула в спину, он сделал маленький шажок, — чего им нужно? Зачем знакомиться?

— Поедем домой, — мужчина протянул Кириллу руку, но тот стоял как вкопанный, только таращил глаза поочередно на каждого из взрослых и совершенно не понимал, что происходит.

— Он не глухой? Не немой? — встревожился мужчина.

— Нет-нет, что вы, — поспешила успокоить воспитательница. — Он здоровый

мальчик. У него все в порядке. Только не говорит пока. Многие детки до пяти лет не разговаривают. А потом как начнут болтать без умолку, — ой! — она махнула рукой. — Но, сами понимаете...

— Будем надеяться. Наш Севка кого угодно разговорит. Пойдем, малыш, — улыбнулась женщина.

Кирилл не шевельнулся, и воспитательница снова слегка подтолкнула его в спину:

— Ну что ты? Иди-иди. Это твои новые папа и мама. А еще у тебя есть старший братик. Иди.

«Зачем новые? — думал Кирилл, — когда он своих ждет? А что будет, если они придут, а его нет?» Он хотел сказать это. Но рука мужчины уже сжимала его ладошку, и привычный сухой ком сдавил горло.

А может быть, это началось еще раньше, но только Кирилл никак не мог вспомнить, что случилось. А тому, что иногда кричала бабушка: что его отец убил мать и теперь сидит в тюрьме, он не верил, — она все время что-то кричала, говорить вообще не умела. От этого Кирилл совсем расхотел издавать какие-либо звуки.

Новая мама пела. Кирилл решился подпеть, но слишком долго собирался, даже стал раскачиваться на стуле, чтобы подтолкнуть себя и освободить звук, застрявший внутри, словно окаменевший, как бабушка одернула его:

— Не качайся! Свалишься! Не хватало еще, чтобы шею себе свернул! Господи, не имела баба хлопот, — купила порося.

Кирилл не понял, что она имеет в виду, и сжался пружинкой.

Он часто слышал, как взрослые шепчутся за его спиной про немоту да слабоумие. Только Севке было без разницы, он и не замечал, что Кирилл не говорит, сам болтал за двоих, с ним было легко и спокойно, и Кирилл подумывал заговорить. Нужно бы что-то важное сказать, особенное, ведь это будет его первое слово. Но как только он был готов, что-то происходило, и дыхание перехватывало, жирный ком сдавливал горло и выпускал только противный бессмысленный хрип.

И в тот день, когда мокрый мячик, побывавший во всех дворовых лужах, выскользнул из рук и бросился вон со двора на улицу, Кирилл видел грузовик, въезжающий в ворота. Горло всклокотало, словно бы каркнуло, этот звук подхватили вороны, сидевшие на ветвях, и Севка оглянулся, а лучше бы не оглядывался. Грузовик затормозил, но поздно. А вороны каркали всё неистовей. Кирилл не знал, что люди приписывают воронам всякие беды, он-то слышал тревогу и плач по птенцу.

Кирилла не вернули в детский дом, несмотря на уверения бабушки, что он — главное зло. Она сама, чертыхаясь и крестясь одновременно, собрала свои вещи и уехала. А Кирилла стали водить по врачам.

— Я не вижу никаких причин, кроме психологических, в его немоте, — сказал очередной доктор. — Терпите, разговаривайте с ним. Постепенно заговорит. Вы сами, мамаша, чернее тучи, надо жить дальше. Я понимаю ваше горе. Но вы взяли сироту, если будете так убиваться, ему точно не поможете. Что теперь поделаешь. Вы молодая...

Доктор много говорил, мама плакала, папа ждал в машине, а Кирилл чувствовал, что Севка стоит за спиной.

Прошел год, Кирилл молчал, и его определили в школу для слаборазвитых. Никто не знал, что читать и считать он выучился еще с Севкой и давно знал наизусть все книжки на полке в детской. А когда взял томик в кабинете отца, услышал:

— Не тронь, Кирюша. В этих книжках картинок нет.

Книгу он поставил на место и принялся за учебники, оставшиеся после брата.

В школе делать было нечего. Он кое-как, не стараясь, выполнял нехитрые задания и читал учебники для старших классов.

— Странный он, — говорили учителя. — Возьмет книгу с полки, любую, и смотрит в нее, словно читает. Аутизм по-разному себя проявляет.

После уроков он садился на лавочку во дворе. И считал ворон. Буквально. А они стремились его запутать, перелетая с места на место, громко каркая, кружили над головой, мешали сосредоточиться. Он придумывал разные способы угомонить их: то несколько шкурок сала кинет, то кусочки колбаски. Но вороны тоже не дуры, — догадались, и стал Кирилл замечать, что птицы выбирают дежурного, который собирает и приносит подачки всем членам стаи. Чаще всего это был старый крупный самец. Кирилл понял, он — главный, и начал предлагать ему корм из своих рук.

Старая птица опустилась метрах в трех от Кирилла. Тот неподвижно держал на вытянутой руке лакомство. Ворона наклонила голову, левым глазом внимательно следя за мальчиком. И Кирилл подумал, что смотрит она прямо в душу. Кирилл сосредоточился. Он так делал, когда слушал музыку или пространство вокруг, словом, когда надо было только слышать, ни о чем не думая. Это получилось однажды само собой во время дождя и доставило удовольствие.

Сначала шумел город. Где-то летел самолет. Не один, три-четыре — два из города, удаляясь. Поезда перебивали друг друга, — не сосчитать, автомобили пели нестройным хором, а что-то очень стройным, — это ЛЭП. Ворона глядела в душу беззвучно, но не безучастно. Кирилл отчетливо подумал: «Не опасно», — только эти два слова. Птица сделала пару прыжков к нему и шарахнулась в сторону. Кирилл снова сосредоточился. Ему показалось, он догадывается, в чем дело, и тряхнул головой, словно все посторонние мысли должны выпасть из ушей, подумал: «Подойди и возьми». Птица приблизилась на четыре прыжка. «Не опасно?» — мысль появилась в его голове. И она была не его! Он снова сосредоточился изо всех сил, стараясь вообще ничего случайно не думать, кроме: «Подойди и возьми». Птица, смешно свесив голову на бок, подскакала совсем близко и потянулась к угощению. «Бери», — проговорил мысленно Кирилл, и ворона, осторожно взяв ветчину, мгновенно убралась подальше.

От напряжения у него заболела голова, и он решил больше не продолжать своих экспериментов в этот день.

Целый год Кирилл договаривался с воронами. Они уже не боялись его и садились на плечи, шевелили клювами волосы, словно перья чистили. А соседи начали поговаривать, что права была бабка, и мальчишка этот детдомовский — одержимый, сатанист, антихрист и прочее. Кириллу было все равно, — он ни с кем, кроме ворон, во дворе не общался. А мама насторожилась.

— Что с тобой, маленький? — заговорила она однажды вечером после того, как он в очередной раз на виду у всего двора прогуливался с дикой вороной на плече. — Я понимаю, ты молчишь, вот детки с тобой и не играют. Но вороны?!

Он старался улыбнуться, выходило не очень — судорога сводила мышцы, и получалась кривая ухмылка, мама это понимала, других раздражало.

Она вдруг заплакала и крепко прижала к себе, гладя по голове, по спине, приговаривала:

— Маленький, бедненький. Досталось же нам. Солнышко ты мое, что хочешь делай, хоть с воронами, хоть один, только живи.

Вдруг в этом тепле и трепете он почувствовал нечто, чего не было раньше.

Это был и звук, и мысль, непонятно откуда, дальше, чем самолеты. И сам не ожидая, он вдруг отстранился от матери и хрипловато прошептал:

— Сева?

Мать вскочила, а он, уставившись на ее живот, твердо произнес:

— Сева.

На следующий день Кириллу объявили, что у него будет младший брат, и снова начались походы по врачам, он не слушал разговоры, гораздо интереснее было то, что думали. То есть вообще ничего особенного, почти все одно и тоже: «Откуда я знаю, что творится с этим парнем? Здоров. Условия прекрасные. Отстает непонятно почему». И только один доктор однажды удивил.

Как та старая ворона, он смотрел прямо в душу, и Кирилл попробовал: «Здравствуйте».

— Мамочка, — вдруг произнес доктор, отложив в сторону какие-то молоточки, — не могли бы вы оставить нас с молодым человеком вдвоем на несколько минут?

— Да-да, конечно, — мама поспешно вышла.

Доктор снова уставился на Кирилла: «Ну-с?»

«Как-то так», — подумал Кирилл в ответ.

— А теперь все то же самое, только вслух, — прошептал доктор и продолжил нараспев. —Ну-у-с.

— Как-то так, — прокаркал Кирилл.

— Читать умеешь? — тут же, без паузы, спросил доктор.

Кирилл кивнул.

Доктор выложил на стол книгу.

— Прочти название. Быстро!

— Сказки! — той же интонацией почти выкрикнул Кирилл и испугался собственного голоса.

— А с воронами что? — доктор смотрел в упор.

Кирилл подумал: «Ничего».

— Понятно, — сказал доктор и крикнул: — Мамаша, войдите!

— Отличный парень, — улыбнулся он, когда мать вошла. — Придете через пару месяцев. Ко мне. А пока давать ему все книги, которые он захочет взять с ваших полок. Все. Вы меня поняли? И из этой школы заберите. Нечего ему там делать.

— Что с ним? — то ли встревожилась еще больше, то ли обрадовалась мать.

— Типичное индиго, — доктор хлопнул ладонью по столу.

— Что? — не поняла мама.

— Это точно не заразно, — хмыкнул доктор. — Придете в следующий раз, объясню подробнее. Да. Всем скажете — аутизм. Не опасно ни для их душ, ни для их тел. И читать, — пусть читает сколько хочет.

Если счастье есть, то оно пришло! С утра Кирилл получал доступ к библиотеке отца и не вылезал до вечера, когда, наспех поужинав, выбегал во двор к воронам делиться колбасой и прочитанным. Старые вороны без особого интереса слушали его мысли, иногда он ловил их замечания: «Ну тупые, ну тупые эти люди», а молодым нравился Маяковский. Они мгновенно запоминали стихи и декламировали их мысленно, подкаркивая в ритм, страшно раздражая соседей. Через некоторое время Кирилл понял, что дело именно в ритме, а смысл они считали никчемным. «Сами вы недоумки», — обижался он. Кирилл пытался почитать им Хлебникова. Назло. Пусть помучаются. А им понравилось. «Вот!», — смотрели они в душу Кирилла. «Это сила!» И в благодарность принесли угощение.

Это случилось первый раз после стихотворения про смехачей. Молодой, почти еще вороненок, принес Кириллу конфету. Не грязную, замусоленную, а новую, словно с прилавка, положил ее на колени приятелю: «Бери».

«Интересно, что ты еще можешь притащить?» — подумал Кирилл. «Что захочешь», — ответил вороненок. «А деньги?» — Кирилл не ожидал, что подумает такое. «Что это?» — не поняла птица. Кирилл показал. «Ну, точно тупые», — услышал он хор вороньих мыслей. «Надо же так все усложнять».

Не такими словами думали вороны, и вообще они сначала думали не словами, но постепенно всей стаей вместе с Кириллом создали русско-вороний язык. Трудно было бы обычному человеку осознать, что это такое. Люди разделяют мысли, чувства, эмоции и образы, а птицы — объединяют. На следующий день вороненок принес одну бумажку. «Столько?»

Кирилл объяснил, что это маленькие деньги, их хватит только на шоколадку из киоска напротив.

К концу месяца у Кирилла в копилке собралась приличная сумма. Он купил в гастрономе три килограмма ветчины и устроил птицам пир: «Вот зачем деньги!»

Воронам понравилось.

От соседей не ускользнуло, что вороны таскают Кириллу купюры, и они не замедлили предупредить родителей, погруженных в приготовления к появлению малыша, что предоставленный сам себе недоумок растет вором. А как он науськал ворон красть деньги? Так бесы и помогли!

— Ну-с. Так что с воронами? — спросил доктор, предварительно выставив за дверь озабоченную и перепуганную маму.

Кирилл молчал.

— Молодой человек, думаю, вы можете ответить на мой вопрос письменно.

Перед Кириллом появились бумага и ручка. Он смотрел на доктора и не знал, о чем рассказывать.

— Обо всем по порядку.

«Это так много, я устану писать», — подумал Кирилл.

— Можете вслух. Это быстрее. Можем сегодня только начать.

— Мы говорим на одном языке, — прошептал Кирилл.

— Ты имеешь в виду себя и ворон или нас с тобой?

Кирилл задумался.

— Давай про ворон, — помог доктор.

Приходя к доктору каждый день в течение недели, Кирилл поведал всю свою историю.

— И почему от тебя скрыли, что твои родители погибли в автокатастрофе? По-моему, ты имеешь права это знать, — сказал доктор на очередном приеме. — Твои новые папа и мама души в тебе не чают.

Кирилл, приготовившийся было зареветь, вдруг улыбнулся без спазма, подумав о новой маме с Севой внутри. Тех, родных, он не помнил и не чувствовал. Их нет. А Севка — вот он, скоро будет. Только имя другое. Ну и что?

— А теперь не менее серьезные темы, — доктор посуровел и взглянул на Кирилла очень строго.

— Знаете ли вы, молодой человек, что такое воровство?

Кирилл уже догадывался, что его эксперимент с воронами пошел не туда, что-то не то они должны делать вместе. Но так хотелось шоколада!

— Шоколада, значит, — кивнул доктор. — А, к примеру, девочке тоже хочется.

Твоя ворона свистнула у нее деньги, тебя накормила, а та сидит и ревет. Ей обидно. Тебе ее не жалко? Или пусть тоже у кого-нибудь украдет? У старой больной бабушки, например? Она в аптеку идет купить лекарство на последние деньги, а какая-то ворона раз! И на шоколадку. А бабка пусть страдает. Ты же особенный, а люди, как твои вороны говорят, — недоумки. Пусть страдают. Тебе для того способности даны, чтобы обманывать, делать всех несчастными? Ну, пока тебя не поймают, конечно. А может, чем-нибудь другим заняться? С воронами? Помочь людям понять птиц? Нет, это скучно, шоколадка интереснее и вкуснее.

Доктор ходил по кабинету и рассуждал, как будто Кирилл не слышал его. Но Кирилл слышал, и ему было стыдно. Он заплакал.

— А ты знаешь, — вдруг улыбнулся доктор, не замечая слез. — Не всё потеряно. Хочешь в особую школу?

— Хочу! — выпалил Кирилл, чтобы только прекратить неприятный разговор.

— Это не психиатрическая клиника, куда бы он, несомненно, попал через годик и где бы ему сделали лоботомию, — пояснял доктор маме. — Это интернат для особенных детей. Все выходные и каникулы он будет с вами. Мальчика нужно учить, у него талант. Особенный.

Так Кирилл попал в закрытое учебное учреждение, которым руководил доктор. А вся воронья стая, на радость соседям, перелетела в парк с дубами.

— Ты тоже синий-синий! — услышал однажды Кирилл за спиной, и вороны, против обыкновения, не разлетелись в разные стороны, а остались сидеть на плечах, руках и на голове Кирилла.

— Синий? — Кирилл обернулся.

Перед ним стояла девчонка примерно его лет.

— Синий. Здесь все дети синие. Это не отвлекает на уроках.

— Что? — Кирилл не услышал ее мысли.

— Не пытайся, — засмеялась она. — Я умею.

— Что умеешь?

— Закрываться. Я Марина.

— Кирилл.

— Да знаю-знаю. Считающий ворон.

— Ага. А ты тоже? Это? Индиго? И с воронами можешь?

— Конечно. Прямо из психушки сюда перевели. Только я не с воронами. Я ауру вижу. Знаешь, что такое аура?

Кирилл кивнул.

— Можно? — она протянула руку, и одна из ворон тут же уселась на ладонь Марины.

— Как приятно! — вскрикнула девочка. — Какие у них лапки нежные!

Разноцветные люди

Больше всего на свете Маришка ненавидит черное кресло и оранжевую табуретку. Кресло — за цвет. Других претензий нет. А табуретка — пыточная. На ней Маришка сидит в углу, наказанная, и думает о своем поведении, — как будет себя вести, например, на пиратском корабле или в логове дракона, которого можно и приручить. Пиратского капитана тоже можно приручить. Маришка ловко переводит мысли с неприятных на интересные.

Табуретка стоит посреди большой комнаты, рядом с накрытым к празднику столом. Маришке сегодня исполняется семь, и через неделю она пойдет в школу.

Кресло — рабочее, компьютерное, кожаное, огромное и какое-то членистотелое, как монстр из ужастика, живет оно в папином кабинете. Там много интереснейших недетских книг с картинками. А кресло сторожит, и ходить мимо не то чтобы страшно, — противно.

Кресло — не главное сегодня. Должна быть главной Маришка. Но получается — табуретка.

Маришка вздрагивает за секунду до того, как в прихожей раздается звонок. Вот так всегда — она пугается раньше, чем что-то случается.

Гости собираются на день рождения, хозяева-родители горды и счастливы, только у Маришки внутри маленький удавчик сворачивается клубочком и пытается спрятать голову.

— Дочь! К тебе пришли! — это папа.

Почему к ней? Ей никто не нужен сегодня. Она бы с удовольствием посидела в кабинете, занавесив черное кресло желтым пледом, получился бы динозавр. Она бы погладила его и взяла книжку. Одну только. Сначала. Там наверняка есть пираты. Она сумела прочесть название на корешке: «История морских разбойников».

— Мариша! Ты где? — это мама.

— Смотри, что мы тебе принесли?! — тетя Оля.

Удавчик забился в панике, сворачивая и разворачивая дрожащие кольца. Он не умеет принимать подарки, от ужаса он сейчас покинет Маришкин живот через рот.

«Нам нравится, нам нравится, нам нравится», — уговаривает Маришка. И медленно появляется в дверях. Как призрак в мультике «Кентервильское привидение». Вот бы такое привидение пожаловало к Маришке на день рождения, а все бы разбежались, а они бы вдвоем...

— Что надо сказать?

Маришка поднимает глаза на маму и зажмуривается от праздничного сияния: какая она красивая, — королева в короне.

— Ой, ты говорить разучилась?!

Тетя Оля тоже в короне, только чуть-чуть ржавчины по краям.

— Она растерялась от радости!

Папина рука ложится на Маришкино плечо. Маришка прижимает к себе увесистую коробку.

— Спасибо, — это она пискнула или удавчик?

— Ну же! Посмотри, что там? — тетя Оля хочет насладиться Маришкиным восторгом.

Это ужасно, — при всех распаковывать подарок, при всех чувствовать, чтобы все поняли и увидели... «Нам понравится, нам понравится, но не слишком».

В коробке набор первоклассника. Приятно пахнет новыми карандашами, и все такое желтенькое, и нежно-зеленое, и голубое, как Маришка любит. Удавчик растянулся от удовольствия, можно выдохнуть с облегчением, — в этот раз не будет так, как два года назад, когда тетя Оля принесла ужасную куклу.

Кукла жила в яркой коробке ядовитой расцветки. И наощупь сразу показалась Маришке не очень приятной. Но самым мерзким оказались куклины глаза. Чернее черного кресла. И там, внутри, был неживой ужас! Маришка отбросила куклу и заверещала, как укушенная змеей мартышка. Это папа сказал про мартышку.

Ей потом долго объясняли, что, если подарок не нравится, хотя кукла просто

красавица, ты должна благодарить и делать вид, что все хорошо. А она сидела на оранжевой табуретке и боялась куклы больше любых наказаний. У нее даже температура поднялась. Мама куклу куда-то унесла — хорошей девочке. И Маришка до сих пор не знает, как хорошая девочка перенесла встречу с чудовищем, если уж она, не очень хорошая девочка, чуть не умерла от страха. А тетя Оля пообижалась, но потом подарила книжку — звучащую «Азбуку». Кстати, по ней Маришка и научилась читать.

Дядя Боря принес конструктор ЛЕГО. Уже шестой. Здорово придумал. Каждый год новый набор. Если ему не надоест, то, когда Маришке исполнится восемнадцать, она построит из всех наборов дом и поселится там со всеми своими зверями: с удавчиком, сворачивающимся от ужаса, со скребущимся от шалости котом, с волком, воющим не от тоски, а от радости.

Бабушка связала платье.

— Ой, — не удержалась Маришка. — Мы с ним будем дружить! Оно такое! Оно такое! Оно совсем живое!

Бабушка захлопала в ладоши. Даже слезинка заблестела в уголке глаза волшебным камушком, а погасшая было корона вспыхнула серебристым пламенем.

Потом опять началось ужасное. Когда собрались гости, пригласили в большую комнату. А там оранжевая табуретка.

— Что нам сегодня прочтет именинница? — тетя Оля напоминала подаренную однажды куклу.

Пол медленно поплыл из-под ног, приближая Маришку к табуретке.

Нет ничего отвратительнее, — стоять на этой оранжевой гадине и чувствовать жар подошвами тапочек. Она не сломается, не провалится вместе с Маришкой сквозь все этажи до другой стороны Земли. Она будет тверда и прочна. А Маришка будет бороться сама с собой и помогать внутреннему зверью не сдохнуть от стыда и страха. Она будет читать «У лукоморья дуб зелёный...» «А бурый волк ей верно служит». Это великие стихи. Самые любимые. Но не при всех же!

— Маришенька, прочти, как ты мне читала, — улыбается бабушка.

У нее и во втором глазу засветился волшебный кристаллик. И бурый волк внутри завыл радостно. А Маришка, глядя только на бабушку, начала с выражением:

— У лукоморья дуб зелёный...

Вот тебе, табуретка! И не стыдно!

Любить или не любить школу — Маришка не знает. У нее есть свой опыт: то, что нравится сразу, скорее всего, будет нравиться и потом, но не всегда. Она не торопится делать выводы и просто пожимает плечами на мамин вопрос: «Ну, как тебе первый день?»

Мама некоторое время смотрит с ожиданием, а потом спрашивает:

— Что-то случилось? Тебя кто-то обидел?

— Всё в порядке, — уверяет Маришка.

— Тогда в чем дело? Что тебе не понравилось?

Маришка чувствует, что мама так просто не отстанет, поэтому пытается сформулировать:

— Я не говорила, что мне не понравилось. Я просто не тороплюсь нравиться, то есть чтобы мне нравилось.

Папа хлопает в ладоши:

— Мудро! Молодец, дочь!

Маришка осторожно привыкает к школе. Там все так неоднозначно! Мама

пугала, что придется стихи при всех рассказывать! Не стоя на табуретке, а у доски, перед всем классом! И видеть, как на тебя смотрят, и как меняются, и что о тебе думают, — это уже Маришка добавляет мысленно. Она набралась смелости, и, когда учительница знакомилась с учениками, прокомментировала:

— Этот мальчик из нашего двора! Он сейчас просто испугался, а вообще, он — голубой!

Учительница сердится:

— Девочка, не смей говорить: во-первых, с места, а во-вторых, глупости! Что значит «голубой»?!

— Это значит... — начинает Маришка заплетающимся языком, но учительница прерывает:

— Я же велела тебе молчать. С места нельзя говорить, когда тебя не спрашивают!

Хочется Маришке сказать, что ее как раз спросили про «голубой», но уже — никак. Уже удавчик свернулся комом под самым горлом.

Потому, когда на следующем уроке велят рассказать немного о себе, она не может выдавить из себя ни слова. Учительница ждет и постепенно темнеет, как мама, когда Маришка проказничает. Сейчас отправят при всех в угол.

— Марина, — светлеет учительница. — Когда я тебя спрашиваю, ты должна отвечать. Поняла? Только когда я велю тебе это делать. На уроке. Поняла?

Маришка кивает и медленно и тихо говорит что-то несуразное про зверей внутри.

— Я рада, что у тебя хорошая фантазия, — останавливает учительница. — Но сейчас мы просто рассказываем о себе, о своей семье. Понятно?

Маришка кивает и начинает говорить то же, что и все:

— Я живу с мамой, папой и бабушкой. И с котом.

Ей хочется рассказать про котов: про внутреннего и внешнего, — они братья. Про то, как внешний кот Фелька лежит на внутреннем, когда Маришка болеет. Они оба урчат, и всё проходит. — Но замолкает.

— Ну, хорошо. Садись, Марина, если это все, что ты можешь рассказать.

Всё?! Да Маришка может рассказывать до вечера! Но не вслух. Теперь.

Голубому мальчику Серёже приходится туго. Он не научился читать — ему не дарили звучащую азбуку, — и теперь не успевает за всеми. Маришка знает, что никакие объяснения не помогут, если ты не почувствовал слова, их ритм. Она сама это открыла, когда прочла первое слово «молоко». Она даже не сразу догадалась, что оно значит, потому что пелось: «мооо-лооо-кооо», дня через три поняла, когда почувствовала вкус. А Серёжу просят всё понять сразу. Это тоже пугает Маришку в школе: как понимать, если просят? А если она попросит понять ее, — даже слушать никто не станет.

Маришка бегло читает, считает без ошибок, и в тетрадках у нее полный порядок! Самые аккуратные в классе! А вот речь не развита. Не может пересказать прочитанное и вообще рассказывает плохо. Это то, что услышала мама на первом родительском собрании.

За Маришку взялись. Она читает вслух книжку про Филиппка, потом должна рассказать.

Филиппку она сочувствует, когда тот от страха не может ответить учителю. Ей только не все слова понятны. Что такое «бедовый»? Это какой? — тот, что беду приносит или чувствует? Или видит? Она думает об этом, и рассказывает:

— Жил-был мальчик. Он видел беду, бедовый был.

Мама темнеет:

— Там что написано?! Там это написано, я тебя спрашиваю?!

— Да, — всхлипывает Маришка.

А что же еще?! Не рассказывать же маме то, что она и сама знает. Зачем?

— Ой! — бабушка берет книжку в руки. — Что это за сказка такая? Расскажи, Маришенька, что там написано?

— Мама! — уже кричит мама. — Что ты с глупостями?..

Но бабушка смотрит на маму строго, и та, махнув рукой, уходит из комнаты.

— Расскажи, — продолжает бабушка и гладит Маришку по голове, поправляя выбившиеся из-под обруча волосы.

— Я могу тебе прочесть, — успокаивается Маришка.

— Прочесть? А, ну можно и прочесть. Только, знаешь, я сейчас на кухне твои любимые оладушки жарить буду. Книжке не кухне не место, — жар, копоть. А вот послушать, как рассказываешь, пока готовлю, — это же такое удовольствие.

И Маришка бежит за бабушкой на кухню рассказывать Филиппка наизусть, со своими комментариями: что бы она делала на его месте, если бы встретила злых собак. Ведь не злые они никакие, а несчастные, и...

Так теперь и проходит приготовление ужина. Бабушка хлопочет у плиты, а Маришка рассказывает прочитанное. За новогодние каникулы всего «Незнайку» рассказала.

Маришка устала. Спасет только приближающееся лето, которое станет лучшим в жизни. Внутренние звери все время спят, — нет сил. Не то чтобы она не полюбила школу. Полюбила. Наверное. Если бы она ходила в детский сад, как большинство одноклассников, быстрее бы привыкла... Но у нее настоящая бабушка вместо яслей и садиков. Могла бы и вместо школы. Но так нельзя. Поэтому Маришке больше невмоготу чувствовать и видеть. Точнее, видеть и чувствовать. Все чаще она закрывает глаза на уроках, и учительница делает ей замечание. Внутри вылупился всевидящий маленький филин. Это новый зверь. То есть птица. И смотрит на мир, когда Маришка не хочет.

Голубой Серёжка останется на второй год. Наверное, это самое страшное, что может случиться в школе.

— Давай помогу, — говорит ему Маришка на перемене.

— Чего? — не понимает Серёжка.

Он за год стал сизым, как тяжелое облако. И часто плачет, когда его ругают.

— Читать очень интересно, — продолжает Маришка.

— Не-а, скучно, — буркает Серёжка.

Маришка ему начинает рассказывать про Незнайку.

Позже, по дороге домой, продолжает.

— А дальше? — спрашивает Серёжка около Маришкиного дома.

— А дальше сам прочтешь!

И Маришка исчезает в недрах парадной.

«Научиться чему-то можно, если только интересно», — думает Маришка. А как узнать, что интересно? Если взрослые часто обманывают, говорят, давай-делай, это здорово, а на самом деле совсем нездорово, трудно и вообще выбивает из сил и портит настроение. Они хотят как лучше. Они говорят — «так надо».

Лето не приносит ожидаемого. Все вернулось на круги своя, кроме Маришки. С одной стороны, можно было бы отдохнуть. Весь вопрос: от чего? Она теперь очень бегло читает и не может без этого, домашняя библиотека в ее распоряжении. И задачи

решать приходится всюду, да и не в тягость это. А вот от людей не сбежать. Не сидеть же дома, запершись в папином кабинете. А как выйдет на улицу, там люди во всех их сияниях и проблемах. И не глаза даже слепит, а душу. Не может Маришка понять, что с ней происходит. Сказала папе, а тот превратил все в игру. Мама велела не выдумывать глупостей, а бабушка встревожилась:

— Молчи, девочка, про это. Никому не говори. Мало ли чего подумают про тебя. Поняла?

Раньше, чтобы увидеть больше, нужно было настроить глаза — расфокусироваться, теперь это происходит само собой. От этого она больше всего и устала в последней четверти, так что стала невнимательной.

— Отличница авансом, — прокомментировала мама свой поход на последнее в году родительское собрание.

Маришка еще не совсем поняла про аванс, но прозвучало обидно, словно ее унизили пятерками. Серёжка свои тройки получил, и столько счастья!

— Ты должна быть лучшей! — строго говорит мама.

— Почему?! — Маришка не понимает.

— А это демон Надо так хочет, — смеется папа.

— Ой, опять эти глупости! — мама тоже улыбается, хотя и хочет казаться серьезной. — Где бы я была, если бы не золотая медаль?!

— А где ты есть? — серьезно спрашивает папа.

— На своем месте, — бабушка вносит блюдо с оладушками. — Все на своем месте! Мыть руки!

Бабушка сияет все сильнее. Она такая серебристая. Слишком сильно. Маришка не знает почему, но так не должно быть.

— Она умирает, — ухает внутри всевидящий филин.

— Нет! — вскрикивает Маришка и прижимает ладони ко рту.

— Что нет? — сердится мама. — Бабушка велела мыть руки, иди мой.

Кому Маришка может сказать?

К концу лета сияние бабушки невыносимо. Удавчик внутри завязывается узлом, кот скребется, просится наружу, волк тревожно воет, а филин неумолим.

Бабушку увозят в больницу.

— Она умирает, — тихонечко говорит Маришка папе, когда они вечером ужинают вдвоем. Мама дежурит в больнице.

— Ну почему ты так думаешь? — папа сердито бросает ложку на стол. — Это совсем может быть не так!

Он сейчас очень темно-зеленый, и Маришка понимает, что в его словах нет уверенности.

— Ты тоже так думаешь, — говорит она.

— Нет, — резко возражает папа. — И давай не будем об этом больше. Никто не знает!

— Я знаю, — не унимается Маришка. — Я точно знаю.

Она плачет и не может остановиться.

Бабушку хоронят через неделю.

Маришка больше не хочет быть Маришкой. Так звала бабушка.

— Бабушки нет, — говорит она папе. — Маришки теперь нет. Есть Марина.

Папа кивает:

— Извини, если мы первое время будем сбиваться по привычке.

А потом приходит осень. Зима, весна и новое лето. И дальше еще пару раз... Или больше.

Марина пинает ногой оранжевую табуретку с такой силой, что та разбивается о стену.

— Легче? — мама выходит из комнаты, хлопая дверью.

Нет. Не легче. И табуретку жалко. Столько с ней вместе пережито. Столько стихов прочитано. Трибуна, а не табуретка. Может, папа сможет починить?

Но папа молча уносит на помойку деревянные останки.

Удавчик, кот и волк свернулись в один клубок.

— Уходите, — говорит им Марина, всхлипывая. — Все! Свободны! И не нужно мне никакого дня рождения и подарков этих дурацких! Сто десятого набора ЛЕГО! И что там еще?! Куклу-монстра! Ах да, подарите мне детскую книжку с картинками-раскрасками!

— Что-то случилось? — папа глядит исподлобья, и Марина отвечает резко:

— Ничего!

— Дочь, ты знаешь, мы можем поговорить о чем угодно.

Неуверенность в его голосе раздражает, Марина бросает:

— Не можем!

Она надеется, что он начнет настаивать, пошутит, тряхнет за плечи, скажет что-то вроде «колись», и она как бы нехотя расскажет. Но он играет в терпимость, пожимает плечами:

— Как скажешь.

И тоже уходит!

И этих, троих, она не чувствует в себе. Удрали! Только филин еще остался, но, может быть, он и есть главный враг! Хотя при чем здесь эти детские фантазии? Просто она, Марина, — сумасшедший урод, который видит всякую дрянь.

Сегодня ей двенадцать. Табуретки нет. Она не читает стихов, лишь задувает свечи на покупном торте. И не загадывает желание, потому что не уверена, что действительно хочет больше не видеть ауры людей.

Теперь она знает о биополе, спасибо интернету. Но что с этим делать?! Это совсем не прикольно, иногда страшно, словно кто-то набрасывает пелены и шали или, наоборот, раздвигает никому не видимые шторы, и ночью Марина долго лежит в постели, в темноте, не закрывая глаз, без сна, стараясь не думать ни о чем, но не получается. Не получается отвлечься, не замечать, сосредоточиться только на занятиях в школе, когда она видит, как багровеет учительница и ее поле выбрасывает щупальца, и те впиваются в бледную оболочку Серёжки:

— Я что сказала делать, бестолочь!

— Не орите на него! Вы его убиваете! — не выдерживает Марина.

— А тебя кто просил говорить с места?! Умная нашлась!

Потом директор распинает ее в своем кабинете и пеняет маме, что надо бы объяснить девочке, нельзя так разговаривать с учителем.

И учительница кричит:

— Марина совсем от рук отбилась, и, если дальше так пойдет, никаких сил с ней не будет и сладу.

Все темнее цвет, все длиннее щупальца, которыми она обволакивает беспомощно кивающую, растерянную маму. И вот уже они тянутся к Марине. Но, коснувшись ее, словно обжигаются, сворачиваются, как опаленная синтетическая веревка. Внутри

поднимается удав. Вернулся! Разворачивается где-то в районе копчика и рвется вверх по позвоночнику:

— Не смейте так делать! — слышит Марина свой голос.

Учительница хватается за грудь и падает в кресло:

— Как ты со мной разговариваешь, нахалка! Вы слышали?! — обращается она к директору.

— Это вы не умеете разговаривать с учениками! Вы только орете! Вы ничему не можете нас научить! — не унимается Марина.

Всё. Рубикон перейден. Теперь уже неважно, что будет дальше, и она продолжает:

— Вы не знаете, что делаете! Вы спрут с щупальцами, вампир! Вы высасываете энергию детей! Поэтому вы работаете в школе на вашу нищенскую зарплату. Потому что в другом месте вас сожрут такие же, как вы, но сильнее!

— Уберите ее! Она сумасшедшая! Ее нужно к психиатру отвести! — верещит учительница.

— Молчать! — рявкает директор.

Марина видит, — его серое сильное поле обволакивает учительницу. Как желудок морской звезды.

— Марина! Немедленно извинись! — обращается он к ней, но щупалец не тянет. Лишь колышется студнем.

Мама плачет. Обычно сияющая красным, сейчас бледна, почти как Серёжка.

— Извините, пожалуйста, — шепчет Марина и выбегает из кабинета директора.

Вечером у нее поднимается высоченная температура, дико болит низ живота.

— Так теперь иногда бывает, — говорит докторша. — Сейчас у девочек так болезненно все начинается. Ничего, гормоны стабилизируются. Но лучше сдать анализы.

— Ну, тогда и поведение? — с надеждой спрашивает мама.

— Разумеется, — соглашается врач. — Объясните учительнице, она поймет.

Ничего она не поймет, думает Марина, у этой мегеры органа понимания нет. Та, что была в начальной школе, все-таки держала себя в руках. Тоже орала, но сожрать не пыталась. А эта, математичка, бухгалтерша, даже задачки со звездочками решить не может. Людоедка! Марина никак не может успокоиться, и вернувшийся удав бьется внутри, рвется наружу. «Удавлю», — шипит Марина и пугается своих мыслей. Гормоны утихнут, и станет легче, вспоминает Марина слова докторши.

Но становится только хуже. Марина старается не смотреть на людей, ходит чуть ли не с закрытыми глазами.

— Ишь, выросла, — слышит она слова старушки-соседки. — Маленькая была такая ласковая да вежливая. А теперь ни здрасьте, ни до свидания!

Марина оборачивается, надо бы поздороваться, извиниться, объяснить, что задумалась, но старуха глядит неприветливо.

— Иди уже, чего глазищи вытаращила?!

Марина видит, как бурое облако вздрагивает, растет и бьется, но бабка только сильнее поджимает губы от собственной боли где-то внутри.

— Вы скоро умрете! — бросает ей Марина и уходит прочь, затыкая уши ладонями, чтобы не слышать поток брани в спину.

Зачем?! Зачем она сказала это пожилой женщине?! Ужасно стыдно! И страшно. Видеть приближение чужой смерти невыносимо. Особенно, если ничем не можешь помочь.

Старушка спустя неделю скончалась от инсульта прямо там, на лавочке,

на глазах своих подружек, которые больше никогда не присаживались посплетничать вечерком на этом месте. По крайней мере, пока Марина жила здесь.

Серёжка перестал быть голубым. Он — словно больной городской голубь: то сизый, то серый, то бурый. Аура все тоньше. С каждым днем. Словно намокшие слипшиеся перья. Ей жаль его. Настолько, что она все время думает о нем. Они могли бы дружить. Марина помогла ему однажды, — читает же теперь. Он бы учился нормально, если бы хоть через раз домашку делал. «Лентяй», — так говорят учителя. Марина думает, что лентяи бывают из-за проблем с аурой. У сизо-серо-бурого человека нет сил, чтобы учиться. Вот и плывет, как говорят те же учителя, по течению. Так бывает, когда человек болен, она видела. Но Серёжка здоров. Марина пока не разобралась, почему цвет болезни появляется у здоровых и они летят с катушек, срываются с цепи, им сносит башню, — что там еще происходит?

Серёжка сидит перед ней через парту. Она смотрит в его спину. Быть может, если долго смотреть и желать, чтобы цвет изменился, получится?

Он ёрзает, сводит лопатки и резко оборачивается. Марина не отводит взгляда. Мальчик глядит неприязненно и даже насмешливо.

— Чё надо?! — подходит он к ней на перемене вразвалочку.

— Ничего, собственно. Помочь хочу...

Она не успевает договорить про поле и цвет, он слишком близко к ней, дышит неприятно, курил в туалете, губы мокрые и кривые:

— Чё ты мне в спину зыришь? Нравлюсь? Хочешь...

Он произносит это слово! Оскорбительное, стыдное! И немедленно развернувшийся удав невидимым хвостом хлещет его поперек живота. Серёжка сгибается от боли, и Марина видит, как в месте удара образуется разрыв, заполняя серо-бурое красно-кровавым.

— А-а-а! — орет Сергей. — Это ты сделала? Что это? Дура!

Он падает, держась за живот:

— Чё ты сделала?! Отстань от меня! Уродка! Сумасшедшая!

— Я хотела помочь, — по инерции шепчет Марина, но удав сжимает горло, а филин клюет душу.

— Ненавижу, — выдыхает она.

Сергея рвет пеной на пол при всех.

Директор словно вырастает над Мариной, хотя по росту она уже почти догнала его:

— Что тут происходит?

— Это она меня! Она! — кричит, захлебываясь Сергей.

— В мой кабинет. Немедленно!

Марина покорно плетется за директором, желая больше всего, чтобы ее выгнали из этой школы.

— Я не знаю, что между вами произошло. Может, расскажешь?

Директор колышется, как серый океан, словно одурманивая, но Марину не проведешь, и она молча наблюдает за его манипуляциями, ищет щупальца. Их нет.

— Я жду.

Марина молчит.

— Я хотел бы знать, как ты ударила мальчика? Чем? Я понимаю, он, может, и заслужил, но ты чуть не покалечила его.

Молчит.

— Мне придется вызывать твою маму, если ты отказываешься со мной разговаривать.

Вечером Марина температурит, и мама приносит морс.

— Ну, что случилось, можешь ты мне сказать?

Не может, потому что бессмысленно.

— Не понимаю, что с тобой происходит! Он обидел тебя?

Она не собиралась бить, так получилось, ей самой теперь тяжело и больно в животе, удав перестарался. Это, что ли, объяснять?

— Я больше в школу не пойду.

Мама повышает голос:

— Как это «не пойду»?! Учиться — твоя обязанность!

Марина отворачивается к стене.

— Пойдешь как миленькая! — бросает мама и выходит из комнаты.

Я — уродка, думает Марина. Монстр. Мутант. Значит, помочь не получится, а вот вырубить — пожалуйста! Я так не хочу! Что бы я ни пыталась делать, выходит только хуже! Бог, ты там есть или как?! Забери меня! Слышишь?! Я же поубиваю всех! Или это моя миссия?!

Температура держится три дня.

— Нервный срыв, — ставит диагноз врач.

— Что-то частенько у нее такие срывы, — беспокоится мама. — Может, специалисту, какому-нибудь невропатологу показать? Подскажете кого?

— Есть один знакомый, — как бы нехотя говорит врач. — Специалист в области ювенальной психиатрии...

«Отлично, — думает Марина. — Лучше в дурку к психам, чем в эту школу».

Через неделю Марина стоит в кабинете, открыв рот, уставившись на доктора, и не видит никакой ауры, словно ее нет.

— Ну-с, — доктор воззрился на Марину. — По какому поводу буйство?

Она не ответит, пока не разберется, с кем имеет дело. Какого цвета этот человек? Но против воли чувствует доверие. Рассказать как есть? А может, остаться здесь, в его клинике? А там разберемся.

Доктор ждет минуту. Потом берет книжку, открывает и, прежде чем углубиться в чтение, говорит:

— Прием длится пятнадцать минут. Если ты намерена молчать, я с удовольствием почитаю детектив, а потом напишу в карточке, что ты абсолютно здорова и можешь приступить к учебе. Тебя устраивает? Так и сделаем!

Марина пару минут наблюдает за ним и догадывается — он закрылся, он подозревает что-то. Так хочется сказать правду! Но вдруг опять! Или попытается все превратить в игру, как папа. Или... Она не знает, что «или», но в школу возвращаться нельзя.

— Я слышу голоса! — вдруг выпаливает она, сама не ожидая от себя лжи.

— То есть? — доктор переворачивает страницу.

Марина пока болела прочла повесть «Голоса» Житинского, ей понравилось. Теперь ее несет:

— Я слышу, будто говорят взрослый и ребенок.

— И что они говорят? — доктор задает вопрос, глядя в книгу.

— Ничего. Не знаю. Не разобрать.

Марина пожимает плечами.

— Совсем ничего? Или они что-то советуют тебе? Может быть, велят? Ударить, например. Вот как того мальчика?

— Точно! — кивает Марина. — Он гадость сказал. Я обиделась очень. Ну, они и говорят: «Врежь ему, не бойся», — я и врезала.

— И часто такое бывает?

— Это было первый раз. Обычно они грубости всякие говорят, а я повторяю.

Марина смотрит на доктора, он ярко синий. Синий-синий! Ее бьет озноб, и она больше не слышит его вопросов.

— Думаю, есть смысл оставить девочку в клинике для обследования.

За ужином ей предлагают таблетки, чтобы спать на новом месте. Она в карантинном боксе и ей тревожно. Лучше бы не пила. Не то что уснуть, она всю ночь сидеть не может. Бегает по кругу. К утру ужасно болят ноги. Чем ее опоили?!

— Странно, — бормочет доктор, зайдя утром проведать пациентку. — Те, кто реально слышат голоса, успокаиваются и мирно дрыхнут от такой дозы. Возможно, ты больше фантазируешь, но это не имеет отношения к психиатрии, и тебе пора в школу...

Он уже держится за дверную ручку, и Марина почти кричит:

— Не уходите! Вы же синий! Ярко-синий!

Доктор оборачивается:

— И что?

Она ожидала какой угодно реакции, но не этого. Все разбивающая реакция. Она сама этим пользуется. На любую фразу говорить «и что?».

— Не знаю, — Марина садится на краешек больничной койки.

Ее снова бьет озноб и из глаз рвутся слезы. Удав свернулся до боли.

Доктор присаживается рядом:

— Давай. Колись теперь, индиго.

— Что?

— Ты сама синяя-синяя.

Такой болтуньей Марина не была много лет.

В новой школе она мгновенно находит общий язык с ребятами.

— Да ты просто душа компании, — улыбается доктор. — А вот того мальчика с воронами мало кто разговорить может. — Марина уже почти не слышит доктора. Внутри удав пританцовывает, медленно поднимаясь по позвоночнику, филин прячет голову под крыло, кот и волк... Что? Вернулись, предатели?! Ладно, живите пока!

«Это наш друг! Самый настоящий друг».

— Ты тоже синий-синий, — кричит Марина, и новый друг оборачивается.

— Синий?

Неужели он не знает? Она ему все расскажет! Она ему поможет...

Крысолов

— Мой медвежонок. Пухляк! Так бы и съела сладенького, — мама мнет Кольку.

От нее пахнет жареной картошкой, и он млеет в объятиях.

— Вот ты балуешь его, Ленка, а он такое учудил! — бросает Степановна.

Мать отталкивает сына:

— А ну! Что натворил?

Но Степановна уже скрылась в темноте дома, поплотнее прикрыв дверь, дескать, сами разбирайтесь.

Мать упирает руки в бока и грозно глядит на сына:

— Говори, дрянь!

Если бы он знал?! Он пытается вспомнить. Ничего, вроде. Да и как понять, что «натворил», а что «хорошо себя вел»?! Пожимая плечами, он пятится назад, спотыкается, падает. Теперь не убежать, теперь будет больно. И он обхватывает голову руками, — мать в гневе не разбирает, куда колотить. Она уже нависла над ним:

— Сам скажешь, скотина? Или я узнаю? Мне пойти узнать?!

Колька не в силах терпеть надвигающуюся грозу, пусть уж разразится. Сильнее сжимая руками голову, он орет на весь двор:

— Ничего! Ничего я не натворил! Я не знаю!

Град тумаков обрушивается. Если бы он промолчал, она взбесилась бы больше, а так лупит вполсилы. Больно, но не тошнит.

— Теть Лен! — голос Серого, дворового заводилы, останавливает ее. — Чё вы лупите Кольку?! Это Светка — дура. И бабка Степановна.

Мать останавливается:

— Ну?!

Серому четырнадцать, а Коляну только семь. Серый — авторитет. Достав сигарету, он протягивает пачку Колькиной матери:

— Покурим?

Та машинально берет:

— Ты говори, там видно будет, покурим или нет.

Тем не менее прикуривает от спички, протянутой Серым.

Колян размазывает грязные сопли по лицу. Он бы убежал, но ему самому интересно, за что схлопотал в этот раз. Что-что, а любопытства из него не выбить. Серый тем временем цедит, стряхивая пепел в дворовую клумбу:

— Он слово одно произнес, а дура-Светка первый раз в жизни услышала и бабке заявила, что Колян ее матом обругал. А Колян сказал, что любит это слово, потому что оно про него, ну и про нее!

— Ну! — мать затягивается, а потом вслед за Серым сыплет пепел в клумбу. — Слово-то какое? Матерное?

Серый усмехается:

— Ага. Матерное. Для Степановны безграмотной. «Несуразность»!

— Слово-то какое? — не понимает мамаша.

— «Несуразность», — пожимает плечами Серый.

Мать с минуту молчит, потом начинает смеяться:

— Чё? Несуразность?! Они, дурищи, решили, что это матерное?!

Серый пуляет сигарету в клумбу:

— Ну а я про что? Колян сказал, что любит это слово. Чё там малый понимает, чё придумал, не знаю. Ладно, я пошел.

Он уходит, а мать продолжает хохотать:

— «Несуразность»! И правда про тебя, медвежонок! Что же сразу не сказал?! И не хочешь тебя лупасить! Ты ж сам заставляешь!

Она взмахивает рукой, имитируя удар, и Колька вздрагивает и зажмуривается.

— Дурачок. Вот и правда — «несуразность».

Через пару минут Колька распрямляется, как ежик, понявший, что остался один и никто уже не тронет. Он смотрит в проем между домами, — там садится солнце.

— День прошел, и слава богу, — шепчет он солнцу.

Так мама сказала: «Ты, Коля, живешь по принципу “день прошел, и слава богу”. Несуразность какая-то».

Коля согласился. Как хорошо, что день прошел, и ничего уже плохого не ждет, все случилось или случится завтра. А «несуразность» — прекрасное слово. Оно означает, что человек несет в себе разные вещи: красивые и не очень, интересные и скучные, болезненные и приятные. А еще он несет разность от всех вычитаний! Это он понял на уроке математики: подумал, если найти разность всех, получится что-то необыкновенное, что-то, что никто у тебя не отнимет.

Николай Николаевич задергивает штору. Закатное солнце слепит глаза ученикам, и они ёрзают. Он предпочитает облачные или даже дождливые дни. Тогда уроки литературы в интернате для особенных детей проходят лучше.

— Я бы хотел... — ученики, услышав сослагательное наклонение, настораживаются: оно требует безупречной тишины.

Учитель кивает, благодаря, и продолжает:

— Желательно, чтобы образ Крысолова вы поняли со свойственной вам проницательностью, не так, как его обычно преподносят.

— А как его обычно преподносят? — усмехается Кирилл.

Учитель на секунду задумывается, — как бы одной фразой прекратить надвигающийся диспут, который сведет на нет задачу? Но Софья уже трясет рукой, игнорировать ее он не может. Не получается.

— Говори.

Софья вскакивает. Оглядывает класс. Улыбается всем так, что Марина зажмуривает глаза.

— Я поняла! — кричит она, и полкласса выразительно затыкает уши. — Нам не нужно знать, что написано в интернете. Нам нужно только прочесть легенду о Крысолове...

— Ага. Все варианты, — перебивает Кирилл.

— Достаточно того, что я для вас распечатал.

Николай Николаевич, воспользовавшись ситуацией, хватает задания со стола, и Софья подбегает помочь с раздачей.

— Спасибо, — он протягивает ей листки, сопротивление бесполезно.

Это беспокоит учителя, но до сих пор ни одна из ее инициатив не была не то что во вред или вопреки, наоборот, девочка словно угадывает его мысли. Даже предугадывает! И смотрит в глаза с обожанием. А он ничего не может поделать, словно она не услужить готова, а диктует ему свою волю, всегда совпадающую с его. А совпадает ли?

Он и к Доктору забежал как-то после урока, чтобы рассказать о своей некомпетентности и невозможности работать с этими детьми.

— Понимаешь, Док, я и сказать ничего не успеваю, она берет и делает!

— И что тебя не устраивает? — смеется тот. — Пользуйся!

— Да. Но мне кажется, я теряю над ними контроль.

Голос Доктора звучит словно издалека:

— Теряешь? У тебя и нет над ними никакого контроля. И они знают об этом. Так что благодари Соню. Они думают, что контроль у меня. И чем дольше они будут так думать, тем лучше.

— К черту! — Николай Николаевич хватается за голову. — Отпусти меня! Дай уйти по собственному! Слушай, я боюсь их! И не понимаю, что ты задумал.

— Если честно, я тоже немного. И боюсь, и не понимаю. Но знаешь. Они не злые, — Док наливает на дно стакана коричневой прозрачной жидкости из графинчика, припрятанного в шкафу среди других, и учитель машинально гадает: «Виски или коньяк сегодня?»

— Виски, — выдыхает, пригубив.

— Ну да, — соглашается Доктор. — Сегодня четное.

— Точно!

Некоторое время они сидят и цедят по капле Jellow spot, другого доктор не признаёт.

— В том-то и дело, — прерывает молчание Николай Николаевич. — Они не злые, но и не добрые! Они... Они как природа...

— Вот-вот! Твое здоровье! — Доктор делает внушительный глоток и морщится. — Черт! Не люблю большими. Это от нас зависит, что будет: зло или добро.

— Ты думаешь?! — учитель не в силах сдержать смех. — Ты думаешь?!

— Я знаю! — Доктор ставит пустой стакан на стол, и Николай Николаевич понимает, — это такое же знание, как и уверенность в контроле. Но молчит, потому что лучше молчать. А заявление об уходе Док не подпишет.

— Больше ты не будешь меня бить! — Коля перехватывает руку и толкает разбушевавшуюся мать на стул.

Сердце ухает вниз, — вдруг промахнулся и она упадет на пол?

— Вырос?! — орет мать. Она удачно вписалась в крепкое сиденье, которое лишь покачнулось под ее весом. — Здоровый детина?! А раз здоровый, то и позаботиться о себе можешь! Всё! Отмучилась! Да! И обо мне, кстати, тоже позаботишься!

Она орет не прерываясь, а он нависает над ней, боясь сделать шаг в сторону. Если она снова попытается ударить, придется останавливать.

— Я всю жизнь одна из-за тебя! От отца-алкаша увезла! Так ты мне всех мужиков разогнал! Никто из-за тебя с нами жить не может!

«Я бы и сам с такой бабой долго не прожил», — думает Колька. Но тут же пугается своих мыслей. Как можно так о матери?! Она все для него делает. Это он никчемный. Дурной. Несуразный. Но бить себя не позволит.

— Самостоятельным хочешь быть? Будь! Только меня не проси ни о чем! И когда обгадишься! Как с тобой всегда! Ко мне не ползи! Не помогу! Не смогу! И зарабатывай теперь сам! Раз вырос, что матери и пальцем не тронуть!

Слово мать держала. Избирательно. Но в данном случае — твердо. И с этого дня дома ни обеда, ни ужина. На завтрак, впрочем, тоже только чай. У матери неплохая столовка рядом с работой, и пятнадцатилетний Колька отправляется по ночам разгружать вагоны или мыть посуду в кафе в вечернюю смену.

Днем на уроках он спит. Впрочем, и когда бодрствует, не очень-то вникает в происходящее в классе. Ему скучно, и он коротает учебное время, читая книги под партой. Учитель спросит, ответа не получит, поставит двойку, иногда поорет, иногда нет, — и отстанет.

Скучно, потому что нет веры учителям. Они лгут! Начали в первом классе. Говорили, что три на два не разделить без остатка, а Колька делил. Не совсем целые конфеты получались, но делились же! Что такое этот остаток, где он в природе встречается? Конечно, позднее про дроби рассказали, но врать-то было зачем?!

А потом оказалось, что из двух можно вычесть три. И получится отрицательная величина! Колькин мир рухнул вместе с его мечтой об абсолютной разности. Ее, этой разности, просто нет! Осталась одна несуразность.

Вот и говорили матери: сын способный, но ленивый и учиться не хочет. А она лупасила его за то, что доставляет много хлопот и неприятностей. К побоям он привык, а в то, что можно что-то поправить в жизни, не верил. Вот и получилось, — доверял только книгам. Они уводили за собой, как пресловутая флейта Крысолова, отвлекали и словно давали право на жизнь, которого у него, плохого мальчика, просто не было.

Высокий звук поплыл по классу, и ученики отвлеклись от работы.

— Заткни его! — бросил Кирилл.

Николай Николаевич уже знал, — это к Тарасу. Пока он единственный, кто может сходу контактировать с Китом, сидящим на задней парте. Остальным требовалось время для настройки. Кит слеп, глух и нем. И гудит постоянно. Некоторые учителя спецшколы, да и родители учеников, высказывались против присутствия Кита на уроках вместе со всеми, но Доктор запретил обсуждать этот вопрос. Терпите!

Тарас подходит к Киту, касается плеча, вздрагивает, тот замолкает, но раскачиваться продолжает. Пусть так. В классе дети разных возрастов. Младшему, Тарасу, — одиннадцать. Он присоединился этой осенью. Кит старше всех, ему пятнадцать, но учиться начал только два года назад, когда Доктор нашел его. Точнее, когда отец Кита приволок ребенка в клинику к детскому психоневрологу на прием. До трех лет Кит, тогда он был Костей, развивался намного быстрее сверстников, но какой-то компонент плановой прививки превратил его в инвалида. Что произошло, врачи трактовали по-разному. Кит словно замер в развитии навсегда. Таким его и увидел Доктор. Таким, да не таким, каким его видели все. Потом появилась Школа.

Тарас стоит рядом с Китом, держа его за руку, и Кит расплывается своей неизменной внутренней улыбкой. Он двигает лист, испещренный точками Брайля, туда, где, по его мнению, находится Тарас, и нервно елозит пальцами по строкам. Снова протяжно воет.

— Ему страшно, и он не согласен, — Тарас бросает тревожный взгляд на учителя. — Вот здесь, в этом месте.

Николай Николаевич сопоставляет шрифт для слепых с текстом. Он так и думал. То место, где Крысолов, по сути, топит детей. Как Док выучил Кита читать — особая тема, а вот как объяснить подростку, что такое метафора, — задача учителя литературы.

— Он не боится, он просто взволнован, — уточняет Марина. — Совсем нет серого, очень густой синий и чуть-чуть фиолетовый.

Николай Николаевич знает, Марина говорит о сиянии вокруг тела, об ауре, которую она видит. Не то чтобы он верит, но и в неверии своем уже сомневается.

— Да, — тихонечко поддерживает одноклассницу Соня. — Ему кажется, что там неправда. Если честно, мне тоже.

— Допустим, это метафора, — хватается учитель за представившуюся возможность. — Наша задача ее понять. И по возможности донести до Кита.

Тарас сжимает плечо приятеля. Для того это значит: учитель говорит, все слушают, — и Кит замирает с выражением страдания на незрячем лице. На Николая

Николаевича — на Колю — словно глядит сама пресловутая абсолютная разность, когда остается одно страдание. Ведь именно этого никто не отнимет.

— Нужно, чтобы он понял, не все так просто! — кричит учитель, разве что ногой не топает.

Кирилл нехотя поднимается, идет к Киту. Он берет его за обе руки и закрывает глаза. Лицо Кита расслабляется, из-под век по щекам скользят тоненькие прерывистые струйки.

— Он очень опечален, — вздыхает Соня. — Он хочет что-то сказать, но я не понимаю.

— Кто-нибудь понимает?

Вопрос риторический. Они умеют Кита чувствовать. Успокоить. Кирилл даже доносит какую-никакую простую мысль. Правда, жалуется, что это больно. Но полного контакта нет. Пока, как утверждает Док.

— Ну и в чем метафора? — цедит сквозь зубы Кирилл. — По-моему, все предельно ясно. Город заселили крысы, там есть, что жрать. Народ позвал дезинсектора. Тот использовал ультразвук, и крысы сбежали. Проблема решена, — можно не платить. Это подло. Дезинсектор сгубил детей, чтобы таких бесчестных людишек больше не было. Не вижу никаких метафор. Все логично. Сильные так и решают проблемы.

— Это неверное решение, — учитель пытается прервать Кирилла, который все больше распаляется и трясет Кита за руки.

Но Кирилл не слышит его:

— Почему Крысолов?! Потому и крысолов, что всех крыс извел и заодно их потомство. Не могу больше! — он резко бросает ладони Кита. — Это больно, черт возьми! Можно мне сесть на свое место?

— Конечно, — Николай Николаевич ждет очередного срыва урока, но Тарас отодвигает бурю:

— Но взрослых он не тронул. Они так и остались в городе. Он только детей увел. И неизвестно куда.

Тут подхватывает Соня. Она говорит, но смотрит на Кита, и голос ее дрожит:

— Он их просто увел за собой. В другой мир. Это и есть метафора. Он увел их от плохого воспитания и вырастит хорошими.

— Ага, — Кирилл уже справился с собой и готов к диспуту. — В одном из вариантов говорится, что он увел их в Трансильванию. Смотрите, легенда о Крысолове появилась, как вы сказали, в тринадцатом веке. А граф Цепеш когда родился?

— Точно не известно, где-то в двадцатых годах пятнадцатого столетия. Как видишь, прошло почти два века.

— Вот! — не унимается ученик. — Почему бы им и не основать великий вампирский род?! А Цепеш — один из ярких потомков. Вот вам и метафора! Милая история без жертвоприношений.

— Почему же? — улыбается Николай Николаевич, не переставая следить за раскачивающимся Китом, зажимающим рот руками, чтобы не издавать звуков. Ему однажды показали, что так нужно делать.

— Мне не нравится! — кричит Тарас. — Это вообще разные вещи. Это все притянуто за уши!

— Ну, конечно! — Кирилл опять вскакивает с места, готовясь доказывать товарищу правоту не только на словах.

— Брейк! — подбегает учитель к Кириллу, и тот послушно садится, но продолжает говорить:

— О да! Он превратил их в дельфинчиков и китов!

— Вы оба совсем серые! Остановитесь! — Марина топает ногой. — Немедленно! Или я за себя не ручаюсь!

И тут же поднимается Софья. В ее глазах слезы, она с мольбой смотрит на учителя, потому что он испуган. Она медленно направляется к Киту, который уже не сдерживает гудения, переходящего в отчаянный высокий вопль. Однажды Николай Николаевич позволил ей унять Кита. Тот сутки блаженно спал, а Соня провалялась почти без сознания то же время. Он не мог допустить повторения:

— Сядь немедленно! Я сам!

Не отдавая себе отчета, что делает, нарушая запрет Дока касаться Кита, учитель бросается к нему и прижимает к себе. Класс замирает. То, что чувствует учитель, он вряд ли может передать словами.

У матери случаются приступы любви к сыну. Тогда она хватает его, сажает на колени, тискает, приговаривая: «Мой медвежонок, сыночка. До чего ж сладенький». Нужно быть настороже. В любой момент она вспомнит что-нибудь, Колька даже представить не может, что. Она вжимает его в себя, в свое роскошное теплое мягкое тело, как начинку в тесто, и он млеет. И ждет удара. Иногда все так и заканчивается: он летит на пол, она орет... Бывает, она просто отпускает его. Встает и идет по своим делам. Тогда он остается сидеть, представляя, что ее руки по-прежнему сжимают, гладят по голове, слышит биение ее сердца. Он сидит, сидит, пока не получает подзатыльник за то, что бездельничает.

Постепенно он учится предчувствовать, когда объятия могут смениться ударом, и чаще всего успевает вовремя вырваться и скрыться с глаз, чтобы переждать бурю. Но с тех пор, как он запретил матери себя бить, она и ласкать его перестала. И слава богу. Теперь бы лучше и видеться пореже. Он любит ее, но его тянет прочь из родного дома.

Сменив за два года пару колледжей, пытаясь стать то архитектором, то художником, Коля понимает, — не для него.

— Ты всегда начинаешь и не заканчиваешь, — резюмирует мать.

Но ему все равно.

По особой протекции со многими оговорками не подвести, он уезжает к вулканам. Там фумарольные поля и нет места отчаянию. Там идешь по тропе, и в любой момент перед тобой выскочит фонтан кипятка, — вот и нет тебя вместе с твоей несуразностью. Но Колян чувствует фумаролы, как объятия матери, и вовремя останавливается.

— Откуда ты знаешь, куда идти? — слышит он за спиной.

Вчера приехал новый сезонный рабочий — студент-медик.

Колян оборачивается:

— Я их чувствую.

Он ждет, что тот засмеется. Все же смеются и говорят «ну-ну». Но студент серьезен:

— А как?

Колька вдруг рассказывает ему о матери. Сначала про объятия. А потом вообще всё.

— А ты крутой! — говорит, наконец, студент.

Колян встает как вкопанный и чуть не пропускает последний на тропе фумарол, но вовремя хватает нового друга, и они отпрыгивают в сторону.

— Да нет, — смущается Колян. — Я не крутой. Я несуразный. Знаешь, что я думал про это слово, когда маленький был? А фумаролы бьют по расписанию...

— А почему бы тебе литературой всерьез не заняться? — вопрос студента ставит Кольку в тупик.

Ну да, книг он прочел немало. Что значит — литературой? Библиотекарем, что ли? Не литературоведом же?

— Ты так рассказываешь, — продолжает студент. — Если бы записал, — это роман с картинками! Главное, так словами передаешь, что я сам все прочувствовал. Я б на твоем месте маньяком стал. Или писателем.

— Да брось, — еще больше смущается Колян. — Трепать языком все могут.

— Все могут трепать языком. А рассказывать — единицы.

Кольке неловко:

— Что ты смотришь так? Я как у доктора на приеме.

Студент смеется:

— Так я доктор и есть. Будущий, конечно. Доктор — с детства приклеилось. С детдома. А ты иди на филфак. Ты чувствуешь слово, и человека, и природу. И можешь об этом рассказать. Может, книги напишешь.

— Рассмешил, Доктор! — Кольке становится нестерпимо грустно. Словно ему, как в детстве, показали конфету и сказали: «Вот сладость, которую мы тебе приготовили, но ты ее не получишь, потому что плохо себя вел».

— А ведь это я из-за тебя в литераторы двинул, — выдыхает Николай Николаевич, сделав небольшой глоток коньяка «по нечетным».

— Да ну? — Док катает каплю напитка во рту. — С чего это вдруг из-за меня? Ты — талантище! Над романом еще не думал?

— Нет. Роман нужно уметь закончить. А я, как известно...

— Кому известно? — строго перебивает Док, стукнув толстым дном бокала о стол. — Хватит! Не маленький! Придумал еще, что из-за меня стал литературой заниматься! Ага! А я из-за тебя в психоневрологи пошел!

— Не помнишь?

Колян ему рассказывает о вулканической экспедиции и не верит, как Док ни божится, что не помнит таких разговоров. Всё он помнит, хитрый лис. И ведет Коляна за собой. Колян вывел его с фумарольного поля, чтобы потом следовать за ним.

— Ну хорошо, ты — доктор, тебе видней, — усмехается Николай Николаевич. — Но, может, скажешь мне как врач, что мне делать с Софьей?

— А что? Опять Кита спасала? — Доктор рад сменить тему.

— Нет. После того случая я ее не подпускаю. Но...

— Что но?..

— Она *так* смотрит! — Николаю не хочется говорить, что он чувствует на самом деле.

Трудно рассказывать, но часто встречает Софью недалеко от своей спальни, когда остается на дежурство в интернате. Она постоянно ищет повода быть рядом, спрашивает о любимых книгах, глотает их, а потом просит обсудить с ней. Вначале он считал это неплохим поводом дать нужные знания по литературе. Но ее глаза! В конце концов, он мужчина. К тому же ему тридцать с небольшим.

— Говори! — Доктор отпил еще глоток.

— Мне кажется, — Николай Николаевич уставился в пол. — Так бывает

с девочками-подростками... Они романтизируют учителя, и все такое. Создают себе идеал. И...

— И?

— Влюбляются...

— Угу, — кивает Док. — Влюбилась, думаешь? Понимаешь, друг, это не совсем обычные дети. Софья — особенная личность. И здесь нет ничего такого, чего стоит опасаться. Я только очень прошу тебя ничего не делать и по возможности ничего не думать. Просто пока прими. Но, конечно, правила поведения с учениками и тем более несовершеннолетними подростками тебе не нужно напоминать. Просто делай свое дело. И терпи. Такая школа.

— Может, ты все-таки меня просветишь, в чем дело? — Николаю Николаевичу кажется, что с ним говорят как с идиотом.

— Буду откровенен, — уступает Док. — Я не знаю. Она — очень мощный эмпат. Я могу только догадываться, почему она выбрала тебя. Сочувствие, возможно. Но не подростковая любовь. Даже если ей самой так кажется. Будь осторожен.

— Почему она выбрала меня?

— Потому что ты нуждаешься в любви! А она нуждается в том, чтобы ее дарить. Не тебе одному. Не обольщайся.

Сначала его пронзает боль, как от мощного электрического разряда. Он будет терпеть, сколько ни потребуется. В конце концов, не такая уж большая жертва! Боль постепенно отпускает. Он держит Кита в своих объятиях, ему кажется, они оба тонут в бушующем океане. Если отпустить, то можно еще выплыть и спастись. Но он предпочитает погибнуть вместе с ним. Ибо отныне в одиночку ему нет дороги на берег. Все плывет перед глазами: стены, стеллажи, лица учеников. Как будто он медленно погружается в иную реальность, хлынувшую в классную комнату невесть откуда. Голоса детей превращаются в шум ветра и рев волн в ушах, и в протяжную песню китов. А в мозгу бьется навязчивая мысль: «На берег! Нужно плыть к берегу. Нужно спасти его. Нужно спасать их всех. И вести за собой». Песни китов всё ближе и тоскливей, времени остается мало. Он не слышит своего голоса, и не может видеть бледные, как у утопленников, лица учеников, вставших кругом, их взгляды, обращенные внутрь себя, и улыбки, такие же, как у Кита.

Они слышат:

— Плыви со мной, за мной, мой хороший. Я спасу тебя. Я вытащу тебя. За мной. За мной.

Его оглушает отчаянный вопль, и вопль этот внутри, а не снаружи: «Не-е-е-ет! Не ведите меня за собой на берег! Там смерть!»

Рождение Афродиты

— Привет, новенькая! — Маринка разглядывает рыжую девчонку.

Миленькая, вся в веснушках. Ореол кажется белым. Но, когда девчонка смущается, видно синеву. Это что-то необычное.

— Привет. Я Соня. Хорошо, что палата на двоих, а не как...

— Это не палата, — перебивает Маринка. — Это спальня. Палаты в больницах и лагерях.

— А мы где? — Соня пожимает плечами. — В больнице!

Маринка смеется:

— Нет, конечно! Кто тебе про больницу сказал?

— В приемном покое.

— А эти никак не привыкнут, что мы не психушка, а интернат для особых. Это потому, что директор — Доктор! А они с ним раньше в клинике для сумасшедших детей работали. Пока он Кита не поймал.

— Кита? — удивляется Соня.

— Ну да! В классе увидишь. Будет раскачиваться и гудеть. Синий Кит.

От Маринкиных слов у Сони кружится голова. Не вяжутся слова девочки с тем, что Соня чувствует. Говорит как чокнутая: киты, гудящие и раскачивающиеся, которых ловит доктор, лечащий душевнобольных?! Она всякого за три месяца насмотрелась, пока в клинике обследовали. Даже чувствовать перестала. Как будто дышать разучилась. А тут. Вроде обычная девочка. И рука у нее такая легкая, всю жизнь держалась бы! Но то, что она говорит, никак нельзя назвать нормальным!

Маринка видит это смятение, и не только по сполохам вокруг головы новенькой, тут и обычным, невооруженным глазом можно разглядеть, и понимает, — поспешила, как всегда, вывалить на человека воз информации.

— Ладно, — смеется она. — Не бойся. Здесь нет сумасшедших. Тебе Доктор что сказал?

— Сказал, побудешь у нас. Поучишься, — Соня еще не совсем доверяет.

— Ну вот! Поучишься, а не полечишься! И что?! Ничего больше?!

Маринка слегка шлепает Соню по плечу, и той легчает, она порывисто обнимает новую подругу.

Маринке приятно. «Как сестры, — думает она. — Здорово было бы иметь такую сестру». Она не знает, какую, она — чувствует. Доктор учит их разделять знания и чувствования, как два вида энергии: потенциальную и кинетическую.

Наконец Соня ослабляет объятия. И теперь уже Маринка смущается, и ее снова несет:

— Знаешь, у нас и кормят офигенно! Не то что в больнице! Скоро обед. Тебе понравится. Вот увидишь! А тебя к нам из дома или из клиники перевели? Меня из клиники.

— И меня из клиники, — все еще настороженно отвечает Соня.

Первый раз Сонька влюбилась в детском саду. Во всех сразу. Про влюбленности она знала от старших девчонок во дворе и из сказок про принцесс. Для нее это значило наслаждаться тем, что «принц» рядом. Почему только «принц»?! А Король, Королева, Сапожник, Портной?.. Да кто угодно! Мама тоже. Но мамы и бабушки — совсем не предметы влюбленностей, как объяснили те же старшие девчонки. Мама и бабушка — все равно что она сама. Какие уж тут наслаждения! Она бы и папой наслаждалась. Но он куда-то ушел, и мама сказала, что они с Сонькой ему не нужны.

Воспитательница сдержанно улыбнулась маме:

— Ласковая девочка, — это хорошо, но лучше все-таки объяснить ребенку, что не стоит постоянно ко всем лезть с объятиями и поцелуями.

Мама не стала ничего уточнять про поцелуи в детском саду, а просто отчитала дочь за плохое поведение.

— Но я же влюбилась! — честно призналась Сонька.

— Влюбилась?! — рассмеялась мама. — В кого?

— В Петю, а еще в Елисея, и в Ангелину, в Богдана, конечно, в Никиту, Платона, в Ксюшу и Варю.

Мама покатывалась со смеху:

— Что? Во всех сразу?

Соня не могла понять, над чем она смеется:

— Ну да! И в воспитательницу Зою Сергеевну.

Отсмеявшись, наконец, мать решила вразумить дитя:

— Дурочка. Влюбиться можно в кого-нибудь одного. А так... Ох. Просто тебе все понравились. Но это не значит, что всех, кто нравится, нужно целовать без перерыва. И вообще, постарайся никого не трогать: ни руками, ни губами. Совсем. Так вести себя не принято. А влюбляться тебе еще рано.

«А если я уже?» — подумала Соня, но возражать не стала. В конце концов, ей было всего четыре года, и долго говорить об одном и том же она не могла.

— А ты что умеешь? — спрашивает Маринка, прихорашиваясь перед зеркалом.

— Ничего, — новенькая пожимает плечами и настораживается.

— Да ладно. Не может такого быть. У тебя аура синяя и белая. — Марина проводит рукой, словно очерчивает окружность в воздухе.

— Аура? Что это? — она слышала это слово, но не знает его значения.

— Ну ты даешь! — Маринка чуть не подпрыгивает на месте. — Про биополе слыхала?

— Ага, — кивает Соня.

— Ну, это то же самое, — радуется Маринка, что не нужно объяснять такие простые вещи.

— Синяя? — переспрашивает Соня. — А что это значит?

— Ну-у, дремучий лес! — Маринка даже руками всплескивает и хлопает себя по коленкам. — Откуда только Доктор тебя выудил?! Индиго ты! Новая раса людей. Каждый с какой-нибудь сверхспособностью. Человек вроде обыкновенный, но что-то иначе. Я, например, ауру людей вижу. Не всегда. Но, как к Доктору попала, все чаще. Он помогает это развить и учит, как с этим справляться. У нас спецкурс по утрам. Кирилл в основном пока по птицам. Они восприимчивее людей. Его даже зовут «Считающий ворон». У нас ворон этих теперь — весь парк в гнездах. Кит — не знаю кто. Он слепоглухо— и все такое. Не от рождения, от прививки. Значит, и у тебя что-то есть.

Софья чуть не плачет. Нет у нее ничего такого. Глупости хоть отбавляй, как мама говорит. А сверхспособностей — никаких. Память хорошая. Ну, так это у многих людей, кто тренирует. Ее с пеленок заставляли стихи учить.

— А учиться у нас, знаешь, как интересно, — продолжает Маринка. — Ничего зубрить не нужно! Всё в режиме открытия, как Дифур говорит.

— Кто?

— Математик наш. Он, когда рассказывал нам про чудеса математики в первый день, про дифуры говорил. Мы про них узнаем каждый в свое время. Но они чудесные. Мне не терпится, но я еще не готова. А Кирилл уже начал. Вот мы его Дифуром и прозвали.

— Кирилла?

— Да нет же! Математика!

Соне теперь совсем не по себе. От слова «дифур» у нее кружится голова. Так могут

звать злого колдуна, зачаровавшего принцессу. Или восточного мудреца. Но режим открытия? Что это? Она решила уточнить, и Маринка радостно бросилась объяснять:

— Это очень здорово! Формулы вообще учить не нужно! Ты их запомнишь, потому что сама выведешь. Так задача придумана. Дифур — гений. Не то что в школе! Как обезьяна, подставляешь цифры вместо букв и ничего не понимаешь: что, почему, зачем!

Соне лучше бы как обезьяне. Формулы она запоминает сходу, и ей все равно, что там и как. Математика не ее предмет. Хотя учительницу в школе она любила, и за аккуратность иногда имела даже пятерку в четверти.

— Я, наверное, так не смогу, — шепчет она. — Да и вы ушли вперед далеко. Я отстала от программы.

Но Маринка еще больше огорошивает:

— А у нас нет никакой программы общей. Дифур тебя протестирует. Кит только научился сопоставлять число и количество на своих таблицах Брайля, хотя он старше нас всех. Завтра как раз весь день математика. Всё сама увидишь.

Час от часу не легче, думает Соня, целый день сплошной математики. Она в школе до конца одного урока с трудом досиживала!

После обеда Соня замечает в парке огромное количество ворон, важно разгуливающих по аллеям, чинно сидящих на ветках и, что странно, молчащих.

— Не каркают, — восторженно шепчет она.

— Ага. Кирилл не разрешает, чтобы не мешали, — соглашается Марина. — Они вечером пошумят. А вот и он, кстати. Это Соня. Новенькая, — говорит она подошедшему парню.

И Соня понимает, что влюблена по уши. Не так радостно, как в Маринку, и становится даже немного страшно. Больно. Словно по душе прошлись наждачной бумагой, и... безответно навсегда. Впрочем, жизнь ей уже показала, что мальчики не хотят влюбляться.

Со временем Соня научилась обожать и восторгаться тихо, чтобы никто не замечал. Ей было непонятно, почему так нужно! Почему не все люди радуются друг другу? Почему не хотят, чтобы их любили? Сторонятся объятий и поцелуев. Чем старше она становилась, тем больше натыкалась на нежелание окружающих быть любимыми.

В первом классе, разумеется, без проблем не обошлось, и Соня посетила школьного психолога.

— Понимаешь, деточка, — милая тетя, которую хотелось обожать, гладила Соню по руке. — Не все люди могут оказаться достойны твоей любви. Нужно быть избирательной. Плохих людей любовь может сделать еще хуже, если они захотят ею воспользоваться.

Соня слушала очень внимательно, но ничего не понимала. Как это «не достойны»? Как это «воспользоваться»? После нескольких бесед сошлись на том, что у Сони задержка эмоционального развития.

Сама же она сделала вывод: люби, но незаметно. И никому не говори об этом. Но время от времени всё же срывалась. Особенно если кто-нибудь был с ней ласков. Тогда она кидалась к нему и со всего размаху обхватывала руками. Ее прозвали «липучка-приставучка», хотя многие отмечали, что не так уж и неприятны Сонины прикосновения. Во всем остальном она была обычной хорошей девочкой с блестящей

памятью и прихрамывающей логикой. К тому же прехорошенькой. Что к концу седьмого класса начали замечать парни.

По совету психолога мама серьезно поговорила с дочерью, объяснив ей во всех подробностях, что ждет, если демонстрировать любвеобильность. В довершении добила примером Сониного отца, которому мама в свое время поверила, и вот результат, — Соня есть, а мужа нет. А если бы и был, то, скорее всего, тоже ничего хорошего. У мамы имелись еще аргументы в виде замужних подруг-страдалиц.

Впереди маячило лето с поездками в лагерь. И хотя Соня уже умела сдерживать эмоции, но улыбаться и говорить добрые слова всем, в том числе и мальчишкам, ей до сих пор никто не запрещал. Теперь многое менялось. Ночью Соня рыдала в подушку. Как же Прекрасные Принцы, Рыцари и Герои?! Как же Петрарка, и Пушкин как же?! Для чего-то ведь люди сочинили красивые истории. Неужели только для того, чтобы не прерывался человеческий род?! Ей не верилось, но она сама была неоспоримым доказательством подлости мужской природы. Одно только непонятно, — это любовь к особям противоположного пола так отвратительна или весь мир с его горами, морями, зверями, цветами и поэтами лжив и жесток? Использует чувства маленьких девочек, как растение росянка сладкий сок? Она попробовала запереть сердце на замок и отказаться от любви совсем. Через две недели, прожив в лагере букой, никого к себе не подпуская, она почувствовала, что задыхается. Ее увезли в больницу с воспалением легких, и там, под капельницей, она дала слово, что будет дарить себя этому миру и всему, что в нем, — только на расстоянии. Она представляла, что сидит на вершине горы, вокруг никого, даже орлы летают ниже. И вот оттуда всех будет любить.

Когда, проболев все лето, она появилась в классе, бледная и печальная, выяснилось, что у них будет учиться новенький мальчик Артём. Он выглядел и милым, и умным, — отличник, но Соня себе сказала: «Нет». К тому же у нее начались приступы периодического удушья, и врачи диагностировали астму. Теперь Соня чаще лежала в больницах, чем ходила в школу.

Восьмого марта, не получив ни одного подарка, она обрадовалась. На это и рассчитывала, не одаривая одноклассников двадцать третьего февраля. Праздничным вечером, пока Летний сад не закрыли на просушку, она отправилась погулять вокруг памятника Крылову, который вызывал восторг не меньший, чем скульптуры античных богов. Скульптуры и картины вообще придавали ей радости и сил, она была убеждена, человек может солгать в словах, — поэты же — вруны, а в камне это невозможно.

Соня бродила по аллеям, несколько раз обошла вокруг Ивана Андреевича, пока не вспомнила все басни, чьи герои облепили кресло своего создателя, и вдруг наткнулась на Артёма. Предательская улыбка тут же нарисовалась на лице.

— Привет, — улыбнулся в ответ Артём. — А я сюда за тобой пришел.

— За мной? — Сонино сердце заколотилось, не понимая, что ему делать: выскочить, сразу разбиться в дребезги или окаменеть.

— Ну да. Я поздравить хотел. Вот, — Артём протянул букетик мимозы.

— Не нужно! — отшатнулась Соня. — Убери. Мне не нужны цветы! Проваливай отсюда! Нечего ко мне подкатывать!

— Жаль, — Артём повернулся спиной.

Он сделал пару шагов. Соня буквально держала себя руками за плечи, чтобы не броситься следом, потому что его печаль сейчас ядовито разлилась внутри нее, и вместе с ее собственной болью уже была невыносимой. Тут он оглянулся:

— Знаешь. Я не поверил ребятам, когда они сказали, что ты такая. Стала такой.

— Стала? — прошептала Соня, задыхаясь от привычного кома, сдавливающего грудь.

— Да. Они говорили, что раньше ты была чудесная. Самая добрая на свете, солнечная, как твои волосы, а потом тебя подменили.

Парень бы сказал ей «пару ласковых», но заметил, что девчонка как-то неестественно оседает прямо на подтаявшую землю.

— Что с тобой? — он бросился к ней.

Соня пыталась что-то достать из кармана пальто, но у нее никак не получалось вынуть руку, и дыхание стало хриплым.

Он рванул ее за локоть, на землю упал какой-то цилиндр, баллон для астматиков, — догадался Артём и подал его девочке.

— Я не такая, — прохрипела Соня, когда приступ закончился. — Мне велели стать такой.

Она не стала рассказывать, кто велел и почему, а он не спрашивал.

— Я знаю все эти басни про всех этих зверей, — вдруг выпалила она, указывая рукой на памятник, когда ее отпустило.

— А я почти все, — обрадовался Артём.

Они обошли вокруг Крылова, читали друг другу наизусть, периодически смеясь над ошибками.

Ближе к майским Соня призналась матери, что дружит с мальчиком.

— Я была у него дома несколько раз. У него отличные мама и папа. Они вообще никогда не ссорятся.

Мать насторожилась:

— Ну вот откуда ты знаешь?! Будут тебе чужие люди рассказывать, что у них да как! Я вон тоже подружкам говорю, что твой папа умер, а не бросил нас.

Соне стало неприятно, и она бросилась к дверям.

— Стой! — мать ухватила ее за руку. — Разговор еще не окончен. Я не разрешала тебе дружить с мальчишками. Тем более ходить к ним домой. Это очень неприлично!

— Что неприличного?! — взорвалась Соня. — Что может быть неприличного в приготовлении уроков вдвоем?!

Мать стукнула ладонью по столу:

— Не ори! А слушай мать! Тетя Лида, думаешь, почему бездетная?! Тоже уроки вдвоем в выпускном готовили. А потом аборт! Не смей к нему ходить!

Мать продолжала орать, но Соня, хлопнув дверью, заперлась у себя в комнате.

— Что, дождалась?! — услышала она из коридора громкий голос бабушки. — А я предупреждала! Яблочко от яблоньки недалеко падает. Вот и получи неслуха, какой и ты была. Нет, мы такими распущенными не были!

— Ой! Не говори ерунды! — раздавалось за дверью, и Соня, задыхаясь, никак не могла заставить себя заткнуть уши.

— Можно подумать, я появилась святым зачатием!

— Я, по крайней мере, была замужней женой! Он просто поехал на заработки и пропал! — почти визжала бабушка.

— Ага! — вторила ей мать. — Мне твоя сестра, тетя Раечка, рассказала, куда да кто поехал! И что я своего отца не знала, потому что и ты толком не знала, кто из тех, кто поехал на заработки...

Соня схватила наушники закрыться любой музыкой и решила, что больше ничего не будет рассказывать близким о себе. Для их же блага.

Она не перестала встречаться с Артёмом. Но теперь Соня лгала матери, что дружит исключительно с девчонками. И чем более и тщательнее ей приходилось скрывать правду, тем отчаяннее она стремилась наверстать упущенную радость общения, вновь одаривая одноклассников объятиями и поцелуями, благо в их круге это приветствовалось. Ну, может быть, не в таком количестве.

Артём тоже решил с ней серьезно поговорить:

— Слушай, я рад, что ты опять, как рассказывали, ну, радостная. Опять душа компании и всё такое. Но есть же предел. Ты либо моя девушка, и тогда...

— Что тогда? — не поняла Соня, продолжая улыбаться всему миру.

— Тогда не нужно целоваться со всеми! Хорошо? — выпалил Артём довольно резко.

— Не поняла, — насторожилась Соня.

— А чего тут непонятного-то?! Если мы с тобой пара, то мы — пара! Я не согласен делить тебя со всем классом! Или как?!

— Делить? — до Сони всё еще не доходил смысл.

— А как это, по-твоему, выглядит? Все знают, что мы встречаемся, но при этом любой пацан может тебя обнять, поцеловать, потискать! Знаешь, как тебя называют? А мне надоело им доказывать, что это не так! — распалялся Артём. — Давай договоримся: если ты моя девушка, то больше ничья! Извини, я придерживаюсь старомодных взглядов. Женщина может принадлежать только одному мужчине!

— Принадлежать? — с лица Сони медленно сползала улыбка.

— Ну, может, я слишком резко высказался, но сути это не меняет, — попытался Артём смягчить свой выпад, видя, что подруга изменилась в лице.

— Ты ошибся, Артём, — Соня перешла почти на шепот. — Я никому не принадлежу и принадлежу всем. Всему миру.

Она не отдавала себе отчета в том, что говорит, не обдумывала слова, которые просто рвались наружу:

— Ты мне дорог. Очень. Быть может, дороже многих. Но это не значит, что только ты! Я испытываю такой же восторг обнимая дерево и колонну собора! И никому больше не позволю отнять у меня это! Это нужно!

— Кому нужно? — усмехнулся Артём. — Тебе, мне или всем?

— Всем! — отрезала Соня

Губы Артёма затряслись:

— Шлюха!

Отшатнувшись, как от удара, она попятилась, доставая из кармана свой спасительный баллончик, а потом бросилась вон.

— Парни даже спорили на тебя! — крикнул мальчик ей вслед.

На следующий день Артём не замечал ее, это было больно. Тем не менее остальные ребята были все так же веселы и приветливы. Она с удовольствием согласилась отправиться вечером к одному из одноклассников, у которого был день рождения. Говорили, что и Артём приглашен. Соня надеялась, он поймет, и все будет как прежде.

Она пришла к назначенному времени, но, кроме нее и четверых мальчишек, никого не оказалось. Вручив имениннику набор солдатиков, купленный в магазине игр, — она знала, он их собирает, — Соня обняла остальных по очереди:

— А где все?

Парни засмеялись:

— А кто тебе еще нужен? Или такой горячей девчонке четверых парней мало?

Она еще продолжала улыбаться:

— В смысле?

— Да ладно, не строй из себя целочку, — именинник потянул ее к себе за руку. — Солдатики — это хорошо, но основной подарок должен быть другим.

И он впился ей в губы, пытаясь задрать подол платья.

Соня отбивалась изо всех сил. Их не остановили ни мольбы, ни приступ удушья, который, как ни странно, из-за резкой боли вдруг прошел. Только когда она закричала отчаянно громко, по-птичьи, и потеряла сознание, кто-то догадался вызвать «скорую». Потом она узнала, что это был отец именинника, пришедший домой так вовремя для нее.

Последующее она помнила плохо. Одна больница — это было детское гинекологическое отделение, — другая, где ее заставляли пить какие-то таблетки, от которых она только спала. Она еле узнавала мать и бабушку и не реагировала ни на ласки, ни на укоры. Ей казалось, — она умерла. Что-то из нее вынули. Ее саму.

Доктору предложили посмотреть нимфоманку, он увидел девочку с тускло-синим светом и болью, которую ощутил как свою собственную даже на расстоянии. Разговорить ее он и не пытался. Протянул иголку с ниткой и плюшевого медвежонка с разодранным брюшком, — кто-то из юных пациентов постарался.

— Зашей.

Она повиновалась, восприняв это как трудотерапию, отказ от которой сулил болезненные уколы. Шов получился кривым, и мишку всего перекособочило.

— Нехорошо, — Доктор вернул ей игрушку, распоров швы. — Вынь все внутренности.

Она послушно по кусочкам выудила из медведя синтепон, и мишка повис печальной тряпочкой в ее руках.

— Теперь набей. Только аккуратно. Твоя задача сделать его пусть меньше, чем был. Но не кривым.

Почти бесстрастно она сшивала расползающуюся ткань.

На следующий день Соня снова зашивала этого же мишку.

И на следующий.

А через неделю уже ждала встречи с игрушкой.

В тот день, когда она увидела своего медведя целехоньким, аккуратненьким, сидящим на столе перед Доктором, что-то вспыхнуло внутри, и она бросилась вперед и прижала к себе игрушку. А Доктор улыбнулся:

— С возвращением!

К новому учебному году, пусть не к самому началу, она оказалась в школе, где разрешалось любить.

Целого дня уроков математики она боялась до ужаса. Аудитория оказалась довольно большая. Там могло бы разместиться, наверное, целых два школьных класса. Соня удивилась, увидев, что их набралось немногим больше десятка, да к тому же и разного возраста: от восьмого, как она, до выпускного класса.

— Мы что? — шепнула она Марине. — Все вместе заниматься будем?

— Ну да, — кивнула та. — Я же говорила. Каждый по своей программе.

Дифур влетел стремительно:

— Привет! Вижу, никто не умер. Все готовятся сдавать задачи. Трое младших — Кириллу. Старшие — мне. Кирилл последний. Новенькая — сюда! — он ткнул пальцем в стол перед собой.

Соня, чуть дыша и нащупывая спасительный баллончик, направилась к учительскому столу.

— Я ничего не умею, — пролепетала она, усаживаясь.

— Говорить умеешь, — улыбнулся учитель.

Соня заметила, что он очень молодой и симпатичный, а, главное, искренний, как Доктор, как Марина и Кирилл. Его можно любить, это безопасно. И легко. Дифур продолжал:

— Вот Кит даже не говорит, но неплохо считает. Слышишь, гудит, как трансформаторная будка? Это он примеры решает.

Соня проследила за рукой учителя, та указывала на почти взрослого парня. Он водил ладонями по листам бумаги перед собой, раскачивался, издавая низкие ритмичные звуки.

«Как я его не заметила сразу?!» — взорвалось в мозгу, и она начала задыхаться.

— Вот, — учитель протянул ей распечатанные на компьютере арифметические примеры со многими действиями и скобками.

Она даже чуть-чуть растерялась:

— Но это же третий класс! Это я легко могу посчитать. Даже в уме.

— А я не прошу посчитать. Я прошу придумать красивые задачи, истории с приключениями про принцев и принцесс. Но так, чтобы решением этих задач были эти примеры. Кстати, если не захочешь, можешь не считать. И не торопись. Сделаешь один, поднимай руку. Оценок две: «сдано» — «не сдано». Всё.

Соня схватила листы и впилась в них глазами.

Первый раз в жизни она ждала, когда закончится обеденный перерыв, и не могла прекратить думать про принца, собирающего необходимые для спасения принцессы артефакты.

К концу дня гудение со стороны Кита усилилось.

— Он устал, — Марина отвлекла учителя, склонившегося с Кириллом над какой-то особо сложной задачей. — Ему пора уходить.

Соня тоже чувствовала головокружение. Возможно, оттого, что у нее получилось! Она смогла! Она придумала замечательную историю, Дифур похвалил не за аккуратность, а за логичность!

Гудение Кита становится все настойчивее, прерывистее, выше. Соня оглядывается на него, и ее душа просится наружу: пойдем, нам туда. «Нет», — говорит себе Соня. Доктор предупреждал, ни к кому не нужно лезть. Каждый должен сам справляться со своими проблемами. «Море волнуется — раз», — вдруг всплывает в мозгу, и у Сони все сильнее кружится голова и в ушах шумит какая-то музыка. Что это? Волны. Она уже точно знает, — это шум волн на глубине, хотя никогда не ныряла в море. Так, барахталась на поверхности у берега. Откуда?! И хочется туда нестерпимо. Словно Сирена поет призывную песню. Кто это поет, Соня должна узнать! О, это Кит! Она встает, как сомнамбула, и не слышит слова Кирилла:

— Давайте он уйдет, и мы продолжим.

Не слышит окрик учителя:

— Софья, не подходи. Что Доктор велел?!

Она не видит, как сильно раскачивается Кит, и слез на его щеках она тоже не видит. Чем ближе подходит к нему, тем острее ощущает его боль, гораздо более сильную, чем та, что когда-то в прошлой жизни испытала она сама. И боль эта сладка.

Ромбы и треугольники

Дверь распахнулась, за ней возник Док:

— Что ты тут делаешь? Почему не входишь? В телепатии упражняешься?

Он подвинулся, приглашая учителя в кабинет.

— О! А это что у тебя? — от его взгляда не ускользнула папка, зажатая подмышкой Николая Николаевича.

— Да так, — пожал тот плечами.

— Брось! Это то, что я думаю? Очередной рассказ-шедевр?

Николай Николаевич, краснея, протянул папку Доктору.

— Да какой там шедевр?! Так, очередное упражнение в прозе для детей.

— А вот это похвально, — улыбнулся Док. — Давай сюда.

Они поговорили еще о чем-то, передвигая предметы на столе и взглядывая периодически на тоненькую папочку, — один с сомнением, другой с любопытством. Потом Николай Николаевич отправился вести занятия, а Доктор открыл папку.

На титульном листе жирным шрифтом красовалось: «Ромб». Отчего-то вздрогнув, он перевернул страницу:

Его имя было Ромб. Из-за белого пятна геометрической формы на лбу. Но для него оно звучало голосом колокола. Когда же человек обращался к нему, казалось, ноты имени похожи на удары копыт чугунных боевых коней.

Ромб был пожилым гнедым конем ахалтекинской породы. Он помнил себя гордым, норовистым. Его ценили и прочили спортивную славу. Но однажды хозяин конюшни все изменил.

Появилось странное заведение, где царили покой и умиротворение. Сюда приводили больных детей. Чаще всего их привозили в инвалидных колясках. А лошадям требовалось проявлять чудеса чуткости и милосердия. Дети привыкали сначала с помощью тренеров проезжать шагом один-два круга, а потом уже самостоятельно катались по манежу. Это называлось иппотерапией. Ромбу не нужно было знать никаких терминов для того, чтобы помогать тем, чей внутренний мир был открыт ему гораздо больше, чем это считали люди, разделенные с лошадьми барьером человеческой речи.

Однажды в манеж привели мальчика лет семи, вполне здорового на вид. Он не нуждался в инвалидной коляске и костылях и прекрасно передвигался самостоятельно. Но лицо его напоминало восковую маску. Мальчика подвели к Ромбу и велели погладить коня. Он послушно поднял руку, коснулся холодными пальцами лошадиной шеи, — так это сделал бы робот. Ромба пронзила боль, как от укола ледяной сосулькой, он взбрыкнул, не справившись с неожиданным страхом. Тренер резко осадил, но ребенок даже не шелохнулся. Казалось, он вообще ничего не заметил. Ромба увели в денник, знакомство решили отложить.

Теперь Ромб знал, что его ждет, и приготовился. Второе прикосновение маленькой руки оказалось почти нечувствительным. Лишь легкое покалывание кожи, какое бывает, когда на шерсти скапливается статическое электричество. Конь и мальчик стояли рядом, и ребенок не убирал свих пальцев. Он опустил руку только когда ему велели это сделать.

Так продолжалось несколько дней. И лишь заметив движение пальцев малыша, решили рискнуть.

Мальчика посадили в седло. Без эмоций и желаний, он сидел верхом первый раз в

жизни так, будто давно обучался верховой езде. Коня взяли под уздцы и повели по кругу. Ромб знал, что нужно делать.

Всё начиналось с движения. Для больной ребятни хватало лишь ощущать мерное сокращение мышц лощади. Дети улавливали вибрации, как сказали бы ученые, настраивались на волну, излучали в ответ восторг и счастье. Этого достаточно для контакта. После, необремененные условностями межвидовых различий, они быстрее здоровых начинали в унисон с лошадью чувствовать и думать. Нередко приходило исцеление. От детей Ромб узнал, что это его имя. То есть, что такое имя вообще...”

Доктор нетерпеливо перелистнул пару страниц о больных детях, которых исцелил Ромб, пока снова не наткнулся на “мальчика”.

“...И вот сейчас, неся на спине своего равнодушного всадника, конь впервые не знал, что ему делать, когда движение не было ценностью, а мысли были непонятны. Он продолжал вслушиваться. И постепенно понял, что всё начинается одинаково: всадник с каждым шагом коня мысленно произносит одно слово. И каждый раз последовательность слов одна и та же до какого-то момента. Люди бы назвали это счетом, конь этого не знал. Он просто старался попасть в чувственно-мысленный резонанс и повторял, постепенно выучив всю последовательность. Они шагали, считая, а ребенок по-прежнему никак не реагировал на попытки коня привлечь внимание.

Однажды Ромб намеренно мысленно забежал вперед, произнеся слова, то есть числа, в иной последовательности, и вдруг услышал:

— Ты меня сбиваешь.

— Разве? Извини, — мысленно ответил конь. — Я задумался о следующем шаге.

— Кто со мной говорит? — произнес мальчик вслух.

— Это я, Ромб. Можешь не говорить, просто думай.

— Это неправда. Лошади не разговаривают, — мысленно ответил ребенок.

— Верно, — кивнул конь, — но они думают.

Ромб почувствовал, как рука ребенка, покоящаяся на холке с зажатым в ней поводом, дрогнула и начала теплеть. Ребенок на мгновение замер и снова продолжил счет. Конь вторил ему. Наконец, на числе «сто одиннадцать» мальчик остановился и стал произносить другие слова.

Доктор пробежал глазами несколько страниц, подробно рассказывающих о возникшем контакте коня и ребенка. Ему показалось любопытным, что аутичный мальчик смог научить животное считать. А лошадь, в свою очередь, наделила мальчика эмоциями. Доктор чуть не расплакался в финале:

— Ну, куда хочешь? — мысленно, как они привыкли, спросил молодой человек старого жеребца.

— Туда, на площадь перед набережной. К самому главному, — ответил конь.

— К Медному всаднику, — понял Лёва, — далековато, но мы дойдем, правда? Каких-то несколько тысяч шагов...

На этом рассказ оборвался, словно автор не успел придумать достойного финала, но Доктору вполне хватило.

— Жду у себя! — крикнул он в телефон.

— Когда? — Николай Николаевич почувствовал очередной приступ тошноты, которая преследовала его на протяжении всего урока в ожидании реакции Доктора на еще недоработанный, неотредактированный, сумбурный рассказ. Он уже сто раз пожалел, что отдал сырой текст.

— Мне нужен этот Лёвка! — рявкнул Доктор, едва Николай Николаевич появился на пороге.

— В смысле? Зачем он тебе? Это же... во-первых, он уже вырос давно, а во-вторых, он вообще персонаж...

Николай не успел договорить.

— Раз вырос, значит, не персонаж. Ты бы так не сказал, если бы просто придумал его! А? Что? Подловил я тебя?! Откуда ты знаешь этого Лёвку, и как его заполучить? Это основные вопросы к твоему тексту, — Док бегал по кабинету, потирая руки.

— А вообще? — Николай Николаевич все еще ждал иной реакции.

— Что «вообще»? Ты про то, хорош ли текст? Слушай, он станет бестселлером в моих глазах, если ты доставишь своего героя живьем. Сюда! В этот кабинет!

Заметив разочарование на его лице, Док поправился:

— Ну, видишь, как ты написал? Я ни на минуту не усомнился в достоверности. Только не говори, что ты все это выдумал от начала и до конца! Ведь есть же этот Лёвка? Скорее всего, в этой истории много твоей литературной работы, но я же верю всему! Есть? Лёвка?

— А ты манипулятор, каких поискать — не найдешь, — Николай Николаевич собрался было удалиться.

— Ха! — выдохнул Док так, что со стола слетела какая-то бумажка. — Не будь я манипулятором, этого бы тут ничего не было! Ни школы этой, замаскированной под институт ювенальной психиатрии, ни деток наших удивительных, которых закололи бы каким-нибудь эффективным препаратом, и Кит бы просто сгнил в ПНИ. Знаешь, чтобы это тянуть, нужно быть гением манипуляции. Найдешь Лёвку?!

— Найду! — выпалил Николай Николаевич и тут же, всплеснув руками, продолжил. — Ну, найду! И что?! Думаешь, он — математик, кроме своей математики ничего другого не желающий знать, сидящий, как книжный червь, то есть интегральный червь, в своих интегралах, — придет сюда учить детей?

— Слушай, — Док поставил на стол пару стаканов. — Ты, главное, приведи его ко мне. Скажи, что нужна консультация, и все такое. Пусть придет, когда ему будет удобно. Хорошо?

Он разлил жидкость цвета крепкого чая по стаканам, и Николай Николаевич попытался вспомнить, какое нынче число: четное или нечетное. Да какая разница?!

Лёвка жил в соседнем подъезде и по дружбе иногда заходил глянуть комп, постоянно ругаясь, — раз он математик, все считают, что и компы должен чинить. А тут! Что вообще сказать ему, чтобы он явился в клинику к Доктору?!

Как он и ожидал, Лёвка не выказал никакой заинтересованности в том, чтобы проконсультировать по вопросам математики какого-то педиатра. И Николай уже было отчаялся и решил просто рассказать о школе...

— Там парень один есть. Ничего не видит, ничего не слышит, ничего не говорит, как три обезьяны. Сидит и гудит. И раскачивается, словно играет в «море волнуется».

— А что? Шрифт Брайля не пробовали? — буркнул Лёвка.

— Почему не пробовали? Он все время по страницам руками елозит. Но обратной связи нет. Откуда я знаю, что он там понимает. Сам набивать не хочет или не может. Не знаю, что делать.

Лёвка усмехнулся.

— Это из-за него твой начальник мной заинтересовался? То есть ты рассказал ему про меня и коня, и вот это вот всё...

— Я рассказ написал, — перебил Николай Николаевич. — Дал ему почитать.

И он догадался, что я не придумал. Короче, он очень просил тебя зайти. Я не совсем понимаю, что ему нужно.

— Рассказ дашь прочесть? Я тогда подумаю.

— Да пожалуйста! Читай на здоровье! — обрадовался Николай Николаевич. — Ну и выручи меня, сходи. Ну правда, дело-то хорошее, — школа, детки необычные, чего не помочь-то...

— Ладно, не части! Я не решил пока. Я подумаю. Хорошо, я подумал. Но пусть не очень на меня рассчитывает, — Лёвка выразительно взглянул на Николая.

Доктор же не просто рассчитывал, он уверен был, что Лёвка ему и его школе необходим. Это чудесная находка — математик-индиго! То, что Лёвка из их компании, Док понял сразу.

— Слушайте, Лев, я готов создать Вам максимально комфортные условия...

— В смысле? Какие условия? Вы мне что? Работать у Вас предлагаете?

Доктор взглянул в упор:

— Не то слово!

Лев расхохотался:

— Да бросьте! У меня есть работа, и я очень ею доволен. Во всех смыслах. Колька сказал, Вам консультация нужна. Я думал, если честно, что-нибудь по компам. А так — нет. Увольте.

— Пойдемте! — Доктор распахнул дверь перед ним и зашагал по длинному коридору столь решительно, что тот подчинился и двинулся следом. Впрочем, ему было любопытно.

Вышли в парк. Было сыровато, как обычно сентябрьскими вечерами. Непривычная тишина царила вокруг. Пройдя немного по аллее, Доктор приложил палец к губам, хотя Лев и не думал заговорить, но жест Доктора, показывающий несколько в сторону, объяснил предостережение. Метрах в пяти на газоне, на большом валуне восседал некто. Было не разобрать, кто именно, потому что он был покрыт воронами! Обычными городскими, серыми. Они громоздились у него на плечах, руках, на голове, на коленях. В тишине, под шелест крыльев, одни соскакивали, другие занимали их место. Вдруг одна из ворон, заметив чужаков, резко каркнула, и тут же юноша, теперь это стало понятно, вскочил, а стая разлетелась по соседним деревьям, как хлопья сажи.

— Извини, что помешали, — обратился к юноше Доктор. — Мы уходим.

Юноша никак не реагировал, просто смотрел на Доктора.

Тот прикоснулся к руке опешившего Льва:

— Пойдёмте.

В другом конце парка на низенькой скамеечке около небольшого пруда раскачивался взад-вперед парень постарше.

— Это Кит, — довольно громко сказал Доктор. — Он ничего не видит, не слышит, не говорит, хотя мог бы.

— Да, — кивнул Лев. — Николай говорил. А тот, с воронами?

— А тот — весьма интересный пацан. Научил ворон считать, воровать деньги у людей и покупал на них сладости в ларьках. Сам ел и ворон не обижал. Телепат. Договаривается с пернатыми. Может, и с другими птицами, но любит ворон. Иногда такой карк стоит! Кстати, способности к математике есть, да учить некому. Я ему задачник олимпиадников подсунул. Решает. Ответы сходятся, а проверить как следует — уже не могу. Квалификации не хватает.

— Задачник олимпиадников? — эхом отреагировал Лев.

— А что такого?

— Любопытный парень.

— Не то слово. Но учить его нужно здесь. Надеюсь, увидев эту кучу ворон, Вы меня понимаете.

Лёвка понимал именно это и пропустил мимо ушей, что Доктор не может разобраться в олимпиадных задачах для средней школы. Его уже тянуло к этому хозяину ворон. Расспросить, как началось, как контакт появился. А Доктор тем временем буднично продолжал:

— Девочка есть еще одна, Марина. Тоже весьма одаренная. Видит ауру людей.

— Ну, это уже из области фантастики! — засмеялся Лёвка.

— Правда? — Доктор снова коснулся Лёвкиной руки. — То есть кони, считающие в пределах сотни, не интегралы же берут, как Колька написал, — это в пределах разумного, а человек, видящий биополе, — уже из области нереального.

Лёвка только хмыкнул в ответ.

— Слушайте, — продолжил Док. — Я очень в Вас нуждаюсь. Я понимаю Вашу занятость. Но как смотрите на один день в неделю? Любой, какой скажете. У нас ведь школка необычная. Классов нет. Просто группа странноватых деток. Разновозрастная. Есть очень способные, как Кирилл, это тот, что с воронами, и есть такие, как Кит. Кит, точнее, один. И ему нужно помочь жить.

— А у него какие способности? — Лёвка поймал себя на том, что уже погружается в тему всерьез. Под ложечкой тревожно засосало.

— Я не знаю, — признался Доктор. — Но поверьте, они есть. Что-то всё время не так, не просто, когда рядом Кит.

— Я подумаю, — выпалил Лёвка.

Ему было интересно. Доктор притягивал своей особенной внутренней силой. И увлеченностью. И чем черт не шутит? Левка решил, что один день в неделю потратить на благое дело и удовлетворить свое возрастающее любопытство — вполне разумно.

Теперь по субботам с одиннадцати до семнадцати в интернате по расписанию значился день математики, и весь учебный процесс перестроился. С девяти до одиннадцати особые уроки с Доктором, а потом предметные часы.

Войдя в довольно просторную для небольшой группы ребят комнату, скорее всего, бывшую многоместную палату, переоборудованную под учебную аудиторию, Лёвка замер. Он просто растерялся, потому что вообще не готовился. Никакого плана у него не имелось. Да и какой план, если Док четко сказал, что ни алгебры, ни геометрии здесь не было до сих пор. Только одни ученики уже интегрируют, а другие вообще, возможно, считать не умеют. Вот этот Кит, например.

Несколько пар глаз уставились на нового учителя. И ведь, когда он подходил, особо ничего не слышал, словно они появились здесь вдруг. Если бы они шумели, как нормальные дети, можно было бы рявкнуть, встать на голову, разломать указку о коленку, — пронеслось в голове у Лёвки.

— Вы чего как неживые? — вырвалось у него.

Они не ответили.

«Я провалился. Надо уходить, — решил Лёвка. — Это вам не лошади-лекари».

Тишина прерывалась лишь каким-то мерным гудением, и Лёвка повернулся к дверям.

— А Вы тоже синий, — одна из девочек улыбнулась ему приветливо и вскочила с места.

— Встаньте, ребята! — обратилась она к товарищам. — Учитель же вошел.

Все, кроме одного, того парня, что сидел у пруда, Кита, поднялись нехотя, пряча в столы книжки и гаджеты, что несколько успокоило Лёвку, — по крайней мере понятно, откуда тишина в классе. А вот компов нет, нехорошо. Надо бы сказать.

Через секунду и Кит поднялся тоже. Правда, стоял слегка покачиваясь, глядя куда-то перед собой незрячими глазами.

Нужно было продолжать, и он обратился к улыбчивой девчонке:

— А Вы, должно быть, Марина. Доктор говорил, что видите ауру людей.

Слава богу, вовремя вспомнил ее имя.

— Ага! — радостно закивала девочка. — А Вы — наш новый учитель математики. Это здорово, а то мы отстали от обычной школы.

— Ну, вот только этой скукоты не хватало, — протянул кто-то с места.

— Почему скукоты?! — тут же отреагировал Лёвка. — Математика — это искусство, и она прекрасна! Таинственна! И точно не скучна!

В аудитории стало снова очень тихо, но теперь его это приободрило. К тому же Кирилл смотрел во все глаза без давешней отчужденности. И Лёвка продолжил, все более вдохновляясь:

— Вы знаете сакральный смысл каждой величины, каждого числа? Ощущаете связь числа и количества? Все говорят: «В начале было Слово», — но никто не говорит, какое. А слово это означало некое число, и с него все началось.

«Лихо загнул», — отметил Лёвка про себя и продолжил расписывать прелесть оцифровки чего угодно, упоминая различные математические приемы и вводя всякие термины. В том числе и «дифуры».

— А это что? — не выдержал Кирилл.

— Это вам предстоит узнать в наиближайшее время! — радостно подхватил Лёвка, не подозревая, что именно в этот момент приобрел прозвище на все время своей педагогической деятельности — «Дифур».

— Ну, насколько я понимаю, — Лёвка уже чувствовал себя на коне. — Вы все находитесь на разном уровне познания, и чтобы выяснить, как вас учить, я должен протестировать каждого. Договорились? Вот с Вас, Марина, и начнем. Берите тетрадь и идите к моему столу.

— Отлично! — вдруг крикнул Кирилл. — А я что должен делать?

Лёвке так и хотелось пошутить: «Ворон считать!» Но он сдержался.

— Вам. Кажется, Кирилл, да?

Парень кивнул, усмехнувшись. Лёвка строго глянул и продолжил:

— Вам подготовиться сдать решения задач, которые задал Доктор. И доказать, что Ваши решения верны.

— А этот? — Кирилл кивнул в сторону Кита. — Если его не занять, он изгудится. Я не могу сосредоточиться, когда он гудит.

— Не знаю, — честно сознался Лёвка. — Ребята, помогите. Придумайте что-нибудь. Я пока по очереди с вами разберусь. Но его мы в беде и одиночестве ведь не оставим?

— А ему Доктор обычно книжку для слепых дает! — Марина подбежала к Киту и положила перед ним какой-то белоснежный фолиант, и тот послушно его раскрыл.

«Почему они зовут директора «Доктор»? И как вообще его имя? А этот, — почему

Кит?» — задумался Лёвка, но нужно было вести урок, и он решил спросить об этом Николая позднее.

— Спасибо, Марина. Давайте займемся Вами.

Лёвка проштудировал в интернете все, что нашлось про детей-индиго. Как он и предполагал, по данной теме пишут много бездоказательной ерунды уровня уфологии и астрологии. Но что-то же было в его учениках! Да и сам он — «конь и его мальчик»! Марина говорит, а Доктор подтверждает, что она видит биополе. И всё! Никаких сверхзнаний у нее нет! Задачки решает, как обычная старательная школьница ее возраста, и не пытается выудить информацию из единого поля. Ну что в ней особенного-то? Кирилл? Математическая одаренность вовсе не признак сверхчеловека или представителя новой расы. Но вороны! А что вороны? У него вот — кони друзья. Нормальные люди с животиной дружат. Тарас, который младше всех, — обычный пацан: соображает, как нормальный пацан, ведет себя, как нормальный пацан, учится неровно, как нормальный пацан. Надо бы у Дока узнать, что с ним не так и почему он здесь. Правда, стоит Киту разгудеться, Марине сказать «синий Кит потемнел», этот Тарас просто подходит и садится рядом, а Кирилл сообщает, в чем дело! Но как он узнает? Телепат? И всё? Не похоже на тривиальную телепатию. И почему никто не догадался притащить клавиатуру для слепых?

Лёвка все-таки попытался поговорить с соседкой.

— Я сам ничего не понимаю, — попытался уйти тот от разговора.

— А Доктор? Его спрашивал?

— А Док говорит, делай свое дело, как подсказывает интуиция! Понимаешь? Как интуиция подсказывает! Я, наверное, тоже экстрасенс, по его мнению. Или индиго. Вот ты, кстати, индиго.

— Но они же тебя слушают и выполняют задания. Читают там... — задумался Лёвка.

— А ты заметил, что они вообще довольно охотно учатся? Что память у них отменная. И соображают! И рассуждают! Группа хорошистов с отличниками, мечта любого педагога. И бесчувственными их не назовешь, как обычно пытаются показать «странных» деток. Но что-то в этом есть от спокойствия перед цунами.

Это было похоже на правду. И Лёвка спросил:

— А Кит?

— Не знаю я ничего про Кита. И зачем он нужен Доку, тоже не знаю. Иногда мне кажется, что все эти дети собраны только чтобы вытащить бедолагу. Да и мы тоже, если честно! И вот это меня больше всего тревожит. Опять жертвы в той или иной степени. И дети, и ты, и я, и сам Док. Возможно, и Кит. Слушай, я вот думаю, сколько же в нас до сих пор языческого! Мы же не можем просто так возлюбить ни Бога, ни ближнего, ни себя. Не принеся жертв.

— А любовь тут при чем? — не понял Лёвка.

— При всем, — хмыкнул Колька. — Вообще при всем, а иначе ничто не имеет смысла, да и сил ни на что не будет.

— Заметь, это ты меня сюда затащил! — Лёвка попытался разрядить обстановку, но получилось неуклюже.

По большому счету, Кириллу можно было не уделять слишком много времени. Лёвка диву давался, с каким энтузиазмом его ученик брался за новые задачи. Он не то чтобы щелкал их как орехи. Были и те, что давались с трудом. Но вот уходил в них

парень целиком. Полностью погружаясь, не желая контактировать ни с кем, кроме серых ворон, пока не найдет решение. Сам. Без помощи и подсказки. «В режиме открытия», — как любил повторять Дифур, пытаясь дать каждому подопечному приемлемый уровень навыков. Индиго не выуживали решения из информационного поля, как писали досужие исследователи явления. Бились один на один до победы, — и только это, возможно, отличало их от обычных школьников. Или Лёвкина методика не позволяла поступать по-другому. Что толку делать второй шаг, если первый не сделан? Про шаги Лёвка знал все, — столько их насчитал в свое время!

Марине было сложнее. Слишком много разноцветного мира вокруг. И сама она всему давала окраску. Иногда Дифуру казалось, что девчонка решает сложные алгебраические дроби просто смешивая палитру, получая цвет «математического выражения», соответствующий ее представлениям о гармонии. По правде говоря, ее решение довольно часто оказывалось верным. Но дроби — это вчерашний день! Ей во что бы то ни стало хотелось догнать своего ровесника Кирилла, который уже познал тайну вожделенных «фиолетовых» дифуров! Она просила дополнительных занятий, и Лёвка не мог устоять перед ее возрастающим интересом к точной науке. Раньше ему и в голову не приходило окрашивать оцифрованное. При кажущейся нелогичности — цвет связан с длиной световой волны. Лёвка начал приезжать по вечерам в интернат, и не только в субботу. Образ мышления Марины и ее идеи его увлекали.

Марина билась над очередной задачкой, к которой ее цветовой метод никак не подходил, а Дифур наблюдал, сидя рядом. Она рассуждала вслух, — так он велел своим ученикам. Он никогда не критиковал. Мог лишь слегка направить или остановить уж совсем неверный ход короткой фразой:

— Вы уверены, коллега?

Вот и сейчас он произнес:

— Коллега, попробуйте сначала увидеть логику условия. Быть может, здесь скрыты цвета, которые вы не различаете? Вы же не можете утверждать, что способны распознать все оттенки Вселенной.

— Но тогда это не решаемая в моем мире задача! — выпалила ученица. — Или этот решил ее?

— Решил, — улыбнулся Дифур, поняв, что «этот» — Кирилл.

И Марина, топнув ногой, углубилась в задачу, несмотря на довольно поздний вечер.

Лёвка поглядывал на часы, но остановить ребенка, ищущего решение, не мог. Это кощунство. Наконец она вскрикнула:

— Кажется!..

И от волнения схватила Дифура за локоть, но договорить не успела. Дверь распахнулась. На пороге аудитории возник Кирилл. Марина быстро отдернула руку.

— Я задачу решила, кажется, — прошептала она.

Кирилл не ответил. Глянув зло на Дифура, он с силой захлопнул дверь.

— Расскажите, что Вам кажется, — учитель не заметил возникшего напряжения.

— Он совсем темный, как ночь, — пролепетала Марина. — Что случилось?

— Ну, может, он боится, что Вы обгоните его. Вы ведь соревнуетесь. Как мне показалось, — Лёвке стало неуютно.

— Это другое, — заволновалась она. — Вам сегодня лучше остаться здесь. Не ходите домой.

Лёвка почувствовал страх в ее голосе. Тем не менее взял свой рюкзак и направился к двери:

— Почему это? Нам уже давно пора завершить наши сегодняшние бдения. И у Вас, и у меня завтра счастливый трудовой день. Так что отправляйтесь отдыхать.

Он вышел из аудитории. А Марина кинулась следом:

— Не уходите! Не сегодня!

Лёвку рассердила ее настойчивость. Хватит того, что он идет у нее на поводу, сидя чуть не до полуночи, пока она штудирует высоты и глубины математики. А у него самого почти не остается времени ни на что другое: только собственная работа и этот чертов интернат. В душе резко все перевернулось, мысли и чувства стали путаться. Вдруг сильный порыв ветра бросил ему в лицо какую-то пыль и мусор. Это взбесило! Впрочем, он отдавал себе отчет в том, что не ветер повинен в гневе, а то, что позволил втянуть себя в авантюру!

Следом его накрыло нечто, больше похожее на мягкую морскую волну, волну неподдельного интереса к ученикам, их судьбе, словно и он крепко связан с ними. Волна ненадолго погасила смерч раздражения. Следом новый порыв ветра-злости рванул его душу. Он почувствовал тошноту, как от морской болезни, и с надеждой вышел в парк, на свежий воздух.

Ночь была тиха и ясна. И на душе стало спокойно. Пронеслась мысль, высказанная давеча Коляном, — «как перед цунами». И вдруг парк взорвался вороньим граем, а небо закрыли крылья. Через мгновение Лёвка почувствовал сильный удар клюва в плечо, потом — в другое. Ему показалось, он услышал издалека ржание Ромба, и в следующее мгновение как будто конь сбил его с ног и сам упал сверху, прикрыв хозяина. Казалось, они упали в море и сейчас оба тонули. Откуда здесь море? Лёвка четко ощущал колыхание воды, ее запах и удивлялся лишь тому, что может ею дышать.

— Я пойму, если Вы захотите прекратить занятия и больше не появитесь здесь, — Док смотрит в пол и не видит, что Лев улыбается.

— Не дождетесь!

— В смысле? — не понял Доктор.

— В том смысле, что теперь я точно не оставлю этих мутантов! Простите. Это я любя.

Только тут Доктор решился взглянуть на Льва.

— Я должен бы изолировать Кирилла. То есть, по существу, ему место в закрытом учреждении. Как вы понимаете, в психбольнице. Где его заколют и закормят препаратами, и он больше не будет опасен.

— А он опасен? — усмехается Лев.

— Кирилл натравил на Вас ворон, и это была, по сути, попытка убийства.

Лев пожимает плечами:

— Возможно. Но мне кажется, что это было лишь предупреждение. Если бы он хотел убить, то довел бы дело до конца. Не находите?

Доктор, вздохнув, достает два стакана и бутылку виски:

— К сожалению, вы ошибаетесь. Он намеревался именно убить. По крайней мере, это бы и произошло, не вмешайся случайно Кит.

— Кит?! То есть?

Лёвкины ноги подкашиваются, и он бухается в кресло, удачно стоящее сзади.

А Доктор продолжает, наполняя стаканы:

— Вы можете отстранить от занятий Кирилла, и во время уроков он будет сидеть у меня в кабинете. Потому что я все-таки не намерен пока сдавать его в психушку, несмотря на ЧП. Вороны его в клетках, и другие не прилетят. А Кит... Я не знаю, какой

благородный черт вынес его в парк в эту ночь, когда вы уходили. Но он просто подбежал и прикрыл Вас своим телом, навалившись сверху. Вы, видимо, потеряли сознание. Для ворон Вы сразу исчезли, а Кита ни один гад ни по чьему приказу не тронет. Уж не знаю пока, почему. Как-то так. Так что повторяю, я пойму, если Вы уйдете.

— Не уйду! — Дифур опрокидывает разом стакан. — А Кирилл сейчас где? Я бы хотел его увидеть.

— Могу привести, — удивляется Док.

— Если не трудно. И, пожалуйста, выпустите ворон, они-то в чем виноваты? Поверьте, не знаю, почему, но я уверен, нападений больше не будет.

— Мне бы Вашу уверенность, — хмыкает Док и отправляется за Кириллом.

Красные глаза Кирилла выдают, что он не спал и проревел до утра. Он лишь мельком взглянул на учителя, но тот заметил смятение и раскаяние подростка.

— Если Вы ждете извинений, то этого не будет, — тихо говорит Доктор. — Боюсь, он еще долго не заговорит.

Кирилл хочет извиниться, но не может. Проклятый ком, забытый уже, вернулся, и не позволяет произнести ни слова. А на глаза наворачиваются предательские слезы и капают прямо под ноги. Он ведь так и не понял, что с ним произошло, когда Маринка не пришла вечером в парк, а Тарас сказал, что она решает задачки с Дифуром. Почему он подумал плохое? Почему не поверил друзьям и любимому учителю? Потому что расслабился, открылся, доверял им больше даже, чем Доктору? Доверял ли? Или ждал подвоха? А если бы не Кит?!

Когда Кирилл ринулся в парк следом за Дифуром, оттолкнув Маринку, пытавшуюся что-то сказать, на дороге возник Кит. Он гудел и раскачивался, преграждая путь. Но Кит был слеп, а Кирилл проворен, он успел распахнуть двери и поднять своих ворон. Маринка крикнула: «Не смей!» — а он и сам не ожидал, что птицы, как зомби, беспрекословно выполнят его приказ, и испугался, и замер. Если бы не Кит! Дифур теперь должен ненавидеть Кирилла.

— Я не жду извинений, — Дифур смотрит на ученика в упор. — И я не откажусь от занятий математикой с Вами, Кирилл.

Кирилл шмыгает носом, а учитель продолжает:

— Маленькие мальчики имеют право поступать не по-мужски, и наша, мужская, задача, — он специально акцентирует слово «мужская», — показать им собственным примером, что это значит. Взрослый человек, мужчина, умеет сдерживать свои порывы, импульсы до выяснения обстоятельств. А человек, обладающий неординарными способностями, Вы слышите меня, Кирилл?..

Кирилл кивает, и новый град рушится из глаз. Учитель улыбается:

— Продолжаю: человек, обладающий неординарными способностями, несет и неординарную ответственность за свои поступки. То, что Вы плачете, это хорошо, это обнадеживает. Мужчина имеет право плакать, он не имеет права быть несдержанным и бесчувственным.

— Спасибо, Лев. В том числе и за то, что я в Вас не ошибся, — Док пожимает Дифуру руку, когда обрыдавшийся Кирилл отправляется к себе. — Я бы лучше не сказал про мужскую ответственность. Круто.

— Угу, — кивает Лев. — Только у меня одно непременное условие. Надо закупить компьютеры последних моделей. Кстати, есть клавиатура со шрифтом Брайля. Странно, что вы ее еще не приобрели. Нужна информатика. Я могу добавить час.

Доктор

Свое настоящее имя Доктор вспоминал, когда нужно было поставить подпись. Пяти лет от роду он спер стетоскоп в кабинете врача, — слушать, что внутри всего. Педиатр, заметив горящие глазищи и недетскую сосредоточенность, улыбнулся, махнул рукой и приобрел новый. Так и стал Петров П.П. Доктором. Впрочем, Петром Петровичем его назвали не папа с мамой. Однажды ноябрьским вечером нянечка одного из питерских детских домов вышла на крылечко, услышав кошачий вой. Орала не кошка, а сверток с младенцем.

— Опять подкидыш, — вздохнула она и понесла находку к директору.

При ребенке, завернутом в цыганский платок, обнаружили иконку со святым Петром. В самом начале младенца называли Цыганёнком, — имя же необходимо только для регистрации. Иванов Ивановичей, Сергеев Сергеевичей и Викторов Викторовичей было уже чуть ли не по два, а Петров Петровичей, как ни странно, ни одного. Да и завхоз ляпнул: «О! Вылитый Петька!» Он имел в виду то ли дворника, то ли героя гражданской войны, то ли имя святого, но директору понравилось. Да и найденыш, услышав, улыбнулся. Так и назвали трехмесячного, как определил врач, малыша. А отчество всем по имени давали. Чего уж? Детдомовец — сам себе отец по жизни.

До пяти лет Петька не говорил, думали, не здоров, как большинство брошенных или осиротевших, но стоило появиться стетоскопу, и малец забормотал себе под нос: «Дысите-не дысите, покасляй, ай-ай-ай».

Бывает, что выбрав себе любимое занятие лет в пять, человек превращает его в судьбу, невзирая ни на какие обстоятельства. Так и для Петьки-Доктора нелегкое детдомовское детство пролетело, словно незамеченное. И он оказался в медицинском вузе. Не с первого раза, — с третьего. И не после школы поступал. Медучилище и подработка санитаром в морге смягчили жестокосердие приемной комиссии, поставившей Петьке за сочинение проходной балл. К слову, именно работа с трупами определила предпочтения в медицине. Его все больше и больше волновала психосоматика.

После третьего курса он съездил с вулканологами на дальний восток. По знакомству, — его начальник — патологоанатом — отправился в отпуск, ну и прихватил с собой в качестве сезонного рабочего на фумарольные поля усердного санитара. Петька-Доктор впечатлился изысками природы, которых в Ленобласти не найдешь, но более всего его поразила встреча с земляком Колькой, — таким же сезонным рабочим.

Некоторое время он двигался следом за парнем, повторяя причудливую траекторию пути, которую тот выбирал, пытался угадать логику маршрута.

— Откуда ты знаешь, куда нужно идти? — наконец не выдержал он.

Колька оглянулся:

— Чувствую.

Разглядывая нового знакомого, Доктор попытался расфокусировать зрение. Еще в детстве, в детдоме, он заметил, — если долго-долго сидеть, глядя в одну точку, в глазах начинает двоиться, а потом мир приобретает несколько иные очертания. Сначала едва уловимые, но если перетерпеть головокружение и легкую тошноту, то появляются цветные сияния, особенно вокруг живых объектов. Словно облаком окружает. Он и себя пытался рассмотреть в зеркале, но ничего не получалось.

Вокруг Коляна клубился синий ореол, но был он рваным, нервным и временами вспыхивал багровым или фиолетовым.

— Расскажи, как это. Как ты чувствуешь. Ты что-то видишь особенное, необычное?

У Доктора появилась надежда, — этот парень с синей аурой, возможно, тот самый индиго, которые, как он прочел в одной зарубежной статье, начали появляться на свет с какой-то особой миссией. Впрочем, общение с новым приятелем принесло и другое. Слушая историю Кольки-несуразности, как парень сам себя назвал, Доктор все больше удивлялся. Ему, детдомовцу, всегда казалось, что ничего не может быть прекраснее, чем жить в семье. А тут такое о матери:

— Понимаешь, это стихия! Гейзер! Сейчас он тихий и словно бы одухотворенный. Еще немного, и вдохновение переполнит его. И тогда он не сможет сдерживать порыв, вскинется горячим фонтаном, грохнется вниз и вновь затихнет. Я чувствую это, как зажатую между пальцами пружину. У гейзера, кстати, есть расписание, он предсказуем. — Колька рассмеялся. — А моя матушка — нет. Она сумасшедший гейзер. Непредсказуема.

Он немного помолчал и продолжил:

— Я научился пятой точкой ощущать, как это происходит. Тишина, умиротворение, и вдруг словно все замирает, словно нет самого времени, — и раз! Ты летишь головой в стену. Без причины. Просто у мамочки накипело. И вот сейчас прорвало.

Он еще много говорил, и, слушая Кольку, Доктор анализировал и думал, — возможно, так растят неврастеников, которые всю жизнь будут доказывать свое право на существование и при этом искать себе гибели. Или, наоборот, особенных каких-то людей. Как сталь закаляют.

— А ты крутой, — изумился Доктор, выслушав весь рассказ.

Колька смутился, ему казались эти слова похвалой, которой он не достоин.

— Ага. Несуразная крутизна, — буркнул он.

И началась дружба.

Следующую практику Доктор проходил в детском отделении психоневрологического института у сурового руководителя, — пожилой опытной докторши, которая не церемонилась ни с пациентами, ни с их родителями, ни со своим практикантом.

— Это не лечится, дружочек, — объясняла она, когда Доктор высказывал сомнения по поводу того или иного метода или лекарства, полагая, что можно что-то сделать иначе, мягче. — И я имею в виду даже не этих мальцов, которые в восьмидесяти процентах переедут от нас прямиком в психоневрологические интернаты. Пожизненно.

— А двадцать процентов? — ухватился Доктор за соломинку.

— А двадцать переедут в морг! — разразилась она хохотом.

Потом примирительно сообщила:

— Мы их выпишем, они рискнут адаптироваться в обществе, может быть, закончат школу. Может быть, и университет. А потом все равно встретятся с нашими коллегами, занимающимися взрослой психиатрией. Это не лечится. А чтобы вы это поняли, пообщайтесь с их мамашами.

— С мамашами? — удивился Доктор.

Она усмехнулась:

— Ну, знаете, когда ко мне приходят отцы, появляется надежда. Пойдемте!

Они отправились в отделение.

Картина впечатляла. Пациенты от пяти до пятнадцати лет от роду располагались

в многоместных палатах. Вид их был угнетающим: кожа бледна и нездорова, головы обриты, глаза — ввалившиеся даже у полных, которых было чуть не более половины, — вес прибавлялся на инсулиновых шоках и спецдиете. Чем они занимались? Большинство ничем: сидели и раскачивались, бормотали что-то себе под нос, бессмысленно перебирали руками...

— Думаете, им можно помочь? Вытащить из умственного небытия? — услышал Доктор голос наставницы.

Он не ответил, она продолжила.

— Знаете, чьи это дети?

Он пытался увидеть, нет ли знакомых сполохов синего вокруг этих бедолаг, но если и можно было что-то разглядеть, то лишь тусклые и грязные оттенки лилового.

— Их матери и отцы в большинстве своем алкоголики, наркоманы, малолетние придурки, переболевшие венерическими болезнями. Что? Вы думаете, причина в чем-то другом? Следствия родовых травм или инфекции? Родовые травмы исправляются в первый год жизни, если родители нормальные. Инфекции лечатся, если родители нормальные! Видели, кто ко мне приходит? Вы думаете, им нужны здоровые дети? Им нужно продлить пребывание чад в стационаре и пособие! Если они вообще приходят, кстати.

Когда она объяснила, что ждет в будущем этих пациентов, которым уж лучше сгинуть в диспансере, чем плодить себе подобных, Доктор огляделся вокруг и почувствовал непреодолимое желание собрать всех этих несчастных и уехать с ними на необитаемый остров, улететь в космос, увести из жестокого мира. Но кто ему позволит и что ему с ними делать?

— Идемте, — наставница снова позвала за собой.

Она открыла специальным ключом дверь на лестничную площадку. Миновали пролет. «Детское отделение внебольничной психиатрии», — прочел Доктор на входе.

Здесь оказалось уютней: тихая музыка и много растений в кадках, — видимо, не опасались, что пациенты их съедят. Из зала для игр слышались мерные удары теннисного шарика. В столовой двое играли в шахматы. Молча. Глядя на доску.

— Аутисты, — прокомментировала докторша.

Они подошли к дверям палаты, и руководительница осторожно постучала. Никакого ответа не последовало, и она стукнула по ручке пару раз, чтобы было слышно.

Палата небольшая, на пять коек. Все аккуратно заправлены, кроме одной, на которой лежал подросток лет тринадцати.

— Витя, — позвала докторша.

Мальчик резко вскочил. Он был худ, бледен, но взгляд вполне осмыслен. Разве что глаза слишком сияли в тусклом полумраке палаты.

— Параноидальный синдром. У нас недавно. Лечение симптоматическое, — прошептала докторша и громче добавила: — Пообщайтесь. Витя, доктор Пётр Петрович пришел тебя выслушать. А я пойду на отделение. Позвоните, когда закончите.

Она вышла, а мальчик так и остался стоять, прожигая взглядом.

— Сядем?

Витя подскочил, словно вопрос оказался неожиданным, и начал быстро заправлять постель.

— Садитесь, пожалуйста, — наконец предложил он. — Где вам удобнее? Здесь или здесь?

Мальчик суетился и вдруг, резко взглянув на Доктора, отшатнулся.

— Что? — спросил тот, присаживаясь на край кровати в ногах.

— Ничего, — пролепетал Витя.

И Доктор расфокусировал взгляд. Парень полыхал синим пламенем, если можно так выразиться. Все, что окружало его, купалось в этом сиянии.

— Рассказывай, — выдохнул Доктор.

— Вы... — мальчик вытянул руку, указывая на Доктора, и запнулся.

— Что я? Ты что-то видишь?

— Да, — прошептал он. — Но я же ненормальный. И я здесь ведь из-за этого?

— Из-за чего?

— Я вижу то, чего нет. Это галлюцинации, да? — так же тихо прозвучал голос ребенка.

— Смотря что ты видишь, — Доктор старался глядеть прямо в глаза пациенту.

— Людей, — буркнул он.

— Людей? Каких? Живых? Мертвых? Тех, кого никто больше не видит?

— Нет-нет, — улыбнулся Витя. — Только живых. Но как будто насквозь. И кое-что вокруг них.

Он замолчал, а Доктор ждал, не помогая наводящими вопросами. Прошло минуты две, прежде чем парень заговорил снова:

— Иногда мне кажется, что-то не так, как должно быть. Я даже анатомию стал изучать. Я видел ребенка с огромной головой и маленькими ручками и ножками в животе у сестры. Сказал, а они не поверили и ругали меня. Потом оказалось, что правда. Но они все равно.... И сияние еще вокруг людей вижу часто. Оно разного цвета бывает. Вокруг вас — синее. Это у меня болезнь? — Витя быстро взглянул на Доктора.

— Не думаю, — ответил тот, мысленно благодаря парня за ответ на вопрос по поводу собственной ауры. — Скорее, некие способности...

После практикант орал в кабинете руководителя:

— Его нельзя сажать ни на какие лекарства! Это, быть может, дар! Талант! Вы просто загубите его!

— А придется! — отрезала врачиха. — Чтобы не видел, что не потребно видеть здоровому человеку!

— Зачем?! — не унимался Доктор. — Это же способности! Сверхспособности. Если хотите. Их развивать надо, а не убивать препаратами!

— Ты так считаешь? — перейдя на «ты», докторша приблизила к нему лицо и зашипела: — Считаешь, я убиваю их способности? Просто потому, что не разбираюсь ни в чем? Что ж! Давай позвоним куда следует. Расскажем, что у нас ребенок-супермен. Мутант! Дитя-рентген! Приезжайте! Забирайте! Исследуйте! Будет сидеть, облепленный проводами. Ни света белого, ни детства, ни взрослой нормальной жизни! Не даром в монастырях таким третий глаз закрывают! Что?! А?! Думал, я не в теме? Я этого гения-мутанта его родителям нормальным человеком верну. Потому что им не все равно, что с их сыном будет. Они что угодно сделают, чтобы он нормальным вырос! Без этих вот сверхспособностей, которые и ему жизнь испортят, и всем его близким. Выучится, женится, продолжит свой род, карьеру сделает и нам спасибо скажет. А что он нам скажет, если мы его сдадим исследователям?!

— А что вы скажете ему сейчас? — голос Доктора казался безжизненным. — Что он болен? И это не оставит, по-вашему, следа в его психике? Не изменит его отношения к самому себе?

— Я ему скажу то же, что сказала его отцу, — что он абсолютно здоров, а все эти

его видения — всего лишь следствие быстро развивающегося мозга в пубертатный период. И это не редкость, мы такое лечим. И назначу небольшой курс витаминов. Или гормонов. Некоторые из них творят чудеса!

— И много там таких нередких? В том отделении? — помрачнел Доктор.

— Встречаются. Последние годы чаще. Иногда думаю, кого благодарить: изобретателей всяких гормональных контрацептивов или физиков-ядерщиков. Но попустительствовать всему этому не намерена и тебе не советую!

С одной стороны, он чувствовал ее жестокую правоту, а с другой, все внутри восставало против. И он поймал себя на том, что боится рассмотреть ауру наставницы. Может, потому что в ее мире ауры не существует. А если есть, то лечится.

— Нам бы с этими бедолагами справиться, — выдохнула докторша. — Наберешься опыта, будешь смотреть на них по-другому. Я, когда начала работать на отделении, тоже тащила всех, кого можно было и кого нельзя. Успехам своим радовалась. Детишек домой выписывала, в лобики целовала. А они потом — кто через год, а кто и через месяц — возвращались ко мне хуже, чем были. Чтобы ребенок был здоров или чтобы болезнь тормозила, не развивалась, среда нужна особенная, понимаешь? Матери-отцы должны быть нормальные, а не вот это вот всё. Я им говорю, что да как делать — тем, кто вообще приходит узнать, а они — в лучшем случае головами кивают, — и ничего! Пусто! А то и спорят еще! Зачем рожали?! Если дети им не нужны. Знаешь, будь моя воля, слава богу, что у меня ее нет, я бы в выпускном классе заставила сдавать экзамены на родительскую профпригодность. И стерилизовала не сдавших! Что смотришь? Ладно, шучу!

— Вы считаете, что все дело в родителях? Нас учили...

Она перебила:

— Я знаю, чему вас учили. Тот же вуз закончила. Но, помимо науки, мой молодой коллега, есть еще тривиальный опыт, который говорит слишком настоятельно, что прав был Крысолов!

— В смысле? — не понял Доктор.

— Что детей лучше изолировать.

— Ага. Он их как раз утопил, вроде.

— Ха! Думаете? — усмехнулась она. — Это братья Гримм насочиняли, а что там на самом деле было — никто не знает. Есть и другая версия.

— Какая же?

— Никогда не слышал о сероглазых цыганах? — улыбнулась она, пристально глядя на своего собеседника.

Он не слышал, но разговор начал его утомлять, словно он сам сейчас в качестве пациента находился на приеме у этой жесткой врачихи, которая вот-вот поставит ему диагноз, пропишет уколы и процедуры. Интересно, подумал Доктор, как бы она отреагировала, если бы он признался, что сам видит сияния? Тоже бы прописала ему витамины и сообщила в деканат о профнепригодности? К тому же его волновал Витя.

Перед утренним обходом Доктор несся по коридору отделения внебольничной психиатрии, погруженный в предстоящий разговор, и не сразу заметил, как мимо провезли каталку с привязанным и укутанным пациентом. А когда заметил, не поверил, что это — Витя. Заведующая схватила Доктора за руку:

— Что вы здесь делаете? Вы должны быть на рабочем месте! Я на вас оставила больных!

— Это вы что здесь делаете? — прохрипел он, указывая на тело на каталке.

— То, что остановит параноидальный психоз! Через час он придет в себя, и все будет хорошо.

Она грозно смотрела на стажера и загораживала собой каталку.

— Что вы с ним сделали? Это шок? Инсулиновый шок? — он не узнавал свой голос.

— Разумеется, — кивнула врачиха.

— Но это же варварство!

— Возможно! Но лучшего метода покончить со всем быстро и с минимальными последствиями еще не изобрели. Инакомыслие лечится превосходно. Одним сеансом. А Вам еще неделю меня терпеть.

Он вытерпел. И получил высокий балл за практику. А заодно изучил все последствия инсулинового шока. Витьку больше не беспокоили внутренности людей и цвет ауры. В отличие от реальных болезней, синий цвет лечится с первого раза, — пациент засиял желтовато-зеленым, — прекрасный оттенок хорошего человека.

А потом Доктор защитил диплом и пошел набираться опыта в детской поликлинике, работая невропатологом, и убеждаться в правоте бывшей начальницы.

В тот день прием был закончен. Но звонок главврача заставил Доктора задержаться...

— Здравствуйте! — не дожидаясь приглашения войти, мужчина лет сорока подскочил к Доктору и схватил за руку.

Врач отметил безупречный вид, дорогой костюм, часы. Что могло привести к нему, детскому невропатологу, этого джентльмена?

— Чем могу помочь? — Доктор пожал руку гостю.

— Всем! Только вы, боюсь, и сможете!

— Садитесь.

Мужчина плюхнулся на детский стульчик рядом со столом, вскочил, и Доктор указал ему на кушетку в углу кабинета.

Они уселись, и мужчина замолчал, теребя браслет часов.

— Я слушаю, — Доктор понизил голос, чтобы пришедший успокоился. — Не торопитесь. Расскажите все по порядку.

— Я вас не задержу! Понимаю, рабочий день закончился. Я сам не люблю, когда меня... — он никак не мог перейти к главному вопросу.

— Я не спешу. Сосредоточьтесь, пожалуйста. Вы пришли из-за ребенка?

— Да! Его упустили! Совсем! И я не знаю, что делать! Моего сына угробили!

Доктор не перебивал, понимая, что человеку нужно выкричать свою боль, и тот продолжил:

— Так получилось, что я вынужден был уехать. Нет, мы не в разводе. Не могу вам рассказать, чем я занимаюсь и почему не виделся с сыном. У нас есть дочь. Старшая. Там все хорошо. Она студентка. Они, теща и жена, писали, что все нормально, знаете, почему? Расстраивать меня не хотели! Дескать, работа нервная и все такое! Они же убили моего сына! Если бы они сразу! Я бы, может, сразу тогда нашел вас! А сейчас ему тринадцать! Говорят, уже ничего нельзя сделать! Но мне рассказали, что вы способны на чудеса.

Посетитель полез в карман за платком.

— Подробней о сыне, пожалуйста, — подбодрил Доктор.

— Ему было три, когда я уехал, — он горько усмехнулся. — Я уезжал, а мой трехлетний сын читал и решал задачи. Он был очень одаренным. Знаете группы

раннего развития? Лучшие. Я обещал финансировать. До сих пор не понимаю, почему не насторожился, когда они сообщили, что в группу он не пошел. Что приболел. Короче, там потребовали прививки. Время поджимало. И ему сделали эту прививку, хотя он температурил! И всё! Всё кончилось для моего ребенка! Он ослеп, оглох, и я не знаю, почему больше не говорит, только мычит, точнее, гудит, как трансформаторная будка, и раскачивается. Думаете, они так это и оставили? Нет, конечно, они бегали, как две курицы, по врачам, пока те не велели оставить парня в покое и не мучить, раз уж так вышло. Так вышло! Понимаете?! И вот тогда они оставили его в покое. Они даже не обнимают его, и мне велели не трогать. Костю не обнять! Я попробовал, он оттолкнул меня, кажется. Я не помню, мне стало плохо. Мне! Скажите честно, — поздно?! Ничего не сделать?

— Обнадеживать не стану. Но ребенка приведите.

На следующий день, увидев Костю, доктор отшатнулся.

— Так плохо? — прохрипел отец.

— Нет. Конечно, не очень хорошо, но дело не в этом.

— Поздно?

— Поздно бывает только на кладбище. И то, знаете, всякое случается. У вас не совсем обычный мальчик. Вы не могли бы оставить нас вдвоем минут на десять?

— Да, конечно, — отец как ошпаренный выскочил из кабинета.

— Ну-с, голубчик, какого ты цвета? Синий, вероятнее всего, но я должен убедиться.

Парень слегка покачивался и гудел. При этом он улыбался, и эта улыбка не была бессмысленной, как у детишек с задержкой развития, скорее, это была внутренняя улыбка, — улыбка Будды, как бы пафосно ни звучало.

Доктор долго не мог расфокусироваться, словно кто-то мешал, и он понял, кто.

— Помоги мне, пожалуйста, я очень прошу тебя, мне нужно видеть.

Он подошел ближе и слегка коснулся головы мальчика.

К боли, как от удара хлыстом, он был готов, и руку не отдернул, лишь погладил нестриженную, впрочем, чистую голову. «Интересно, он сам моется?» — пронеслась мысль. Боль прошла и сменилась ощущением, словно он прыгнул в море со скалы и вода сомкнулась над ним. В глубине он увидел кита и услышал его зов. Это было похоже на галлюцинацию, Доктор отдернул руку. Костя раскачивался, улыбался и тихо гудел.

— Помоги мне, Кит, — вдруг попросил Доктор, дав прозвище своему новому пациенту, и снова коснулся головы мальчика.

В этот раз получилось, — ярко-синий свет залил кабинет. Такого огромного поля Доктор еще не встречал.

— Я не уверен, — сказал он отцу мальчика. — На это могут уйти годы...

Тот нетерпеливо перебил:

— Сколько угодно! Лишь бы они не отдали его в ПНИ, как им посоветовали.

— Простите, а кто за ним ухаживает? Какие-то навыки в три года уже есть. Все сохранились?

— Он сам. Все сохранилось, кое-что даже развилось. И он очень опрятный. Такое впечатление, что его единственная радость — мыться. По два часа сидит в ванной.

— А книги для слепых не пробовали?

— Нет! — взревел отец. — Я же говорю, эти курицы просто перестали что-либо делать! В покое его оставили. Под себя не ходит, умеет пользоваться ложкой и вилкой. Послушайте, он же не видит ничего, но как-то ходит по дому, ни на что не натыкается.

Может, помнит, где что? Может, у него сонарное зрение появилось? Но тогда бы он щелкал, а он гудит.

— Купите детские книги для слепых и приходите на следующей неделе.

Доктор надеялся, что с помощью известных методик постепенно поймет, что происходит.

Через неделю он познакомился с мамой Кита.

— Вот, — она выложила на стол кипу детских книг с шрифтом Брайля. — Это неправда, что мы не пытались. Просто это оказалось невозможно.

Отец и Кит стояли рядом. Кит улыбался, а отец виновато разводил руками.

— Все методики сводятся к тому, чтобы взять ребенка за руку. А Костю нельзя взять за руку. Он не дает. Не будешь же его связывать, и на таблетки всякие сажать не хочу, мне прививки вполне хватило, на всю жизнь, — оправдывалась мать. — Он вообще не агрессивен, но прикоснуться к нему нельзя.

Она коротко взглянула на Доктора и почти шепотом спросила:

— Я призн*а*юсь кое в чем, не сочтете меня сумасшедшей? Я не могу обнять его! Словно током бьет, либо, боюсь сказать... — она искала поддержки.

— Говорите, это важно.

— Мне начинает мерещиться кое-что. Может, я просто сразу засыпаю и вижу сон...

Она не скажет, — понял Доктор и продолжил за нее:

— О море?

— Да. Вы тоже? Вы же касались его, когда обследовали?

Он вздохнул:

— Давайте сейчас не будем обсуждать эту деталь. Быть может, нам удастся понять, в чем дело, но позже. Я попытаюсь найти с Костей контакт, но на это уйдет время.

— Я уже говорил, — подключился отец. — Сколько скажете. И деньги тоже, сколько скажете. Все, что скажете.

— Посмотрим, — улыбнулся Доктор. — Может, кое-что и скажу. Но мне нужно знать подробнее, что случилось сразу после прививки. Понимаю, говорить об этом нелегко, но иначе нам трудно будет справиться с ситуацией, если вообще возможно...

Мать всхлипнула. Отец сурово взглянул на нее, потом, заметив укоризну в глазах Доктора, погладил по руке:

— Соберись, пожалуйста. У нас появился шанс.

Из сбивчивого рассказа родителей Доктор узнал следующее. Сутки после укола все было нормально, а через день близкие проснулись среди ночи от душераздирающего вопля малыша. Тот метался по детской, натыкаясь на мебель, падая, ушибаясь обо все подряд. При этом до него невозможно было дотронуться, — он вырывался, кричал, что ему больно. Разумеется, вызвали «скорую», и Костю госпитализировали, предположив аллергию на прививку. Еще через день малыш впал в кому. На год.

Доктор желал знать все:

— Продолжайте, пожалуйста. Как он вышел из комы?

— Тоже ночью, — шепнула мать. — Попытался встать. Но он ничего не видел. И все эти иголки от капельниц, все эти провода... Он запутался в них и испугался. Снова потерял сознание...

Костя очнулся через неделю после второй комы, когда врачи уже хотели предложить отключение, полагая, что мозг умер. Малыш не видел, не слышал и не говорил, только мычал. Но самое странное, — он не давал к себе прикасаться.

— Он бился током, словно очень сильно наэлектризованный, так что ни обнять, ни температуру померить, ни научить чему, — закончила свой рассказ мать.

— Спасибо. Понятно, — выдохнул Доктор. Хотя на самом деле рассказ родителей вызвал больше вопросов, чем прояснил ситуацию. — А теперь оставьте нас с Костей вдвоем.

Он еще раз попытался дотронуться до макушки мальчика, и получил удар током, как четко определила мать это ощущение, и снова море окружило его.

«Так не пойдет», — подумал Доктор. Он сунул первую попавшуюся книгу в руки Кита, рассчитывая на рефлекс. Костя торопливо провел пальцами по обложке, загудел, сделал пару неуверенных шагов в сторону стола и положил книгу туда. Со всеми остальными книжками он поступил так же. Доктор внимательно следил за мальчиком, — улыбка Будды не покидала того.

Вдруг Док сунул Киту прямо в ладонь блестящий диск своего талисмана-стетоскопа аккустической головки, оставив себе трубки. Парень сжал в руке диск. К улыбке прибавилась сосредоточенность, — эту вещицу, видимо, он никогда не держал в руках. Некоторое время они, не шевелясь, стояли друг напротив друга. Потом Доктор рискнул и медленно провел пальцами по слуховой трубке по направлению к диску. Парень насторожился, и когда рука Доктора замерла на полпути, провел по трубкам своей рукой навстречу. Они остановились в миллиметре друг от друга. Искр не было, но напряжение чувствовалось. По лицу Кости Доктор понял, что тому тоже тяжело, но он терпит. Постепенно напряжение ослабло, их пальцы соприкоснулись. Доктор всю волю собрал в кулак, чтобы не утонуть в очередной раз, и море нахлынуло призрачно, как параллельная реальность, просочившаяся в кабинет. Ничего не исчезло: ни стол, ни стулья, ни кушетка, ни картинки на стенах, только все это казалось ненастоящим, — голограмма клиники, в которую вписалась голограмма океана. Доктор увидел, что мимо проплыл призрачный дельфин. И тогда он изо всех сил стал думать о книжках на столе, представлять, как они раскрываются, как Кит проводит руками по шрифту. Он старался раз за разом мысленно воспроизводить одно и то же — книжки и ладони. И тот услышал. Он протянул руку в сторону книг, дотронулся и оттолкнул. Ну конечно! — вдруг догадался Доктор, — они совсем детские! Их Костя, быть может, наизусть знает. Нужны другие! Для подростков! «Гарри Поттер», например. Или хорошая фантастика. Почему нет? Впрочем, если так, то откуда Костя знает, что написано в этих книжонках, если его не учили читать шрифт для слепых?

Он оставил Кита со стетоскопом в руках, и тот с интересом его ощупывал, пока Доктор снимал со стен картинки-иллюстрации сказок. Покончив с этим, он нашел в стопке «Курочку Рябу» и, положив на нее соответствующую картинку, пихнул Киту. Тот машинально взял, не выпуская стетоскопа. Через мгновение его улыбка стала чуть шире, но весь набор, включая стетоскоп, он протянул Доктору обратно. Водрузив на шею свой талисман, Доктор проделал манипуляцию с «Теремком», — книжка и картинка в рамочке перекочевали в руки Кита и вернулись с той же улыбкой.

— Ладно, — подбодрил себя Доктор и предложил «Три медведя» с картинкой.

Результат был тем же.

— Хорошо, а как тебе такой вариант? — в руках у Кита оказался «Теремок» и картинка с Рябой.

Костя замер. Потом загудел громче обычного и разделил картинку с книжкой и вернул их по отдельности.

Доктор еще несколько раз повторил опыт, Кит ни разу не ошибся.

— Неужели тебе все равно, каким шрифтом, и ты просто считываешь информацию, взяв любой предмет в руки? И в этом твоя особенность?

Он открыл книжный шкаф и извлек из него справочник по педиатрии.

— Держи!

Кит взял книгу, поелозил руками по обложке, попробовал открыть, Доктор понял, что смысл ему непонятен. Почему? Значит, он не считывает из информационного поля, как пишут про индиго досужие исследователи? Значит, это работает както иначе? Доктор позвал родителей и попросил приобрести «Гарри Поттера», всего: и шрифтом Брайля, и на английском, и на русском.

Встречи с Китом начинались одинаково — они здоровались через стетоскоп. И Доктор после слегка касался Кита, что весьма помогало при обучении чтению. Выяснилось, что тонкие простые книженции, которые ему были знакомы еще до прививки, он «прочитывал» насквозь своим особенным внутренним зрением, хотя, скорее всего, узнавал. А толстый неизвестный «Гарри Поттер» волшебным образом не давался ни в каком виде. В какой-то момент с лица мальчишки исчезла постоянная улыбочка. Он раскачивался, громко гудел, тряс головой, перелистывал, но текст, напечатанный с двух сторон страницы, не поддавался. Но что-то его зацепило.

— Пора, — сказал себе Доктор и заменил обычную книгу на томик для слепых.

Кит понял — освоить такой текст проще. Началось длительное изучение грамоты. «Гарри Поттер» был интересен, но и малопонятен, потому что в мире Кита не было других детей. Он догадывался, что они где-то существуют, чем-то увлечены, общаются и дружат. Последнего не было в жизни Кита. Доктору пришла в голову дерзкая мысль.

— Знаете, что нужно вашему сыну? — после месяца раздумий он рискнул поделиться своим планом с родителями.

— Всё, что угодно на ваше усмотрение! — в который раз заверил отец. — После «Гарри Поттера» я в вас уверовал окончательно.

— Ну, не преувеличивайте. Мы за полгода только первую книжку осилили. Впрочем, динамика есть, вы правы.

— Так что? Что нужно? — поторопил отец.

— Общение ему нужно. С себе подобными.

— То есть? — не поняла мать. — Все-таки отдать его в интернат к слепоглухонемым? К инвалидам? А иначе нельзя?

— Я не говорил про интернат для инвалидов. Тем более что, помимо того, что произошло с Костей, есть еще интересные особенности, о которых я бы говорить не торопился.

— Что? Что с ним еще не так? Он же в остальном здоров! Нас заверили! — всполошилась мать.

— Вас не обманули. Он здоров. Он просто особенный. И это не в том смысле, когда говорят о детях с задержкой развития. Это нечто иное.

Доктор не решался сказать родителям Кита про индиго, раз им самим до сих пор не пришло это в голову, но отец коснулся его руки:

— Если я правильно понимаю, это особенные особенности. Что-то вроде мутации?

— Вроде, — осторожно кивнул Доктор.

— Из-за прививки? — прошептала мать.

— Скорее, врожденные...

— Что вы предлагаете? — прервал отец, незаметно кивнув в сторону жены. И Доктор продолжил:

— Я давно подумываю о школе для особо одаренных детей.

— Слепых и глухих? — всхлипнула мать.

— Ну почему? Разных...

— Я вас понял. Согласен, — отец снова выразительно взглянул на Доктора, давая понять, что при супруге лучше не обсуждать подробности, да тому и самому не очень хотелось нагружать их лишней информацией. — Когда вам будет удобно обсудить бизнес-план и все такое, позвоните, — отец взял супругу за локоть, и они вышли.

Бизнес-план — это сильно сказано. Доктор понятия не имел, как это делается! В конце концов, он специалист в другой области. Но, как говорится, — назвался груздем, — полезай... Он позвонил Коляну:

— У меня для тебя работа!

— Да я как бы не безработный, — хмыкнул приятель.

— Это не обсуждается. Мы создаем принципиально новую школу! А ты, насколько я помню, учитель литературы и языка.

— И что же это за новые принципы? — Колька был настроен скептически.

Доктор импровизировал:

— Школа нового мышления и общения!

— То есть?

Доктор знал, — стоит человеку проявить хоть малейший интерес к идее, считай, — попался.

Через день они обсуждали концепцию возможного интерната для детей-индиго.

— Где ж ты их наберешь? — интересовался друг. — Это же редкость.

— Ага. Только не в моей практике. Людям трудно принять то, что кажется странным. А я — специалист по ненормальным. В данном случае по паранормальным. Но мы это слово употреблять не будем.

— «Особенности развития» тоже термин так себе, — заметил Колька.

— Да уж. Поэтому так и запишем: «Школа нового мышления и общения». А там добавим про спецразвитие спецнавыков. Ну, типа — бесконтактный бой, гипноз и прочая дребедень.

Отец Кита, получив программу, вникать всерьез и не собирался:

— Слушайте, Док, мне важно, чтобы Костя стал человеком, на сколько это возможно. Чтобы читал книги. Пусть для слепых. Чтобы мог ориентироваться в современном мире. Я понял про общение с нормальными ребятами. А, если кто-то из них гипнозом владеет, поддерживаю полностью. Вижу, сын меняется в лучшую сторону. Я даже заметил, что он ждет встреч с вами. То есть желания у него появились, а раньше не было. Совсем. Ну, я рассказывал. Давайте делать школу. Вам подойдет помещение в ближайшем пригороде? Там клиника была небольшая, частная. Мы прикрыли ее, — папаша хохотнул и достал две бутылки: виски Yellow spot и какой-то дорогой коньяк. — Как раз экстрасенсы баловались. Шарлатаны сплошь! Может, и их посмотрите на предмет адекватности?

— Я специалист по детской психоневрологии, — улыбнулся Доктор, разглядывая бутылки.

— Ну и правильно!

Отец Кита подписал какие-то бумаги и обратился к Доктору:

— Ваш план наши экономисты подправят, а вы собирайте учеников и педагогов. Думаю, через месяц-другой заселитесь в свою школу-клинику. Ну? Отметим?

Он откупорил виски, Доктор взглянул в календарь, чтобы запомнить число...

На самом деле — нет ничего паранормального. Есть много неизученного! — подбадривал себя Доктор, создавая новую школу.

Трудности предполагались немалые. Но не отступать же, когда произошло нечто особенное. Благодаря Киту может быть создана уникальная школа-ковчег, спасающая новую расу от лечения нейролептиками и инсулиновым шоком, от бесогона, от неадекватных или консервативных родителей, наконец. И жертва Кита бесценна! Доктор поморщился. Ему не хотелось считать Кита жертвой.

В первые дни население интерната для особенных детей состояло из Кита, Марины и еще нескольких ребят, выловленных Доктором. К Доктору и литератору присоединилась парочка медсестер, готовых за Доктором и в огонь, и в воду, ну и, разумеется, весь необходимый обслуживающий персонал, состоящий в большинстве своем из матерей учащихся. Некоторые мамы, поняв, что чадо может, пусть временно, отстать от обычной школьной программы, забирали своих детей и уходили. Но свято место пусто не бывает. О школе пошел слух, и претенденты на нестандартное обучение появлялись. Небольшая группа — человек двенадцать-тринадцать — набралась. А вот с педагогами было сложнее.

Иногда Доктору казалось, — это его миссия! Он готовился всю жизнь — изучал методики развития сверхспособностей. Ведь сколько историй про бесчувственных, безэмоциональных суперинтеллектуалов насочиняли фантасты. Далай-лама сказал: «Если научить всех восьмилетних детей медитации, то можно устранить насилие в мире за одно поколение». Так за дело!

Утро и начиналось в школе с медитации. Он рассаживал своих — теперь уже не пациентов, а учеников — полукругом. Музыку тихую включал, медитативную, но быстро понял, что все-таки тишина — лучше. Если бы не Кит. И вообще всё оказалось сложнее.

— Мне больно, — кричит девочка. — Я не могу просто сидеть, когда этот воет! И музыку выключите, пожалуйста!

Кит раскачивается по своему обыкновению и гудит. Доктору кажется, что это гудение все больше напоминает звук «ом», который и должен сопровождать медитацию.

— Заткните его как-нибудь! — вопит другой. — Уж лучше пси-транс врубите!

— У меня ноги затекают в этой позе, — жалуется третий.

— Мне страшно, — шепчет четвертый.

Доктор выключает музыку, жестом велит всем подняться. Кит остается сидеть.

— Он похож на Будду, — говорит Марина, и кто-то соглашается с ней.

— Звук, который издает, как умеет, Кит, — Доктор хватается за малейшую возможность, — именно тот, который и должен сопровождать медитацию. Быть может, если вы все попробуете петь с ним в унисон, у вас получится.

— Это у него песня такая? Как же! — не унимается девчушка.

— Да, песня! — обрывает ее Марина.

Она пересаживается ближе к Киту и пытается попасть в ноту. Через минуту к ним присоединяются еще трое. От этого звука даже у Доктора все поплыло перед глазами, а кто-то из мальчиков теряет сознание.

Они слишком чувствительны. Друг к другу в особенности. Ничего себе, — новая раса! Погудели вместе — и обморок! Что дальше-то будет?

Но Доктор не сдается. Каждое утро они пытаются синхронизироваться, и каждое

утро кто-то не выдерживает. Одни уходят, появляются другие. Те, кому удается петь вместе с Китом, остаются.

Однажды появляется Кирилл. И в парке поселяются вороны. Хотя, что в этом противоестественного? Зная непростой характер новенького, Док менее всего ждет, что мальчишка не будет возмущаться утренним занятием. Но утром Кирилл ближе всех садится к Киту, и они даже раскачиваются в такт. Впрочем, на других занятиях они не контачат.

Последние книги о Гарри Поттере Кит осваивает довольно быстро, и Доктор передает его Николаю Николаевичу.

— Только не касайся его руками.

— Укусит? — усмехается учитель.

— Почти. Там какая-то непонятная реакция организма. Не поверишь, — не парень, а электрический скат!

— Кит, — перебивает Николай Николаевич. — Электрический кит. Новый вид. Поздравляю.

Док не обращает внимания на шутку:

— Как я понял, он пытается это контролировать, но не всегда получается.

— Ладно, не буду. По возможности.

Учить Кита литературе непросто. Его реакции на текст совсем не те, какие ожидаются от подростка. Ему не объяснить, почему нужно читать Тургенева. После «Муму» он ненавидит этого автора. Но у него не отобрать книжку «Старик и море». Каждый раз, когда учитель приносит Киту новую, по программе, тот кладет сверху своего любимого «Старика...», и пока не прочтет пару страниц с любого места, к новой не приступает. Настраивается.

Учебники по истории он порвал. Пришлось Доку, как сумел, объяснить Киту, что книги рвать нельзя. А ботанику и зоологию «читает» как анекдоты. Доктору же кажется, что они подошли к некоему тупику. Медитирует, читает, но контакт не прогрессирует. Наотрез отказывается изображать сам хоть некое подобие письма для слепых. Дети в большинстве своем нейтральны, если не враждебны к нему. Кроме Марины. Ну, и с Кириллом странные отношения. Доктор все время ожидает взрыва.

— А я знаю одного мальчика, — однажды после медитаций заявляет Марина. — Он умеет слышать дельфинов и летучих мышей. Тоже индиго.

Доктор кивает:

— Индиго не такая уж редкость.

— Мне кажется, — продолжает она, — если бы пригласить его к нам в школу, то он бы подружился с Китом.

— Почему ты так думаешь? — улыбается Док.

— У него сонарное зрение, как у Кита, — утверждает Марина.

— Откуда ты знаешь, что у Кита сонарное зрение?

Она пожимает плечами:

— Знаю, и всё.

Ну, конечно, что за дурацкий вопрос: откуда знаешь? Марина многое знает — и всё. Видит — и всё.

— И где живет этот мальчик? Может быть, пригласим его в гости? — спрашивает Док.

— В Гурзуфе, — кивает Марина. — Давайте пригласим! Только сначала сами к нему поедем летом! Давайте, а? Поедем на море, и я вас познакомлю с Тарасом.

Гурзуф. Доктор медленно обводит взглядом присутствующих. Ребята скачут вокруг него с криками:

— Поедем! Ну, пожалуйста! И Кита возьмем! Ему в море надо! Киты в море живут!

— Едем, — слышит он свой голос.

В конце концов, почему бы и нет! Питерским детям, даже индиго, море и солнце нужно не меньше, чем прочим. Может быть, даже больше. Да и кто знает? — еще один обладатель сонара, если это так, пригодится.

— Тарас тоже слепой? — спрашивает Доктор Марину.

— Нет. Он обычный. Ну, в этом плане.

Доктор замечает, что она употребила слово «обычный» вместо «нормальный», это хорошо.

Тараса они забирают с собой, когда возвращаются в Питер после Гурзуфа.

Всю дорогу в поезде вспоминают, как учились плавать, как Кит, почуяв море, бросился в воду и отказывался выходить, и как Тарас, тот самый, пришел на помощь, когда Кит уплыл к Адаларам:

— Так я услышал. Все дельфины орали про это. Он же к ним и поплыл. Я просто пихнул его в сторону берега, подумал, что вы же все волнуетесь, — смущается Тарас, когда Доктор пытается расспросить его.

— Значит, ты можешь передать ему мысль?! — восторгается Марина.

Но попытки повторить опыт телепатии ни к чему не приводят. Вероятно, нет нужной эмоциональной силы, — предполагает Доктор. Там была неординарная ситуация, а здесь они лишь забавляются.

Тарас, пожалуй, единственный, кто может касаться Кита, не получая разряда, и это слегка облегчает жизнь и дает новую надежду на контакт.

— Ну, как твои дела, как самочувствие в нашем ужасном климате? — спрашивает Доктор, вызвав Тараса для индивидуальной работы.

Мальчик печально улыбается:

— Ок. Но я очень скучаю по морю. По дельфинам. А тут еще этот Кит.

Доктор соглашается:

— Рядом с ним как будто и правда видишь море. Ты же в курсе, что не все могут с ним контактировать? Но мне действительно однажды привиделся дельфин, когда я держал его за руку. А что видишь ты?

— Ничего, — пожимает плечами Тарас и вдруг спохватывается. — Я чувствую.

Он замолкает, и Доктор дает время сосредоточиться, — Тарас несловоохотлив, нужно просто сидеть рядом и ждать.

— Море волнуется раз, — выдает, наконец.

— Прости, что? — не понимает Доктор.

— В детском саду игра была такая. Я ее любил, — Тарас начинает раскачиваться на стуле, почти как Кит.

— Точно! — улыбается Доктор. — Я тоже помню. И в моем детстве играли.

Тарас опять замолкает минут на пять. Потом продолжает:

— Когда Кит раскачивается, это «море волнуется раз».

— А когда гудит? — не выдерживает Доктор.

— А он не гудит, — Тарас снова затихает, покачиваясь на стуле. Потом, взглянув на Доктора, разводит руками, изображая что-то. — Вы знаете, как остров выглядит?

Доктор уже выругал себя за нетерпение и теперь смотрит внимательно, не прерывая.

— Остров сверху меньше, чем под водой. Так звучит Кит. Весь звук в глубине.

Не то чтобы Док полностью понял, что хотел сказать Тарас, но предположение его поразило: видимо, он имеет в виду недоступный человеческому уху диапазон звуковых волн. Кит, лишенный слуха, утративший навык речи, развил в себе нечто иное!

— Это похоже на песни дельфинов и китов. Ты ведь их тоже слышишь не как все люди? — Доктор осторожно касается плеча Тараса.

— Ну, а я про что? — кивает тот.

Вот и ответ, почему слепой Кит, не натыкаясь на предметы, перемещается по корпусу и даже гуляет по парку, не падая в пруд. Без всяких белых палок. У него действительно есть сонар! Правда, обычно такие люди щелкают языком, а этот — гудит. Ну а какая разница?

И Маринка тоже про сонар говорила, — вспоминает Доктор. Пора бы перейти к следующему этапу.

Он подготавливает карточки с картинками. И они приступают к занятиям по ясновидению. Карточки разложены рубашками вверх, всем велено найти квадрат. Они сосредоточенно водят руками, напрягают лбы, Кит гудит и ничего не делает. Разумеется, многих это раздражает, и начинается общий скулеж и жалобы на невозможность сосредоточиться.

— Не стыдно? — Доктор глядит строго. — Кто вам велел руками елозить? Может быть, кто-то именно так, руками, видит. Но не все! Соберитесь. Вспомните, кто чем владеет, — это ваши возможности. Марина, ты же просто знаешь! Кирилл, сосредоточься, вороны не подскажут!

— Вот именно, — буркает он. — Дохлые бумажки!

— А ты их оживи! — хихикает кто-то.

— А, кстати! — радуется Марина и поднимает вверх карточку с квадратом.

— Ты же только ауры видишь! — злится Кирилл.

— Теперь не только, — Маринка показывает ему язык.

Впрочем, треугольник она находит не с первого раза.

Доктор с удивлением замечает, что соревнование только ухудшает работу.

— Так! Абстрагировались! Закрыли глаза! Каждый из вас здесь один на один со своим комплектом. Никаких состязаний. Круг!

Через пару минут трое из двенадцати уверенно поднимают именно круг.

Тарас не ошибается в половине случаев, и это блестящий результат.

Кит продолжает ничего не делать.

— Можно? — вдруг спрашивает Тарас, указывая рукой на Кита.

— Попробуй, — разрешает Док и ловит себя на том, что рядом с ребятами и сам учится понимать с полуслова.

Тарас берет карточку с изображением рыбы, подходит к Киту и сует ему в руки. Тот берет, вертит, отдает обратно, а Тарас берет его руку, попеременно кладет Китовы ладони на картинки, лежащие перед ним.

Только бы получилось! — молит Доктор.

И Кит берет одну из картинок.

— Что там? — шепчет Кирилл, привстав со своего места.

— Рыба! — вопит Тарас и обнимает Кита.

Ребята окружают их. И тут Доктор замечает нечто странное. Даже не расфокусировав зрение, он видит ауры, но еще более впечатляет, что сияния сливаются, заполняют аудиторию целиком и уходят, возможно, далеко за ее пределы.

Иногда Доктор наведывается для консультаций в стационар. С одной стороны, он выполняет свои медицинские обязанности, — дает рекомендации лечащим врачам, уточняет диагнозы, с другой, — это охота.

— Нимфоманку юную глянешь? — спрашивает его коллега.

Возможно, год назад он бы отмахнулся, — вот ведь проблему нашли не по его профилю, — но занятия с ребятами обострили чувства, и внутренняя гончая делает стойку.

— Давай.

Да что же это такое?! Куда катится мир?! — вопрошал Доктор самого себя после знакомства с Софьей, — если желание любить — это диагноз, а умение любить — симптом психического заболевания! Нет, определенно нужно забирать девочку в свой ковчег и уводить из этого грешного мира не важно куда, важно — отсюда...

Еще до появления Сони Доктор обрел Дифура — отличного математика, из своих. Но события, произошедшие вскоре, чуть было не пошатнули веру Доктора в необходимость ковчега и в свои, чего греха таить, возможности.

Он не был настолько наивным, чтобы не понимать, что, где подростки, там влюбленности, ревность. Но чтобы использовать свой дар для нападения на соперника? Это была его промашка как руководителя. По большому счету Кирилла после инцидента с воронами следовало отправить в клинику и пресечь подобную возможность раз и навсегда: шок, нейролептики... Но Кирилл — бывший детдомовец. Для Доктора он больше, чем ученик.

В ту ночь, когда вороны чуть было не заклевали Дифура, когда странным образом вмешался Кит, они втроем — Док, Николай Николаевич и математик — опорожнили сначала коньяк, а когда сменилась дата, то и виски, и решили, что о случившемся — молчок. И вот теперь Софья с ее провокационными, прямо скажем, особенностями. И отступать некуда.

Впрочем, ревнивец Кирилл беспокоил куда меньше, чем повзрослевший физически Кит. Софья ринулась в его объятия, несмотря на все запреты, на первом же уроке математики и, разумеется, не выдержала, потеряла сознание. Но не рассаживать же их по клеткам!

...В тенистом парке сумеречно даже днем, а вечером и вовсе полумрак. Это и притягивает подростков: прогулки, уединение. Некоторые, впрочем, просят дополнительных занятий с бесконтактником — так они прозвали физрука, — и тот охотно идет навстречу. Это уже второй учитель. Первый оказался шарлатаном, и ребята, быстро его раскусив, стали игнорировать. А этот — ученик самого Кадочникова. Но не индиго. Молчун. Говорит только по существу. Особенности детей-индиго считает вымыслом: все супермены, если научить. Словом, то, что нужно для физкультуры. Кит на дополнительные занятия не ходит, а на основных неплохо справляется. Еще бы! Всю жизнь учится уклоняться от объятий, и от ударов научился быстро. Соня вообще в ужасе от физкультуры. Зачем это всё?

Доктор из окна кабинета наблюдает, как его воспитанники двигаются под руководством физрука, — словно танцуют. И вдруг, — как удар током, хотя Кита нет рядом!

Он бежит в жилой отсек. Софья не у себя. И Кит, разумеется, тоже. Этого только не хватало!

— Софью не видел? — бросает он уходящему Николаю Николаевичу.

— В парк пошла, — пожимает тот плечами.

— А Кита?

Беспокойство Дока передается учителю:

— Сидит-гудит у себя, наверное.

— В том-то и дело, что нет его!

— Ну, в парк отправился. Тепло... — Николая Николаевича смущает беспокойство Доктора. — Да в чем дело-то?

— Не понимаешь?

— Нет. Ты же сказал, не беспокоиться на счет Софьи. И знаешь, я кое-что про нее понял, — учитель не выносит, когда Док такой. Это всегда кораблекрушение.

— Что ты понял? Расскажешь по дороге! — Док тянет Николая Николаевича за собой.

— По какой дороге-то?

— Искать их пойдем! Зуб даю, они вместе! Любвеобильная Соня и созревший подросток Кит! Каковы его моральные устои? Никто не знает.

Они несутся по аллеям к пруду, когда Николай Николаевич, наконец, решается:

— Это не та любвеобильность, которой стоит бояться.

— Я-то понимаю! — рявкает Док. — Понимают ли они оба?

— Мне кажется, да, — учитель останавливает его, указывая рукой в сторону старого дуба, растущего на берегу пруда.

Софья и Кит, соприкасаясь лишь кончиками пальцев, медленно подходят к дереву. И в полной тишине, даже вороны не смеют каркнуть, хотя расселись тут же неподалеку, ребята обнимают дерево. А потом друг друга. Они стоят, раскачиваясь, будто танцуют.

— Тише, — Николай Николаевич тормозит поспешившего Дока. — Я чувствую, это не то, чего ты опасаешься.

И Док останавливается. «Море волнуется раз», — проносится в мозгу. Весь парк окутывает синий мерцающий туман, сквозь который слышны издалека песни китов и дельфинов. А потом эти двое отправляются в корпус.

— Добрый вечер, — улыбается Соня, поравнявшись с Доктором и учителем.

Тем не менее на следующий день ее приглашают для разъяснительной беседы.

— Он не тронет меня в этом смысле, — шепчет она, залившись румянцем. — И я его люблю всем сердцем. Вы не представляете, какой он!

Усмехнувшись про себя — мало кто представляет, какой Кит на самом деле в смысле совести, отношения к жизни вообще и к девочкам в частности, — Док киваетей:

— Разумеется, где уж мне? Но есть одно правило, — если что-то произойдет, что-то предосудительное, то для начала — ты отправишься домой, и там участковый психотерапевт решит твою судьбу. А Кит — в ПНИ. Знаешь, что такое ПНИ? Это место, из которого ему никогда не выбраться. Это будет наше общее фиаско. Не то слово!

Он ждет, что она встревожится. Но она улыбается:

— Не произойдет!

— Откуда ты знаешь? Я бы не был так уверен...

— Мы договорились, — продолжает улыбаться она.

Доктору трудно скрыть свое удивление:

— Договорились? В смысле? Как вы сделали это?

— Образами. Он посылает картинки, как дельфин. Сначала было непонятно.

Но после ваших уроков у нас уже лучше получается. Он даже пытается о прочитанных книгах рассказать. То есть показать. Его любимый рассказ: «Старик и море».

Она еще говорит про книги, про чистую душу Кита, а Доктор не выдерживает, его разбирает смех. И как специалист он отдает себе отчет в том, что смех нервный:

— Прости, прости, дорогая Сонечка. Это я над собой. Как же просто все оказалось! Скажи только, тебе не больно прикасаться к нему? Первый раз ты же вырубилась...

— Немного. В самом начале. Но он учится. Он знает, что его организм так защищается.

И в самом деле, чего еще желать учителю, как не этого? — размышляет Доктор. — Он дает толчок, он прививает навыки, он развивает способности, а дальше — сами. И они хорошие. Они очень хорошие, — уговаривает он себя и все больше верит в это, хотя предпочел бы знать.

* * *

— Я не даром поверил в вас, дорогой Доктор!

Теперь отец Кита выглядит уже не тем растерянным, убитым горем человеком, который в первый раз вошел в кабинет психоневролога.

— Прогресс налицо. Мать смогла обнять сына! Слушайте, мы всем семейством рыдали в объятиях друг друга! И, конечно, нужно продолжать! Ваша школа — это прорыв!

Доктор улыбается, но что-то настораживает его, а посетитель-попечитель продолжает, похлопывая Дока по плечу:

— Вы собираетесь писать статьи, несомненно. Это может быть докторской, в конце концов! Но у меня одна просьба!

Расфокусировав зрение, Доктор видит перед собой серый сгусток, тянущий к нему щупальца. Невольно вспоминается Марина с ее рассказом о директоре школы. Но серый — это нормальный цвет делового человека, и щупальца — не крюки и когти: а как еще должно выглядеть поле? — усмехается Док про себя. — У нас с осьминогами много общего, надо сказать.

— Какая просьба? — Доктор сосредоточивается на вопросе.

— Мне нужен отчет о ваших подопечных. Прежде, чем вы будете публиковать. Кто, откуда, чем владеет, в какой степени. Ведь вы не представляете, какой кладезь — все эти способности!

— Это просто неизученные способности, — мгновенно холодеет Доктор.

— Способности изученные или тем более неизученные, — голос попечителя звучит властно, — могут быть только двух видов: опасные, и тогда их нужно уничтожать, или полезные для общества, для государства.

— Я вас понял, — Доктор не отводит взгляда от собеседника.

— Вот и славно, — смотрит тот в упор. — Вы умный человек, Док.

— И что делать будем? — Доктор нервно ходит из угла в угол.

— Детей надо спасать, — Николай Николаевич глядит в пол, он не любит встречаться взглядом с Доком, когда тот на взводе.

— Да неужели ж?! А я было собрался ноги в руки и тикать, все бросив.

Учитель хмурится.

— Прости, — извиняется Док. — Я и сам знаю, что нужно спасать. Но делать-то что?

— А какие есть варианты? — присоединяется Дифур. — И вообще, есть ли варианты? Кроме как закрыть школу? Но ведь это нужно мотивировать.

Док с размаху плюхается в кресло:

— Ну, вариантов море, не поверишь. Закрыть школу, — один из них. Вы все пишите заявление об уходе, и мне ничего не остается. Типа, ерунда, ничего не подтвердилось, и мы тут шарлатаны.

— Детей это не спасет, — Николай Николаевич по-прежнему не смотрит на Дока.

— В том-то и дело, — соглашается тот. — Им известно, кто где зарегистрирован, — все прошли через приемную психотерапевта. Ничего не стоит госпитализировать и начать изучать своими доступными и общеизвестными методами!

— А в чем прикол? — вдруг оживляется Дифур. — Способности ведь и правда должны быть полезны обществу! Почему их нельзя изучать? А мы-то здесь чем занимаемся?!

— Развиваем, — хмурится Николай Николаевич.

— Ну да! Но ведь и изучаем же. Пусть Док и возглавит это исследование...

— Наивный ты мой, — Доктор снова вскакивает и нарезает круги по кабинету. — Ты думаешь, это будет как в научно-фантастических фильмах и книжках прошлого века про чистенькие лаборатории и ухоженных детишек, окруженных любовью и вниманием? Нет! Это будет совсем другое! Это будет выяснение, чем они полезны не для блага человечества, а для войны! Сейчас, а не в будущем!

— Надеюсь, ты преувеличиваешь, — Николай Николаевич осмеливается взглянуть на Дока и натыкается на его горящий праведным гневом взгляд.

— А потом их просто подчистят! — Доктор хлопает ладонью по столу.

— В смысле? — не понимает Дифур.

— В смысле «вылечат», лишат всех этих способностей. Это не так уж и трудно. Это только в фантазиях киношников супердети всемогущи и неуязвимы, а в реальности они ранимее обыкновенных. В психушках справляются с этим на раз-два. Могу провести ликбез: как исцелить инаковость любого рода. Человечество в этом вопросе преуспело изрядно еще задолго до «Молота ведьм».

— Ну да, — соглашается Николай Николаевич. — Мы ждем Спасителя, чтобы его распять.

Доктор долго смотрит в упор на учителя. Их молчание прерывает Дифур:

— А давайте спросим их. Они — дети, но это их жизни и должен быть их выбор. Это, конечно, может напугать...

— Напугать? — Доктор неожиданно прерывает математика. — При всем при том мы здесь не оранжерея. И, если вы могли заметить, стараемся подготовить их к реальной жизни, где есть место всему, включая форс-мажоры и необходимость принятия решений. По крайней мере, они должны знать...

— И как это будет выглядеть? Как мы сделаем это?

— Сначала поговорим. Мы просто встанем в круг, — отвечает Доктор Дифуру, — и возьмемся за руки. Все. — Предупреждает он вопрос коллег о Ките.

— Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — соглашается Николай Николаевич.

Док улыбается:

— И я надеюсь.

— Втроем? — хмуро бросает Кирилл вошедшим педагогам вместо приветствия.

«Да, — думает Доктор, — манеры — не его сильная сторона. Впрочем, с кем поведешься», — он оглядывает ворон, мирно рассевшихся на ближних деревьях.

Софья хлопает в ладоши и подпрыгивает:

— А я думаю, почему учителя не медитируют с нами?

— Давно пора, — улыбается Тарас.

Марина вглядывается в лица педагогов:

— Что-то произошло?

Доктор бросает на нее предостерегающий взгляд. Впрочем, поздно. Они уже поняли, вопросов больше не задают. Кит все сильней раскачивается, сидя в безупречном лотосе. Но вдруг останавливается.

Доктор думает, как сказать им, как предложить обсудить, а потом всем вместе...

Что всем вместе? Донести до сознания Кита, что происходит, что ими заинтересовалось ведомство его отца? — он понял, чем занимается серьезный дядька. Бизнес — прикрытие. Интересно, почему именно его ребенок оказался слепоглухонемым, будучи индиго? И что дальше? Отправить всех по домам? Предупредив родителей? Или уехать с ними? Каникулы через месяц! В Крым, на море, в море... Они смогут исчезнуть... Ему даже кажется, что он слышит пресловутую дудку Крысолова. Что происходит?

Софья и Тарас слева и справа от Кита, берут его за руки.

«И что? Никому не больно?» — удивляется Док. К Тарасу присоединяется Марина, к ней Кирилл, еще одна девочка, Дифур и Николай Николаевич. Трое встают рядом с Софьей, и Доктор понимает, где его место, чтобы замкнуть эту изогнутую линию. Почему все-таки не круг? — Надо обсудить в будущем, если оно будет, — усмехается он. — А ведь многому мы их научили! Быть может, бо́льшему, чем сами представляем. Однако пора.

В первый момент его оглушает вой ветра. Поток подхватывает и несет. Доктор не позволяет себе думать, иначе сравнил бы ощущения с теми, которые описывают как околосмертный опыт, — полет к свету через туннель, напоминающий кратер вулкана или родовые пути. Но вместо света Доктор видит черную дыру. Возможно, не чувствуй поблизости всех остальных, он прервал бы полет! В какой-то момент ему кажется, что стая Кирилловых ворон несется впереди всех, и они с хлопками одна за другой исчезают в этой дыре.

Мгновение, и Доктору кажется, что он вывернут наизнанку. Его окружает океан. Со всех сторон. И волны мягкие, укачивающие. Нестерпимо хочется спать. Возможно, это и есть сон. Он видит остальных участников полета, парящих неподалеку. Каждый в позе эмбриона. Кроме ворон. Они распрямляют крылья и уносятся прочь. Он и сам свернулся калачиком, — вероятно, так и прошел сквозь эту «черную дыру». Логично, что ж. Лишь Кит прям. И Доктор слышит его голос!

— Море волнуется раз!

Сам Док и остальные словно просыпаются.

— Море волнуется два!

Доктор чувствует свое тело и с удовольствием потягивается.

— Море волнуется три!

Нет, никто не замирает. Наоборот, этот странный мир наполняется невесть чем: и китами с дельфинами, и жирафами с тиграми, и Старик рассекает его просторы, восседая на огромной рыбе. Курочка Ряба подмигивает Доктору и кидает в него золотым яйцом.

— Делайте что хотите! — слышит он голос Софьи.

— И что, это всё? — разводит руками Николай Николаевич, он проснулся позже всех.

— Информационное поле, — улыбается Дифур. — Или астрал. Своеобразный интернет, прообраз. Кому как ближе. Здесь все живое. Всё что захотите.

— Здесь нельзя ничего разрушать. Не в этой части, — Кит приближается к Доктору.

— А в какой можно? — и зачем я спросил, укоряет себя Док.

— Не знаю, — простодушно отвечает Кит. — А я тут не слепой и слышу.

Мимо проносятся отец и мать Кита, они всё в тех же позах и крепко спят. Доктор понимает, что так и должно быть, что все люди здесь еще не родились по большей части и крепко спят. Им еще предстоит родиться. Или не предстоит. Так вот в чем смысл индиго? Проснуться и разбудить других! И всё? Так просто? Ничего себе просто! То, что он видит, куда больше похоже на сон, чем реальная жизнь. Реальная ли? А способности? У каждого свои? Так всё верно, так и развивается человек, — кто-то раньше учится ходить, кто-то плавать... Когда бодрствует... А синий — цвет предрассветных сумерек.

Ребята общаются, гладят диких зверей, выращивают цветы прямо в ладонях и угощают друг друга огромными порциями мороженого, что с них возьмешь, — дети.

Доктора поражает догадка: люди в принципе спят! Везде! Ведь только в неосознанном сне ты не можешь быть хозяином видений, только в кошмарном сне творится зло, ненавидят ближнего. Нет возможности изменить чудовищный ход вещей. Вечно спящее сознание. Все эти смертные грехи — кошмарный сон спящего человечества.

— Эко загнул! — аплодирует Николай Николаевич. — Не поверишь, мне это тоже пришло в голову.

— Это ты подумал? — Доктор тычет пальцем в Кита.

— Нет. Об этом я еще не думал. А что это за смертные грехи? — удивляется Кит.

— Разве Библии нет в твоем информационном поле? — укоряет Николай Николаевич.

Кит закрывает глаза, и через минуту держит в руках фолиант Святого Писания, изданный для слепых.

— Ты же здесь видишь и можешь читать, — смеется Софья.

— Но мне нравятся эти точки, — он раскрывает книгу и кладет руку на страницу, как на клавиатуру. — Гораздо быстрее получается.

— Так что насчет Библии? Прочел? — настаивает учитель литературы.

— А вы нам не задавали! — заступается за друга Софья.

— Не пора ли нам решить, что делать? Не за этим ли мы здесь собрались? — спохватывается Доктор, взглянув на часы, которые, разумеется, не идут. Но стоило ему подумать об этом, как стрелки запрыгали, обгоняя одна другую. — М-да. Если это суперполе, у него и спросим. Пусть покажет варианты.

— Боюсь, — тихо говорит Николай Николаевич, — ты здесь увидишь только то, что действительно хочешь видеть. Готов?

— Готов! — отвечает Доктор, подумав про себя: «Интересно, как это всё выглядит в нашем сонном мире со стороны?»

Кит

Во всем виноват серый чемодан. Когда он набивает свое брюхо папиными вещами — предстоит разлука. День или два, — долго. А десять лет, — почти навсегда! Костя знает, что такое десять лет, — это три раза по столько, сколько он прожил, и прибавить еще один год, — две жизни с кусочком. Разве можно это вынести?

— А в зоопарк... — канючит Костя. — Ты же обещал!

— Завтра сходим, — успокаивает мама.

— Нет! — он отталкивает руку. — Папа обещал — с ним!

— Как ты ведешь себя, сын? — хмурится отец. — Вернусь, и пойдем все вместе. Если будешь себя хорошо вести.

Костя в уме складывает три и десять, он делает это легко, но полученная сумма ему не нравится, и он начинает реветь:

— Этого никогда не будет! Никогда! Я состарюсь и умру, все состарятся и умрут. И ты!

— Не смей так говорить! — повышает отец голос. — Ты мужик или кто? И реветь не смей! Мужчины не плачут!

Костя убегает в детскую, где старшая сестра болтает по телефону. Она демонстративно вздыхает и выходит, чтобы уединиться. Ей тринадцать. Она старая и злая. Иногда, конечно, добрая. Но точно не сейчас. Сейчас весь мир — враг. А каким он еще может быть, если уезжает папа и Костя не знает, как его остановить? Надо начать думать. Папа научил. Каждый день говорит Косте: «Сосредоточься и думай!»

Думать — это погрузиться в себя, ничего не замечая вокруг: ни мухи на стекле, ни конфеты в вазе, ни мультика, — ничего. Он пытается. Когда Косте удается уйти в себя полностью, получается самое интересное, — сначала он думает-думает, а потом — раз, — и все мысли замирают. Как в бассейне: плывешь-плывешь, а потом — раз, — переворачиваешься на спину и лежишь, и вода тебя тянет к бортику, а ты отдыхаешь. Костя маленький, трехлетний, но уже умеет и плавать, и думать.

А серый чемодан — главное зло, корень всех бед и разочарований.

Мама говорит, что нужно считать овец, чтобы пришел сон, но Костя знает: если начать их считать, тут же прибегают другие, толкаются, не хотят вставать в очередь, все разные. Так что это наилучший способ не спать до утра. Взрослые не знают, что Костя может считать до бесконечности.

В тишине он на цыпочках выходит из детской, прокрадывается в кухню и там, не зажигая света, нащупывает в ящике со столовыми приборами огромный нож, слегка звякнув чем-то. Прислушивается. Тишина. Все спят. «Ножи детям не игрушка», — говорит частенько бабушка. Так он же не для игры, а для дела!

В прихожей тоже темно, но Костя помнит, где стоит чемодан. И вонзает в него нож! Чемодан матерчатый, а Костя сильный.

Но папа все равно уезжает. Он купил новый серый чемодан.

— Я был о тебе лучшего мнения, сын. Надеюсь, когда вернусь, ты будешь совсем другим!

— Ага, — вторит ему злая сестра. — Уметь читать и считать в три года — совсем не значит быть умным человеком.

— Именно, — соглашается папа.

— Может, он из-за тебя уехал, — шипит вечером сестра зареванному Косте, когда они остаются в детской одни.

— Нет! — кричит он. — Из-за тебя! Потому что ты все время болтаешь по телефону!

— Из-за тебя, из-за тебя, — дразнит сестра. — Потому что ты просто ему надоел!

Костя со всей силы швыряет в нее первое, что попадает под руку, — пластмассовую машинку.

Теперь у сестры шишка на лбу, и она орет громче Кости.

— Что тут произошло? — мама врывается в детскую, и Костя видит, что она плакала.

— Это он в меня машинкой! — верещит сестра.

— Почему ты сделал это? — строго спрашивает мама.

Костя молчит. Он, конечно, хочет рассказать, что сестра сама виновата, дразнила его, но он же мужчина, а не ябеда!

— И как ты будешь в группе? — она садится на Костину кровать, принеся сестре мешочек со льдом. — Там нужно сидеть и слушать учителей, не мешать. Не кидаться машинками, если что-то не по нраву.

— Я буду, — буркает Костя.

— Что ты будешь? — вздыхает мама.

— Вести себя хорошо, — Костя вытирает нос ладошкой.

— Ага! Как же! — встревает сестра. — Его оттуда через неделю выгонят. И тогда папа вообще не захочет его видеть!

— Прекрати! — одергивает мать. — Кажется, я догадываюсь, что здесь произошло!

Она прижимает к себе всхлипывающего сына:

— Ну-ну, успокойся. А ты не горячий? Как ты себя чувствуешь? Может, не пойдем на прививку завтра?

— Не ходите, не ходите, — подначивает сестра. — Все сроки пройдут, вы опоздаете, и его не возьмут ни в какую группу!

Ночью Костю знобит, болят голова и горло, но утром он, превозмогая легкую тошноту, улыбается и говорит, что чувствует себя прекрасно.

Быть может, если бы не вчерашний отъезд отца, не скандал в детской, не проспавшая в школу сестра и многие другие «не», мать бы остановилась. Если бы не торопилась медсестра в прививочном кабинете, если бы педиатр оказался на месте, и многие другие «если бы», — Костя не получил бы прививку в этот день, и он пошел бы в свою группу развития месяцем позже. Прививки совсем не зло, они очень нужны, если сделаны вовремя...

Но игла впивается в руку, и Костя сжимает зубы, по-мужски.

Ему всю ночь мерещится серый чемодан, усмехающийся страшной пастью, которую сам же Костя и прорезал кухонным ножом. Раз за разом повторяется одна и та же картинка: он крадется в прихожую, а там его поджидает чемодан, у которого выросли зубы.

«Я не хочу это видеть, я не хочу это видеть, — произносит Костя про себя. — Я ничего этого не хочу видеть».

— Да ты же горячий совсем! — восклицает мать.

— Может, из-за прививки? Может, «скорую» вызвать? — пугается сестра.

— Если температура не спадет, — мама дает Косте лекарство. — Утром вызовем.

Сквозь голоса близких Костя слышит смех чемодана и затыкает уши, это не помогает. Маму и сестру не слышно, а чемодан — пожалуйста!

Таблетка действует, и Костя ненадолго забывается сном.

А потом он просыпается, а вокруг — темнота. И тишина.

— Мама!

Он чувствует, как открывает рот, но голоса своего не слышит. Он пытается включить свет, но выключатель, наверное, сломался. Темнота! Не получается позвать ни маму, ни сестру, ни бабушку. Куда-то пропали звуки! В панике он выскакивает в коридор, но и там кромешная тьма и жуткая тишина, словно не один только папа оставил его. Наверное, всем надоело его плохое поведение: и сестре, и маме, и бабушке, — и они просто ушли, погасив свет. Ушли навсегда! На десять лет! Пока не приедет папа.

От ужаса растерявшись вконец, не чувствуя знакомого расположение вещей и комнат, он натыкается на какие-то предметы, падает и снова бьется обо что-то. Вдруг в этой жути кто-то хватает его, и он пытается вырваться. Отбиться. Но этот кто-то держит крепко-крепко. Запах! Пахнет мамой. Но она ли это? Что за монстр обрел ее запах и молчит?! Мама бы точно сказала хоть слово. А его голос кто-то украл!

А потом в бедро вонзается игла! Это — источник всех его бед! Иглы с прививками! Он проваливается в бездну.

Невозможно двигаться, и нет ничего, кроме боли, кроме игл, которые впиваются в его тело. Он не может пошевелить ни рукой, ни ногой, словно их нет. Словно самого Кости нет. А боль есть. Если бы Костя имел представление о жизни и смерти такое же, как большинство людей, он бы решил, что умер и за плохое поведение попал в ад. Ухмыляющаяся морда серого чемодана периодически проплывает мимо и корчит жуткие гримасы.

Или бы вообще ничего не подумал, — в коме не всех посещают мысли и чувства. Костя ничего не знает про кому. Мысли и чувства его посещают. Он понимает только одно: теперь он совсем в себе, целиком: нет ни мухи на стекле, ни конфеты в вазе, ничего. Остается сосредоточиться и думать, и ждать папу, который приедет и все исправит. За десять лет он простит сына. Ведь прокушенный мяч пару месяцев назад простил за неделю. Важно — набраться терпения. Это сон. Сегодня, завтра или однажды он проснется и увидит свет. И еще — нужно как-то сопротивляться иглам. Вдруг он просто потерялся? Может, его уже ищут? Куда делась мама? Хотя бы запах! Он не представляет, сколько прошло времени, потому что времени не стало. Он превращается в сгусток ожидания. Однажды, сосредоточившись изо всех сил, пытаясь представить, как обнимает маму, он ощущает свои руки. Словно проснулся. Но пока еще лежит в постели. Пора, — решает он и изо всех сил пытается подняться! Но оказывается, пока он был весь в себе, то есть совсем внутри себя, его обвили жалящие змеи, боль от их укусов нестерпима, а они всё кусают и кусают, и кидают его в страшный мир темноты и отсутствия себя самого.

Главное — научиться сопротивляться враждебному миру, — это первая мысль, которая рождается внутри Кости или вместо Кости. В какой-то момент он начинает чувствовать свое тело, понимает, что оно неподвижно, но внутри происходит нечто, кто-то живет. Он ли сам или что-то иное. Он пытается поймать и удержать этого неизвестного жителя. И вдруг видит! Нет, не мир вокруг, а всего лишь искру, синий сполох. Но он концентрирует все свое внимание на этом синем. Теперь он умеет сосредоточиваться гораздо лучше, чем когда-то. Ему удается зафиксировать эту искру прямо перед собой, он чувствует, что открывает глаза. Движение век, не более. Но для него это знак. Что жив. И теперь он вооружен против игл. Хотя и не знает, как это будет работать, — просто будет. Он очень быстро убеждается в своей правоте. Да, это не

безболезненно. Но гораздо менее больно, чем иголки. Больше никто не коснется его тела до приезда папы.

Вскоре он встает на ноги, кусачих змей больше нет, и Костя неуверенно делает первый шаг. Окружающее потрескивает и пощипывает кожу. Чем ближе он подходит к какому-нибудь предмету, тем ощутимее щипки. Но если Костя делает что-нибудь особенное, чего не умел раньше, то ему удается увернуться. Этому трюку он научился, пытаясь сконцентрироваться. У него в голове, где-то между носом и глазами, появился новый орган. Он чувствует его! Костя знает, что в теле человека много органов, он весь из них состоит, и из воды, — человеческие органы плавают в океане. Он знает названия и свойства. Видел на картинках в книжке. Он уверен, что этого органа раньше не было. Если заставить эту штуку дрожать, то она помогает определить, где что находится и какой оно формы, словно рисует картинку у Кости в голове. Но для дрожания нужно петь! Вот Костя и поет, хотя и не слышит ни звука. Потому что поет лбом!

Жаль, что у Кости нет еще кое-каких органов защиты, например, ракушки, как у рака-отшельника. Он бы хотел такую раковину, и через некоторое время ему кажется, что знакомый синий сполох окутывает его целиком, помещает внутри себя. Теперь Костя, — поющий рак-отшельник.

«Быть может, я попал в синее море», — думает малыш. Хотя то, что окружает его, напоминает его собственный дом. Те же стены, та же кровать, игрушки, но и не только это. Как будто в привычный знакомый мир пролился океан и заполнил его. «Море волнуется — раз», — вспоминает Костя: они играли всей семьей, а ему никак не удавалось замереть, он падал, и никакой морской фигуры не выходило. Вот и сейчас он раскачивается — так легче и приятнее, — волны обнимают его. И песня помогает понимать, где что находится.

Теперь только волны ласкают его. «Папа, зачем ты оставил меня?!» — кричит Костя в пустоту, он знает, что никто его не услышит.

Но чем сильнее колышется окружающий океан, тем очевиднее, что тишина дает слабину, и вдруг мир наполняется звуком! Далеким и протяжным. Что это? Это очень знакомо и звучит как ответ на его собственную песню.

Однажды перед сном папа поставил запись:

— Хотите услышать песни китов и дельфинов?

Еще бы.

Киты! Это точно киты. И дельфины! А кто еще поет в океане? Костя раскачивается сильнее, волны все мощнее, киты все ближе. В зоопарке нет китов, они в океане. Но папа обещал, что когда-нибудь они поедут туда, где их можно увидеть. А Костя сейчас — видит. Костя может увидеть то, что очень хочет. Кроме мамы, кроме бабушки, кроме сестры, кроме реального мира. Но кто сказал, какой мир реальный? Быть может, нынешний Костин, где нет боли, а есть киты, — как раз настоящий?

Боль все-таки есть. Но не физическая. А страшнее. Он теперь не только без папы, он без всех, кто ему дорог. Даже без сестры.

Но он же чувствует предметы! Почему не чувствует близких? Они и правда бросили его или стали монстрами, которые кололи иголками? Вдруг некоторые странные двигающиеся тени, появляющиеся иногда, — это они и есть? Костя однажды, в самом начале пробуждения, обнаружил еду и воду, которую именно эти тени оставляют на столе. Он чуть не умер с голоду, пока не нашел тарелку с кашей. Кто как не бабушка мог оставить такую кашу? Надо бы к ним присмотреться. И он начинает еще «громче» петь, раскачиваться, чтобы лучше «рассмотреть» их. Не глазами, а при помощи своего нового органа.

Его собственный синий сполох, его раковина увеличивается, она касается стен. Но ничего, кроме уже привычных очертаний, он не может разобрать. А чем больше старается, тем больше укрепляется в вере, что родные — рядом, никто его не бросал!

Кроме папы.

А он так скучает! Он все отдаст, чтобы увидеть маму! Но что он может дать, если у него ничего нет?

Киты проплывают мимо. Китиха с китенком. Сердце Кости сжимается. Костя поет им свою песню, а они ему отвечают. В какой-то момент он отчетливо видит не самого кита, а синее облако, окружающее его. И это облако отличается от того, что вокруг подводной скалы. Может, Косте снится сон, но какая разница, если он понимает, что это живое, и совсем не нужно чувствовать по-другому?

Он сидит на своей кровати и сосредоточенно поет, покачиваясь в такт волнам, которые сам же и создает. Мир приходит в движение, предметы получают свои призрачные очертания. Они не совсем те, что знакомы ему по предыдущей жизни. По той, которую откусил серый чемодан. Но узнать можно. Он ждет. Овальное зеленоватое облако появляется на пороге детской. Он видит его иногда и старается спрятаться. Сейчас он будет за ним следить. Нужно избавиться от страха, — сосредоточенно думает Костя. Он много думает о страхе. Он почти все время о нем думает в этой новой жизни. И понимает, что страх хуже и игл, и чемодана, и всего на свете, особенно когда свет теряешь. Облако приближается. Некоторое время стоит рядом. Раньше бы Костя уже удрал куда-нибудь. Но он остается сидеть и сосредоточенно созерцать это облако. Оно само стремительно исчезает из детской. Но через мгновение появляется рядом с другим, тоже зеленым. Ярко-зеленым. Внутри Кости что-то взрывается! Он же видел его! Видит чаще других! И запах! Это не монстр! Это мама! Он был дважды слеп!

— Мама! — пытается крикнуть Костя и кидается к ней.

Но синяя раковина надежно защищает. Сильнейший разряд отбрасывает его, и Костя понимает, что облаку очень-очень больно. Словно чувствует сам эту боль в придачу к собственной. Он не может контролировать свою синюю раковину. Она защищает его даже от самого себя.

Отчаяние. Он сам хотел, чтобы никто его не трогал. Он сам создал свою ракушку и теперь не в силах ее разрушить. Или заставить вести себя по-иному.

Значит, нужно выбираться из нее!

Он снова погружается в мысли и сосредоточивается. Все, что нужно сейчас, — это выбраться из раковины!

Несколько раз, когда пространство вокруг начинает сжиматься и сдавливает его до боли, он пугается, что задохнется, и прекращает попытки. Но раз за разом Костя продвигается дальше и дальше по какому-то вращающемуся, грохочущему туннелю, пока вдруг не видит впереди яркое голубое сияние. Он готов на всё, чтобы прорваться туда! Он думает, что там нет созданной им самим раковины.

Сначала он теряет ощущение тела. Но стоит подумать об этом, как руки и ноги приходят в движение. Очень легко. Словно нет никаких препятствий. И гравитации! Про гравитацию он тоже уже знает. Это по ее закону он никак не мог замереть морской фигурой. А не потому, что неумеха.

Здесь пусто, — разочаровывается Костя.

Он парит в этом голубом пространстве и не хочет возвращаться обратно в раковину. Но там есть любимые зеленые облака. А здесь, кроме Кости, нет никого. Хоть бы киты приплыли. Он догадывается, что почти всё, по крайней мере многое,

здесь зависит от его желания, мыслей, поэтому думает о Китах. И вот они проплывают, касаются его, поют ему. А потом пространство превращается в океан с рыбами, коралловыми рифами, всей красотой, на которую способны Костины воображение и память. Из детской энциклопедии про океан. И он сам плавает в этом океане, как его новый орган у него в голове.

Так почему же здесь не может быть мамы?

Она спит, свернувшись клубочком. Ее тело парит в океане, глаза закрыты, и сквозь сон она шепчет: «Костечка мой, маленький мой, солнышко...» Костя кидается к ней, на всякий случай осторожно прикасается, — нет никаких щипков и покалываний. И он обнимает ее сильно-сильно! Но мама не просыпается. Только шепчет: «Родной мой, родной». Разбудить ее никак не удается. И сестра, и бабушка, — все спят! Костя уверен, — это не его воображение. Это особый мир, где исполняются желания, но не все. И не так, как хочется.

Он долго и сосредоточенно ждет отца. Наконец, тот появляется. Он что-то говорит во сне на незнакомом Косте языке и сына не видит. Не хочет?

— Папа! — кричит Костя. — Ответь мне! Ты знаешь, что со мной случилось!

Отец замолкает, но не просыпается.

— Ты из-за меня уехал? Прости меня, пожалуйста! Ну пожалуйста!

Слезы выбрасывают Костю из этого мира в синюю раковину. Там, в океане, видимо, плакать не стоит.

Теперь он каждый день пробирается в свой голубой мир. Каждый день пытается разбудить близких, но тщетно.

Однако мир не остается неизменным, он постоянно наполняется чем-то из прежней жизни. Однажды в руках Кости оказывается читаная-перечитаная книжка «Теремок», и все звери выскакивают из нее и разбегаются в разные стороны. Костя думает, что очень соскучился по чтению, что он готов прочитать самую огромную книгу на свете, — и перед ним оказывается толстенный том. «Война и мир» написано на обложке. То, что надо, — думает Костя. Открывает, но ему быстро становится скучно и тревожно одновременно. В конце концов, Косте всего семь лет, и он не очень-то умеет выбирать книжки. Вот если бы у Кости был кто-то, кто смог посоветовать....

Однажды в его мир прилетают вороны. Они каркают, спорят, а следом стремительно врывается мальчишка. И он не спит! Он очень даже бодрствует. Он немного младше Кости. Некоторое время они смотрят друг на друга, но стоит Косте спросить:

— Ты кто? Ты видишь меня?

Вороны поднимают гвалт и утаскивают мальчика вон.

Теперь Костя желает изо всех сил встретить еще «неспящих», как он назвал для себя этого, с воронами. Долго ничего не получается, и он снова впадает в отчаяние.

Голубой мир преподносит сюрпризы. Костя знает всё о китах. Как они устроены, чем питаются, как находят дорогу в океане, — это похоже на его способ ориентироваться и в том, и в этом мире. Он знает, кто еще живет в морях. Он понимает, что этот мир не столько исполняет желания, сколько отвечает на вопросы.

Правда, не на все. А только на те, к ответам на которые Костя готов. И это знание тоже приходит из этого мира.

— Папа, почему ты уехал от меня?

Молчание. Папа спит и говорит по-английски. Теперь Костя знает, что это за иностранный язык, и понимает его, но только ему не совсем ясно, о чем папа говорит. Есть еще много языков. В этом мире Костя понимает все. Словно это один язык,

просто есть множество слов и способов выразить мысль. Правда, не всегда улавливается смысл. Его знания слишком ограниченны, как сказал океан в Костиной голове. А в том пространстве, где раковина, он даже своего русского не слышит.

Иногда ему хочется уйти сюда навсегда! Но в том пространстве остаются мама, бабушка, сестра и папа. Когда приедет. Он вернется, а Кости нет. Костя предал его. Костя — трус и не мужчина. Костя должен стать мужчиной к возвращению папы. Он должен измениться во что бы то ни стало, даже если ему для этого придется изменить мир!

Оба мира!

Иногда он встречает неспящих детей. Они смотрят друг на друга, и всё. Любые попытки заговорить не кончаются ничем. Их словно отталкивает друг от друга. Может, они не готовы или не умеют общаться здесь? Где же мальчик с воронами? Костя убежден, или это подсказка голубого мира, что с этим мальчишкой всё получится!

Однажды его напугал один случай.

Мальчик, который был намного старше Кости, гуляя в этом голубом океане, погруженный в себя, вдруг резко свернулся калачиком и уснул. С ним что-то сделали, — понял Костя. Это были иглы! Те самые иглы, от которых надежно защищает его синяя раковина.

Он чуть было снова не отказался от попытки связать оба мира.

Но он же не трус! Ему нужен помощник! Одному не справиться, а океан не из тех, кто станет помогать, он ясно дал это понять. Костя уверен, что мысль о помощнике не совсем его. Она принадлежит океану.

Но где его взять? Мальчик с воронами? Он тоже нуждается в помощнике, иначе они бы уже общались. Придумать! Взрослого сильного помощника! Неспящего! Он уже почти придумал, раз мысль появилась. Нет ничего невозможного, — подсказывает океан. Всё, что ты нафантазируешь, появится и обретет свою плоть. Потому что, что бы ты себе ни вообразил, ты ничего не придумываешь — всё уже есть. Просто возьми.

Доктор. Сначала Костя придумывает это слово. Или берет его из океана. Он пытается понять, почему именно доктор. Потому что Костя был болен! А больному нужен Доктор! Долго не удается сосредоточиться, — Доктор ведь может появиться с иглами. Но, преодолев страх — в конце концов, от игл есть защита, — он начинает смутно различать какие-то неясные силуэты: мужчина смотрит на ребенка. Они оба в его голубом мире. И оба не спят. Это не только его мир! Это еще мир Доктора, ребенка, а Костя — всего лишь ничтожная часть чего-то огромного. Какая-то матрешка из миров. Много матрешек — бесконечность, — и трудно сказать, какая меньше, какая больше. От этого кружится голова и сходит с ума новый орган.

Но теперь Костя понимает, что этот мир-океан сам по себе не только пространство, где что-то происходит. Он словно некая сущность, одушевленная бесконечность, учитель, которого не найдешь ни в какой группе раннего развития. Океан иногда отказывается помогать, а требует действий от Кости. Но, главное, он не оставит. Никогда не уедет с серым чемоданом. Он может не пустить, не принять. Прогнать. Но не исчезнет! И вот вопрос: почему почти все люди, попадая сюда, спят? А Доктор не спит. И тот, с воронами.

— Доктор! — кричит Костя.

Мужчина прислушивается. Но потом отвлекается на другого ребенка, и они оба исчезают.

Костей овладевает нетерпение. Сколько можно пари*и*ть тут в полном одиночестве, если здесь может быть полно народу? Это всё из-за того, что папа уехал и бросил.

Серый чемодан ему дороже сына! Так пусть океан исполнит главное желание! Пусть населит Костин мир близкими людьми! Костя знает, как потребовать у океана!

— Отец!

Папа спит, свернувшись калачиком, но теперь это ничего не значит.

— Отец! Ты скоро приедешь. Мне нужен Доктор! Ты сделаешь всё, что он скажет! Ты сделаешь всё, что я захочу!

Но тот никак не реагирует, и это ужасно злит Костю. Обида, гнев захлестывают его, и он начинает трясти папу, он трясет и трясет, но безрезультатно, — отец погружен в свой равнодушный сон. И океан безмолвствует. И тогда Костя, в гневе не помня себя, замахивается, чтобы ударить! И тут же проваливается в темное небытие.

Он не знает, сколько времени пробыл в этом состоянии.

Он не знает, что его близкие снова бьют тревогу и вызывают «скорую помощь», но врачи ничего не могут сделать, — синяя раковина защищает его тело и никто не может к нему прикоснуться.

— По крайней мере, он точно жив, — успокаивает врач маму. — Он уже восемь лет у вас в таком состоянии, что поделать. Благодарите бога, что не овощ. И молитесь, чтобы не стал им.

Всё опять начинается с чувства. На сей раз — стыда. Оно мучительно. Следом появляется мысль. «Сосредоточься и думай». Так всегда говорил папа. Это отец научил Костю главному: сосредоточиваться и думать.

Прости, папа. Где ты, папа? Прости меня и вернись. Зачем ты оставил меня?..

Оставил ты меня? А маму? А сестру? Десять лет не вечность, вечность — темнота. А сколько уже прошло?

Костя не может вспомнить ни одного праздника Нового года с тех пор, как папа уехал. Возможно, не заметил. А вот зима сменялась летом, — это точно. Он не помнит, сколько раз, не считал. Какой сегодня день? Раньше он путал среду и субботу. Какой сегодня день? Четверг. Откуда он это знает? Это ты, голубой мир, отвечаешь мне?

Но окружает его по-прежнему темнота, тишина и неподвижность. Это смерть, — решает Костя. Теперь он знает, что это такое. Сосредоточься и думай! Чтобы жить.

Он видит себя со стороны. Он замахивается на спящего отца. Раз за разом. Замахивается и исчезает, словно растворяется в океане, как что-то бесполезное. А отец даже не шевелится. Это зрелище отвратительно. Это то, что не пускает в голубой мир! Гнев, отчаяние, обида опутывают душу и разрушают изнутри. Разрушению нет входа в океан! «Прости меня, прости!» Что-то щекочет щеки, — слезы, догадывается Костя. Из-за чего он плачет? Его ли это слезы? Нет ни боли, ни обиды, только стыд. Он был несправедлив! Это ужасно стыдно!

Постепенно, благодаря слезам чернота вокруг промывается, и он видит свою синюю раковину изнутри. Нужно всё начинать сначала, чтобы попасть в голубой мир.

Урок он усвоил, — мир океана не терпит насилия и разрушения и растворяет их источник, чтобы переработать и получить нечто для себя полезное. Он не только исполняет желания и отвечает на вопросы, но еще и учит. И уроки тяжелы. Костя понимает, что море волнуется — раз. И морская фигура замрет уже со второй попытки несоблюдения этих правил. Но, если учит океан, зачем другой учитель — человек? Зачем Доктор?

— Ты же можешь дать все знания. Все сразу! И ничего не нужно делать! Не нужно мучиться! Не нужен этот горький опыт! Ты даешь, а я беру и знаю! — орет Костя, стоит только ему прорваться в голубой простор.

И тут на него обрушивается нечто. Огромные потоки несутся прямо на Костю,

сквозь него, закручивают, ломая тело, сознание, перемалывая все его существо. Сквозь адскую боль, пронзающую пострашней вражеских игл, он с трудом выхватывает какие-то крохи: интегралы, фумаролы, кольца, зиготы, Рафаэль, гугеноты, диполи, постоянная Планка, закон Фарадея, вакуоли, число Авогадро, Афродита Боттичелли, бином, обсессивное расстройство...

Сейчас Костю разорвет, и его уже никогда не будет.

— Хватит! По порядку!

По порядку — это структурирование. Поток останавливается, и остается только это знание, данное океаном. Да что же это такое? Что это за слово?

Косте нужен помощник. Иначе ничего не получится структурировать. И процесс этот на всю жизнь. И не на одну. Но для начала нужен учитель, умеющий понимать океан. Почему он видит Доктора? Потому что у Доктора есть Учитель. И сам он — Учитель.

Неужели океан не может сам, как он выражается, структурировать знания? Зачем нужен помощник-человек?

Затем, чтобы стать человеком.

Ах, ну да, он же слепой, глухой и немой рак-отшельник в синей раковине, который умеет думать.

Кому много дано, с того много спрашивается. Откуда эта мысль? Это ты, океан?

— Это мне-то дано? Да у меня всё отобрано!

Небытие. Темнота. Неподвижность.

У тебя есть океан. У тебя был океан.

Сосредоточься и думай.

Нужно научиться контролировать свои мысли, чувства, эмоции. Нужно стать справедливым. Доктор. Человек, который умеет это сам.

Смирение. Это еще одно маленькое знание, которое получает Костя. Больше даром он ничего не получит. Не маленький. Только в обмен на свои дары. А что он может дать? Если у него ничего нет!

В двенадцать лет у человека есть всё, чтобы давать. Теперь Косте предстоит самому решать, что это значит. Океан замолкает. Он по-прежнему ласкает своими волнами, киты играют с ним и поют свои песни. Костя пытается выудить книги, но почему-то ничего не может разобрать в них, текст словно смывается солоноватой водой. Несколько раз он видит ворон.

* * *

— Папа, дорогой, где ты? Прошу тебя, пожалуйста, помоги. Мне очень-очень нужен Доктор. Я знаю, ты его найдешь, он где-то рядом. Если нетрудно. Если ты не против... Если найдешь время...

Серое блестящее облако — это папа! Костя знает это, как и то, что объятия будут не такими, каких ждет отец.

— Прости меня, я пока не умею с этим справляться.

Папа не слышит и получает разряд. Это не электрический ток, не магнитное поле, — нечто другое, что известно отцу. Отец настораживается, но горе, вызванное состоянием сына, не позволяет анализировать и делать выводы. Что это иной вид энергии. Возможно, всего лишь эксперимент, продукт океана. Синяя раковина. Но носители уже есть.

Предчувствие. Костя сегодня не находит себе места ни в синей раковине, ни в океане. Произойдет!

Сначала Костя видит огромный синий овал, который смело приближается. Сейчас заискрит. Мгновение. Неужели?! Это правда? Это Доктор! На секунду они успевают встретиться глазами, и Костя вздыхает с облегчением, он готов рухнуть от напряжения.

Папа нашел!

Что-то касается Костиных пальцев. Сначала щиплет, но если не торопиться, то раковина привыкает. И еще, — очень многое зависит от самого Кости. Если он изо всех сил старается, то искрит меньше. Старания эти мучительны и одновременно сладки. Словно он пытается раскрыть свою грудную клетку, вынуть оттуда сердце и осветить им путь тому, кто идет навстречу. Как Данко. Кто такой Данко? Об этом написано в книге, которую Костя однажды прочтет, когда научится по-новому читать в этом мире.

Он знает это. Иногда он знает, что произойдет в следующее мгновение. Но хорошее может не сбыться, если не туда свернуть, как и плохое, если изменить путь. Костя видит как бы на мгновение вперед. Этот дар он предлагает океану. Как и свое горящее сердце.

Это то, что есть у тебя! Это то, что ты отдаешь, и чем больше отдаешь, тем больше у тебя остается.

Костя обдумывает новую формулу. Он еще не совсем понимает, о чем речь, — загадка Сфинкса. Но он непременно разгадает ее. А заодно и узнает, кто такой Сфинкс.

Книги. Трюки Доктора со знакомыми и надоевшими еще в прошлой жизни книжками забавляют Костю, и он соглашается на игру.

Гарри Поттер. Как бы ему хотелось увидеть этого мальчика и его друзей! Что значит друзья? Он снова встречает в голубом мире-океане стаю ворон и подростка, окруженного ими, как Костя — своей раковиной. Некоторое время они наблюдают друг за другом, но очень быстро теряют из виду, словно влекомые разными потоками. Друзья Гарри Поттера борются со злым волшебником, который живет внутри Гарри. Наверное, в каждом человеке есть такой волшебник, которого нужно победить. Нужно ли, скажи, океан?

— Это твой выбор. Придет время, и ты сделаешь это.

Ничего себе выбор! Злой волшебник внутри или океан снаружи? Очевидно же! Но почему так нелегко? Всегда нелегко! Ничего не бывает легко! Мальчик с воронами мог бы стать другом. Почему нельзя просто подойти и заговорить? Почему нельзя взмахнуть волшебной палочкой? Потому что этому тоже нужно учиться.

Теперь Костя научился ощущать время. И понимает, что проходит год с первой встречи с Доктором до жизни в новом доме со Считающим ворон, — так он называет своего друга. Они почти не общаются в океане, но Костя чувствует физически присутствие птиц и мальчишки. Придет время, надо ждать. У Кости есть папа, мама, сестра, а у будущего друга есть любящие люди, но они не его семья. Откуда Костя знает это?

Косте нравится прикасаться к шрифту. Читать пальцами доставляет физическое наслаждение, и он почти все свободное время проводит за книгами. «Старик и море» чем-то напоминает ему собственные уроки, полученные у океана, — теперь это его любимая книга.

Однажды Костя узнаёт о Крысолове. Зачем Учитель знакомит с этой страшной историей? И страшна она прежде всего тем, что никак не заканчивается. Крысолов

по-прежнему бродит по миру, собирает детей и уводит их за собой, чтобы дети не стали злыми. Как взрослые. Такое бывает. Но то, что он дает им взамен, — еще хуже! А не Крысолов ли Учитель?! Или Доктор? Злой волшебник внутри. Эта мысль пугает Костю, и он принимается раскачиваться, чтобы сбежать в свой голубой мир. Он чувствует тревогу вокруг! Когда Учитель, преодолев боль, прижимает его к себе, он изо всех сил тащит его к океану показать свой мир, а Учитель сопротивляется, наоборот увлекает прочь! «Не-е-е-ет! Не ведите меня за собой в мир Крысолова! Там смерть!» — орет перепуганный Костя, и тот отпускает его и падает без сил.

Косте стыдно, он должен был распахнуть сердце, как Данко, а он опять закрылся в своей раковине. Зато точно знает, что Учитель — не Крысолов. Тот бы не отпустил.

Крысолов страшнее злого волшебника из «Гарри Поттера», потому что тоже есть в каждом человеке, но его не убить. Это тот, кто уводит людей от себя самих. Он уводит ребенка из человека. Так думает Костя. Нужно смелей раскрывать сердце. И сопротивляться своему Крысолову. Я не пойду за тобой! Я не слышу твою флейту!

Океан любит показывать разные места: города, горы, леса, музеи. Картины. Одну из них океан навязчиво предлагает уже не первую неделю. Да он просто измывается! Девушка необыкновенной красоты приплывает на раковине. Не такой, как у Кости, не запирающей. Дочь Океана и Времени. И Костя восхищен. Он и благодарен океану, и встревожен, так как его тело словно бунтует. Это становится почти невыносимым! Что бы ты ни делал в своей душе, тело берет свое! Да-да. Ты — только тело! Оно хочет есть, пить, спать, объятий. Оно боится игл, оно порождает страх! Помнишь, как сладки были объятия близких? А еще — это больно! А с девушкой будет больней! Смотри-смотри на эту девушку. Тебя ждет боль! И ее! Всех! Жизнь — боль!

Костя, стиснув зубы, старается преодолеть гадкие мысли и шепчет, как заклинание:

— Однажды больно не будет.

Когда?

Книги. Странные вещи пишут люди о том, что было раньше, и называют это историей. Разве было именно так? И никаких других вариантов? Костя видел в океане, как меняется будущее, и как меняется прошлое — он тоже видел. Всё меняется, а люди лгут, они переписывают свою историю, делая ее статичной во лжи, в результате меняют будущее далеко не в лучшую сторону. Нельзя так играть с информацией! Новое слово, подаренное океаном. Он так взбешен, что рвет эти книги. Ему опять стыдно, — он отлучен от общения в океане. И Доктор с океаном заодно.

Почему он не может пообщаться со Считающим ворон? Почему тот рядом, но не говорит с ним? Они даже касаются друг друга, но в океане разлетаются, как одинаково заряженные частицы! Да, Костя начал изучать физику. Сам. Может, все дело в заряженности?

Что бы он ни читал, девушка в раковине тревожит его все больше. О безжалостный океан, не исполняющий главных и сокровенных желаний! В книгах, которые предлагает Учитель, столько боли. Там юноши и девушки любят друг друга, раскрывают свои сердца, но, обманутые каждый своим Крысоловом, топятся, бросаются под поезда, умирают от тоски, предательства или предают сами! Жизнь — боль! Уж лучше читать про старика и море! Или Гарри Поттера. Там не предают. То есть предают, но плохие герои, а хорошие — побеждают! В «хороших книгах» хорошие герои не всегда симпатичны, а плохие часто обаятельны, умны. Почему? Потому что сильны! Они сильны своим страшным духом, как злой волшебник и как Крысолов! Лучше читать о Старике и море!

Или про то, как устроены звери и травы, — эти попытки людей не видеть очевидного — информационных и энергетических полей — смешны! Разве щупальца только у осьминогов и моллюсков? Да вы на себя посмотрите! Вы — разноцветные сгустки с щупальцами и ложноножками!

Зачем писатели пишут книги о предательстве и смерти? Неужели горе и разрушение сильнее, притягательнее радости и любви? Так не должно быть! Если бы было так, мир бы не существовал.

Софья. Это имя он узнаёт первым после своего собственного, словно читает, едва прикоснувшись к кончикам ее пальцев. Она появляется в новом доме, и мир меняется навсегда. Она бесстрашно, невзирая на противодействие раковины, ныряет за Костей в его мир, и тот принимает ее. Софья окружена белым пенным облаком Афродиты Боттичелли, — ей проще многих попасть в голубой мир. Она уже почти над этим миром. «Софья, я тебя не предам! Я буду любить тебя вечно, и этот дуб — свидетель моей клятвы! Океан — свидетель моей любви. Ведь это любовь, Софья! Когда сердце вынуто и пылает — это любовь. Оно пылает не для одной тебя, как и твое — не для одного меня, но от этого только сильней. Чем больше отдаешь, тем больше остается. И, если я предам, оно погаснет. Я знаю, ты слышишь мои мысли».

Как же тянулось время до этих дней, когда появился голубой мир или — океан; Костя по-прежнему так называет свое пристанище, хотя все больше думает о нем как об информационном пространстве.

Тарас! Брат, у которого есть такой же орган, помогающий слышать китов. Теперь они могут общаться, посылая друг другу картины, как научил Доктор.

Они могут и с Кириллом обмениваться впечатлениями о книгах. Кирилл злится, он слишком во власти своего Крысолова. Костя даже не заметил, в какой момент они услышали друг друга. Однажды Косте пришлось заступиться за Учителя, на которого по глупости, дурацкой ревности Кирилл решил напасть, воспользовавшись властью над своими птицами. Тогда-то Костя с помощью океана объяснил, как страшна собственная несправедливость, что можно навеки лишиться доступа, пропасть, уснуть и не проснуться. Для тех, кто до сих пор не проснулся, это не так опасно, у них всё впереди, а вот для них, уже видевших океан, это равносильно смерти. Кирилл справится со своим Крысоловом, у него есть Марина, вороны и океан. Марина видит насквозь и Кирилла, и Костю. Внутри Марины живут волк, филин, дракончик, а Крысолова там нет.

В прошлой жизни Костя любил решать задачи. А сейчас забыл многое. Когда океан обрушил на него поток информации, он испугался змеящихся шипящих интегралов, и поэтому долго не мог найти контакта с Учителем. Структурирование — длительный процесс. Но Учитель — мастер находить решения.

Папа, ты простил меня. Спасибо! Теперь Костя вспоминает серый чемодан с улыбкой, а его оскал кажется ему обиженной гримасой.

— Ты так думаешь? — вопит чемодан, разрываясь от злобы. — Ты думаешь, что теперь счастлив? Всё в розовом шоколаде? Ха, ты даже не можешь увидеть розовый шоколад! Самонадеянный слепой, глухой, немой урод! Они, те, кого ты считаешь друзьями, никогда до конца не примут тебя, потому что ты не такой, как они! Вообще не такой! Посмотри на Кирилла! Он тяготится общением! Влюбился в Софью и вообразил, что она разделяет твое чувство?

— Бедный-бедный чемоданчик, это даже не твои мысли. Это остатки моих сомнений. Потому это все не имеет значения.

Конечно, не сходу Костя дает отпор чемодану. Конечно, сомнений еще воз

и тележка, — тяжелый багаж, который так трудно бросить. Но по маленькой части, по крупинке из прорезанной этой дыры высыпается лишнее, а лишнее в этом багаже — всё.

Вечеринка. В первый раз было нелегко. Но после урока Доктора, где Костя и Тарас научились общаться, как люди, остальные постепенно присоединились к ним и охотно согласились отправиться за Костей в океан. Нелегко было перетащить всех одновременно. Когда они вставали в круг, то получалось нечто совсем другое, — словно они замыкались друг на друга и могло произойти что-то, к чему они не готовы.

— Я знаю, как, — предлагает Кирилл. — Нам нужна синусоида.

Костя видит эту кривую и понимает, что только так можно попасть в резонанс с океаном. Волна. И вот, с огромным трудом они прорываются.

— Мне кажется, так рождаются дети, — смущенно замечает Софья, когда они наконец расслабляются в ласковых волнах.

— Я знаю, что это! — Марина хлопает в ладоши. — Это — астрал! Я читала о нем в интернете! Но не думала, что это взаправду...

— В интернете? — для Кости это новое понятие, которое влетает в него потоком информации, чуть не взорвавшим мозг.

— Ну да! Ты же уже набираешь на компе! Там можно выйти в интернет.

— Зачем ему? — усмехается Кирилл. — Этот океан-астрал лучше любого интернета. — Не так ли? Хотя немного не по себе, если честно.

Тарас озирается по сторонам:

— Киты и дельфины! Ты наводнил этот мир океаном.

— Наверное, — неуверенно отвечает Костя. — Мир подстраивается под мои желания. Он окружает меня тем, что я принимаю, чтобы я мог принять что-то новое... Так работает информационное пространство. Тут важно знать меру и не крикнуть «мало» или «хватит», — оно реагирует мгновенно.

Костя опасается, что в любой момент их оттолкнет друг от друга, как те самые одноименно заряженные частицы, но все остаются на месте. Почему? И, вообще, что происходит? Друзья озираются по сторонам, как будто видят это впервые.

— Стоп! — он всплескивает руками, словно пытается остановить набегающую волну. — Вы о чем? Мы о чем? Разве вы здесь первый раз? Это же не только мой мир! Не только мое... Кирилл, ты был здесь со своими воронами! Мы же встречались! Помнишь?

— Нет, — Кирилл озирается по сторонам, силясь что-нибудь вспомнить. — Я не бывал здесь. Я бы не забыл.

— Ну как же?! — Костя хватает его за руки и начинает трясти, словно это поможет освежить память. — Твои вороны! Потом ты следом! Ты смотрел на меня! Прямо в глаза смотрел! А потом тебя словно отшвырнуло! И ты исчез.

— Вороны? — недоумевает Кирилл.

— Ну да! Ты влетел следом за ними.

— Так это они его и затащили, — шепчет Тарас. — Я вот тоже думаю, что мне это все напоминает. Знаете, что? Мое море, когда я ныряю в глубину и зову дельфинов.

Он обводит пространство руками.

— Значит, каждый видит свое? Только свое? — разочарованно вздыхает Марина.

— Нет! — резко обрывает Костя, и тут же смягчается. — Нет. Сейчас мы здесь вместе. У нас получилось! И мы не отталкиваемся друг от друга. Что-то произошло, что-то мы сотворили с этой волной, которую придумал Кирилл. И... наши миры, поля — как хотите — перестали конфликтовать. Или даже объединились!

— А ты в теме, — Кирилл первый раз без иронии смотрит на Костю. — Кит, прости, я думал, ты плохо соображаешь. И просто дружил, потому что ты один из наших и все такое... и я правда не помню, что был здесь. Но, знаешь, верю твоим словам. Вот верю и все, Кит!

— Кит? — удивляется Костя.

— Ну да. Мы все так тебя зовем, — смеется Марина.

Софья смотрит на Костю, и глаза ее полны радости, так что слов не найти, да и зачем слова, если Кит сейчас разговаривает, видит ее, до него можно дотронуться? А в каком месте это происходит — астрал, параллельный мир, воображение, — какая разница?

Прогулки становятся ежевечерними. Друзья все больше привыкают к новому месту общения.

— Да о таком можно только мечтать! — радуется Марина. — Никто не мешает! Делай что хочешь! Не вломятся без стука и предупреждения, типа пора ужинать или вообще пора.

— Надеюсь, — неуверенно улыбается Кит.

Поэтому, когда Доктор собирается обсудить серьезный вопрос, они уже в силах перенести с собой и своих учителей; но без взрослых было как-то спокойнее. Все получается не так, как думаешь. И угроза приходит, откуда не ждешь.

— Что будем делать, Кит? — Кирилл напряжен, но смотрит на друга с надеждой.

— Мы можем просто уйти сюда, и нас никто не достанет, — в словах Марины сомнение, но, похоже, оно выражает общее настроение.

— Я бы мог уплыть в море, — вздыхает Тарас. — Но оставлять вас...

— Я с тобой. Что делать? — в глазах Софьи слезы.

Кит напряженно молчит.

— В конце концов, пусть исследуют! — продолжает Кирилл. — Ну, послужим на благо науки! Ну, потеряем свои способности для ее же блага!

— Тебе легко говорить, — возражает Софья. — Для Кита его способности — это его жизнь.

— Неужели каждому отцу, чтобы что-то сделать в этом мире, нужно распять собственного сына? — тихо произносит Кит.

— Ты о чем? Кого распять? — не понимает Кирилл. — Кого распять-то? Твой батя спонсировал это всё! Вон и компы топовые подвез! И даже с «клавой» для слепых. А ты — «распять»! Пусть изучают! И вообще, — вообразил себе! Подумаешь! Ну, послушай, мы же можем слиться всегда.

— Ты хоть сам себе веришь? — усмехается Марина. — Что, если на тебя наденут датчики и прочий хлам, и ты уже не то что слиться, каркнуть не посмеешь?

— Помните, мы вставали в круг? — не слушает их Костя. — Происходило нечто, что не пускало нас сюда, но обладало мощью.

— Да, — кивает Софья.

— Это не просто так. Я понял, что, когда мы делаем это, мы делаем это не одни во времени. С нами еще кто-то, такие же. Ну не одни же мы дети-индиго во всем мире! Это как круги на полях. Все же знают, да? Инопланетяне там или фермеры развлекаются... Только эти круги — всего лишь следы, проекции. Хороводы! Хороводы в одном месте, а круги — в другом! Когда мы встаем в круг, мы можем кого-нибудь

разбудить в астрале, как говорит Марина. Кого-нибудь, кто здесь может только спать. Поможете мне?

— В смысле? — не понял Кирилл. — Кого ты собрался будить?

— Отца.

От легкого осторожного прикосновения отец открывает глаза:

— Костя?

Он озирается и не может понять, где находится, — его окружает ничто.

— Так лучше? — спрашивает сын, и мир вокруг приобретает привычные очертания гостиной в их доме.

— Не понял! Костя, ты заговорил?! — радость отца смущает сына. — Костя, это ведь сон... — разочарованно произносит он.

— Уже нет, — улыбается Костя. — Не сон. Но и не явь в нашем понимании. Это информационное пространство, в котором я разбудил тебя, чтобы поговорить.

— Информационное что? — отец не верит своим ушам, он щиплет себя, чтобы проснуться, пытается рассмотреть свои руки. Так учат в осознанных сновидениях. И, наконец, убеждается, что не спит.

— Так. Где я сейчас? В смысле, где моя тушка?

— В гостиной. Маме кажется, что ты задремал, она не станет тебя тревожить. А я в своей школе, среди своих друзей. К ним тоже никто не подойдет. И мы здесь пробудем столько, сколько нужно. Но для начала прости меня, пожалуйста.

— Сынок, за что?

— За серый чемодан.

— Какой чемодан?

— Который я порезал.

Отец некоторое время ошарашенно смотрит на него, потом смеется:

— Ах ты про это. Да брось! Мы тогда обхохотались с мамой. Я и забыл давно.

У Кости комок подступает к горлу, но он проглатывает его и улыбается:

— Спасибо, что простил.

— Сынок, дорогой, это ты прости, что уехал, когда так нужен был тебе, что теперь ты такой... — он не может подобрать слова, чтобы они не прозвучали бестактно.

— Урод? Я не урод и не инвалид, и за это не нужно просить прощения, — Костя приходит ему на помощь. — В этом нет ничьей вины. Так должно было случиться, и я счастлив. Я теперь очень счастлив, папа, и уверен — ты этому рад.

— Сынок! — отец кидается к сыну обнять. Останавливается в неуверенности, и Костя сам обнимает его:

— Здесь можно. Скоро можно будет и там, где наши «тушки». Я уже многому научился, как и мои друзья. Но есть одно «но».

— Какое? — отец отстраняется встревожено.

Костя понимает, что внутри этого волевого человека — а как иначе, он же его отец — сейчас происходит страшная, мучительная борьба: борьба между любовью и чувством вины с чувством долга и ответственности человека дела, борьба между разными мирами: миром, где возможно только созидание, и миром, где допустимо разрушение во благо, борьба между Крысоловом и злым волшебником, борьба между человеком и человеком.

— Сынок, если ты счастлив, я на все готов. Ты знаешь, я нашел этого чудо-Доктора, который создал чудо-школу...

— Я знаю. Они научили меня жить. Они научили меня любить. Я многому еще научусь, если мне не помешают. Ты сможешь гордиться мной.

— Кто может тебе помешать?

— Ты.

— Не понял? Ах, ты, наверное, о том, что мы хотим исследовать ваши способности? Но это же уникально! Это прорыв в науке. Как ты не понимаешь?

— Смотри! — кричит Костя. — Дай ему всё!

Со стороны Кит видит, как на отца обрушивается поток, словно песок из гигантской воронки, закручивает его, погребает под собой... Костя знает, каково это, и внимательно следит за отцом.

— Хватит! — тот не выдерживает натиска.

Всё мгновенно останавливается.

— Что это было? — голос отца слабый и хриплый, словно он долго и тяжело болел.

— Это информация, к которой не готов даже ты. Есть вещи, которые опасно изучать раньше времени, понимаешь?

— Нет! Если мы можем видеть явление, то должны исследовать его. Ради безопасности человечества, — голос отца звучит твердо.

— Тесла тоже так думал, пока не упал метеорит... — пытается возразить Костя.

— Это всё домыслы!

— Хорошо, — тихо говорит Кит. — Тогда пообещай мне одну вещь. Клятвенно. Я знаю, ты человек слова.

— Какую? — смягчается отец.

— Ты начнешь с меня.

Отец видит, что губы сына дрожат, и это пугает его.

— Ты же знаешь, чем это грозит? Знаешь?

— Да, — шепчет Кит. — Морская фигура замрет. Навсегда.

— Я бы не должен верить тебе, но ты не врешь, — отец не смотрит на сына, ему трудно встретиться с ним взглядом. Хотя последние несколько лет он так мечтал поговорить по душам. Кто мог знать, что это возможно? Кто мог знать, что разговор будет таким?

— А есть другой путь? — спрашивает он.

— Есть, — отвечает Кит. — Я буду будить тебя здесь, и однажды ты проснешься навсегда. И тогда решишь, что делать дальше...

Эпилог

Школа просуществовала еще три года. Доктор написал на основе своих исследований научную работу «Развитие особой одарённости в пубертатный период».

Тарас плотно занимается изучением языка китов и дельфинов, Марина учится на психотерапевта, Кит и Кирилл под руководством Дифура создают компьютерную игру «Море волнуется раз», помогающую в обучении особых подразделений, а Софья любит Кита.

Иногда в разных местах появляются круги на полях, — то ли шутки местных фермеров, то ли ведьм, то ли инопланетян, но пока они появляются, у каждого есть шанс проснуться.

Ольга Злотникова

Как детский шарик золотой

* * *

с камнем в груди и дитём на руках,
кто там сегодня башкой в облаках,
сам на себя не похожий?

кто на Твоём ежедневном посту
даже себе самому не пастух,

кто там сегодня стоит на мосту
с содранной кожей?

кто умаляется день ото дня,
кто там ревёт ревмя?
Господи, это я.

не покидай меня.

* * *

я не помню, не помню, какие сегодня
с утра глаза надела,
и смотрю чужими, как осень длится,
идёт четвёртая её неделя,

вспыхивают и отлетают листья,
вспыхивают и ускользают лица,
и пока в моей сердцевине,
в сердце женщины-яблока,
зреет семечко,

Злотникова Ольга Сергеевна — поэт, переводчик. Родилась в 1987 году в Минске. Училась в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Автор книг стихотворений «Паства» (2016) и «Радогощенский дневник» (2018). Живет в Минске.

чужие мои глаза
не видят моего сына,
не говорят *спасибо.*

дрогнет ветка, глухо-глухо
оземь ударится спелый плод,
и станет совсем тихо.

чужие мои глаза, вот я перед вами,
здесь, на земле,
человеком беременной,
кто помолится обо мне?

* * *

кто нищ, как рассветный двор,
заметённый листвой,
блик на воде, лик Твой затаённый,
но светлый, светлый
и распахнут,

с дарами иными приходит:
горчайшее ничего
кладёт на грудь, как младенца
белая акушерка,
в нём неба могилы и взгорья.

теперь, говорит, качай
всю эту пажить большую, живую.
и что же? качаю,

древнюю припоминая
то ли колыбельную,
то ли обрывки заутрени,
пока ночь не отступит.

* * *

с каждой смертью
прозрачнее становишься сам,
просвечиваешь насквозь
эту свою пустоту,
ищешь и не найдёшь:
человека вынули, и он внутри тебя зияет,
как бы на другом конце провода
говорящая простота.

тоскуешь не по времени даже,
не по плоти — по общей утробе
света в каждом счастливом слове,
по его воробьиной храбрости,
детской нежности,
или как вы сидите на кухне за полночь,
родными голосами поёте.

* * *

в голод вещей простых,
как дым или дом на горе
вдуваешь жизнь, вдыхаешь свет,
сгустки крови и плоти земной,
спрашиваешь: кто ты, с кем ты?
постой со мной

и как прорастают лица
ростками, цветами
так нам ещё предстоит случиться
пройти забытыми, детскими своими местами

вот дом, вот дым, ветряки за холмами
флоксы и мальвы
и те, кто незримо идут за нами,
придут за нами,
пройдут над нами

* * *

если ты тоже исчезнешь
в нехватку уйдёшь, из которой возникла
останется тело окн*а* на двоих
его вещество со следами дыханья
его слепота и моя слепота
как друг подле друга
две трудные правды
его нагота и моя нагота
как друг перед другом два тела чужих

и всё же есть чаша терпенья на память
о той простоте, из которой открылись
моление вещи и птицы
объятие к*а*пель и утра
высокий неслышный полёт
над светлою пажитью снега
и этот младенческий взгляд
на всякой светящейся кроне

и памяти смертной живой мотылёк
на тёплой, чуть влажной ладони

* * *

чистописание, смиренье,
бытописанье в тесноте.
а помнишь — обхватив колени,
на детском стуле, без затей

о чём-то думаешь неважном,
краеугольном и живом,
как будто клеишь дом бумажный,
как будто шьёшь иглой портняжной
себя — крестообразным швом.

и заполняешь дом зверями,
кроватку каждому и стул,
пока плывёт к оконной раме
садами, парками, дворами
глухой, волнообразный гул.

и населяешь дом тенями,
молочным ужасом любви.
а тело линии меняет,
не приходя во взрослый вид,
и лето в обморок стоит.

потом во вдавленном пространстве,
под медленной большой пятой,
всё так же думаешь о разном,
как будто бы в обхват прекрасном,
как детский шарик золотой,
и мир садится как влитой

на узаконенное тело,
сцепленье, угол и обрыв,
а тело слушать расхотело,
а тело в небо улетело,
своё учение отбыв.

чистописание, смиренье,
игра в себя, без дураков.
потом меняешь оперенье,
разметку, ракурс, угол зренья,
и был таков.

Надя Алексеева

Два рассказа

Одарённые девочки

Перед монитором, глядя в глазок камеры, сидит девушка. За ее спиной в кроватке спит ребенок. На плечиках висит большой мужской пиджак. Серый.

«Понимаешь, Марго, я больше всех хотела быть как все, — начинает, включив запись, девушка шепотом. — И когда убегала через заросли борщевика подальше от бани, — особенно. Здесь такие не растут, а тогда ядовитые листья щекотали ноги, потом полотенце упало, ветка хлестнула меня по щеке. Пахнет тиной, кружат мушки. В классе они летают углами. Я слышу его шаги, он сухой такой, подтянутый — идет быстро и палкой разбивает заросли борщевика по сторонам. Снова этот "вжух-вжух". А потом он остановился. В тот момент, единственный раз в жизни, я пожалела, что не уродилась еще меньше. Такой, чтобы он меня никогда не нашел. И тут он, Васюк, хм, Сергей Сергеич, крикнул прямо над головой: "Даша!" Прислушался. И опять: "Даша! Дарья, учти, кругом л-лес, а ожоги от борщевика надо обработать обязательно". Голосом, которого ослушаться в школе "ИКС" было немыслимо. Мы шли на этот голос, мы ему верили. Думаю, если бы он сказал мне тогда: "Съешь борщевик и ложись спать", — я бы так и сделала. Не проснулась бы на утро. Но сделала.

Школа "ИКС" не потому икс, что это секретное какое-то видео будет, наоборот. Ты его увидишь. Хотя... Много лет пройдет. А название — аббревиатура, которая понравилась маме моей. "Интеллект, Красота, Совесть". Половина выпускников в МГУ прямым ходом. Даш, ну чего молчишь-то? Кроме того, это тут же, в Ясенево, возить тебя не надо будет.

Из интервью с сотрудником НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского:
"Прикосновение к нему [борщевику] не доставляет никаких неприятных ощущений. Именно в этом и есть его главное коварство. Ведь после контакта с растением ожог появляется не сразу, а спустя время — через несколько часов или даже дней".

Надя Алексеева — прозаик, драматург, редактор. Родилась в Подмосковье. Печаталась в сборниках малой прозы «Вечеринка с карликами», «Пашня», в сборнике пьес «Близкие люди». Лауреат международной премии для драматургов «Евразия 2021», участница слета молодых литераторов в Болдино и литературной смены «Таврида.Арт». Живет в Москве и Алуште. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Я тогда еще медленно очень ходила, и сейчас сижу высоко на стуле, потому что подушку подкладываю специальную, для невысоких. Официально я не карлик, если что. Но это все спасибо аппарату Илизарова. Нас там много таких было, в НИИ нашем, курганском, с диагнозом... Ну, с разными диагнозами, травмами. Аппарат выглядел страшно: металлические кольца, штыри, — зато мог сантиметров десять в росте дать, для маленьких это значит, дотянешься ты до кнопки лифта или нет. Я год этот аппарат носила на ногах, потом полгода к старшим классам восстанавливалась. Но руки у меня все равно коротковаты и голова большая. Мама, забирая меня из "Отделения регуляции роста детей", подписывая бумаги, кивнула врачу. Вроде как довольна ремонтом.

Мы с ребятами из палаты общаемся до сих пор. Не со всеми, конечно, у нас группа своя ВКонтакте, с кем-то вижусь лично. Они меня на прощанье обнимали — такое теплое-теплое объятие, наверное, тогда я поняла, как обнимают по дружбе, а как — по-другому... Обниматься у нас в семье не было принято. Не знаю, почему, может, мама, смотря на меня, надеялась, что мой рост — какая-то оптическая иллюзия. Дотронешься — а это реальность. Мне только исполнилось пятнадцать, я экстерном окончила девятилетку, прочитывала все, что мама присылала. Она экзаменовала меня из командировок. А я отвечала. Мама и раньше понимала (ну и по оценкам тоже), что обычной, несмотря на все ее связи, я уже не вырасту, умной — весьма вероятно. Я врачом стать хотела... Математика мне не давалась, вот мама на ИКС и вышла. По рекомендации».

Даша слышит плач, останавливает запись, подходит к кроватке, качает ее, открывает книжку с картинками, читает вслух: «Туся, Туся! Смотри, это же наша любимая: "Скорлупа грецкого ореха служила ей колыбелькой, голубые фиалки — тюфяком, а лепесток розы — одеялом. Ночью она спала в колыбели, а днем играла на столе"». Плач затихает, Даша возвращается за стол.

«Так, ну вот. Из-за восстановления я пришла в школу зимой, а не осенью, как положено. Вообще, в ИКСе не было классов для девочек и для мальчиков, но, так как брали одаренных детей и стоило это все прилично, и методика была новая (некоторые родители побаивались), получилось, что в моем классе одни девочки. Они ходили парами, на каблуках, показывали друг другу какие-то смски. На меня смотрели с едоверием, будто я у них отнимаю что-то ценное. Шушукались, надолго запирались в туалете перед алгеброй или геометрией (их вел директор, Васюк) — накраситься или повторить в тишине домашку. Учились мы до ночи, по университетской программе, на олимпиады-турниры учителя возили нас лично, и мы часто возвращались с призами.

В Конституции школы, которую завуч выдал мне, обняв сзади за плечи, было указано, что у них принято "красиво мыть пол, целоваться и иметь любимчиков", с которых и спрос ого-го. Фамилия завуча была Ягода.

> *Из Конституции элитной московской школы ИКС:*
> "Насилие — любое ограничение прав и свобод, любые действия против личности, любое принуждение. Действия, вызывающие применение насилия, должны быть известны заранее, а процедуры применения насилия, по возможности, неизменны".

Ягода встречал нас у входа в школу. И целовал в щеку, часто промахиваясь. В моем случае, как он ни нагибался, мясистые красные губы попадали лишь в лоб.

Он называл учениц "мои ласточки" и просил, чтобы ему рассказывали о всех делах с родителями, ведь дома нас не понимают, потому что родители — обычные, советские, а мы — "одаренные девочки". Ягода игал роль школьного психолога. Когда мы с Риткой мыли пол, — она приносила воду, ведро мне было не поднять, — пришла смска от Ягоды: "Дашенька, срочно в мой кабинет на беседу". Ритка заглянула через плечо: "Не ходи". Она не красилась к алгебре, не носила каблуки. От линолеума, который я натирала старой тряпкой, пахнуло гнилью.

В ИКСе училось всего полсотни человек, 8—11 классы. Следующим утром Ягода был не в духе, собрал линейку и говорил о том, что мы — избранные среди избранных и должны поддерживать традиции. "Если не научитесь дружить, нашу семью придется покинуть. Мне искренне жаль такое говорить, но это так". И тем же днем Ягода принимал в своем кабинете и моих одноклассниц, и параллельный поток. Еще на линейке я отметила, что мальчиков в ИКСе совсем мало, и их кумиром был Васюк. Основатель, в прошлом крутой программист. Вот... Васюк настаивал на том, что мы взрослые люди, которых следует оградить от родителей: "Инфантилизм — вот чем болеет ваше поколение. Ну, н-ничего". Он обещал дать нам свободу, которая встанет аж поперек горла: запрокидывал голову и ладонью бил себя под бородой. Знаешь, Марго, а ведь мы аплодировали».

Даша усмехается без радости. Ребенок за спиной фыркает, хрипло плачет. Даша вскакивает, одной рукой качает кроватку, другой держит книгу, читает со случайного места и показывает ребенку картинки: «Тусь, смотри, какой важный крот!» Читает: «Крот взял в зубы кусок гнилушки — она ведь светится в темноте — и пошел вперед, освещая длинный темный коридор». Ребенок засыпает. Даша стоит над кроваткой, возвращается за стол, кладет книжку рядом с собой.

Из родительского чата ИКСа:
Mich1980: Подскажите, пож, вы Кате репетитора брали по математике? Че-то наша не тянет...
Olga: Да мы не брали, у нее с СС хорошие отношения, думаем, пройдет по Всероссу. А ваша, что, не дружит с ним?

«Да, Васюк. О нем сложно так говорить... Особенно с тобой. Свитер колючий, заикался слегка, цвет глаз я не помню. Взгляд такой... Знаешь, я ночью еще открыла фотографии школьные — ведь он был выше меня едва ли не на две головы...

Васюк мог кивнуть любой девочке в классе, и та становилась знаменитостью. К ней сразу приглядывались другие учителя, одноклассницы норовили подсесть к ней в столовой, копировали ее стиль. Девочки еще росли, у них круглились формы, на них красиво сидели юбки. Клетка и шелк были в моде. Мое тело выросло, сколько могло, и все, застыло, становясь лишь более рыхлым от конфет. Мы бесконечно шуршали фантиками под партой, и Васюк не цыкал. После новогодних каникул красавица Катька сказала, что Васюк занимался алгеброй с ней лично на даче в Лесуново. Девчонки тут же увели ее шушукаться в туалет. А Васюк, появившись в классе, погнал к доске новую "любимицу". Он начинал урок так: "Итак, представь, что на Земле..." Расхаживал вдоль доски, за ним вертелись головы — одуванчики за солнцем. Он выстраивал программу для "человека универсального". Думаю, по его лекциям и ты могла бы сейчас учиться».

Дернувшись, Даша останавливает запись. Пытается обрезать видео, но программа зависла, не отвечает, потом запись перезапускается сама.

«В общем, ладно. К маю я провалила пробный ЕГЭ по математике. Васюк оставил меня после уроков и, устав объяснять, взял за руку, подвел к стене и стукнул о нее головой: "Зачем тебе голова? Зачем тебе голова?" Я не чувствовала боли, только ненависть к себе, что я его расстроила. И теперь не буду среди любимчиков. Хоть раз, как все... На стук из соседнего кабинета заглянул Ягода. И тут же вышел. Больше мне не приходили его смски.

На родительском собрании (они редко, но бывали), один отец сказал, что его дочь домогался кто-то из учителей. Васюк публично проверил рейтинги (оценок у нас не ставили): оказалось, девочка в самом низу, и ее "тянут" по всем предметам. "Вот и я говорю, фантазерка. Жаль, ты не видел. Что? Ой, да бука, такая же, как наша, потому и злится, — смеялась в трубку Риткина мама. — А он, прикинь, забрал документы, грозился привлечь еще всю эту "богадельню". Н-да, яжотец, не иначе. Куда она теперь поступит?"

Еще до летних каникул Катьку положили в больницу — перитонит. Васюк объявил мне и двум отстающим, включая Ритку, что мы едем к нему в Лесуново заниматься алгеброй. Дачные семинары директора были в порядке вещей, а в сентябре мы всей школой собирались в Крым: изучать историю не по картам, — и после уроков мы радостно шили спальники, куда влезало бы трое. Мама страшно гордилась, что за меня взялся такой Учитель, и сама отвезла в деревню. Помню, был дождь, дорогу развезло, и Васюк вытолкал мамин BMW из лужи.

Лесуново... Дом*а* в деревне съежились на фоне могучего леса. Опушки стерегли зонты борщевика, всхлипывали в лесу болотные звери. "Какой воздух, не хочется в город", — сказала мама, подняла стекло в окне машины и уехала.

— Ну что, р-располагайся, — сказал Васюк, провожая меня мимо дома на задний двор. — Лучше давай-ка в баню.

— Как в баню? А алгебра?

— В бане позанимаемся. Представь себе, как при высокой температуре разжижается кровь и работает мозг. Ты же сечешь в биологии.

— Э-э, ну, наверное, да.

— Ноу-хау мое. На себе опробовал. Д-да ты не тушуйся, все ребята ко мне приезжали, работали, потом мылись, в доме же душа нет. Девочки, потом мальчики. Шторку видишь?»

Даша останавливает запись, хотя ребенок спит. Опускает голову на руки, потом читает сама себе: «Куда не проникал свет ясного солнышка, потому что крот его терпеть не мог». Молчит. Запускает запись снова и говорит очень быстро.

«Баню эту его первые выпускники строили. Там пахло березой, горела лампочка, шторка отгораживала душ. Мы в полотенцах — я по грудь, он по пояс — сидели в парной и решали задачи. Точнее, я решала, а Васюк то выходил, то заходил. Я стеснялась своих ног: они, короткие, розовые, не доставали до пола. Соображалось мне и правда лучше — Васюк сел рядом, касаясь моего плеча загорелой жилистой рукой, ставил галочки зеленой ручкой (красная убивает креатив, ею не пользовались в ИКСе), потом похлопал меня по плечу, сказал, что "из меня выйдет толк". Я расслабилась. Точнее, нет. Я была счастлива. Вдруг показалось, что я под защитой. Я в семье.

Я как все. Я не знаю, как объяснить... Я забыла спросить, когда приедет Ритка, так мне было хорошо.

Он предложил "обработать меня веником". Он, Васюк то есть, сказал, что отвернется, пока я лягу, и, «обрабатывая», не будет смотреть: "Расслабиться после занятий важно, иначе не уснешь сегодня"».

Даша закрывает глаза: «Отец купал меня. Любил купать. Пока не узнал, что я останусь маленькой. Мне было три».

Песенка Дашиного отца при купании:
У-у-уточка приплывёт,
И Дашу-у-утку унесёт!

«Вжух-вжух! Вжухвжувжухвужухвжувжухвужухвжувжухвужухвжувжухвужух.

Васюк стряхнул с меня прилипшие листочки (березы?), помог подняться, обнял, убрал руку, которой я прикрывала грудь, и вторую, которая... Ну, в общем, ты понимаешь. "Все будет хорошо, — говорил он, поглаживая мою шею. — Все будет хорошо. Все у нас получится". Не знаю, имел ли он в виду экзамены.

Он больше не заикается. Жесткая борода касается моего лба, а руки, те самые, что листали тетрадь, ищут что-то на моей спине. Меня колет его заусеница. Вздрагиваю. Спрашивает, можно ли меня поцеловать. В бане темнеет, а ведь еще только обед. Я сама стала баней, внутри меня прогорают дрова, хлопают веники, с них слетают зеленые галки. А баня стоит и не может сдвинуться с места. Я стою. Я не двигаюсь, я не знаю, куда двигаться, я умею его слушаться. Сгораю. Мне холодно.

— Наверное, я плохо делаю, что так... так пристаю к тебе?

— Не знаю, — отвечает мой голос.

"Сергей Сергеич! Эй! Дашка? Да где вы все?" — кричит Ритка. Запахиваюсь в полотенце и выбегаю с заднего хода бани прямо в строй борщевика. Иду, потом бегу. Васюк, я уже говорила, сначала идет следом. Зовет. Откликнуться мне стыдно. Случилось то, что я не могу. Не могу. Не могла. Исправить», — Даша плачет и утирает щеки рукавом пиджака.

«Не знаю, сколько прошло времени. Под зонтами борщевика я сидела и тряслась. Помню, как появилась Ритка в забрызганном комбинезоне Васюка, в котором он утром мамину машину выталкивал. Ритке он сказал, что я подышать вышла. Ритка обнимала меня крепко, тепло. Я захлебывалась и давилась тем, что говорила, на зубах хрустела глина. Потом Ритка рубила борщевики палкой, хотя тропинку к дому уже и так протаранили.

Мама забрала нас обеих на следующий день. Дорогой ругала, что полезли в дебри, у меня горела щека и все тело, облитое антисептиком, Ритка расчесывала волдыри на руках. С Риткой мы не виделись все лето, к сентябрю стало казаться, что она не так все поняла, я перестала с ней здороваться. В день отъезда в Крым у меня подскочила температура.

Потом я вгрызалась в алгебру всю эту, геометрию. Даже записалась в его секцию по информатике. Васюк говорил нам, что мы элита, будущее страны, рассказывал о своей учебе в США, кодинге. У нас распрямлялись спины. Я смотрела на Васюка

в его свитере и понимала, что он не мог быть в той бане. Просто вот не мог. Уроки заканчивались, я сидела в пустом классе. Ожидая... Да не знаю даже. Васюка? Васюка, который сядет рядом за парту и скажет: "Даша, да проснись ты! Ничего не было. Ты просто стала лучше понимать алгебру. В-вот и всё". Однажды, пока я так сидела, простучали по коридору каблуки, а за ними еще шаги. "Рит, отвали, а? Только я с родителями утрясла всё". Катька! Потом я услышала свое имя, точнее, не услышала, а узнала, что ли. Узнала — и тут же взяла стойку, притихла. До выпускного Васюк пришел ко мне в класс. "Такая ты маленькая", — говорил он...

Помню, как у школьной ограды меня поймала за локоть женщина с дочкой: "Ты здесь учишься, да? Ну как? Стоит ли нам поступать? Ой, это директор там? Такой приятный?" У входа Ягода встречал всех поцелуями. Он коротко постригся, модно так было, что ли. Получилось, как со школьным газоном в августе: пока его не скосили, видно не было, насколько жухлая на нем трава. Теперь о завуче девчонки говорили с усмешкой: "Опять Ягода полезла".

«Нет», — ответила я женщине.

> *Из правил «Школы приёмного родителя»:*
> Если родитель знает, что факты насилия над ребенком были и скрывает это, он становится соучастником.

После выпускного я отписалась от всех одноклассников, учителей, рассылок. Переехала в общагу, а потом и сюда, в Курган. Девятиэтажки, серые на сером, меня успокаивали. Нас с тобой. Васюк женился на учительнице литературы из ИКСа — я ее не помнила. Мама прислала скриншот из родительского чата, в котором все еще числилась, с подписью: "Не забудь, поздравь хоть! Господи, какой же мужчина! Эхх". Теперь она только деньги присылает. На фото я впервые увидела Васюка в пиджаке, платье невесты было с серебристыми полосами — словно она в моем аппарате Илизарова застряла целиком.

Вчера звонок с неизвестного номера. Катька. Красавица Катька, только голос хриплый очень, какой-то прокуренный. Я никак не могла понять, чего она хочет.

— Знаешь, ты не одна такая, — говорит Катька. — Я про баню.

— Не понимаю, о чем ты, какая баня?

— Меня Ритка просила набрать. За тебя переживает, нашла журналиста, который взялся. Ладно... Слушай, и я там была. И дома у него была... У Васюка. И у Ягоды. Мы с Риткой чат создали в телеге — тебя добавили. Видела?

— Извини, мне... мне пора! Спасибо, что позвонила. Я...

— Погоди. Я хочу, чтобы ты тоже записала видео, рассказала, как было всё. Я записала журналисту этому. Говорит, когда нас двое хотя бы, уже можно что-то сделать с ними.

— С кем? Я не понимаю.

— Мне... Мне не верят!

— Ничего не было.

— Было. И сейчас есть. Туда каждый год поступают. Одаренные! Как мы.

— Кать, ты извини, ладно? Мне, это, пора мне, — и правда слышу твой рев за спиной.

— А ведь у меня был аборт тогда, весной, — говорит Катька, вдали щелкая зажигалкой.

Я нажала на отбой, взяла тебя на руки, качала. По телеку на беззвуке шел ролик про лангуста, который отрезал себе клешню и выбрался из кипятка. Потом ты заснула. Потом папка наш с работы пришел».

Даша снимает пиджак с плечиков, укутывается в него, как в халат, вдыхает у воротника, гладит ласточку на картинке в книжке: «Знаешь, я сегодня так вот и уснула над твоей кроваткой. Папка наш в одной рубашке ушел, а ведь осень. Хороший он. Не стал будить».

Из чата «Одарённые девочки»:

Kate: Дневники свои откопала с 9-го. Получается, сначала поцелуи Ягоды в кабинете меня не травмировали — придали уверенности в том, что я такая красивая. Я вообще его бойфрендом считала. Еще тут валентинка есть от него. Красная такая. Сфоткать?

«Врешь ты все, Катька, и Ритка тоже врет. Чего вас разобрало сейчас? Полкласса в чат привели, родителей добавили. Фантазерки. Чего вы хотите-то? Никто, даже сам Васюк, вас уже не сделает обычными... Излечил от инфантилизма, как обещал. Поступили туда, куда хотели. А ласточек, которые девочек спасают, не бывает. Есть только матери.

Послушай, Марго, я не могу ничего с ним сделать. С ними сделать, со школой, с системой этой. Ты, наверное, обвинишь меня, когда посмотришь. И время будет другое».

Даша обнимает себя руками крест-накрест, зажмуривается и говорит куда-то внутрь себя.

«Или все раньше как-то вылезет. По сроку подсчитают. Я, как про тебя узнала, и не думала ничего такого, как Катька. Только бежать. До тебя оболочка жила вместо меня: ни ног, ни рук — ветер внутри. Обжигающий ветер, колючий. Врачи говорили, что с моими особенностями и рожать-то "под вопросом". Но ты справилась, я на тебя смотрела и гнала мысли про то, чьи там у тебя глаза. Ты обычная и ты вырастешь, как все. Я буду защищать тебя. От отчима, если придется. От борщевика. От всего, что детям не по силам».

Даша подводит курсор к кнопке «Удалить видео», думает. Нажимает на «Сохранить», закрывает к видео доступ и удаляется из чата «Одарённые девочки».

Кассиопея

Осенью над Крымом в зените Сегин, Рукба, Нави, Шедар и Каф — звезды Кассиопеи. Постоят буквой «W», точно две руки, встретившиеся большими пальцами, а потом и повернутся вверх тормашками.

Сегин

Сегин понял, что натворил, едва самолет взмыл над Иркутском. Голубое утро, внизу мягко светится Ангара с гребнями мостов. Шесть часов назад он стоял перед табло вылета, названия мест, которые ничего не значили, мигали, сменяя друг друга среди тиканья колес чемоданов, запыхавшихся фраз и чужих духов. Женщина тянула за руку ребенка, приговаривая, чтобы поторапливался, иначе папа улетит в Крым без них. На малыше была огромная кепка, державшаяся на оттопыренных ушах. Сегин развернулся, пошел в кассу, взял билет до Симферополя. Казалось, впервые за много часов выдохнул.

Теперь ему лететь весь день, да еще с пересадкой в Москве, но дальше места от ледяной глади Байкала он бы и нарочно не придумал. Прочь от кривых берез и кустов, что висели на склонах альпинистами и держали листву, пока Сарма не срывала летние одежды, не уносила их бог весть куда, бранясь, швыряя о скалы. Так вихрь швырнул и его отца. Лодка дрейфовала у скалы, вода была спокойная. «Хоть цвет глаз своих изучай», — говорил потом друг отца, спешивший берегом занять место на веслах. Тьма поднималась за склонами — пологая, сизая, как новая гряда гор, она обрушилась ураганом: дождь, брызги разметались по сторонам, с дороги в кювет снесло чью-то машину. Потом волна раскрыла пасть и проглотила берег. Хруст, вой, тишина. Отца с проломленным черепом выбросило на сушу, с карликовой березы на отвесе скалы струйки воды стекали обратно в Байкал. Когда гроб опускали в землю на старом кладбище, Сегин был уже далеко.

Сегин вышел из аэропорта во влажный совсем летний вечер, влез в подоспевший автобус. Рядом села женщина: кругляши рук, пышная грудь, стрижка каре. Розовея, как на зимнем закате, она смотрела в окно, развернувшись в сторону от Сегина, чтобы не прижаться бедром. От нее пахло одуванчиками. Горчинкой. Разговорились. Ее звали Нави, и она не собиралась на пляж или в горы. Она пишет книгу, роман про садовника Воронцовского парка — того, что в Алупке. Немца Шедара. Ночью непременно спрячется в парке, чтобы послушать, как звенят цикады и пищат летучие мыши, чем пахнут секвойи, какого цвета кипарисы, когда их вершины подпирают Млечный путь.

— А вас не выгонят? Ночью-то?

— Спрячусь, в самолете проштудировала все тропки-закоулки. Понимаете, мне важно даже то, где в полночь стоит Кассиопея: над башенками дворца или над заливом?

Говоря, она часто моргала, облизывая губы. Останавливалась, чтобы улыбнуться Сегину. Тогда влажно блестели ее зубы, приподнимались брови, лицо становилось проказливо-виноватым, как у детей и кошек. Захотелось обнять ее, провалиться в ее чудной мир с садами под звездами.

Когда был подростком, мать запирала Сегина, когда тот огрызался. В отместку он копался в ее вещах и как-то нашел старые письма отца. В округлых буквах с лихими

петлями жил отцовский дух, слова сплетались в лакомые для мальчишки узоры. По подвесным мостам, которые строила отцовская бригада через сибирские реки, первыми пробегали лисицы, заплутав, строители находили путь по небу, ребром ладони сводя Большую медведицу с Кассиопеей, а как-то раз к их лагерю вышел волчонок, совсем щенок, его мать подстрелили охотники. Зверя везли с собой до Красноярска, потом отец передал его в зоопарк, на руках отнес. Эти письма и сейчас лежали в съемной квартире Сегина, бумага на сгибах стала мягкая, тряпичная, а растекшиеся голубые круги, словно чернила покропил дождь, изначально были на листах.

В детстве Сегин отца видел редко: кроме экспедиций у того были друзья, встречи, неотложные дела. Его появление дома равнялось празднику: мать, подкрашенная, в новом платье, брала на работе отгул, выдавала Сегину амнистию, кусок торта с розочкой, а в выпускном классе — бокал красного вина за столом. На пенсии отец пропадал на рыбалке: тянул омулей из Байкала, дома мать их оглушала, чистила, жарила, без конца убавляя и прибавляя огонь... Сегин откинул волосы со лба, спугнув образы в памяти, взял Нави за руку, пальцы перепутались. Нежная рука, за которую можно удержаться тут, где небо дышит летом. Он пообещал, что придет в парк искать Кассиопею вместе с ней.

Снял комнату прямо у автовокзала Алупки. Огляделся, принял душ и отправился в парк. Шагал быстро, разгоняя кровь, пряча все, что кружилось в голове, подальше, как заталкивал, по-холостяцки скомкав, белье в дальний угол шкафа: когда-нибудь оно выпадет, не сейчас.

Свернул в переулок. В байковом халате, опираясь на клюку одной рукой, другой — цепляясь за облупившийся штакетник, шла старуха. Желтый фонарь обозначил пустой взгляд, скорбь размякших губ. Казалось, старухе снится сон, из которого не выйти. Сегин задумался, не пройти ли мимо, и, устыдившись своих мыслей, подошел к ней.

Рукба

Вчера Рукба уже упала с крыши. Пролетела по горячему шиферу, ударилась о бутылку, которой сосед накануне швырнул в своего брата. Они никак не могли поделить отцовский дом, пристроенный вплотную к дому Рукбы. Вечером братья напивались и дрались, утром, обнимаясь и пошатываясь, тараща глаза, как глубоководные караси, шли опохмеляться. Надеялись, что Рукба скоро умрет и, так как родни у старухи не было, они разъедутся в разные дома, где каждый заведет свой порядок. Рукба зажилась, в восемьдесят шесть лет она, хоть и не могла шага ступить без трости, нагибаясь, укладывала обе ладони на пол. «Потому что я занималась с детьми, — сказала она Сегину. — А ноги не держат». Она уже не стеснялась тела, ставшего по старости бесполым: показывала Сегину синяки на бедрах — черные, пятнистые, с фиолетовой каймой.

Сегин свернул в Холодный переулок случайно. Кривые татарские улочки Алупки прятали свои лестницы и потайные тропки от чужих глаз. Особенно от таких, капельку раскосых, что привыкли к степям, где все на виду, да буря сбивает с пути. У ее сына были такие глаза — полумесяцами. Не восточные, нет, но в острых углах что-то особенное, гордое. Осужденный за драку, он трижды бежал из тюрьмы, его возвращали.

Рукбе хотелось верить, что сын умер по несправедливости, а не от туберкулеза в сырости камер.

— В гробу у него было такое лицо, будто снова сбежит.

— Чем вам помочь? — Сегин теребил очки от солнца, которое давно село.

Среди передавленных синих плодов, прислоненная к фиговому дереву, стояла лестница. Рукба попросила Сегина влезть на крышу и позвать ее кота. Его, пушистого, одноухого, подрали бродячие собаки. Набросились стаей, он отбивался и выл, волоча заднюю лапу. Подбородок Рукбы часто затрясся, слезы катились по щекам и впитывались в воротник халата: «Я вчера расковыряла дырку в шифере, он там, там, под крышей, да выходить не хочет. Позови его, помани, детонька. Без сил он, но очнется, помяучит тебе. Не поднимусь уже сегодня». О сыне она рассказывала с сухими глазами.

Рукба смотрела, как парень влезает на крышу, ступает по шиферу, заглядывает в отверстие — кота нет. Зовет, садится на доску, где вчера она сама звала кота до рассвета. Потом Рукба привалилась к стене дома, опустилась на скамейку, запахнула халат. Сентябрьская ночь взяла ее под руки и, как арестантку, потащила прочь из Алупки. До сахалинских скал, желто-зеленых, покрытых мхом, в надежде согреться у ледяного моря.

Нави

— Я не понял: в книге они будут счастливы?

Автовокзал Алупки — маленький домик приятного цвета. Сегин сказал, что снимет комнату прямо напротив, показал окно, к которому еще не подходил. «Жилье! Жилье!» — торопило объявление при входе. Постояли, он перебирал ее пальцы. Он присвоил ее руку еще в автобусе, на полпути из аэропорта — безобидный жест интимнее поцелуя. Обменялись номерами телефонов. Нави не запоминала ощущений, после собирала его мозаикой: глаза с острыми углами, тонкие пальцы, джинсы. Лет на десять ее моложе.

Сюжет ее романа прорастал. Шедар, садовник, был тогда молод и, по записям графини, хорош собой. Графиня пресытилась ровным, как метроном, сановным ритмом жизни мужа и позволила себе получить счастье. Хотя дневник Шедара не нашли, а ушел он так рано, — у графини на всю ее долгую жизнь остались его признания: кружево платанов, каменный водопад и тенистые закоулки, первая в Крыму аллея пальм. Пальмы Шедара удержали осанку на двести лет. А теперь глядели ветеранами с серой, перевязанной листвой. Проходя мимо, Нави услышала, что утром придут их спилить: «Кипарисами засадим — возни меньше».

«Самое страшное, что они уже счастливы», — подумала Нави. Были счастливы. Теперь им придется платить: скандалом, а, скорее всего, — отчуждением, тишиной. Вчера муж подал Нави руку из машины, глядя строго в сторону, точно египетская фреска. С кем-то задерживался по вечерам, забывал позвонить. «Милочка, за завтраком я до сих пор вижу мужа в военном кителе, с бровями вразлет и синевой щетины», — престарелая актриса разоткровенничалась с ней в интервью. Нави видела седину висков и заляпанные очки. Он рано уходил спать, она читала по ночам на кухне, якобы материалы для книг. А много лет назад мужчина в сером пальто и девушка в красной куртке сидели на скамейке у пруда, упустив последнюю электричку, целовались и, скормив бессонным городским уткам остатки ватрушки, тянули вино из горла.

Подмерзший осенний лист пах огурцом. Рассматривали редкие желтые окна и одинокий, до ужаса черный силуэт женщины в халате. Тогда он обещал, что у них все будет иначе. «Не выдумывай», — ответил муж, когда Нави вспомнила это в аэропорту. В конце интервью актриса вывезла с ней попрощаться старика на коляске: перекошенный рот и мертвые колени под пледом.

Парк укрыло тенями, запахло северным лесом. Нави не надевала теплый балахон. Сидела в майке и поводила плечами в приятной дрожи, уже не прислушивалась к шагам графини, хотелось быть самой. Вот-вот начнется свидание, которое никто не назначал. Стихали людские звуки, охранники скрипели воротами, проходили мимо, шуршали рации. Она спряталась за валуном в Большом хаосе (глыбы, миллионы лет назад вырвавшиеся из недр земли, образовали в парке холмы и гроты) и молчала в диктофон. Подняв голову, увидела созвездие «W» — царицу Кассиопею, смотрящую с трона. Центральная звезда разгорелась и снова обернулась голубым льдом. «Со дна Байкала все звезды голубые», — кажется, так он сказал? Нави проверила телефон и заторопилась к Чайному домику.

— Надо дожить, — ответила она Сегину про счастье.

В ответ он надел очки. Зеркальные.

Шедар

«19 сентября 1835 года. Завел дневник, чтобы упражняться в русском. Рука не слушается, выводит по-немецки. Анна спит, дети тоже.

Сегодня графиня отмечала День рождения. Экипажи путались на подъездной дороге, с кухни тянуло паленой свиной шкурой, винодел набивал ящики сотерном, хересом. Дом дворецкого заняли музыканты из Петербурга. Надутые. И я по этикету перчатки натянул — показывать парк. Руки-то — высушенные летом, в занозах, еще более — в чернилах.

Неделю тому из Одессы прислали десять мальчишек обучаться у меня садоводству, на одном — штаны новые, но велики слишком. Наверное, воскресные, отцовские. Обрядил всех в татарские шальвары, по скалам лазать в самый раз. Да еще с факелами — задумал я подсветить парк до самой яйлы, чтобы с моря как камень в оправе смотрелся. И дальше прудов гостям не показывать, не время. Большой хаос не готов: надо убрать мелкие камни, оформить вершину соснами, выйдет точно водопад из валунов, струящихся с гор. Отец не любил подходить к хаосу близко: "Горы наизнанку — негоже человеку видеть такое". В Зигмарингене он сам строил декоративные нагромождения, камни приносили крестьяне с соседних пашен. Простые серые валуны. Эти не сдвинешь — зеленые, с кровяными прожилками магмы, пролившейся миллионы лет назад.

Вчера с Петей осматривали хаос со свечой, выбирали место под факелы, поднялся ветер не по сезону, посрывал листы с земляничника, остались мы в темноте. Меж камнями и звездами, будто в космосе. Петр прижимается ко мне, читает уже по-немецки бойко, углядел букву «W» в созвездии. Я бы отцу такого не посмел рассказать — нам с братом полагалось в почву смотреть, лебеду выбирать, розы высаживать, где укажут. До сих пор руки отца помню лучше, чем лицо. Даже когда он в лодку садился, тут же в бухте, он все показывал, где что высадить. Вдруг отвернулся

резко, закивал татарину, что на веслах, заторопился. Лекарств не признавал, говорил, что ему, "сорняку", сделается: "Не умереть бы на чужбине".

Я все занят Нижним парком — место открытое, приморское. Отец, бывало, стоит тут с трубкой, задумается, склонив голову под указаниями графини. Как дождь, она кропит-чарует всех без разбору. Вот и старик, едва прошуршит платье по дорожке, крякнет, затянется табаком, точно изгоняя беса, и потом скажет проходящему с тачкой мужику: "Все морозами пугают, да тут в пору пальмы сажать!" Мужик заторопится, приняв немецкий за нагоняй. Отец усмехается.

Вчера Гартвис привез пару лебедей из Никиты — пустили в пруд, всех чураются, кроме Петра. Гартвис советует сажать пинию, итальянскую сосну зонтиком — пальмы померзнут».

Каф

Лысину, оставившую ему по пучку волос над ушами, Каф спрятал под вязаной шапкой. Он знал, что комета уже ничего не изменит, но ждал ее. Межзвездную, летящую зигзагами с пламенными вихрами вслед за отсеченной головой. Так будущая жена, историк, у давнего костра обрисовала космос глазами древних греков. Симеизская обсерватория тогда была в силе: давали темы на исследования, получали гранты, бились за очередь публикаций. Каф, молодой астрофизик, кандидат наук, взялся за туманности Кассиопеи. Астеризм в виде буквы «W» окружали два облака: «Сердце» и «Душа».

Сегодня в череде полученных на старый телескоп астрофотографий он углядел хвост и зигзаги траектории — по волоскам на руках пробежал ветерок. Обычные метеоры и кометы летят округло, а это, значит, — гостья. «Не спугни», — прошептал себе. Чтобы спугнуть такое небесное тело, нужно быть по меньшей мере Юпитером. Захотелось коньяку. Старый завлаб, когда еще три мощных телескопа не увезли из Симеиза в Научный, в «настоящую», как шутили коллеги, Крымскую обсерваторию, держал во дворе в бытовке ящик армянского коньяку. По глотку полагалось за открытие (всем: и открывшему, и сочувствующим). Но! Лишь когда все запросы отправлены, а ожидание ответа о том, не открыт ли этот объект лет сто назад каким-нибудь поляком, «крайне невыносимо». На работе не пили — чувствительные телескопы сбоили даже от тепла человеческого тела.

Каф собрал снимки и графики, крутил их, пока не почувствовал во рту холодок металла. Сгрыз карандаш. Если данные, которые он отправил в Центр малых планет, подтвердятся, то небесное тело навеки свяжут с его именем. А пока хвостатая звезда из другой галактики отчаянно искала что-то среди робко кружащих метеоритов, натыкалась на невидимые преграды и сгорала сильнее. Дотла.

«Дотла», — она так и сказала. С хрустом влетали в ночь искры ее костра, тени толпились у скалы, от рыжего листа, угодившего в пламя, поднимался пар. В горке углей запекались черные камни картошки. На той девушке были перчатки без пальцев и красная куртка. Когда десяток астроснимков вышел засвеченным, Каф не мог понять, в чем дело. Обсерватория — на горе Кошка, вдали от троп, нахоженных туристами с вездесущими фонариками. Да и октябрь — пора бы честь знать. Кассиопея в зените, его смена, за пять часов тьмы можно горы свернуть. Девушка, напротив, была рада гостю:

— У стен обсерватории — лучшее звездное небо, да? Хотите картошки?

— Эээ, нет, спасибо, — пока Каф думал, как ее спровадить, она палкой отпихнула угли, нечаянно проткнув картофелину, рассыпавшуюся золой.

— Дотла! — смех разлетелся по горам. Она смеялась ритмично: пять-три-два — он подмечал это и годы спустя, когда она по телефону убеждала мать: с ней все хорошо, она временно не работает и просто плохо спит по ночам. «Приезжать? Не надо. Пью таблетки. У тебя ж там очередь. Вот и помогай страждущим». Короткие гудки.

Девушка любила одиночные походы с палаткой — только сейчас Каф заметил зеленый брезент. Вспомнил, как первая любовь, Нави, пеняла на его невнимательность. А девушка уже чертила зигзаги по своему лагерю: то искала чай, то котелок, вытряхнув рюкзак Кафу под ноги. В этом хаосе она умела пристроить любой предмет к делу: лаванда, сухая веточка — в чай, ванильные сухари, разогретые на огне, пахли как воскресный пирог, а сам Каф — точно шагнул в кинозал, где Кассиопея все смотрелась в зеркало, а ее муж спрятался за свежей газетой вместо того, чтобы поговорить с их общей одинокой дочерью. Девушка-историк устроила Кафу поход — достаточно лечь на спальник, смотреть, слушать. Ее голос и ночь. Ночь. Каф и забыл, как подмигивают звезды без оптики.

Когда оборудование и весь состав обсерватории из Симеиза переехал в Научный, Кафу с женой предоставили там домик. Каф обзавелся брюшком, малозаметным, как это бывает у высоких и жилистых, начал лысеть — повесил зеркало в ванной под наклоном: удобнее маскировать просвет на макушке. Ее диссертация по мифологии не двигалась с места, у него множились исследования, выходили публикации, появились ассистенты. Приходя домой, он торопливо ел, развалившись на тахте, со скукой успешного ученого рассуждал, почему туманность Сердце съеживается, а Душа меняет цвет, становится бледнее. Она слушала, задержав внимательное выражение, как бывает перед фотографом. Вздрагивала, когда он рассказывал анекдот, включалась со своим считанным смехом. Со временем смех прекратился.

В Научном дружили семьями, и Каф таскал жену в гости — развеяться. Она все время держала его под руку или за руку (под столом), точно в переполненном автобусе. Приехал ее отец, советовал вернуться в Симеиз, поближе к ним, жившим в Алупке: «Мать — косметолог, но все же врач. А небо — везде небо». Торопливо обнял дочь, ночевать не остался.

В Симеиз Каф с женой вернулись спустя год. Умер старый завлаб, профессор*а* делили его место, как волчата. Потом жену Кафа нашли под лиственницей в одной ночнушке: взглядом, в котором отражался предрассветный туман, она смотрела перед собой, не помня, где живет. Кафа прочили в заведующие, но слухи с жестокими деталями сделали его «нежелательным». Прощаясь в Научном, коллега, который стал будто выше ростом, трепал плечо Кафа: «Все, что ни делается, старик, сам понимаешь. Возьмешься за книгу, обобщишь исследования за десять лет».

В Симеизе Каф стал кем-то вроде дворецкого. Навел порядок, сменил в телескопе линзу, покопался с трубой — фотографировал, целясь в метеориты и кометы. В туманности Кассиопеи засосало столько лет его жизни, что он, как мог, оттягивал работу над книгой. Новые объекты, пролетающие мимо, давали странную разрядку. Дома он появлялся сменить одежду, взять записи из ящика, переговорить с сиделкой жены.

Ждать известий о комете в обсерватории было невмоготу. Дома жена, молитвенно сложив руки над письменным столом, удерживала на них голову

с остриженными кое-как волосами. Они торчали кверху, костром в свете лампы — тем, что заслонил ему когда-то звезды. Ее тело в черной майке стало узким, как сгоревшая спичка. Каф обнял ее. Молчал. Не отпускал. Укачивал. Говорила, что живет во тьме, от которой по утрам ломит глаза, натыкается на стены, а там часы ни с места. Звезды одолжили его на год, а потом забрали навсегда. Плакала взахлеб, без ритма.

Утром они еще спали, обнявшись, когда пришел ответ: это межгалактическая комета 0I/Petri, открытая Яном Петри, Польша, 1935 г.

Шедар

«В прошлом месяце почты долго не было, слуги шептались, что ее специально задерживают, чтобы праздник графини прошел без волнений. Волновался дворецкий, граф был бледен и плотнее сжимал тонкие губы. А она — белое бархатное платье, как шкура молодого козленка, в маленьких глазах свет факелов — высится статуей у лунного пруда, окруженная своими гостями и скалами. Вскрикивает лебедь. Визжат шутихи, взмывают огненные змеи, вступает оркестр, укрытый мной в земляничнике. Ухожу тайной тропкой через хаос. Весь день искал, где бы от людей спрятаться.

Когда письмо дошло, Анна его не вскрывала, но уснула, обняв детей. Все втроем в одной постели. В письме кратко: отец умер, покоится в семейном склепе. Брат с женой молятся о его душе. Мать теперь живет с ними. Посылает благословение.

Которое утро больно вставать. Еще не разомкнувши век, вспоминаю, как это — быть главным садовником Южного берега Крыма, как вести себя, что сказать графине, какое дело мальчишкам поручить. Ночью не спал, переделывал план Нижнего парка, расставил платаны и пальмовую аллею — положил в конверт, надписал его по-немецки. Вспомнил... Так и лег спать с синими пятнами чернил на ладонях.

Утром Анна варила кофе. Жженый дух, от него глаза щиплет — отец высек меня в детстве, я свечу забыл и спалил его парик. Рука с хворостиной мелькнула, спину обожгло. От обиды ревел громче, чем болело. А помани меня отец этой розгой туда, где бы ни был сейчас, побегу хоть по чудовищным мшистым валунам хаоса.

Наставления отца, как вести парк, перестали приходить пять лет назад. Потом он слег, и мать писала за него, все больше от себя: спрашивала об Анхен, о внуках. Я отвечал, что Луиза белеными локонами похожа на немку, а Пётр — совсем русский, с душою нежной, паутинчатой. Хочет быть моряком (и я хотел). Отец передал нам с братом ремесло, как вешают на шею гармонику, окунул наши пальцы в землю, научил инженерии и ботанике, ограждал от соблазнов. Увез меня в Алупку строить графу парк, чтобы не дать жениться на Марте, дочери капитана, и еще год работал со мной в Крыму: "В жизни есть что-то большее, чем бабы".

Пётр во сне дышит, недовольно бурчит на кого-то, машет руками точно так, как отгонял на хаосе летучих мышей. И отец их не жаловал. Подтыкаю под сына одеяло. Галстук душит, открываю ставни пошире — веселье графини теперь в залах дворца. Лакеи мечутся с подносами, за шторами сгорают сотни свечей. В Нижнем парке розы закрыты в бутоны, лавры еще дарят сладость, точно где-то арабские духи пролиты. Петина W-звезда смотрит свысока, выжидает. Закрыв глаза, слышу, как петляет по аллеям детский смех, платаны шепчутся с пальмами, корабли, полные народу, причаливают осмотреть то, что вырастил на скалах Шедар, сын Шедара.

Пишу Гартвису записку с просьбой завтра же прислать двадцать саженцев китайских веерных пальм. Задуваю свечу».

Нави

Вскрикнул лебедь, над хаосом носились летучие мыши — игривые, молодые. Как ласточки в то утро, когда Нави, окончив институт, вернулась из общежития к родителям. Ее комната, ее кровать, июнь, липы. Открыла окно настежь, уселась на подоконник и смотрела, как солнце высушивает на траве росу. Серебряное утро пахло березой, клевером, божьими коровками. Без завтрака ушла купаться на старый карьер — хотелось протанцевать всю дорогу к пляжу. Никогда не видела она такой уймы белых бабочек и толстых шмелей, никого не встретила по пути в такую рань. Иначе бросилась бы прохожему на шею. «Вот так, — думала Нави, — начинается счастье». Оказалось, это и было счастье. За пятнадцать лет такого дня больше не выпало.

Вдоль живых изгородей парка Нави пробралась к пальмовой аллее. Пальцы кололись о кусты лавра, юного, пахнущего сладко, по-восточному. Деревья поскрипывали на ветру, жаловались на старые раны, пока никто не видит. Луч фонарика скользнул по ней. Но не задержался. Шуршали опавшими листьями ежи, на башне хлопал флаг. Пробило полночь, она взъерошила волосы, вдохнула, шагнула за колонну в Чайный домик. Сегина не было.

У нее бывали минуты, когда все становится ясно. Навсегда. Ее первая любовь на рассвете колотил в дверь ее комнаты, вручил коробку в золотой фольге, сказал, что скоро они увидятся. Астрофизик, уезжал в экспедицию на все каникулы. Она помнила гаснущие шаги на лестнице общежития, спину в свитере с елками, скрип двери, закрытой за ним. «Это конец», — прошептала и испугалась. Соседка, голова в бигуди, отвернулась к стене.

Спустя час Нави спустилась к скале Айвазовского, туда, где парк выходил к морю. Наверху скалы ложбинка — легла, чтобы не заметили, камень еще хранил тепло ушедшего дня. Фонари на пляже давно погасли, лишь дальний маяк вспыхивал, как живой костер. Она проверила телефон в кармане, даже включила на нем звук, написала и не отправила сообщение. Перебирала причины, почему он не пришел, разрешала себе надеяться, что он заблудился и вот-вот появится. Он произносил крымские курорты нараспев, как иностранные слова: «А-а-лушта» и «А-а-лупка».

Кассиопея стояла над заливом, прямо над ней. Нави корила себя за все, что говорила невпопад, потом за все, что вообще сказала. Вслушиваясь в реплики, жалела, что не расспросила про Байкал, которого никогда не видела, про то, почему Сегин приехал в Крым и что же дальше.

Нави снились потоки магмы, бегущие лавиной к морю, сминающие дворец, платаны, пальмы. По пути магма застывала, обернувшись камнем, а тот с шипеньем скатывался в море. Как сгоревшая печеная картошка, которую она когда-то швырнула в ведро с водой. Для смеху. Проснулась, укрытая своим балахоном, на груди спал кот. Большой, пушистый. Вставала с болью — тело затекло, вспомнилось все несбывшееся. Натянула балахон, спустилась в Чайный домик, потом к выходу.

— Эй, ты! Хорошо, что пораньше явилась! Где твоя тачка-то? Как будешь убирать?

— Я?

— Кто ж еще? Жара такая с утра, прости господи, а нам все пальмы велели спилить к открытию.

Завизжала пила, рухнул первый ветеран. Мужчина, рыжий, с мясистым носом, всучил Нави огромные перчатки, велел пока уносить листву и ветви в яму.

— Прикопаем, полежит зиму под дождями-то, перегниет — на подпитку саду. Его ведь еще мой прапрапрадед закладывал. Знала?

— Шедар?

— Да не, крепостной, из Одессы, подмастерье вроде как. Шедар ему штаны, что ли, подарил, бабка рассказывала. Ну ладно, чего старое перебирать-то, дел много.

Рукба

Муж Рукбы, родом с острова Сахалин, там и служил. Она ездила за ним сначала беременная, потом с маленьким сыном. Помнила о той поре мало: скрипучие сдвинутые койки казармы, лед, который пробирался под чулки, от чего низ живота застывал холодцом. Всегда собранный чемодан. Из него полагалось достать что-то по случаю и, выстирав, выгладив, убрать назад. Чемодан до сих пор ей виделся: на двух защелках, коричневый снаружи, изнутри — обитый тканью в мелкую клетку. Когда она с ребенком на руках бежала в порт, чемодан со всеми отглаженными пожитками так в казарме и остался. Рук бы не хватило. Голова ребенка — горячая — лежала на сгибе ее локтя, судовой врач ставил пневмонию, их госпитализировали в Николаевске-на-Амуре, потом через Иркутск самолетом в Москву, к матери. Врачи рекомендовали Крым, пока легкие мальчика не окрепнут. По знакомству устроилась нянечкой в детсад в Алупке, там и осталась воспитателем. Муж приехать не мог. Высылал деньги, потом перестал писать, потом телеграммой запросил развод.

До выхода на пенсию с ней здоровалась вся Алупка: в единственном детском саду воспитывались поколениями. Она помнила своих соседей, братьев со лбами в точках зеленки, и то, как они сломали пластмассовый грузовичок ее сына: у одного в руке кузов, у второго — кабина, и оба ревут. Сын дружил со старшим, своим ровесником, младший увивался за ними. Плакал, злился. Он и затеял ту драку на проводах в армию.

Во сне Рукба видела, как волосы ее сына из светлых, пушистых становятся темными, курчавыми. Слышала запах хвойного мыла, когда сын впервые брился, намыливая подбородок ладонью, поджав, как отец, губы. «Надо купить помазок», — пробормотала она, не проснувшись. Видела его девушку, тоненькую, с двумя косами, они вдвоем накрывали на стол: в армию тогда провожали всей улицей. Оказалось, — отправляли в тюрьму.

«Да как же это... Как же?» — причитала Рукба, когда сына, ворот рубашки в крови, уводили с выкрученными руками. Соседские парни выглядывали из-за угла. Старший плакал, младший ковырял ногой камень у дороги. Из тюрьмы сын все рвался к отцу на Сахалин, до призыва часто про это толковал. После третьего побега его поймали в Иркутске.

Живот Рукбы во сне заледенел, она услышала детский кашель, будто бьют одну за другой тонкие фарфоровые чашки. Запахло молочной лапшой, старой мебелью, пеленками — вот она, Рукба, уже седая, поправляя очки на носу, вела хороводом детей,

затянув песню. Останавливалась отдышаться. И тут же бросала детям мяч, приседала, улыбалась, доставала коробку, где пластилин всех цветов скатался в бурый ком, в котором изредка мелькали желтые пятна.

Дома над кроватью висят фотография сына и их общая: «Гляди, сынок, какая я была, и волосы вились». С пришпиленного к ковру старого снимка сын пятьдесят лет смотрел на нее юными ястребиными глазами — черно-серыми. Цвет не вспомнить — в душном мороке сна лай распугал все краски. Рукба выбегает во двор — собаки треплют что-то, похожее на полушубок. Кот. Отбила, внесла его на руках домой — едва дышит, шерсть слева на голове потемнела от крови, ухо висит на ниточке. Смазывает раны водкой, дует, кот дергается бежать, но, ослабев, не может встать. Рукба поет ему колыбельную, а ее тело, забытое на лавке, странно, от плеча раскачивается в такт: «Звёздочки ясные, звёзды высокие! Что ж вы храните в себе, что скрываете?»

Сегин

Сегин осторожно ступал по волнистому шиферу крыши, раздвигая ветви с синими, жирными на вид фигами. Услышав хруст, встал на четвереньки и пополз к тому месту, где Рукба расковыряла дыру. На коленях джинсов остались пятна раздавленных плодов. Сегин злился, что влез в это, хотел скорее закончить, уже видел, как на руках выносит живого кота и идет в парк.

— Зови, мани его, детонька, — и прислушивайся. Мож, поскребется где.

Но под крышей было тихо. Сегин просунул руку в дыру, пошарил, постучал, позвал кота. Пожалел, что забыл телефон в номере, фонарик был бы кстати. Сел на доску, где вчера ночевала Рукба, разгорались звезды, Кассиопея начертила свои зигзаги.

«Ну, чего сидишь? Собрался-поехал. Решение надо принимать быстро», — Сегин вспомнил, как отец встал за его спиной, посмотрел страницу вакансии на мониторе. «Да у меня и образование не то, и опыта нету... Еще и в Ангарск переезжать». «Ха! Ангарск — считай, наш пригород. Я по всей Сибири мотался», — отец ушел, не дав ответить.

Быстрые решения, эффектные истории — отцовское начало. Сегину казалось, что так он и прошел через все выбоины жизни в новом городе: первая работа, первые отношения длиной в полгода, потом еще одни. Впрочем, пригодились и деньги, которые мать, обняв, положила ему в карман куртки: она всегда скручивала купюры трубочкой. Летом, когда он вернулся отметить свое повышение и они с отцом распили бутылку коньяку, оказалось, что главное решение в семье приняла мать. Врачи запрещали по состоянию ее здоровья, подруги говорили, что она молода, еще успеет, отец сомневался — впереди стройка, долгая экспедиция, а что если и правда, не спешить? Мать, бледная, ослабевшая после потери крови, сказала: «Буду рожать». Главный акушер Иркутска, строгий в белом халате, как обелиск, не смог ее вразумить. Сунул руки в карманы, вышел из палаты. Тюль надулся на окне пузырем.

Сегин подполз к отверстию в листе шифера, поднатужился, оторвал его целиком, двинул в сторону. Под ним черный пыльный чердак, полметра, не выше. Пролез, позвал, прислушался. Дополз на животе в угол, пошарил рукой в темноте. Доски под ним скрипели, майка задралась, живот что-то царапало. Кота под крышей не было.

Приладил шифер на место, слез с крыши. Рукба спала на лавочке, скрещенные руки запахнули потуже халат, голова свесилась на грудь.

— Эй, ты чего тут ошиваешься весь вечер? Внук, что ль? — мужчина в лихой кепке на затылке шипел из-за угла.

— А что?

— Ниче. Крышу еще продавишь. Подь сюды — потолкуем.

Сегин отряхнул майку, джинсы на коленях, подошел к террасе. Там на старой тахте спал второй, похожий на первого. На табурете возле него пепельница с горкой, бутылка, два стакана, на тарелке соленый огурец, проткнутый вилкой, надкушенный.

— Закопали мы кота-то. Нашли в понедельник вроде, он умирать ушел за забор. Что смотришь-то? Точно ваш, без уха, мохнатый, да лапа еще... Пнул — деревянный. Там и прикопали, под мальвами.

— А ей почему не сказали?

— Она не слушает, грит, нам спьяну блазнится. Третий день на крышу лазает. Расшибется ведь. Оно, мож, и пора бы. Да не по-людски. Ты уж скажи ей, лады? Куришь?

— Давай.

Сегин никогда не курил, так, баловался. Держал пачку — помогало, когда зуб ныл. В последний раз — два дня назад, как узнал про отца. Мать сама ему позвонила, рассказала, что ночь провела в полиции, в морге, на опознании. «Похороны завтра в восемь», — к концу фразы ее голос стал простуженным и далеким, словно убавили звук в динамике. Слов Сегин уже не разбирал и только кивал в трубку, нащупывая в тумбочке пачку сигарет. Потом уши залил до краев гром бьющегося стекла. Того журного стекла в их старой кухонной двери: волшебное, огромное, переливчатое, оно взорвалось, когда сквозняком дверь грохнуло о косяк. Он в шортах, надетых на колготы, не смея моргнуть, стоял перед тем, что еще недавно было дверью, а теперь — пустотой в раме. Духу не хватало коснуться осколка или просунуть руку в кухню насквозь...

Сегин, наконец, затянулся, с благодарностью посмотрел на сигарету, потом смял ее о стол, вышвырнул вместе с пачкой, сел за руль. Не заметил, как добрался до Иркутска. Бестолково колесил по городу, сторонясь родного двора, меняя радиоканалы. Ночью приехал в аэропорт.

За забором Рукбы качались две ветки мальвы, цветки закручены в ночь, цикада, испугавшись, примолкла. Горка суглинка, ржавого с серым, едва заметна в выжженной летом траве, но все-таки свежая, прижатая сверху плашмя лопатой, даже впадинка от черенка еще видна. Сегин смотрел на эту впадинку, усталость легла на плечи скалой, колени ослабели. Ночь уходила, стекала в море горечь. Сегин вспомнил, как совсем маленьким застал мать, красящую волосы: голова опущена, шея оголена, как перед палачом, к сливу бегут чернильные ручьи. Она закрыла дверь в ванную, щелкнула замком.

Рукба спала с неровным храпом: седина разметалась, рот приоткрыт. Сегин тряс и тряс ее за плечо. Он разбудит Рукбу, покажет холмик под мальвой, обнимет, разделив, если получится, горе надвое, и вернется в комнату над автовокзалом. Позвонит маме.

Татьяна Млынчик

Ксения Петербургская позвонит

Рассказ

Вечером накануне штурма вершины Эльбруса в альпинистской обвязке и шапке-петушке я кралась в знаменитый, нависший над пропастью сортир: делать тест на беременность. Убедиться, что рисковать по пути на высочайшую гору страны буду исключительно собой. К деревянному домику с окошком-сердечком горные туристы приходили фотографироваться. Самый романтичный туалет на Земле! Я переносила ботинки через сугробы и рассуждала: если залетела, поход псу под хвост. Приехать на Эльбрус, тренироваться, постепенно увеличивая высоту, вести тщеславный репортаж в Инстаграме, а на вершину так и не забраться! Потом представила себя тут же, через пятнадцать лет, рядом с голубоглазым подростком.

— Видишь сортир? — спрашиваю я. — Там я узнала о тебе.

— Вот гадость! — он сдувает с обгоревшего лба челку: ему бы свалить за домики да покурить.

После манипуляции с тестом я с грохотом отворила деревянную дверь: кусочек пластика с единственной красной полоской улетел в бездну под Кавказским хребтом вместе с чуваком, которого на этот раз звали Кузей. Хохмачем и задирой. Моим несуществующим сыном. Пока, Кузя!

Сколько подростков я выдумала за последние пару лет? Пацанов, девчонок, одиннадцатилетних сорванцов и моих личных, рукотворных Пеппи Длинный Чулок? Вудиалленовские диалоги, визг, вздохи, муж секундирует его первый бой, я зачитываю ей вслух Горчева: все, что успевает мигнуть в сознании, пока белая поверхность теста проявляется неизменным результатом, уже тянет на сборник рассказов. По дороге к домику я ощутила запах освещенного солнцем снега. Всех этих детей не существует. А гора — вот она, манит пиком в восьми часах ходу. Она стерильно реальна, и уже утром зубья моих «кошек» вонзятся в ее лысую макушку.

Когда альпинисты планируют штурм, их делят на группы по три-четыре человека. Каждую ведет отдельный гид, следит за всеобщим самочувствием. Если кто-то из

Татьяна Млынчик (*Батурина Татьяна Витальевна*) училась на факультете журналистики Санкт-Петербургского Государственного Университета. Участница 20-го Форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья «Липки». Рассказы печатались в альманахах и сборниках. Автор романа «Ловля молний на живца» (ЭКСМО, 2021).

Живет в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

минигруппы не может или не хочет идти дальше, восхождение прерывается для всех. В горах все должны подчиняться лидеру. Среди нас были девчонки, которые трусили, а еще пара человек, у которых уже возникли физические проблемы: шла носом кровь или началась мигрень. Я твердо заявила, что планирую взойти и хотела бы быть в сильной группе. «Монстр ты, Танька!» — бросил кто-то. А что тут такого? Я готовилась, прошла акклиматизационные выходы в превосходном самочувствии... Почему какая-то клуша, которая не может разобраться со своими желаниями, должна сорвать мои планы?

После восхождения мы с альпинистами отмечали в кафешке, пили красное вино, ели мясо, напитывая тела кислородом. Гиды раздали всем маленькие значки «Альпинист России». Экран телефона с очередным поздравлением поплыл, и я выбралась на воздух. Эльбрус в сумерках был уже не великаном, а походил на сладкий торт «Панчо». Мои щеки пульсировали.

За уличным столиком, уткнувшись в телефон, сидел Кузя. Я опустилась на скамейку рядом с ним.

— Все-таки остался?

— Что, простите? — мальчишка дернулся.

— Сигаретки не будет? — я щурилась, его лицо кружилось в пунше вечерних огоньков.

Подъем в час ночи. Собачий холод и ветер. Взрывная нагрузка. Спуск с высоты пять тысяч метров на две. Полбутыли красного вина. Хочу заметить, что не одна я так напилась в тот вечер.

Ночью услышала шепот: «Знаешь, почему я не остался? Увидел, как ты открещиваешься от слабачков». Жирный дым его сигареты окутал мою голову, дышать стало тяжело, как там, на высоте. Я закашлялась и нащупала на тумбочке аспирин. Села. В гостиничной комнатке было пусто.

«Галлюцинации в горах — дело житейское, — предупреждал рыжебородый гид Гриша. — Главное, вовремя разжижать кровь».

* * *

— Всё просто: души детей не летят к вам, — поясняет голос в трубке.

С Эльбруса прошло два года. Идиопатическое или необъяснимое бесплодие — это медицинский диагноз, который означает, что причины отсутствия беременности не выяснены.

На днях, за ужином в ресторане друзья рассказали о чумовой тетке, нумерологе. Пошутковали, но номерок я записала. Теперь, заперев дверь кабинета, чтоб никто из коллег не застукал меня за сомнительной коммуникацией, слушаю голос из трубки. Нумеролог продолжает:

— Злитесь много. На мать. На бывших. Души боятся.

— Что же делать?

— Надо приманить их. Стать доброй.

— Как это? — спрашиваю рассеянно: кто-то дергает ручку кабинета.

— Это вам и без меня должно быть известно.

* * *

Медсестра в фиолетовом костюме наклоняется и произносит:

— Татьяна Витальевна? Пойдемте.

Мы с мужем сидим на диване в клинике репродуктивной медицины. Сегодня важный день: подсадка эмбриона. В мое тело отправится единственный эмбрион, который дотянул до десятого дня, затем был подвергнут глубокой заморозке и тщательно протестирован.

Я не хотела знать пол, но когда в почтовый ящик упало письмо с результатом генетической экспертизы, увидела XY и забыть уже не смогла.

— Будет кого тренировать, — говорю мужу. Сидим на скамейке около дома.

— Предпочитаю не думать об этом, — тихо произносит он. — Из четырех остался один. Ты ведь понимаешь, что это загубленные души?

— Брось! Давай имена придумывать.

— Таня, не стоит.

— Значит, я прохожу весь этот биохазард, а ты заявляешь, что мы губим души... Ты хотел детей!

— Я не знал, что все будет... вот так.

Поднимаюсь со скамейки и хлопаю дверью парадной. Какого хрена? Вместо того чтобы меня поддерживать, он думает о том, как будет объясняться с батюшкой. В квартире швыряю кроссовки и вспоминаю про дурацкую необходимость быть доброй. На тумбочке мужа лежит зелено-красная книга про Ксению Петербургскую. Юродивая смотрит на меня деревянным взглядом. Кто тебе сказал, что ему не нужно успокоение?

Когда медсестра приглашает меня на процедуру, муж остается на диване. Я оборачиваюсь и с улыбкой подношу кулак к его руке. Он бьет о мой кулак своим. Я не какая-нибудь нюня, которая лежит на плече у своего мужика, хлюпая носом. Мы желаем друг другу удачи, как настоящие пацаны.

— Каковы шансы на успех? — спросила я, подписывая договор на ЭКО пару месяцев назад.

— В вашем возрасте — сорок процентов. А вообще, этого никто не знает, — с извиняющейся улыбкой ответил врач.

В палате выдают рубище в цветочек. Переодеваюсь, и медсестра ведет меня в процедурную. На входе уже ждет врач, лысый мужчина в очках. Взбираюсь на кресло, помещаю ноги на подставки. Свет приглушен. Справа от кресла в стене — небольшое окно. Доктор стучится в него. Окно раскрывается, оттуда показывается голова другого врача в шапочке и маске.

— Назовите себя, — обращается он ко мне. Называю. Повторяет фамилию и добавляет: — Один эмбрион. Передает врачу шприц с длиннющей трубкой, по которой в мою матку сейчас отправят невидимого пассажира.

— Не волнуйтесь, — подбадривает меня врач.

Когда уже можно встать с кресла, тихо желает удачи.

В лифте смотрю на себя в зеркало. Взгляд уже поменялся? Залезаю в машину к мужу. Ближайшие две недели мне запрещены стрессы, алкоголь и спорт.

— Может, отпуск возьмешь? — предлагает муж.

— Доктор посоветовал жить, как будто ничего не происходит.

Как будто ничего не происходит, жить не получается. Еду за рулем и загадываю: «Если следующий трек Green Day, назову его Петей». Иду выбрасывать мусор, замечаю посреди песочницы забытый кем-то игрушечный красный джип и забираю его, отряхнув от пыли. Подарю сыну на совершеннолетие вместе с настоящим и в речи расскажу, как он решил остаться на земле только ради красной тачки. Гости захохочут,

а я протяну ему руку и дам пять. Перед сном говорю себе: рано одушевлять! Иду в прихожую, беру с пола джип, выхожу на балкон и отправляю игрушку в дождь. В кровати дрожу, и муж растирает мне руки и ноги. Шепчет: «Так хочется верить, что все получилось, да?» Молчу в ответ: кажется, если произнесу хоть слово, сразу станет больно.

— Сегодня задержусь, — говорю мужу на следующий день. — Мой текст будут разбирать на семинаре.

— Ты ведь нервничаешь от семинаров.

— Хочу отвлечься от ожидания, а там удачный рассказ. И я в нем уверена, — парирую я, а про себя добавляю: «В отличие от этого ребенка».

Вечером на мониторе появляются две головы мастеров, возглавляющих литературный семинар. В чате другие семинаристы приветствуют друг друга. Я тоже пишу веселые слова, предвкушая похвалу. Один из мастеров берет слово. Слушаю, что он говорит, и вскоре начинаю дышать во все горло. «Герои мертвые. Интриги не отыграны. Строители так не говорят. Признайтесь, Татьяна, вы же никогда не были на стройке?» — «Была», — робко печатаю я в чат и одновременно читаю сообщения других семинаристов: «Мне тоже персонажи не понравились». «Все какие-то неприятные». «Недобрый текст».

— Я считаю вас перспективным автором, — подытоживает мастер. — Но, очевидно, в вашем творческом процессе что-то сломалось. Посмотрите в зеркало и спросите себя...

Жму крестик в правом углу экрана. Браузер, лица, реплики, голоса — все схлопывается, и я остаюсь в кабинете одна. Тру свои щеки. Поднимаюсь из-за стола. Кнопкой вырубаю комп, беру сумку, надеваю куртку и спускаюсь по лестнице. Двумя этажами ниже, в пустом кабинете залезаю в стол коллеги, нахожу пачку сигарет и зажигалку. На улице жадно затягиваюсь. Скажите, пожалуйста, как сделать, чтобы душа, там, внутри меня, расслышала, не догадалась, что со мной что-то не так? Что у меня сломан творческий процесс, что я не умею отыгрывать интригу, что персонажи мои, да что уж там, и я сама — мертвые, недобрые люди?

Поднимаюсь домой в лифте, смотрю в свои покрасневшие глаза в зеркале и шепчу: «Господи, как мне стать доброй, чтобы этот захотел со мной остаться?»

Когда муж засыпает, выбираюсь из спальни, сажусь на диван у окна в большой комнате, смотрю на темно-коричневые крыши, поджав коленки под себя. Опускаю лоб на сложенные руки и тихо всхлипываю. Диванная подушка становится влажной, я время от времени затихаю, чтобы убедиться, что муж не проснулся. На всем свете только темный, похожий на сахарную трубочку, купол церкви за окном знает меня такой. Закрываю глаза и прислушиваюсь к своему телу и сопоставляю. Я ведь знаю, как это. Как это, когда получилось. Это уже со мной было.

Мне восемнадцать, я оканчиваю первый курс и беременею от парня, с которым встречаюсь пару лет. Он говорит, что поддержит любое решение. Родители обещают тоже поддержать, но лучше все-таки окончить университет. Советуюсь с подругами, собираю мнения и реплики, как учат собирать их для газетных репортажей. «Из текста надо вытравить себя! — кричит наш преподаватель. — Читателям плевать, что вы там думаете!» А я и не думаю ничего, я не знаю, что полагается думать и чувствовать по такому поводу. Мне нужно очень быстро определить свое будущее. И я определяю его, подбросив монетку.

— Я смогу потом иметь детей? — осведомляюсь я, подписывая договор на оказание услуги по прерыванию беременности.

— Этого никто не знает, — отвечает врач.

Сходив на процедуру, в тот же вечер пью пиво и пою Knoking on heaven's door под гитару с друзьями. Ничего особенного не ощущаю. Тело хорошо помнит эти банальные первые признаки: легкую боль внизу живота да фоновую тошноту.

* * *

Утром целую мужа, умываю опухшее после ночного бдения лицо. Еду на работу и следующую неделю стараюсь улыбаться, терпеливо внимаю душнарю-коллеге за обедом, в спор не лезу. Изо всех сил стараюсь хорошо себя вести перед тем, кто раздает людям детей. Медленно поднимаюсь по лестницам. Меньше говорю и больше слушаю. Пью воду. Не ем острое.

Результат анализа крови на ХГЧ застает меня на входе в офис. Решаю остаться на улице, медленно вдыхаю и выдыхаю несколько раз, как перед рывком в горах. Открываю файл. Меньше 0,0000001 % — расшифровка: не беременна.

Когда очень горько, любое вежливое слово, вот хоть от узбечки-продавщицы сигарет, мимолетная улыбка шофера в соседней машине, дружеский оттенок в интонации коллеги — мгновенно прикармливают, жадно поглощаются твоей душой. Словно окружающий мир не хочет отпускать тебя слишком далеко от берега и раскрывает навстречу хлипкие объятья.

Кидаю сообщение рыжебородому гиду Грише: теперь я смогу пойти на Казбек. На высоте следовать инструкциям обветренных людей, которые знают, куда ставить ногу, чтобы не улететь. С помощью силы воли заставлять свое тело делать то, что нужно.

Перед походом отправляюсь на Смоленское кладбище к часовне Ксении Петербургской. Опускаю в железный ящик сочиненное для Ксении письмо, в котором во всех подробностях расписано, почему мы с мужем достойны стать родителями. Прижимаюсь лбом к стене часовни вместе с другими женщинами в платках. Силюсь получить какой-нибудь знак. Но ощущаю лишь каменный холод.

Потом иду на другую сторону Смоленки, на старую часть кладбища. Туда, где ни мой муж, ни Ксения, ни рыжебородый гид Гриша не увидят, как я сяду на покрытую пушистым изумрудным мхом могильную плиту и, вопреки всем правилам подготовки к очередному походу или к очередной беременности, с удовольствием закурю.

Шарю взглядом по изломанным готическим памятникам. Может, кто-то из тех, кто здесь лежит, подскажет? Вы не видите, что я запуталась? Я забралась в размышлениях о том, почему у меня нет ребенка, так далеко, как не забиралась никогда. Пять лет ежемесячных освидетельствованных кровью неудач, ЭКО, гормональная шиза, — в то, что все это я творю сама с собой, верить не хочется. Фигачить к цели, а главное — непрерывно притворяться перед собой, что ты всего этого искренне хочешь. Что несуществующие люди стоят того.

— Если не хочешь детей, зачем их придумываешь? — спрашивает Кузя. — Письмо талантливое. Только автор из текста вытравлен. Ее не проведешь.

Тушу бычок о поребрик и направляюсь к выходу с кладбища. По дороге нащупываю в кармане монетку и отправляю ее вверх ногтем большого пальца. Будут у меня дети? Хлопком припечатываю кругляш к тыльной стороне кисти.

Смотрю на его блеск сквозь стылый василеостровский воздух и улыбаюсь.

— А ты хочешь? — Кузя толкает меня в плечо. — Только честно.

Я не знаю.

Ганна Шевченко

В кругу такого водевиля

* * *

Район покрыли белые волокна,
у дома ёлки выстроились в ряд,
зиме неделя, но уже на окнах
гирлянды синим пламенем горят.

Медведицы горох на небе сеют,
выращивают варежки для зим,
а вот и я, подобно Одиссею,
иду за ветром в дальний магазин.

Над городами носится угроза
войны миров, но сколько ни злословь,
я верю в сказки, в дедушку Мороза,
в добро, в машину времени, в любовь.

Считать снежинки — сложная наука,
но на дворе такая милота,
что кажется, все котики фейсбука
от носа распушились до хвоста.

* * *

Как неуместен, слеп и зыбок
несётся снег по пустырю —
я с высоты своих ошибок
на поле белое смотрю.

Сейчас, как в северном Китае,
дождям бы слиться в хоровод,
но снег идёт, идёт, не тает,
не тает, тает, но идёт.

Шевченко Ганна Александровна — поэт, прозаик. Родилась в городе Енакиево (Украина). По образованию финансист. Автор четырех сборников стихов, в том числе «Форточка, ветер» (М., 2017), «Путь из орхидеи на работу» (М., 2020), и книги прозы «Забойная история, или Шахтёрская Глубокая» (М., 2018) и др. Лауреат Международного конкурса им. Фазиля Искандера (2017). Живет в Подмосковье.

В кругу такого водевиля,
в сезон инфекций и простуд,
тебя, как бабочку, пришпилят
и выбор сделать не дадут;

и будешь дёргаться, беспечно
своё ругая остриё, —
жизнь коротка, а значит, вечна,
и нет прекраснее её.

* * *

Столетний дуб веранду освещал,
роняя листья рядом с дымоходом, —
осенняя привязанность к вещам
становится сильнее с каждым годом.

Таится свет в знакомых мелочах —
желтеют окна долгими ночами,
и старый, огрубевший молочай
к советской люстре тянется лучами.

Какая всё же это благодать,
не думая о прошлом, не терзаясь,
сквозь плачущие стёкла наблюдать,
как листья на деревьях исчезают.

Уверена, когда-нибудь потом,
в реальности другой, заледенелой,
на этом месте будет умный дом
с голубоватым отсветом панелей.

Но даже там, где время истекло,
где реют боги, землю отключая,
проступит сквозь дождливое стекло
зелёное сиянье молочая.

* * *

Все, переболевшие ковидом,
начинают верить в чудеса,
пандемию выдумал Овидий,
чтоб уединиться и писать.

Снег сегодня чист, как на картине,
даже под приступками аптек,
я вчера была на карантине,
но теперь свободный человек.

По земле всё так же ходят люди
с полными пакетами и без,
стоит ли заботиться о чуде,
если воздух соткан из чудес.

Романист с улыбкой Эйс Вентуры
на витрине блещет красотой,
мне ж милей киты литературы —
Достоевский, Чехов и Толстой.

Закупила гору витаминов
и давай о будущем мечтать —
постарею, сяду у камина,
буду Карамазовых читать.

Три большие пламенные птицы
в облаках над городом кружат.
Выпить чаю? Сдохнуть? Удавиться?
Продержаться. Выстоять. Дышать.

* * *

Глинтвейна горячего мне бы,
повсюду крепчает мороз —
дорога от дома до неба,
увы, не из розовых роз.

В фейсбуке воюют, наверно,
сторонники разных систем,
а я, человек постмодерна,
не верю ни этим, ни тем.

Когда-нибудь грянет суббота,
часам начинаю отсчёт —
давай, дядя Ваня, работать
покуда мы живы ещё.

Максим Гуреев

Сова

Рассказ

Долго урчал во внутренностях замка ключ, чавкал, словно блуждал там в темноте, будто бы наугад давил на клавиши пневматического музыкального орудия, что издавало звуки, выводило ноты, даже получалась некоторая складная мелодия, отдаленно напоминавшая Ach, du lieber Augustin, а педали при этом перемещались самостоятельно, поочередно сжимая и разжимая пружины, сжимая и разжимая их, говорю, приводя таким образом ригель в движение.

Наконец, дверь открылась.

Вернее, ее открыл Сова, который при виде меня как-то чудно скривился и затворил лицо ладонями.

— Опять ячмень, что ли? — спросил я.

Он закивал головой, раздвинул указательный и средний пальцы на обеих руках, выглянул из образовавшихся щелей, но тут же и зажмурился. Спрятался таким несуразным, одному ему ведомым образом за кое-как сколоченным из горбыля забором...

Так уж повелось, что ячмень всякий раз мы лечили спитым чаем, прикладывали его к нарыву, а когда чай высыхал и превращался в россыпь дохлой мошкары, при помощи намотанной на чайную ложку марли его приходилось счищать с подбородка, утирать ввалившиеся щеки. А потом еще из ваты изготавливали тампоны, чтобы промокать ими распухшее веко.

— Видишь чего-нибудь?

— Нет, не вижу.

— А ну, дай! — снова по щекам и подбородку начинала струиться теплая заварка, и дохлая мошкара сразу же оживала, а Сова принимался извиваться, словно ему было больно. — Не ври, не больно тебе нисколечко.

— Я боюсь, что вдруг мне станет больно, а я к этому не буду готов.

— Да не будет больно, я тебе говорю.

Гуреев Максим Александрович родился в Москве в 1966 году. Окончил филологический факультет МГУ, занимался в семинаре Андрея Битова в Литинституте. По профессии — режиссер документального кино, снял более семидесяти лент. Автор книг и монографий. Печатался в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы» и др. Лауреат Премии журнала «Дружба народов». Живет в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 11.

Сова, будто рыба, ловил раскрытым ртом воздух, вываливал язык, издавал утробные звуки, давился ими.

— Ведешь себя как девчонка, противно просто!

— Всё?

— Всё! Только смотри, глаз не три!

Воровато озираясь, мальчик уходил вглубь комнаты, где за занавеской стояла его кровать, ложился и отворачивался лицом к стене, чтобы там, где его никто не видит, трогать заплывшее веко, вздрагивать от этих прикосновений и мычать.

И, действительно, этого никто не мог видеть, но мычание выдавало его.

— Перестань, я тебе говорю, не выздоровеешь тогда. Еще и ослепнешь не дай бог на один глаз, станешь одноглазым...

«Как циклоп», — тут же приходило мне в голову, рождалось из последовательности слов, аллюзий, разрозненных воспоминаний, однако я не произносил этого вслух. И в ответ сразу же наступала гробовая тишина, это просто Сова замирал, каменел, вытягивался в струну, складывая руки по швам и, выгибая спину, тянул носки, словно готовился нырнуть солдатиком с бетонного волнолома.

Летом на волноломе негде было яблоку упасть...

Раскаленный на солнце рябой бетон был здесь расцвечен махровыми полотенцами, полосатыми покрывалами и пятнистой в разводах одеждой.

Я, как помню, вставал на край этого волнолома, складывал руки по швам, выгибал спину, поднимался на носках, находя при этом весьма приятным судорожное гудение в ногах, отталкивался и прыгал в воду.

Падал в воду.

Все происходило мгновенно, и на размышления не оставалось времени. Да и стоило ли о чем-либо думать перед тем, как окажешься на глубине, где заросли водорослей цвета перламутрового мха шевелились, веяли, двигались, будто волосы на голове.

Сова всегда боялся стричься, эта процедура вызывала у него панику и слезы.

Его усаживали на доску, пристроенную на подлокотниках массивного кресла, обитого дерматином, оборачивали простыней до пола, оставляя на вершине этого причудливого сооружения, напоминавшего форму для творожной пасхи, лишь вихрастую взлохмаченную голову, включали электрическую лампочку над зеркалом.

— Ну-с, молодой человек, как будем стричь? Бокс? Полубокс? Модельная? — спрашивал парикмахер в белом халате, и Сова почти сразу начинал плакать, потому что он представлял, как из включенной машинки для стрижки волос сыплются в разные стороны искры-стрелы, секут его до крови, прокалывают, вызывая судороги.

Впрочем, все это ему мерещилось, чудилось, потому что никаких искр быть не могло, ведь машинка работала исправно, и все у парикмахера получалось очень даже ладно.

Свое прозвище Сова получил в интернате, куда его перевели после второго класса обычной школы, когда выяснилось, что он страдает задержкой в развитии, а еще умеет поворачивать голову назад и смотреть в лицо тому, кто стоит у него за спиной. Этим свойством, как известно, обладают совы и филины. Сначала его все боялись. Конечно, есть тут от чего испугаться, ведь он мог даже и спать подобным образом, и подкрасться к нему незаметно, чтобы вымазать лицо зубной пастой, например, не было никакой возможности. Тем более что спал он с открытыми глазами. Но потом к этим его странностям привыкли и оставили в покое.

— Сова, а Сова, погукай!

— Сам погукай...

На зимние каникулы Сову отпускали домой.

Я его забирал и вез на автобусе.

Он любил садиться у окна, прогревать пальцем в инее глазок и смотреть в него. Что он там мог видеть, одному ему было известно — впотьмах, в сумерках, в отражениях, посреди острых теней, бивших по глазам наотмашь.

Останавливался Сова у меня, так как его мать, моя двоюродная сестра — Вера Пономарёва, пропала без вести пять лет тому назад: уехала в райцентр, и больше ее никто не видел. Искали, конечно, но безрезультатно. Ходили слухи, что она сбежала, узнав, что ее сын болен, а точнее сказать, что он не такой, как все дети.

И вот теперь мальчик лежал у себя за занавеской на кровати, крепко жмурился, отчего мог наблюдать вспышки-молнии, вылетавшие сквозь прорехи в на скорую руку сколоченном из фанерных листов ограждении.

Сквозь пальцы.

Сквозь ресницы.

Сквозь неплотно стоящие в шкафу книги.

Сквозь посуду на подоконнике.

Сквозь дырки в потолке, которые образовывались, если напялить на лицо эмалированный дуршлаг, что висит на гвозде у рукомойника.

Заплывшее веко чесалось и дергалось.

Я вышел из комнаты, прошел по коридору на кухню, включил свет и поставил чайник на огонь.

Запел он своим высоким голосом довольно быстро, так как воды в нем оказалось мало.

А ведь всегда любил Сова прислушиваться к дудению кипящего чайника, любил закрывать уши ладонями, но истошный вой пара в свистке не утихал, пробирался везде — и под одеяло, и под подушку входил, и никуда от него нельзя было скрыться от такого сиплого и наждачного.

В результате же мальчик не находил ничего лучше, как самому подвывать-подпевать чайнику в такт, при этом сразу забывая про свое заплывшее веко.

Действительно, что о нем помнить-то? Ну, поболит день-другой и перестанет, а смотреть можно и одним глазом, видя при этом очертания носа, потому что если смотреть двумя глазами сразу, то нос не попадает в поле зрения, его как бы не существует, и о его наличии можно судить, лишь ковыряясь в нем указательным пальцем.

Сова хорошо запомнил, как однажды на уроке литературы им рассказывали о человеке, нашедшем в буханке белого хлеба человеческий нос. Ужасней всего в той истории было то, что человек, сделавший это страшное открытие, был парикмахером, которых, как мы теперь уже знаем, Сова всегда боялся.

Вот он — подопечный цирюльника, завернутый в простыню, начинал упираться, сидя в кресле перед зеркалом, мотать головой, не соглашаясь с тем, что сейчас электрическая машинка для стрижки волос начнет напропалую гулять по его голове, а еще понимал, что этот нос был специально отрезан парикмахером ножницами или при помощи опасной бритвы и спрятан в хлебе, потому что кто же будет его искать в таком неподходящем месте?

Живо представлял себе, как откусывает от этой горбушки и немедленно приходит ощущение чего-то тошнотворно вязкого. Конечно, сразу признавал солоноватый, хорошо знакомый ему еще с тех времен привкус, когда он, спрятавшись ото всех под партой, извлекал из носа ссохшиеся горчичного цвета сгустки и запихивал в рот.

— Ты чем там, Пономарёв, под столом занимаешься? Ну-ка, немедленно вылазь! — разносилось громогласное, учительское, словно сошедшее с потолка, на котором головами вниз спали мухи и жуки.

— А он, Светлана Александровна, там козявки жрет!

От нестерпимой обиды слезы комом тут же застревали в горле, вставали стеной, перегораживали его так, что можно было этими самыми козявками и поперхнуться ненароком.

Сова начинал задыхаться, конечно, давиться тошнотворным солоноватым духом эфедрина, что ему накануне в нос закапала медсестра, а затем из последних сил он подползал к Морозову, который его выдал, и кусал за правую ногу.

Изо всей силы кусал, как тот человек, обнаруживший в буханке белого хлеба человеческий нос.

Только тот кусал от голода, а Сова от злости.

Морозов тут же и начинал страшно орать от боли.

Все в классе вскакивали со своих мест и принимались кричать, перебивая друг друга, а Светлана Александровна лезла под стол, чтобы вытащить оттуда разбойника Пономарёва.

То, что в другом случае совершалось бы в какие-то мгновения, теперь происходило неспешно, тяжко, с трудом пробиралось внутрь головы и медленно вытекало наружу, как расплавленная канифоль или восходящее тесто.

Вот учительница схватила его за ноги, паразита такого, вот уперлась коленями в пол и порвала колготки. Вот растопырила мясистые локти:

— Вылезай немедленно, стервец!

Но не тут-то было, Сова намертво вцепился в предателя Морозова, который продолжал истошно вопить, смешно выпячивал нижнюю челюсть и вдобавок норовил ударить Пономарёва по голове, с трудом просовывая руки под стол, вертел там кулаками, но ничего из этой затеи у него не выходило толком. А Сова, отпустив, наконец, ногу одноклассника, поворачивал голову назад и смотрел не отрываясь на Светлану Александровну, которая была у него за спиной.

Взгляд при этом он имел отсутствующий и дикий.

— Немедленно прекрати! — заходилась в истошном вопле учительница, сладковато пахнущая пудрой, перепачканная мелом.

Я снял чайник с огня, налил в кружки заварку, затем кипяток и вернулся в комнату.

— Вставай, чаю попьем, — проговорил я как можно более добродушно и примирительно. — Угощу тебя пастилой.

Мальчик тут же выглянул из-за занавески. Его заплывший, перечеркнутый заваркой глаз выглядел устрашающе. Напоминал разинувшую пасть вздувшуюся рыбину, что давно беспомощно валяется на мелководье. Видимо, была выловлена кем-то или выброшена штормом и убилась о бетонный волнолом. О тот самый волнолом, с которого в воду прыгали все кому не лень. Кто как: кто «солдатиком», кто «бо*н*бочкой» или «рыбкой», а кто и просто падал, превозмогая страх, закрыв глаза и ни о чем не думая.

А рыбина потом еще долго болталась на прибое. Ее пинали, конечно, таскали за хвост, закидывали на глубину, но она не тонула, всплывала, перепутанная водорослями, брюхом вверх и вновь оказывалась на мелководье под ногами.

— Вот скажи мне на милость, зачем ты тогда укусил за ногу Морозова?

В ответ последовала загадочная улыбка.

— Потому что Морозов — гад, — отвечал Сова мечтательно и запихивал пастилу в рот. — Вкусная, ой, вкусная какая...

Запивал ее небольшими глотками, потому что боялся обжечься.

— А что было потом?

— А потом Светлана Александровна вытащила меня из-под парты и хотела отвести к директору интерната, но в коридоре со мной случился припадок.

— Какой такой припадок?

— А вот такой-такой припадок, — Сова хитро прищурился и принялся качать головой наподобие китайского болвана. — Не скажу, не скажу...

— Ну и не получишь больше пастилы, — я протянул руку к тарелке, на которой были разложены пахнущие ванилью брикеты. Лицо Совы немедленно скривилось, заплывший глаз побагровел, и мальчик загнусавил по-старушечьи: «Так нечестно, нечестно...» Потом, как за занавеской у себя на кровати, он инстинктивно сложил руки по швам, выгнул спину, вытянул носки, задрал подбородок, словно собрался прыгнуть в воду и утопиться, замер в таком виде на какое-то время, совершенно превратившись в острие копья, а затем у Совы закатились глаза, и он упал на пол. Затих, не подавая никаких признаков жизни.

Видимо, то же самое приключилось с мальчиком и тогда в коридоре по пути к директору.

При виде случившегося Светлана Александровна, разумеется, растерялась, ведь раньше ей никогда не приходилось наблюдать подобного зрелища, запричитала: «Что делать, что делать-то», — попыталась поднять мальчика с пола, но не смогла, найдя его слишком тяжелым, словно бы налившимся свинцом, словно бы набитым камнями, стала переворачивать, тормошить, но Пономарёв уподобился истукану, глаза которого были широко раскрыты, выпучены даже, и в них отражались лампы дневного освещения, прикрученные к потолку.

Я поднял мальчика и положил его на кровать.

Тут он и ожил, но произошло это только на следующее утро.

Вот такая вот история приключилась...

Кто же мог знать, что во всем окажется виновата пастила...

Всю ночь я не отходил от Совы, следил, чтобы он не перевернулся на спину, потому что в таком случае, если бы с ним припадок повторился, то он рисковал бы подавиться собственным языком.

Но, слава Богу, все прошло спокойно, — мальчик сопел и улыбался во сне.

Я присматривался к его заплывшему глазу и видел, что нарыв стал меньше, что веко дергается рефлекторно, а это значит, что заварка подействовала, и ячмень постепенно проходит.

Мышцы становились дряблыми.

На щеках проступал румянец.

Чтобы не уснуть, я стал ходить по комнате, считать шаги, смотреть в окно, за которым ветер раскачивал черные деревья, напоминавшие в темноте дырявые полотнища.

Затем, стараясь не хлопать дверью, я выходил на лестничную площадку.

Время здесь текло медленно.

Прислушивался.

Осматривался.

Крутил головой.

Вот ведь как — мысль о том, что почтовые ящики, прикрученные проволокой к перилам в нашем подъезде, напоминают замерзших птиц, которые застыли на электрических проводах и совершенно при этом уподобились нотным знакам высоковольтной табулатуры, уже давно посещала меня.

Неотступно преследовала, вынуждала собеседовать с ней.

Кстати, именно по этой причине, когда я вхожу в подъезд, всякий раз стараюсь как можно быстрей пройти мимо этой вразнобой пронумерованной враждебной мне

колонии железных коробок, у которых дверцы вогнуты внутрь, а то и вообще оторваны.

Вырваны с корнем.

Перекорежены в форме орущих ртов и имеют вид совершенно отрешенный.

Я думаю о том, что они мне нравятся гораздо больше, чем те, которые наглухо закрыты. Дело в том, что ящики, будучи разоренными, как правило, всегда пусты и не содержат в себе ни почтовых извещений, ни писем, всякий раз приносящих тревогу. По крайней мере, в моем понимании того, какой она должна быть, вызывающая томительное беспокойство, рождающая дурные мысли, предчувствия, предзнаменования и страхи.

Тревога ожидания.

Совсем другое — запертые ящики. Одним своим видом они вызывают недоверие, волнение вызывают, которое нарастает все больше и больше, ведь запечатанный бумажный пакет днями таится за металлической дверцей с круглыми отверстиями, в которые можно просовывать пальцы, чтобы убеждать себя в том, что в ящике его нет.

Однако он там есть.

«Итак, ни в коем случае нельзя смотреть в сторону почтовых ящиков», — это я для себя уже точно решил.

Также не следует произносить вслух имя отправителя письма, чтобы тем самым не навлечь на себя его гнев, ведь созданное им послание, скорее всего, уже давно томится в железной коробке безо всякой надежды быть извлеченным из нее и прочитанным.

А еще нельзя вынимать из кармана ключ от почтового ящика.

Однажды я даже специально его выбросил, чтобы не возникало соблазна им воспользоваться.

Вышел на берег реки, огляделся по сторонам и забросил ключ далеко в воду, правда, потом мне пришлось говорить неправду, выдумывать, что якобы я нечаянно его потерял, выронил, а где, и сам не помню.

«Все ключи уже давно лежат на дне морском», — я хорошо запомнил эти слова корейца из металлоремонта, после которых почувствовал себя нехорошо, озноб прошел по всему моему телу, тут же как-то замутило, а тошнота горячим варевом подступила к ротоглотке. Только и осталось, что сощуриться, заупрямиться внутренне, замотать головой, словно бы говоря себе: «Нет! Нельзя быть до такой степени мнительным, чтобы каждый раз, ощущая терпкий запах яблочного уксуса, а также спонтанно возникающие в области лобных пазух спазмы, начинать думать о том, что произошел скачок артериального давления».

Потом кореец протягивал мне новый замок и ключ к нему, раскачиваясь при этом на стуле, как на насесте, словно он был совой или филином.

Итак, почтовые ящики заухали мне вслед, завращали своими ушастыми головами, запереминались с одной лапы на другую, зацокали когтями по перилам лестницы.

Конечно, кореец догадался, что я выбросил ключ специально, потому что так многие поступают, когда хотят навсегда развязаться с чем-либо ненавистным, невыносимым, избавиться от всего этого, однако ничего мне не сказал, промолчал, сделал вид, что поверил, проявив тем самым свое азиатское коварство. От этого на душе у меня стало неуютно и холодно, — руки застыли, словно на ветру, окоченели и скрючились.

А ведь, кстати, вне зависимости от времени года, но зимой особенно, в нашем подъезде совершенно невозможно избавиться от колодезного дыхания черного промозглого леса, где и живут эти самые хищные птицы с желтыми глазами, одичавшие

собаки из райцентра обретаются, а еще лисицы затаиваются, чья перекличка сродни скрипу деревьев, что переплелись стволами и корнями с самого своего рождения и потому знают друг о друге все: и то, что кора их изрядно рассохлась, а под ней обитают жуки-короеды, и то, что в дырах, норах и гнездовищах спрятались змеи, и то, наконец, что перепутанные проволокой ветви распухли, поскольку болеют, а некоторые из них уже и умерли давно, но не подают виду.

Я взламывал старый замок отверткой, ставил на его место новый, прилаживал ключ, и крутил его, а он блуждал там в темноте, поочередно сжимая и разжимая пружины, сжимая и разжимая их, говорю, приводя таким образом ригель в движение, наугад давил на клавиши воображаемого пневматического музыкального инструмента, который издавал звуки и даже выводил ноты.

Хотя на самом деле это я про себя пою от нечего делать:

Ах, мой милый Августин,
Всё прошло, всё!
Платья нет, шляпы нет,
В грязь упал Августин.
Ах, мой милый Августин,
Всё прошло, всё!

После вызова лифта из машинного отделения, находящегося на чердаке, вместе с монотонным гулом запущенного электрического двигателя в шахту проваливается густо промазанный тавотом стальной трос, а навстречу ему наверх уносится собранный из бетонных шпал противовес.

Это напоминает подъем театрального занавеса, который может открыть все что угодно: засыпанную снегом до горизонта местность или кирпичную стену обнажить, комнату в коммунальной квартире или лестничную площадку на четвертом этаже явить взору.

Но это будет позже, а пока к выложенному кафелем бетонному полу лестничной площадки на первом этаже пристыковывается кабина лифта. Электрический свет здесь вспыхивает, как только ступаешь на шаткий, ходящий ходуном под ногами пол. После этого следует захлопнуть дверь и оказаться в замкнутом пространстве, нахождение в котором вполне сравнимо с нахождением в почтовом ящике непрочитанного послания, содержание которого известно только его отправителю.

«Да, сказывается, сказывается все-таки моя эпистолофобия», — размышляю я в висящем в невесомости лифте, однако раздается треск зуммера, и кабина, как вагонетка по рельсам, начинает подниматься наверх. Мимо проплывают лестничные клетки этажей, чьи-то ботинки, стоящие у дверей, кнопки звонков. Конечно, бывали случаи, когда лифт зависал в шахте между этажами, и тогда приходилось вызывать монтера.

«Нет-нет, об этом не стоит и думать, — говорю я себе, — потому что сегодня подобные недоразумения абсолютно не предусмотрены».

Наконец лифт останавливается, и я выхожу, уже совершенно освободившись от тягостного ощущения, вызванного воспоминаниями о том, как я запихивал пальцы в круглые отверстия, прокрученные в наглухо закрытой металлической дверце, а также мимолетным наблюдением этих проклятых почтовых ящиков, потому что только что сам побывал в одном из них.

«Ну что же, — продолжаю я собеседовать сам с собой, — теперь можно посмотреть в лестничный пролет, абсолютно безбоязненно бросить взгляд вниз, туда, где остались притороченные проволокой к перилам сонные желтоглазые птицы, а также совершенно дозволительно запустить руку в карман и извлечь из него новый

ключ от почтового ящика». Молчу какое-то время и прибавляю: «Вот в следующий раз, когда я буду проходить мимо почтовых ящиков, обязательно остановлюсь рядом с тем, на котором выведен номер квартиры, где я живу, вставлю ключ в замок и отомкну его, а затем достану из ящика конверт. Вскрою его».

И вот, я вскрываю конверт и обнаруживаю в нем пришедшее из небытия письмо от Веры Пономаревой, она сообщает, что никуда не убежала, что помнит и любит своего мальчика, что тогда, пять лет назад, она уехала в райцентр, но по дороге на станцию ее насмерть сбил рейсовый автобус, водитель которого оттащил ее тело в лес, где оно и лежит до сих пор.

«В лесу холодно, — как я уже говорил. — Очень холодно и сыро».

Тут птицы свесились с деревьев головами вниз.

Они любопытствуют и недоумевают, что в такое ненастье здесь может делать человек, изо рта у которого не идет пар. Ведь они-то привыкли, что всякий раз у человека, пробирающегося через чащу поздней осенью или зимой изо рта всегда валит пар, а тут нет — лежит себе тело на голой земле, частично прикрытое ветками, и не подает никаких признаков жизни.

Вот и я недоумеваю, как Вера могла написать это письмо, если ее уже давно нет в живых.

С этим недоумением я возвращаюсь в комнату и еще довольно долго не могу от него избавиться.

Мечусь, подхожу к окну, слушаю, как Сова сопит во сне и, скорее всего, улыбается, потому что ему снится, будто он купается в море.

Нет, он никогда не был на море и не умеет плавать, но поскольку я ему часто рассказывал о том, как нырял с волнолома в теплую зеленую воду, то он вполне мог представить себе подобную картину, но только по-своему.

Например, вот так: Сова встает с кровати и полностью принимает образ острия копья. Мышцы его окаменели. Из-за напряжения ноги его словно бы спутаны, потому он не может сделать и шагу, но лишь имеет возможность тянуться ввысь.

Тянется-тянется.

Потом задерживает дыхание и через мгновение летит в воду.

Ему только и остается удивляться, что его кровать оказалась на самом берегу моря, а он никогда раньше не замечал этого, не слышал штормового гудения волн, не ощущал хриплого свиста ветра, не чувствовал запаха бродячей кладофоры, напоминающей зеленую тину. И вот теперь он летит над этой тиной, а его тень задевает придонные кущи, которые оживают с каждым новым вздохом прибоя.

Острие копья входит в воду, не оставляя за собой брызг.

Сова падает в воду и сразу уходит на глубину, где открывает глаза. Судорога, сковавшая было его тело, тут же отпускает, и он перестает быть острием копья.

Он нелепо перебирает руками, улыбается, пьет теплую соленую воду, с удивлением обнаруживает, что нисколько не испугался, оказавшись в непривычной для себя обстановке, оглядывается по сторонам и замечает проплывающего мимо него Морозова, правая нога которого перебинтована расползшимся нечистым бинтом. Видно, что бинт размок, вздулся и пошел волдырями, подобными тем, что выступают на коже после ожога.

Рыбина болталась на прибое.

Рыбина вздулась.

Рыбина, перепутанная водорослями, проплывала брюхом вверх.

Рыбина не тонула.

— Ты — предатель, Морозов, — насупливался лбом Сова. — Ты обещал, что никому не скажешь, что я делаю под партой, но не сдержал слова, гад, поэтому я тебя и укусил.

Однако человекообразная рыбина молчала в ответ.

Морозов проплывал мимо, показывал язык и вертел пальцем у виска, мол, «псих ты, Сова».

— Сам ты псих...

Затем Сова выбирается из воды на раскаленный солнцем рябой бетон волнолома, который расцвечен махровыми полотенцами, полосатыми покрывалами и пятнистой одеждой в разводах, располагается здесь, щурится на солнце и с удивлением обнаруживает себя лежащим в кровати, освещенным матовыми сполохами зимнего рассвета, что пробирается сквозь откинутую занавеску.

Оглядывается по сторонам, прислушивается к себе, но не обнаруживает и следа от вчерашнего припадка.

— Значит, я здоров совершенно! — давится от удушающе раскатистого крика. — Ура!

Каникулы пролетели незаметно, и через несколько дней мы стали собираться с Совой обратно в интернат.

Теперь я уже и не вспомню последовательности событий, приведших нас под крытый шифером навес автостанции, откуда мы имели возможность наблюдать за тем, как автобус выворачивал с круга, раскачивался, перебираясь из одной заледеневшей колеи в другую, упирался светом фар в кирпичную будку диспетчера и замирал.

— Надо ехать, — говорил я.

— Надо... — отвечал Сова и выпячивал нижнюю губу.

А еще можно было разглядеть водителя автобуса — на вид ему было не больше сорока, у него был острый птичий нос, сросшиеся на переносице брови и глубоко посаженные, едва видные из-под воспаленных век глаза.

«Неужели он что-то видит, особенно когда трет кулаком красные веки, которые и без того едва пропускают свет?» — удивлялся я.

А водитель тем временем включал свет в кабине, доставал блокнот и начинал что-то в нем записывать. Скорее всего, это был ежедневник, перелистывая который можно совершенным образом оживить воспоминания и события, произошедшие много лет назад.

В частности, такое воспоминание: тогда в райцентр возвращался уже затемно, пассажиров не было, об эту пору, середина ноября, в лесопоселках почти никого нет — сезонные рабочие уехали, а местные уже спят, — после кордона Улемль выбрался на большак, он тянется через бор километров десять, отчего дорога даже солнечным днем здесь кажется темной и мрачной, а что тут говорить про сумерки поздней осени, как назло пошел мелкий дождь вперемешку со снегом, потому поехал совсем медленно, чтобы на повороте у Егорина оврага не сползти по глине на обочину; в прошлом году тут лесовоз перевернулся, его тракторами несколько дней тащили пока не вытащили, включил дальний свет, темнота сразу же вспыхнула мокрыми стволами и надвинулась на лобовое стекло, показалось, что въехал в какое-то подземелье, а тут еще мокрый снег усилился и принялся швырять огромными косматыми хлопьями, странно, столько раз здесь ездил, но абсолютно не узнавал эту местность, она была совершенно незнакомой, населенной острыми, как языки пламени, тенями и птицами, свесившимися с веток головами вниз, бывает же такое, вот совы гукают и вращают головами; когда выехал из поворота на прямой участок, выключил дальний свет и проследовал таким образом метров сто, а на смену

нездешнему сиянию пришел блёклый морок, он как бы придавил к дороге, раздвинул деревья, а потом произошло то, что произошло: только и успел заметить в правое боковое зеркало женщину, которая беспомощно размахивала руками и валилась под задние колеса автобуса, тут же дал по тормозам, но автобус еще протащило несколько метров, и все замерло в дрожащем свете фар, потом выбежал, поднял ее, она оказалась жива, и отвез в больницу в райцентр, с ней, слава Богу, все оказалось в порядке...

Потом водитель отложил свой ежедневник, повернул голову, почти достав подбородком до плеча, и проговорил:

— Отправляемся, двери закрываются.

А Сова уже сидел у окна и, как всегда, проделывал пальцем в инее глазок, чтобы смотреть сквозь него на смутные очертания домов, уличных фонарей, засыпанные снегом гаражи и дровяные сараи. Заглядывал в эту прорубь, которую принято еще называть иорданью, замирал от удовольствия, вертел головой в разные стороны, гукал, но так как в автобусе почти никого не было, то на все эти его художества никто особого внимания не обращал.

Домой я вернулся далеко за полночь.

Вошел в подъезд, проверил почтовый ящик.

Пустой.

Усмехнулся: «Значит, все прежние мои страхи оказались напрасными и прошли бесследно, как в той песенке поется: “Ах, мой милый Августин, всё прошло, всё”, а еще выходит, что ключ тогда зря выбросил, только деньги попусту на новый замок истратил, эх...»

* * *

Через несколько лет интернат, в котором жил Сова, перевели в другой город, и он перестал приезжать ко мне гостить на зимние каникулы. Какое-то время от него еще приходили письма, но со временем всё реже и реже.

Я хорошо запомнил его последнее письмо, в котором мальчик рассказал о том, что их класс возили на море и он чуть не утонул, потому что не умел плавать. Впрочем, обошлось, но приторный вкус соленой воды, как и солоноватый дух эфедрина, который ему накануне в нос закапала медсестра, еще долго преследовал его.

То письмо я прочитал прямо в подъезде, не отходя от почтового ящика.

После чего повернулся назад и посмотрел, нет ли кого у меня за спиной, ведь почудился же мне нестройный хор голосов, гуканье птиц почудилось, перекличка лисиц, что сродни скрипу деревьев, которые переплелись стволами и корнями с самого своего рождения.

Но нет, слава Богу, за спиной никого не было, следовательно, подумать о том, что Сова — это я и есть, было просто некому.

Никита Контуков

«Кровь моя, за вас изливаемая»

Рассказ

Мать ругала настоящее и хвалила старые времена, и Мансур, на мгновение задержавшись в коридоре, подумал, как сильно она постарела за последний год. Он обнял ее и прижал к себе, крепко, до хруста костей.

Профессор, выполняя распоряжение Хасана, вызвонил его в послеобеденный час и пригласил на встречу. Всю ночь Мансур собирался провести у изголовья больной матери, сидя в кресле возле тумбочки с сердечными каплями. Мать все-таки права, седьмые зубы съедает: раньше ответственность ложилась на плечи всех соучастников, согласно исконной советской убежденности в спасительном влиянии коллектива. Мансур еще помнил дни, когда его люди поочередно пребывали в заточении и клялись, как декабристы, отдать свою жизнь за народное благо. Теперь все решал их дурацкий жребий: вытянул счастливый билет — живи да радуйся, несчастливый — не взыщи. Мансуру не повезло, как родившейся осенью мухе. Он бы остался, конечно, с матерью. Да и на улице дождь опять же: холодно и сыро, как это бывает посреди затянувшейся осени. Но нельзя было нарушать закон. А слово их было законом, — они ведь всю масть держали.

Мансур еще раз взглянул на мать, погладил ее плечи и быстро отвернулся, чтобы она не заметила, как в полумраке коридора блеснули его глаза. Он-то ладно, а вот мать пропадет. Непременно пропадет, лишившись осевой точки, на которой она вся и держится.

Едва узнав о случившемся, Надежда Валерьевна вознегодовала: не ходи — не к добру это! Жалобила, вспоминая Мансура в младенческих летах, когда бережно укладывала его в кроватку. По обыкновению, занималась самобичеванием: это она виновата — плохо, значит, воспитала. Как могла допустить? Почему не предвидела? Не сумела вырвать малого шалопая из лап коварной улицы, вот он и связался со всякой дрянью. Это ведь зверье, нелюди. У них даже генный набор другой. Им человека ухандохать — раз плюнуть.

Мансур показал спину и, не оборачиваясь, быстро исчез за дверью. Спускаясь по лестнице, он слышал, как мать громко всхлипывала.

Контуков Никита Александрович — свободный художник. Родился в 1987 году в Подольске. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

На улице было свежо. Все как-то враз преобразилось, стало легче дышать. Страх улетучился, ибо знал Мансур, что час пробил и нельзя умолить ангелов Господних вытянуть его на светлый берег. Времена-то действительно изменились: бритоголовые ребята в кожанках, отломив от вожделенного пирога, как-то неожиданно ступили на стезю добродетели и даже внешне стремились к респектабельности и лоску, провозглашая своим идеалом тихую семейную гавань да палисадник. Никто не желал лишнего шума, тех же, кто до последнего упирался рогом, тихонько убирали, но в целом это были милые и приятные люди, пусть и отгородившиеся от мира и не верящие в надличностные ценности и чудеса всечеловеческого братства. И Мансур не смел роптать: во всем его облике сквозила какая-то виктимность, обреченность, как у скотины, ведомой на убой. Отказаться все равно нельзя — шутить эти парни не любят.

Он пришел на встречу в послеобеденный час, как и договаривались. Пацаны хмуро глянули в его сторону, но в их хмурости проглядывало задумчивое сочувствие: прости, братан, на этот раз не фартануло. Постепенно лица их размягчились, просветлели, и вот они вроде как уже не гады последние, а местами так даже и на людей похожи.

Мансур грустно улыбнулся. Дни неумолимо бежали вперед, тасуя потери и обретения: он исправно подавал нищим, но от судьбы откупиться не смог.

Это они с ним еще по-божески поступили. Хасана вон с постели подняли — и пинками под зад. Тогда еще очередность соблюдалась, не щадили никого, даже признанных авторитетов: подписку-то все давали, в том числе и Хасан. Он у них главарь был, всех местных под себя подмял. Как-то раз его выставили за порог в одних трусах, а потом провели через весь город, как какого-нибудь залетного лошка. В трусах да тапочках — ни одеться, ни обуться он не успел. Да еще на рынок завернули, где каждый торгаш ему в пояс кланялся и платил солидную мзду. И вот прямо у них на глазах один из дружков отвесил Хасану подзатыльник, второй ткнул его в спину, небрежно так, двумя пальцами, словно боялся испачкаться, словно это не Хасан никакой, а разгуливающий на свободе презираемый всеми петух.

— Пшёл! — крикнул кто-то из случайных зевак. — Бегом давай.

Чумазый оборванец швырнул в него камень и, попав под колено, да так, что у Хасана ноги подломились, радостно вскрикнул. Малолетняя блядва с хрустом грызла яблоки и громко хихикала: «Вот несчастный! Любишь кататься — люби и саночки возить». Но Хасан с гордостью сносил унижения: они плевали ему в лицо, а он терпел, не проронив ни слова. Некоторые отводили глаза, не в силах взирать на жуткое зрелище, когда сильный человек оказывается беспомощным, и Хасан чувствовал еще большую досаду из-за их снисходительного превосходства. Лучше бы плевали в лицо и били палками по голове! Лучше ненависть, чем жалость. К тому же их жалость нарушала договор, и из-за таких вот добрых сердец грядущий год мог выдаться неурожайным, скотина — сгибнуть, торговля — перестать приносить доход. Лучше ненависть. Только ненависть!

Когда же на смену очередям пришел жребий, конвоиры стали лояльнее: они давали человеку возможность как следует выспаться, надеть что-нибудь поприличнее и заушали только для виду.

Радуйся, Мансур! Ты преодолел духовную пустыню и положил свою жизнь на великое дело: если и скидывал крупные козыри, когда еще ничего толком не решалось, вынужденный отбивать случайные шестерки, то в решающий момент не стал уклоняться от возложенной на тебя миссии. Казалось, Мансур только для того и родился, чтобы

пострадать за человечество, и в тигле его расцветшей души грядущие страдания претворялись в радость.

— Ты извини, Мансур, — сказал Профессор от лица всей прикентовки. Всем же не по себе было: старая дружба трещала и расползалась по швам, как изношенные портки. — Между нами — веревка. Крепкая. Но ничего не поделаешь — случай.

Мансур молча кивнул. И родственные союзы слабеют, чего уж там. Но Хасана уже начинала раздражать эта слащавая комплиментарность. Лучше быть суровым и не ограждать себя от огрубевшей реальности, а эта доброта все дело им завалит, как домино.

— Пойдем, Мансур, — строго приказал Хасан. — Дело забывчиво, тело заплывчиво.

Они прошли несколько шагов и остановились, близко, лицом к лицу, посмотрели друг на друга, долго и испытывающе. Хасан ему врезал, неожиданно, с короткого размаха, так сильно, что Мансур, путаясь в собственных ногах и отлетев метра на два, повалился на землю, сплюнул кровью.

— По-нашему, по-тамбовски, — одобрили гогочущие пацаны.

Мансур задышал громко, со свистом втягивая воздух сквозь стиснутые зубы. Никакой пощады и жалости. Дружно налетели остальные и принялись добивать ногами, словно хотели выколотить из него, как пыль из старого ковра, все человеческие пороки. Мансур креветкой сворачивался под ударами тяжелых ботинок, инстинктивно закрывая лицо, но не проронил ни слова. Таковы были правила. Принципиальный Хасан, как и подобает человеку, лишенному внутреннего содержания, требовал буквального исполнения ритуала, в такие минуты им овладевала мания конкретики. Долг предписывал изувечить жертву, вывалить на нее избыток ненависти.

А ведь Мансур не был благонравным мальчиком, нет! Вечно он пропадал во дворах, пил водку наравне со взрослыми, а однажды, еще до того, как попал под влияние Хасана и его дружков, в одиночку грабанул в чужом районе ларек. Школу он посещал редко, учителям постоянно грубил. Матери Мансура говорили, что у нее растет настоящий звереныш: «Вы с ним начеку будьте, такой ведь и убить может!» А юноша и с матерью не больно церемонился: когда денек выдавался не больно хлебный и он возвращался домой с пустыми карманами, приходилось чуть ли не милостыней пробавляться, выпрашивая у родительницы умоляющим голосом: «Налей, а, — хоть капелюшечку». И мать, конечно, никогда не отказывала, наливала ему вровень с краями. Имелся у нее для таких вот случаев неприкосновенный запас. Она доставала из невыскребенных сусеков бутылочку и закусь, готовила немудреное застолье. Да еще радовалась в душе печальной материнской радостью: пусть лучше с ней за одним столом опрокидывает стаканы, чем пьяный на чужих дворах валится. За день ничего не украл — и на том спасибо. А то ведь и за мелочевку всякую мордень разукрасить могут.

И теперь этот самый Мансур, разбитной типчик, обожавший затевать драки, безропотно перемогал боль, подставляя обидчику щеку для удара. При других обстоятельствах он не побоялся бы всечь и Хасану, разбить ему харю в кровь, а оторопевших пацанов разогнать, как подкожную шушеру. Мансур бы не побоялся, это всякий скажет. Тем паче Хасан постепенно терял казавшуюся незыблемой власть, и прикентовка давно подумывала о смене лидера, а Мансур на его роль подходил идеально.

Хасан возрадовался воле жребия: имелись у него личные мотивы отдать Мансура на заклание. Ирина Егоркина, давно прижившая от Хасана сына Максима, не гнушалась промискуитета, все парни на районе знали, что она подлая трахучая тварь, которой все равно, с кем кувыркаться — лишь бы палка была тверда. Знал об этом и

Мансур, приходивший к распутной бабе снять напряжение после очередного дела. Он засовывал ей член в самую глотку и терся головкой о миндалины, а потом бурно кончал с животным рыком. В это время десятилетний Максим сидел в соседней комнате, уткнувшись в монитор компа. Его настолько раскормили, что рубахи на его детских плечиках были тесны, а молнии на нем не застегивались, и даже ходил он как-то странно, по-медвежьи, держа руки враскоряк. Но Максим упрямо жрал булки, заедая тоску, вызванную нехваткой материнского внимания.

Мансур жалел мальчишку и время от времени подкидывал Ирке денег, хотя и понимал, что таким матерям матки надо вырезать сразу. А Хасан возьми да и влюбись в нее насмерть. Он же знал, что Ирка — шалава панельная, знал, но ничего с собой поделать не мог. Рогами за притолоку цеплялся, а все равно любил.

Тогда Хасан страстно возжелал истребить Мансура: он почему-то видел в нем главного соперника, словно Ирка не спала со всеми подряд.

Пацаны его разубеждали: ну снесешь ты Мансуру башку и что дальше? Ирку все равно не исправишь, играет в ней дурная кровь. Это болезнь такая: с ранних лет она таскалась по мужикам и даже на пятом десятке ей хотелось попробовать что-нибудь новенькое, аж до визгу. Подолгу в ее постели никто не задерживался, а Мансур вовсе сбежал по собственной воле, узнав, что от беспорядочных половых связей у Ирки полезли болячки. Хасан же был неумолим: к другим он притерпелся — на месте вечно болевшего участка души затвердела мозоль, но Мансур, Мансур... Это же настоящее предательство!

— Последнее желание, — возвестил главарь, и пацаны враз прекратили избиение. Переглянулись, смущенно потупив головы.

Последнее желание! Да, было еще «последнее желание», как у американских заключенных. Некоторые обжирались, умирая от несварения желудка, или бабу просили снять. Вот когда человек перестает быть человеком и превращается в животное, лишенное ума и всяческого внутреннего закона, и сохраняет лишь свои физические желания, которые напоследок пытается удовлетворить. Настоящее проступает сквозь наносное. Всю жизнь прожил в плену иллюзий, не догадываясь, какой внутри него сидит зверь. Отъявленные трезвенники, расчеловечиваясь, пили диким манером, добропорядочные мужья требовали разврата, потакая телесному низу.

Мансур, обтирая с лица кровь, попросил отвезти его в родной микрорайон, где незаметно, впромельк, пронеслись дни чистого детства. Дом, знакомый ему до мельчайших облупинок. Тесный дворик, заваленный каштановой листвой, — здесь они кидали друг в друга снежки и отбивались от чужаков. И даже веревка осталась, неровно подпираемая шестом, — на ней по-прежнему трепались белые простыни.

Хасан, удивленно пожав плечами, распорядился потухшим голосом:

— Поехали.

Вот же чудак этот Мансур! Ему бы телок назвать да жратвы побольше, а он по дому затосковал, как выброшенный на улицу щенок.

А Мансур думал, что было бы здорово все вернуть — отмотать пленку, как в кино, назад и снова попасть в детство, в тот же день и тот же двор.

Был у него незакрытый гештальт: хотелось отыскать отца и хорошенько его припечатать. Он и с преподавателями-то ругался из желания спровоцировать в отношениях конфликты, нерешенные с родителем, презираемым алиментщиком, ушедшим из семьи. Особенно доставалось историку: вел, например, Виктор Сергеевич урок, обстоятельно рассказывал, наморщив лоб, об Иване Грозном, который прикладывал к своим зловонным язвам изумруды и сапфиры, или о том, как Павел Первый был задушен в своей опочивальне, а Мансур, не дождавшись звонка, вскакивал

из-за парты и громко разговаривал с воображаемым собеседником. Виктор Сергеевич выходил из себя и, взывая к дисциплине, повышал голос, превращаясь из друга учеников в карательную силу. Он обещал вызвать в школу родителей Мансура, называл его хулиганским отродьем, а тот лишь нагло усмехался краем рта и рвал в клочья дневник.

Выйдя из машины, Мансур потянулся, разминаясь после долгой езды. Все было на месте: и дом, и еще неубранная листва, оброненная каштанами, и веревка, и шест, и даже старые качели поскрипывали ржавыми петлями. Ему почему-то казалось, что после его переезда двор непременно зарастет крапивой да репьями в человеческий рост, а квартира опустеет, храня кислую вонь нечистого жилья. Но двор был прибран, хоть и не изменился ни на одну морщинку, а дом, признанный аварийным, до сих пор не снесли, и жильцы гнездились в нем, как семечки в арбузе.

Где-то неподалеку мыкался его отец, человек с гнутой-перегнутой судьбой, растерявший на ее крутых поворотах семью, профессию и последние зубы. Жалкий, как обгрызенное яблоко, он уже не будил приступы Мансуровой ненависти: Мансур мог ненавидеть равного, могущественного врага, например, попирающего его интересы, отца же он презирал как существо низшего порядка, нечто незначительное, несущественное. О такого даже руки марать не хочется, словно это никакой и не отец, а отпетый шпаненок.

— Я должен его найти, — мрачно бросил Мансур. — Мое последнее желание.

— У тебя что, башню склинило?! — разозлился Хасан, а Профессор бросился Мансуру наперерез и принялся ему втолковывать:

— Авраам принес в жертву собственного ребенка, потому что так повелел Бог. Alea iacta est. Жребий брошен. Ты — жертва. Ты не можешь отступить. Твоя ретирада — предательство. Подумай о других: обо всех нас, о людях.

Ага, вон как они запели! Нашли крайнего, беспрекословно подчиняясь воле Хасана, как шестерки — пахану, а теперь о людях вспомнили, об ответственности коллективной заговорили.

Мансур догадывался, что эти парни вели подковерные игры и пробивались в дамки, подобно офисным клеркам, путем подсиживаний, доносов и виртуозного лизательства. С диссидентской отвагой он плевал против ветра, когда ему уже приготовили зиндан, опрокидывал сложившиеся традиции и с мстительным удовольствием повторял, как заклинание:

— Я должен его найти, иначе год будет неурожайным: все заглохнет, убирать будет некому — хлеб начнет осыпаться. Упадут надои и привесы.

Профессор задумчиво поморщился, а Хасан, не приученный к таким афронтам, досадливо отмахнулся:

— Ладно, ищи.

Кто-то говорил, что он живет на той же улице в старой пятиэтажке, но было как-то странно искать человека, который ушел однажды и ни разу не проявился в жизни взрослеющего Мансура. А вдруг он его не узнает. Вдруг из-за его сыновней обиды пострадает ни в чем не повинный человек, который, завернувшись в любимый халат и собираясь покурить на балконе в жестянку из-под скумбрии, услышит трель нежданного звонка и, сбитый с толку, лениво прошаркает открывать дверь, долго провозится с замком, приоткроет, натянув цепочку...

Может, он съехал давно. Или сперва спросить, а потом дать ему в хлебало. Цепочку-то он порвет — не проблема. Но есть риск оказаться в идиотском положении. Простите, не подскажете, где проживает такой-то. Да, это я, — гордо ответит жирный

мудак в халатике. Ну, получай по зубам, сука. Или: простите, такие здесь не живут, — и показать спину, беззлобно послав его к чертям.

И потом, нужно внутренне себя подготовить. Нельзя же просто взять и всечь ему прямо с порога. Мозг-то, согласно Бехтереву, уже знает обо всех принятых Мансуром решениях, но душа еще колеблется. Душу-то подготовить надо.

Миновав лестничное пространство, засоренное семечной шелухой и окурками, Мансур остановился перед дверью, пригладил пятерней взлохмаченные волосы и решительно утопил кнопку звонка. Открывать не торопились. Послышался скрип половиц и шум пододвигаемого стула. Залило черной пустотой дверной глазок.

— Кто там? — раздался безгрешный мальчишеский альт.

— Открывай, — басовито пробухтел Мансур. — Свои.

Щелкнул дверной замок, дверь отворилась. Мансур увидел перед собой вихрастого мальчишку, споткнулся о тяжелый взгляд его, так не вязавшийся с ангельски-кротким личиком: слишком много в нем было нарочитого равнодушия, словно он прожил несколько жизней зараз и о каждой из них глубоко сожалел. Было даже удивительно, что маленький мальчик, оставшийся дома один без родительского надзора, не побоявшись открыть незнакомцу, оставался невозмутимым и чувствовал себя вполне защищенным, словно за его спиной вырастали могучие силуэты взрослых.

Мансур не сразу сообразил, что перед ним в выжидательно-молчаливой позе замер его сводный брат. Пройдоха-отец ловко устроился на другом конце улицы и сумел обрасти не только бытовыми наслоениями, но и завести ребенка, который отличался от первого, как римлянин от иудея. Мальчик выглядел отстраненным, в чертах его проступала какая-то пугающая серьезность.

С минуту Мансур пребывал в растерянности, слова не шли у него с языка. Перед ним был странник, заблудившийся в лабиринте миров, и Мансур почувствовал себя в шкуре Миклухо-Маклая, окруженного коренными жителями Новой Гвинеи.

— Как тебя зовут? — спросил он, наконец, в воцарившейся тишине, чтобы отвлечься от исподволь нараставшего ужаса.

— Никита, — просто ответил мальчик, не отводя взгляда, настолько пронзительного, что казалось, будто он просвечивает собеседника, как рентген. Можно подумать, он только и ждал, когда незнакомец спросит его имя.

— А где твои родители?

— Папа на работе, а мама — в больнице.

В воображении Мансура предстала жуткая семейная сцена, бенгальски искристая ссора, в ходе которой пьяная сволочь, разбуянившись, хватается за нож, резко сует его под ребро, и жертву на «скорой» с завываниями увозят в больницу. Голос Никиты при этом не выражал никакой печали. Он очень любил свою мать, но при расставании с ней не испытывал глухой беспросветной тоски, какую испытывают почти все дети, оставленные на попечении злых менторских теток. Он мог бы легко обойтись без матери, без отца, бабушки, брата, друзей. Никита как бы жил вне мира, продолжая делать свое, никому не нужное, когда давно пора было остановиться.

— А почему ты не в школе?

— Я не люблю школу, — сказал Никита удивленно, все больше впадавший в эскапизм. — Там много шума.

Мансур вспомнил свою школу, садистическую, позднесоветскую: одноклассники инстинктивно выбирали жертву, какого-нибудь доходягу, который на физкультурном построении стоял последним, налетали на него всей кодлой и издевались, пока не надоедало. Скуку навевали дроби, граничные условия и уравнения, их приходилось изучать за холодными партами. Топили в школе пресквер но, в оконные щели задувал

злой ветер, дети сидели в верхней одежде и подолгу расписывали шариковые ручки, в которых застывали чернила.

— Да, школа не самое лучшее место, — согласился Мансур, овеянный воспоминаниями, от которых и во взрослой жизни нельзя было отбиться. — А что случилось с твоей мамой?

Никита опустил глаза, но в лице нисколько не изменился.

— Она больна. Тяжело больна. Ей нужна операция... Деньги... Много денег...

Мансур представил старого, загнутого крюком отца: он горбился на заводике, не зная, где взять лишнюю копейку, чтобы вернуть этому мальчику мать. У Мансура были деньги. Он мог бы покрыть все расходы — теперь-то что, теперь деньги не нужны ему вовсе! Но он вспомнил про Хасана: тот нервно курил, дожидаясь возле подъезда.

— А что ты делаешь дома один? — спросил.

— Я играю. Хотите посмотреть?

Никита распахнул дверь настежь. Мансур молча кивнул и вошел в квартиру.

Детская комнатка Никиты была аккуратно прибрана: никаких тебе свалок игрушек под ногами, машинок, солдатиков, рассыпавшихся частей конструктора — все лежало на своих местах. Никита играл в какую-то странную, недетскую игру, и в этой тихой игре его не находилось места посторонним. Никаких безобидных салочек — догоню — и по спине, — мальчишеских войнушек, междоусобиц «двор на двор», когда вторгались чужаки, как это было в Мансуровом детстве. Он играл один, с самим собой, игра его была лишена воображения. С маниакальной точностью он раскладывал предметы в ряд, сортировал их по величине и объему, находя в этом монотонном многочасовом занятии успокоение.

Еще Никита рисовал. Его рисунки, мрачные, набросанные на белые листы бумаги серыми штрихами простого карандаша, тоже отличались какой-то необычайной взрослостью. В альбоме повторялся, как рыбак в отражении воды, один и тот же сюжет: путники, Христос и двое его учеников, один из которых Клеопа. Христос уже распят, жители Иерусалима узнали о чудесном исчезновении Его тела из гроба. Желая быть неузнанным, Он явился ученикам в виде простого путника и стал расспрашивать о случившемся в городе. Из их рассказа Христос понимает, что даже ученики не верят до конца в божественность Его происхождения и в чудо Воскресения. Картина называлась «Христос на пути в Эммаус».

Никита взял карандаш и зашорхал по бумаге размашистыми конькобежными линиями. Сосредоточенно сопя и внимательно хмуря брови, он выписывал фигуру новоявленного Христа, принявшего за людей крестную муку. На лице Его живо выделялись грустные, испуганно-удивленные, как у всех евреев, глаза, бледные губы чуть тронула улыбка всепрощения. С особым тщанием Никита прорисовывал Христовы кисти, чуть удлиненные, его гибкие, как змеи, пальцы, тонкие и выразительные, поражавшие своим благородством, продолговатые ногти с белыми лунками.

— Почему ты рисуешь один и тот же рисунок? — спросил Мансур, утвердившись за его спиной.

— У меня не получается. Это все неубедительно. Вы же видите, они не поверили.

Он сделал еще один набросок: все тот же печальный Христос, окруженный учениками. По их словам, многие женщины Иерусалима сошли с ума, ибо им привиделся Христос, воскресший после распятия. Он выслушал их с кротким смирением, еще не открывая всей правды, зная, что грустная улыбка убедительнее перекошенного от ярости лица. Но Никите хотелось, чтобы они уверовали, опознав в словах Его беспримесную правду.

Вдруг Никита протяжно взвыл, пытаясь заглушить рвущийся из печенки истерический крик, отшвырнул карандаш в сторону и стал рвать альбом на кусочки,

задыхаясь от мучительных слез творческого бессилия. Такая реакция казалась удивительной для замкнутого мальчика с безнадежной узостью эмоциональной сферы. Мансур что-то слышал о необычных экземплярах человеческой породы, о странных детях, запертых в ледяной скорлупе своего одиночества, затоптавших в себе любые сантименты. Отгородившись от реальности, они созидают сияющие аутичные миры, находя спасение в этом каждодневном подвиге. Сквозь детские черты отщепенцев проступала обреченность взрослого человека, который сознательно вычитал себя из мира, зная, что его не переделать.

Никита все время рисовал, словно это был единственный способ выжить. Хотя и жизнь его давно превратилась в какую-то искусственность, так же мало походившую на ускользающую от грифеля его карандаша реальность бытия, как аллегория или опера. Он сторонился мира, чувствуя себя в нем улиткой без домика, существом с содранной кожей, сторонился торжествующего, наглого, сознающего себя зла, наслаждающегося абсолютной безнаказанностью. Но оно всякий раз проступало на бумаге, как проступают годовые кольца на срезе пня. Пусть и не зло даже, а только бесконечная грусть неверия, отчаяние, тоска.

Творимые Им чудеса не вытравили из людей мучительного сомнения: клявшиеся быть до конца отвернулись, остальные рассеялись, впав в великое уныние. Писано бо есть: поражу пастыря, и разыдутся овцы стада. Христос не сумел переделать мир, куда уж нам, грешным, эти заоблачные выси.

— Даже у Него не получилось, — сказал Мансур, положив широкую теплую ладонь на хрупкое Никитино плечо. А тот все рисовал, рисовал, словно хотел перерисовать новозаветную историю, в которой Богочеловек, уподобившись агнцу, принес в жертву Себя.

И в эту минуту на фоне расхристанного альбома и смятых рисунков становилось очевидным, как примитивно зло и как жалко это злорадное ничтожество Хасан, снедаемый мстительными чувствами, — ему необходимо посадить кого-то в лужу, чтобы почувствовать себя человеком. Зло дается без каких-либо усилий, достаточно плыть по течению и соблюдать определенные правила, как их соблюдают люди, страдающие синдромом навязчивых ритуалов: если, например, не постучать по дереву, случится сглаз; если не нахамить кому-либо в трамвае или очереди — день прошел зря; не обидеть слабого, не унизить старого. Вдобавок, нет ничего добрее зла, которое не требует от человека личностного роста, лишь потакания своим умыслам, а антихрист — лучший из людей, зеркало, в котором отражается каждый человек со всеми его недостатками, радуясь, что он не одинок: мы, брат, одного поля ягоды.

Хасан и его дружки лили кровь во спасение, уверовав, что если основательно пострадать — год выдастся удачным: рыбаки заарканят большого сома, а амбары будут лопаться от хлеба, свезенного для молотьбы.

Такая жалость охватила Мансура — всех хотелось обнять, простить: и заурядного уголовника Хасана, и махровую дуру Ирку, и всех, всех.

Мансур обнял Никиту и крепко прижал к груди. Сегодня он никуда не пойдет.

Роман Рубанов

Богатыри

Дед

— А у этой зимы...
— А была зима?
У неё, как мой дед говорил всегда:
«Берегов нема.
Вот такая, внучек, беда».

— Я про зиму. Что не было той зимы...
— Так и я о том же. Вот, помню, дед
Говорил: «Вот возьмёт взаймы
У весны. Проживёт сто лет».

— Что? Сто лет зимы?
— Ну не сто... не сто...
Это дед так образно говорил.
Доставал кисет и за стол:
Чаи гонял да курил...

И чего не привидится
В том дыму...
Да, любил самосадом он глотку драть...
Каково ему
Было той зимой помирать?

Берегов нема.
И течёт река.
А в реке линьки, караси, плотва...
Деда в лодке. Вёсла в руках.
А над дедом слова... слова...

Рубанов Роман Владимирович — поэт, актер, режиссер. Родился в 1982 году в дер. Стрекалово под Курском. Окончил Курский университет и театральную студию при Курском театре юного зрителя «Ровесник». Автор книг стихов «Соучастник» (М., 2014), «Стрекалово» (М., 2016) и «Соната №3» (М., 2020). Участник Всероссийских Форумов молодых писателей в Липках. Лауреат литературных премий им. Риммы Казаковой «Начало», «Звёздный билет» и др. Живет в Курске.

Богатыри

Страшная сказка

Головою Змия пугал богатырь село:
На крыльцо её втащит, бывало, — соседи в крик,
Мужики бегут, хоронятся, ребятишки плачут навзрыд,
Бабы крестятся, падают. — Вот прилетел! Зело
Надоел супостат, никакого житья от них!
Проклятущий иезуит!

Доставай теперь из кубышки медь, ведь
Всё ему аспиду! Что нам с этой меди теперь?
Раньше вон из неё хоть пуговиц наклепай, хоть колокола отлей.
То ли дело, если б пришёл медведь
Или какой другой зверь,
Скажем — лев.

Богатырь смеётся, — Бывало, сражал и льва...
И медведя, бывало, — за космы — и поражал!
А теперь вот ходить в доспехах отвык, тяжелы стали мне, увы...
А что вы темны, то мне искренне жаль вас,
В самом деле, от чистого сердца жаль,
Что боитесь змиевой головы.

А народ, — боимся мы этого мертвяка,
Хоть и знаем, что не живой — всё одно дрожим.
А особенно как увидим вот так, пред собой вблизи.
Кто его знает, башка его вон сохранилась как,
Будто бы до сих пор жив —
Зыркает, паразит.

Уходи, не пугай, в страхе нас не держи,
Уходи не на край села, из села, из страны,
Прах от твоих ног выметем аккуратно и соберём в совок.
Богатырь, вздохнул, дескать, мол, — Всюду жизнь, —
Так его и запомнили — со спины...
А ещё голову змия в руке его.

Алёша Попович в плену

Старший татарин, на башке корка как скорлупа,
Спрашивает: — Алёша Попович? Стало быть, сын попа?
Стало быть, знаешь Писание хорошо?
А как получилось, что ты к нам в плен попал?
Или знал, куда шёл?

Мы ж басурмане. Мы же не поглядим,
Что ты с крестом и ладанкой на груди.
Или ты думаешь, что ты непобедим?
А мы напряжёмся и победим.

— Знаете что, ребята, кончай базар!
Или давайте драться, или — расход!
Что я, по-вашему, что ль не видал татар?!
Что за народ!

Я вас и безоружный могу ложить...
Оговорился... прошу прощения, класть.
Кто у вас главный? Ну-кася, покажись!
Где ваша власть?

— Власть наша — степь. Мы ж кочевники. Говори.
Степь тебя слушает — вона как напряглась.
И за что вы нас так не любите, богатыри?
Вы только и знаете, что класть.

Сколько нас в этой степи лежит — не сосчитать.
Всё из-за вас. Что ж вы бродите по-одному?
А то бы явились втроём, перебили бы сразу всю рать,
Ой, извини, орду.

— Врёте! Степь наша! С чего она ваша — степь?
Всё здеся наше: и небо, и облака...
И песни наши, которых вовек не перепеть,
Тем более вам, кочевникам.

Значит так, вещи собрали — и по домам!
Глупость сказал, понимаю, откудова дом у кочевника?
В общем, у вас два выхода: сума или тюрьма...
Или смерть, а там — небо и облака.

— Окстись, Алёша, это ты ведь у нас в плену!
С чего ты решил условия выдвигать?
...И после этих слов татары улетали в небо по-одному.
Потому что Алёше было проще сделать, чем отвечать...

Илья

— Спишь, Илья? — Не сплю, гляжу:
За окном снег творогом,
А в снегу ползут, как жуть,
Печенеги-вороги.

Встал бы — ноги не идут —
Мягкие, как ватные...
Так Россею и сметут
Вороги проклятые.

Погляжу на календарь —
Тридцать лет уж минуло.
На календаре январь,
Осень кожу скинула...

— Ты, Илья, вставай, вставай,
Расходитесь, ноженьки.
Ты, Илья, давай-давай,
Одолей безбожников.

Крепче ладанку сожми
Пятернёй мозолистой,
С печки, ну-кася, шагни,
Да и солью крови сталь

Просоли, махни мечом...
Из земли расти...
Вон — закатом кровь течёт —
Захлебнёмся вскорости.

— Руку дай! — Держи, Илья!
Обопрись, и с Боженькой!
Ты, теперича не я:
Старый да безноженькай.

Ты — былинный исполин
Нашей Богородицы.
Ты ж на Русь такой один!
Сто таких не родются!

...Двери скрипнули в избе,
Паром зимним пыхнуло,
И по всей земле, везде
Кровь калиной вспыхнула.

Скрылся в поле за сосной
Кожушок заплатанный.
За широкою спиной
Вся Россея спрятана.

Ирина Горошко

Рассказы

Девочка. Аня

1

Квадратные носы ботинок впечатывались в мокрую мягкую почву. Джинсы пообтрепались внизу, стеганое пальто горчичного цвета некрасиво темнело на рукавах у запястий.

Накрапывал дождь, в квадратной сумке-шоппере валялся зонт, но доставать его не хотелось. Еще там были тряпичный кошелек, книжка «Удушье» Чака Паланика в помятой оранжевой обложке, замусоленный дневник ученицы восьмого «А» класса, несколько тетрадок, пара учебников и гигиеническая помада. И ключи.

Аня медленно шла вдоль реки, капли дождя падали на воду и становились рекой. Она тоже хотела быть рекой, спокойной, уверенной, безмятежной. Но тишину яростно прервала сумка, что-то в ней визжало и требовало внимания. Ах да, в сумке еще был телефон.

— Да, мам?

— Аня, где ты? Уроки когда закончились?

— Мам, я гуляю.

— С кем?

— Одна! Всегда одна, мама! Когда ты уже прекратишь спрашивать?

Аня отнесла телефон от уха, палец завис над кнопкой с красной трубкой.

— ...Да гуляй ты с кем хочешь, можешь мне не говорить, но хотя бы звони, что опять ушла! Я сижу дома, борщ сварила, жду, а тебя нет и нет.

Глубокий вдох, выдох, — выдохнуть злость и раздражение.

— Мам, я буду через час, хорошо?

— Тебе тепло там? Дождь идет, у тебя зонт хоть есть?

— Мам.

— Таблетки мне купишь по дороге?

— Они же по рецепту, мама.

— Точно. Жду тебя. Пока.

Поднялась по серым парковым ступеням, вдали в тумане виднелась чешуйчатая башенка обсерватории планетария. За ней проглядывал нечеткий круг колеса обозрения с едва различимыми красно-желтыми кабинками.

Ирина Горошко родилась в 1989 году в Минске. Магистр социальных наук. В разные годы жила в Вильнюсе, Риге, Ереване, изучала визуальные, культурные и гендерные исследования в Европейском гуманитарном университете. Живет в Гомеле.

В «Дружбе народов» — первая толстожурнальная публикация автора.

— Привет, Аня.

Она стояла рядом, как всегда, голая, как всегда, неживая.

— Ты снова тут?

— Конечно, тут. Я всегда тут. Идем?

Она взяла руку Ани в свою, сероватую, полупрозрачную. Ане хотелось сжать ее покрепче, но было страшно, что тогда она исчезнет, испарится.

Дошли до планетария, она открыла тяжелую дверь, пропустила Аню вперед.

— Не бойся, ты же знаешь, когда ты со мной, они тебя не видят.

Кассирша равнодушно читала газету, уборщица смотрела в стену. Никто не обратил на них внимания. По полу, выложенному мозаикой из острых кусков битой плитки, они прошли в зал. Темно, несколько человек, раскиданные по разным креслам зрительного зала, смотрели на купол, по которому были разбросаны яркие созвездия.

Аня села, сделала глубокий вдох, закрыла глаза.

— Сегодня такие кадры собрались, — прошептала она, — будь готова.

— Готова к чему? — не успела Аня закончить вопрос, как нечто подхватило ее и унесло. Она растворилась, ее не стало. Через несколько секунд она увидела Большую Медведицу на куполе глазами Юлии, двадцатипятилетней женщины. Юлия утром узнала, что беременна от бывшего, гуляки и наркомана. Она бестолково бродила по городу полдня, пытаясь понять, способна ли на аборт, и вот очутилась в планетарии. Не удивительно, что Аню занесло именно в нее: расстроенные, рассеянные люди — самые легкие объекты для вселения. Было бы здорово, если бы в такие моменты у Ани была свобода воли и она могла решать, как поступить с этими людьми, — заставлять их делать что-то или нет. Но никакой свободы не было. Как только Аня вселялась, она уже знала, что случится, все было предрешено, как будто нечто более сильное просто использовало Аню для каких-то своих замыслов.

Юлия хлопнула дверями планетария и пошла к Свислочи. На ней было тонкое трикотажное платье, она не заметила, что оставила пальто в зале. Девушка долго стояла, смотрела на воду. Потом перелезла через ограду и свалилась в реку. Было темно и безлюдно, никто ничего не заметил. Аня дома ела борщ.

2

— Она не должна так делать.

Ане было десять. Она сидела на лавочке вполоборота, опираясь ладонями на деревянную спинку, а подбородком на ладони, глядя на огромного бронзового Максима Горького, который смотрел на воды Свислочи, заточённые в бетонные стены. Мама сидела рядом, закинув ногу на ногу, держала книгу в одной руке, а другой прикрывала глаза от слепящего солнца.

— Кто ты? — еле размыкая губы, прошептала Аня.

— Я — подружка. А она — нет, — слева стояла девочка примерно возраста Ани и указывала на маму.

Странная девочка. Бледная слишком, прозрачная почти.

— Почему ты голая? — тихо спросила Аня.

Мама дернула плечом, положила руку на колено дочери и провела по голой коже до самого начала ее коротких, еле прикрывающих попу шорт.

— Так надо, — прошептала девочка. — Идем со мной, я тебе что-то покажу.

— Мам, я прогуляюсь, — Аня поднялась, потянулась, вытягивая сцепленные в замок руки вверх.

— Хорошо, но недалеко. Чтобы я тебя видела, — мама не оторвалась от книги.

Аня с девочкой спустились к набережной, девочка шла еле-еле, словно имитируя движения в замедленной съемке, Аня пыталась подражать.

— Она не должна так делать, Аня, — повторила девочка.

— Как делать? Кто? — Аня не могла оторваться от большого пальца левой ноги, обтянутого белым носочком. Вот она поднимает ногу, он медленно отрывается все дальше от земли, все ближе к Ане, а потом — раз, и снова обратно к земле.

— Она, — девочка указала на сидящую в пышной зелени деревьев маму. — Она не должна этого с тобой делать.

— Аня! — мама широко махала рукой и показывала на часы.

— Она не видит тебя, так? — повернулась Аня к девочке и впервые рассмотрела ее: большие глаза с совершенно белыми ресницами, нос в белых веснушках, бледные губы. — Тебя не существует, так?

— Я — подружка, Аня. А она — нет.

Она так никогда и не рассказала, как ее зовут, сколько ей лет, откуда она взялась. Аня про себя называла ее просто «девочка», а когда злилась — «мертвая девочка».

Когда Ане стало тринадцать, девочка показала фокус. Привела в планетарий и предложила представить, что Аня может стать любым человеком из тех, кто там сидит. Нужно было пройти к креслу в самом дальнем ряду, чтобы за спиной никого не было, прикрыть глаза и дышать медленно-медленно — медленный вдох, медленный выдох — и пауза, не дышишь. И слушаешь, чувствуешь.

И Аня услышала. Как бьется сердце женщины в первом ряду. Как трепещет от страха перед походом к зубному рыжий мальчик слева. Как боль разливается по телу женщины справа, от которой утром ушел любовник. И когда Аня словно наполнилась всеми этими людьми, произошло что-то, перескок, переключение, и она оказалась рыжим мальчиком, не слышащим ни слова о планетах и звездах, угнетенным мыслями о том, что меньше чем через час нечто страшное и жужжащее будет сверлить у него во рту, и он не сможет пошевелиться или ответить, не сможет встать и убежать, а рядом будет сидеть мама и за всем этим наблюдать. Или, что хуже, мама вообще останется в коридоре, и он будет брошен один на один с маньяком в белом халате, забрызганном кровью. Аня оторвала руку мальчика от подлокотника, аккуратно потянула за жесткий язычок молнии на ранце. Пальцы мальчика вцепились в холод стальных ножниц.

Сеанс закончился, включился свет, мама мальчика повернулась к сыну — и закричала. Рука мальчика была красная, он проткнул кожу между большим и указательным пальцем и расковырял рану так, что она сочилась кровью. К зубному в тот день они не попали.

3

Мертвая девочка появилась в том году, когда умер папа.

Аня в тот самый момент катилась вниз в кабинке колеса обозрения. Скорее всего. Новость о смерти она узнала уже дома от мамы, и почему-то казалось важным просчитать, что именно она делала, о чем думала, когда папа лежал, мертвый, на асфальте.

Фура врезалась в папину машину на въезде в город, а дома он обещал быть в четыре. С момента, когда машина проезжала синюю табличку «Минск» и до приезда домой — около часа. Аня это хорошо знала, она всегда этот час еле дотерпевала до дома. Ей хотелось п*и*сать, хотелось есть, хотелось еще черт знает чего. Обычно папа ее забалтывал, рассказывал смешные истории, она хохотала.

Значит, папа умер где-то в три часа.

В два закончился спектакль «Кошкин дом» в ТЮЗе, куда они всем классом в тот

день ходили. Классная, Мария Ивановна, высокая и какая-то всегда измученная блондинка, предложила дойти пешком до парка Горького и прокатиться на колесе. Мол, весна, погода такая солнечная, как раз в парке будет хорошо.

В кабинке колеса обозрения Аня оказалась с двумя гадкими одноклассницами и соседом по парте, Лёшей. Он сразу забился в угол и упорно смотрел только в окно, на землю и деревья, становящиеся все меньше и меньше. Одноклассницы по-недоброму цеплялись к Ане, дразнили их с Лёшей, что они не только за одной партой сидят, но и «лю-ю-юбят» друг друга. Лёша презрительно кривился и бурчал, что Аня ему вообще не нравится, Аня следовала его примеру, копируя брезгливую интонацию.

И это занимало Аню, когда папа захлебывался кровью на въезде в город.

Целыми днями мама плакала, закрывалась в спальне, не смотрела и не разговаривала с Аней. А потом куда-то исчезла. Аня жила то у бабушки, то у тети. Тетя была совсем не похожа на маму, и Аня удивлялась про себя, как это они сестры. У тети, даже если она была серьезной, улыбка всегда была поблизости, наготове. Однажды тетя с мужем посадили Аню на заднее сиденье своей синей машины и привезли к серо-розовому зданию с большими окнами. Вошли внутрь, присели на металлическую лавку. Ждали долго. По коридору проносились люди в белых халатах, а еще туда-сюда ходил сутулый бородатый мужчина и что-то нашептывал в кулак, поминутно оборачиваясь. Аня хотела спросить, что он делает, но испугалась почему-то.

Мама вышла в старом своем домашнем платье, поверх — вязаный свитер, от которого вниз спускалась нитка. Мама была бледная, двигалась медленно, в ее теле как будто не стало жизни. Она почти не смотрела на Аню, говорила только с тетей, тихо-тихо. И лишь напоследок вдруг обняла Аню, аж больно стало в ребрах. Но ничего не сказала.

Через несколько месяцев мама вернулась домой. В ту ночь зареванная мама попросила Аню прийти к ней в кровать и поспать рядом. Аня вылезла из-под одеяла, босиком прошлепала в родительскую спальню, в темноте задела боком комод, с которого упали бутылочки с лекарствами. «Ничего, дочка, я подниму утром. Ты, может, пижаму сними, у нас с папой одеяло теплое», — мама лежала на боку, ее плечи вздрагивали, голова ее, освещенная ярким фонарем из незашторенного окна, была похожа на череп.

— Мы остались с тобой вдвоем, Анюта. Ты же меня никогда не бросишь, да? Всегда будешь с мамой? Я не могу пойти туда, куда ушел папа, Аня, из-за тебя не могу. Но ничего, папы нет, зато ты у меня есть, девочка моя, — мама лежала на спине, обнимала Аню за плечи и поглаживала ее голову, прижимая к своей ключице. Щекой Аня чувствовала соленую мамину воду.

Аня энергично, насколько позволяла поза, кивала. Конечно, она никогда не бросит маму. Раз все теперь зависело от Ани, то она будет сильной, она никогда не подведет маму, никогда не заставит ее плакать. Никогда не будет ее расстраивать, чтобы мама снова не оставила Аню, чтобы ее не поглотили мрачные коридоры серо-розового здания с большими окнами. Коридоры, по которым бродят странные, страшные, больные люди.

Аня сделает все, отдаст маме себя всю, лишь бы мама никогда больше не была больной и несчастной.

Аня спасет маму.

Это длилось около двух лет, — Аня с мамой в одной кровати. Иногда было противно, мамино дыхание слишком близко, ее запах, который Аня привыкла чувствовать, только когда мама ее обнимала, был совсем рядом, сильный, насыщенный:

пот, духи, ее волосы, что-то горьковато-сладкое. Во сне мама могла прижаться к Ане, обнять за талию сзади, щекотно дышать прямо в шею.

Однажды у Ани пучило живот, она тихонько выбралась из-под одеяла и прошла на цыпочках в туалет. Через несколько минут ворвалась мама, закричала, чтобы Аня больше не смела, никогда не смела так делать — бросать ее в ночи, оставлять ее одну, как отец, как папаша, никогда, никогда!

И Аня научилась терпеть. Она могла полночи не спать, держать мочу в себе, дожидаясь утра. Но, если вечером она неосмотрительно напилась сока или газировки, и уже в два ночи все тело превращалось в больно пульсирующий пузырь внизу живота, она аккуратно проводила рукой по плечу или щеке мамы, шептала, что отойдет, но придет скоро-скоро. И уходила, дождавшись сонного кивка.

Как-то утром Аня набросилась на маму и заколотила по ней кулаками.

— Анечка, ну полно, иди ко мне, — пыталась мама притянуть дочь к себе, но девочка вырвалась и закрылась в ванной.

— Аня, что же ты со мной делаешь, пощади меня, открой! — кричала мама в щель между дверью и стеной, а Аня сидела на полу и рыдала, больно сжимая пальцами кожу лица.

Это повторялось несколько раз. И даже потом, когда вроде бы все было хорошо и мама пыталась обнять или поцеловать дочь, Аня тут же отворачивалась и резко высвобождалась.

Однажды на уроке математики она взяла острый колпачок от ручки и начала силой водить им по кисти, дожидаясь, когда выступит кровь. Потом опытным путем открыла, что иголки, нож, лезвие для этого подходят намного лучше, чем колпачок.

4

— Смотри-ка, кто пришел, — девочка указала на двух женщин, неуклюже снимавших с плеч пуховики и усаживающихся в третьем ряду.

— Не может быть, что она тут делает? — Аня рассматривала родную рыжую голову, которая активно поворачивалась то вправо, то влево, и каждый поворот сопровождался блеском сережек-цепочек, которые Аня подарила маме на Восьмое марта.

Присмотрелась ко второй голове и узнала в ней Марину, подругу мамы, а рядом с Мариной, значит, уселась ее семилетняя дочка Ая.

— Привели Аю смотреть про Солнце? Она же маленькая совсем, — Аня вжалась в кресло и молилась планетарию, чтобы он не позволил матери обернуться и узнать ее.

— Расслабься, не запалит она тебя. Она ж думает, что ты на спецкурсе по математике? Готовишься к экзамену в девятый класс?

— Тем более, — прошептала Аня и накинула капюшон.

Свет погас. На куполе вспыхнул огромный горящий оранжевый шар, рядом с ним совсем крохотный шарик, потом еще один, потом третий — Земля.

«Солнечная система включает центральную звезду — Солнце и восемь планет, вращающихся вокруг нее», — произнес красивый мужской голос.

Аня пыталась расслабиться, дышать медленно, как обычно, но все было не то, она не могла перестать думать о маме в зале, это было похоже на раздражающую занозу или сломанный ноготь — невозможно ничего делать, пока не разберешься с этим.

— Аня, ты чего? — шипела мертвая девочка. — Сегодня самый важный сеанс, всё, что было раньше, было ради него, а ты не можешь собраться?

Камера скользила по бурлящей поверхности Солнца. Аня прикрыла глаза. Внутри все горело так же, как на куполе. Аня растворялась в зале; страхи, любовь,

вожделение, стыд, вина, радость — Аня становилась сосудом, наполняющимся этими людьми и их жизнями.

И вдруг...

Нет!

Она не может. Она не будет.

— Аня, так надо. Давай.

— Я не хочу.

— Боишься за нее?

Весной природа просыпается, распускается трава, на деревьях появляются листья, оживает животный мир. И все это благодаря одному-единственному Солнцу, матери жизни на Земле.

— Конечно! Это моя МАМА!

— Твоя хорошая, святая мама? А то, что она с тобой делала совсем недавно, тебе неважно?

— Что же она делала? Что ты все твердишь? Что ты несешь?

Ане страшно хотелось отвернуться, но мертвая девочка вцепилась в плечи ледяными своими руками, молча смотрела в глаза и не позволяла пошевелиться.

И Аня увидела.

Ночь, она в родительской кровати, справа, на месте папы. Лежит, застывшая, делает вид, что спит. Мама снова прижимается к ней, Аня чувствует прикосновение к бедру, мамина рука медленно поднимается, соскальзывает к животу. И опускается. Мамины пальцы холодные и противные.

Это будто и происходит, и не происходит. Аня разделилась, раздвоилась: есть кто-то живой, который смотрит на это со стороны, и вот это застывшее тело в кровати с мамой. Замершее. Мертвое.

Хорошая, заботливая мама. Мама, все еще страдающая без папы. Мама, все еще принимающая по горсти таблеток по утрам. Так и не спасенная мама, — Аня ненавидела ее.

И за эту ненависть Аня наказывала себя, расковыривая руку колпачком до крови, а позже и водя по коже лезвием, оставляя красивые красные полоски.

— Только за это ты себя наказывала?

И тогда же в парке появилась мертвая девочка, все талдычащая про то, что мама не должна была так делать.

— Да, Аня, всё так — да не так. Что там еще было? В комнате? В постели с мамой?

Аня смотрела в прозрачно-голубые глаза девочки, которая стала необычайно, раздражающе спокойной.

— Это все правда, Аня. Она отобрала твое тело, — пальцы девочки больно впивались в плечи. — Забрала его себе. Но ты можешь его вернуть. Я — твое тело. Все самое важное происходит в воображении, Аня. Не надо этого бояться. Раньше же не боялась.

— Так что же там еще было? Ты скажи! Я не могу, — обхватив колени, Аня уткнулась в них лицом.

— Ты сама знаешь, — девочка наклонилась и шептала на ухо. — Два года назад, когда она сказала, что теперь ты будешь спать в своей комнате, что тогда произошло?

Тем вечером Аня задержалась на спецкурсе по химии и вернулась поздно, уже темнело. Она вошла к себе в комнату скинуть рюкзак и увидела заправленную постель. От белья резко пахло ополаскивателем «Горный источник». Мама сказала, что теперь Аня будет спать у себя. Одна.

Вспоминая, Аня как будто пальцами выкапывала что-то из твердой черной земли. Земля не поддавалась. Картинка не появлялась.

Вспомнила. Она рыдала весь вечер. Кричала. Дубасила кулаками по стене. Орала, что ни в какую свою комнату она не вернется. Что будет спать с ней, с мамой. Всю жизнь.

— Я не хотела уходить. Мне это нравилось. Мне нравилось быть с ней. Мне нравилось, что она рядом, как она пахнет, как она обнимает меня. Мне нравилось то, что происходило ночью.

Ноги Ани стали каменными и вросли в пол, руки превратились в безвольные плети. Жизнь медленно покидала тело Ани.

— Я отвратительна.

— Телу нравилось, Аня. Тело ребенка — тупое. Делай с ним что хочешь — ему будет нравиться. Взрослые на то и взрослые, чтобы не пользоваться этим. Но признать это удовольствие невозможно, невыносимо. Ты не виновата, ты ничего не делала — она делала. Ты наказывала себя не только за ненависть к ней, но и за удовольствие, Аня. Но ты — не виновата. Ты — не отвратительна.

Аня молчала и дышала, медленно, целую вечность. В солнечном сплетении загорелся крошечный огонек. Он становился все сильнее, увереннее, ярче. Свет пошел по всему телу и напитал его. Аня выпрямилась, ее лицо было спокойным.

— Я больше не буду резать себя?

— Если сделаешь то, что должна, — нет.

Аня глубоко вдохнула и выдыхала бесконечно долго.

Солнце дарит Земле жизнь, но при этом и несет в себе огромные опасности. Одна из них — ультрафиолетовое излучение, в больших количествах способное уничтожить все живое.

Во тьме планетария рыжеволосая женщина в третьем ряду достала из-под кресла нож, вытянула руку вперед и с силой воткнула нож себе в грудь. Отвела руку — и снова воткнула.

И снова.

И снова.

И снова.

И в лицо.

И снова.

И снова.

И в пах.

И снова.

И снова.

И снова.

Серебряные серьги-цепочки утонули в кровавой кашице.

Тьма планетария отступала, Аня открыла глаза.

Рыжая женщина в третьем ряду поднялась с сиденья, что-то сказала на ухо спутнице, они захохотали, спутница взяла за руку дочку в красной шубке, и они направились к выходу.

Кресло, где сидела мертвая девочка, было пустым.

В следующий раз Аня оказалась в парке Горького через несколько месяцев, летом. Она шла по залитой солнечным светом дорожке, рядом болтала подруга Рита, а два одноклассника обсуждали, можно ли курить в кабинке колеса обозрения, куда они вчетвером направлялись. На Рите и одноклассниках была одежда, и кожа их не казалась прозрачной. Они были живыми. И Аня тоже — Аня была живая.

Фатум

1

— Ну харашо, унучок, што жэнишся, харашо! Тока я к вам не приеду, старая же, куды мне да города чатыры часа тирпеть, не, кости мои ни выдержат!

Алексей аккуратно обнял маленькую хрупкую бабушку Жанну, прощаясь. Он, конечно, знал, что никуда она не поедет, но пригласить нужно было. Невесту показать не привез, Алина уперлась и целый день тратить на поездку отказалась: дедлайны у нее в универе.

Баба Жанна обхватила сухими ладонями лицо внука и, жмурясь от солнца, всматривалась в юную кожу с веснушками, выступающие скулы, ярко-синие глаза.

— Толькы малодзеньки ты таки, ох яки малодзеньки! Ну, шасця вам, молодым. Хай все с тобой хорошо будет, родненький. Хай праклятце тебя не коснется, — и перекрестилась.

— Бабуль, что?

Бабушка зарыдала исступленно, отдавая неведомому горю себя всю. Алексей не реагировал — привык, знал, что ей нужно отрыдаться, а дальше снова заговорит как ни в чем не бывало.

— Саграшыу прадзед Казик твой, саграшыу, гвалтауник[1] паганы! И прокляла яго Ядвига, ведзьма, точна гавару табе! И усё — прадзед умёр, рабёнка не даждаушыся, дзед твой памёр, как жонка зацяжарыла[2], батька твой тожа ж — памёр, кагда мамка на чатьвёртым месяце была! Ох хоць бы да трэцяга калена это толькы было, хоть бы ты выжыу, Ляксеюшка мой дараги, — и снова в слезы.

Белая «Тойота» Алексея уже проехала синий указатель «Минск», когда позвонил телефон. Включил громкую связь.

— Крокодильчик, ты скоро?

— Да, Алин, уже в город въехал.

— А что мы невеселые такие?

— Да устал я.

— У меня новость для тебя, — голос Алины звучал странно, слишком возбужденно, словно это была не совсем она, а кто-то очень на нее похожий, — рановато это все, возможно, но мы же все равно женимся.

— Ящерка, ты о чем?

— Приедешь — узнаешь, — как никогда звонко хихикнула невеста и отключилась.

Тяжелыми ногами Алексей поднимался по лестнице. Сырой, серый запах помытого пола в подъезде перенес его в детский сад, где маленький Лёшенька вечерами ждал маму, спешащую со второй работы. Воспитательница уходила в семь и разрешала ему сидеть в коридоре. Уборщица меланхолично водила уродливой тряпкой по полу, иногда доставала из кармана грязно-голубого халата «Красную шапочку» в желтой обертке или «Аэрофлотскую» в синей. Лёша бормотал «спасибо» и засовывал конфету в карман. Почему-то было стыдно развернуть эту конфету и прямо перед уборщицей ее съесть, хотя и очень хотелось.

Он знал, что папа умер, когда мама была беременна, но постоянно забывал, как. То ли инсульт, то ли сердечный приступ. Мама не любила говорить об этом,

---

[1] Насильник *(белорус.)*.

[2] Забеременела *(белорус.)*.

сворачивала беседу словами: «Он был хорошим человеком и любил бы тебя, крепко-крепко. Это все, что тебе нужно знать».

— Милый, — юная воздушная Алина, босиком, в коротких шортах и не прикрывающей пупок майке встала на цыпочки и влажно поцеловала его в губы. — Как съездил, как бабушка?

— Хорошо, — он отвечал рассеянно, снимая через голову майку. — Устал очень, любимая, — попытался улыбнуться. — В душ и спать? Завтра ж на работу, — привычным движением он притянул Алину к себе и уткнулся носом в ее макушку — она пахла измельченным миндалем из марципана, это был ее естественный, животный запах. Он терпеть не мог, когда она его заглушала духами.

— Лё-ё-ёш, — Алина высвободилась и слегка развернула ступни пальцами внутрь, «капризная маленькая девочка» называл Алексей про себя эту позу. И голос ее становился манерным, требовательным. Взмахнула головой, затряслись пышные мелкие кудряшки. Как он любил мять эти кудряшки в кулаке, прижимаясь грудью к ее спине и ощущая, как подергивается ее тело.

— Лёш, у меня же новости. Помнишь, презерватив порвался и мы решили, что и черт с ним? Похоже, я беременна, Лёш.

2

Груди Алины становились все больше, превращались из подростково-недооформившихся в настоящие сиськи — иначе их теперь Алексей про себя не называл. Ее плоский, а по утрам даже впалый живот округлялся и надувался. В домофон звонили курьеры с пакетами одежды для беременных, Алина зачем-то оправдывалась, что все накупленное будет носить и потом.

Алексей привык, что у Алины много личин. Утром это могла быть беспомощная девочка с тонким голоском, вся такая спаси-меня-я-сама-не-умею, а вечером со встречи с продвинутыми подружками приходила воинствующая феминистка, толкающая речи про «мое тело — мое дело» и гендерную дискриминацию на рабочем месте. Как-то привел ее на корпоратив, и она сцепилась с боссом, потому что он рассказал «сексистский» анекдот.

Но сейчас в ней просыпалось что-то новое, доселе Алексеем не изученное. Алина улыбалась, но не как раньше, нервно и как будто фальшиво, а по-настоящему, глубоко, спокойно. Как будто ей стал доступен какой-то секрет, над которым бьются глупые люди, Алексей в том числе, но рассказать она этот секрет не может. Она становилась все более самодостаточной и далекой с этим своим животом.

Она по-другому реагировала на его ласки. То тянула в спальню после невинного поцелуя в щеку, то высвобождалась из объятий, будто он ей стал противен. В сексе невеста позволяла ему не все, чего он хотел. Стоило во время прелюдии его пальцам приблизиться к запретной впадинке, как Алина тут же вспыхивала, отталкивала его и срывающимся голосом повторяла: мне было очень больно, я не хочу, никакого удовольствия я от этого не получаю, и это все порнография, это все вам, мужикам, промыли мозги, что женщина прямо охуительно кончает, когда у нее в жопе огромный хер, а это неправда, неправда! Алексей смотрел на нее, слова летели мимо, и он прикидывал: ведь она такая мелкая, его Алина. Ведь скрутить ее тоненькие ручки так просто. И рот можно зажать ладонью. Конечно, он бы использовал много смазки, он бы не сделал своей девочке больно. Ведь дуреха не понимает, что стоит чуть-чуть потерпеть, не боль даже, а небольшой дискомфорт, и потом ей самой же будет хорошо. Она же кончила в прошлый раз, когда он ее на это уговорил. Он будет нежным, он будет двигаться медленно. И когда он отнимет руку от ее рта, она, обессилевшая от

удовольствия, его страстно и благодарно поцелует. Ведь он был прав, и этого хотела она сама — она наконец-то это поймет.

Ведь так естественно и натурально для мужчины — брать то, что он хочет. Разве не это и есть мужественность? Мужчина должен быть сильным и решительным. Разве не эту силу и ищут женщины? Потому что мужчина всегда лучше знает, как надо. И имеет право взять свое. Да и бабы — они же сами не понимают, чего хотят, пока этого с ними не сделаешь.

Правда же, прадед Казимир?

3

Полгода назад Алина начала ходить на групповую психотерапию, чтобы потом, когда закончит факультет психологии, сразу получить и сертификат группового аналитика. Уговаривала и будущего мужа — в другую группу, близким людям быть в одной нельзя. Он долго упирался, но согласился один раз попробовать. И остался.

Пол небольшого кабинета покрывал мохнатый бежевый ковер, на котором в круг стояли десять стульев. Белые жалюзи всегда были прикрыты, и свет в помещение пробивался мягкий, несмелый, делая участников серыми, безликими. Вдоль стен стояли книжные шкафы: «Введение в психоанализ», «Очерки по психологии сексуальности», «Толкование сновидений». Сессии начинались в одиннадцать утра, две субботы в месяц. Люди приходили, рассаживались. Сразу или после нескольких минут молчания кто-то начинал говорить. Активно высказывались человек пять, остальные или молчали, или говорили, но намного меньше. Алексей чаще молчал. Как-то одна девушка назвала его «загадочным». Он загадочно на это улыбнулся.

В тот раз одна из обычно молчавших девушек рассказала, что в пятнадцать лет ее чуть не изнасиловали. Она возвращалась с занятий танцами, зима, темнота, на нее напали сзади. Спас сосед, который вышел из подъезда. Девушка говорила и тянулась за белыми салфетками, замолкала, сморкалась и вытирала лицо. В ее руке была уже целая горсть использованных салфеток.

Девушку звали Лина. Пару сессий назад она обмолвилась, что в детстве много врала. Что-то в ней было ужасно отталкивающее: взгляд в пол, тонкие прозрачные запястья. Она постоянно, даже когда не плакала и не сморкалась, сжимала в руке салфетку. Алексею было противно думать о том, что ее ладони так сильно потеют, что без салфетки она не может. Лина как будто застряла в детском или подростковом возрасте и ждала, что сейчас все ее будут жалеть и опекать. Такая овца, так и призывающая над ней надругаться.

— Лина, а почему ты думаешь, что он хотел именно изнасиловать? Может, просто — обокрасть и все? Что у вас женщин за фиксация эта на изнасилованиях? Может, вы и правда бессознательно этого хотите? Есть же такое? — Алексей попытался найти поддержку у психолога Елены, ведущей группу. В тот день ее светлые волосы были убраны в высокий хвост, белая рубашка застегнута на все пуговицы.

Лина вскочила и выбежала из кабинета.

— Алексей, вам кажется, что женщины хотят быть изнасилованными? — невозмутимо повернулась к нему Елена с блокнотом на коленях и ручкой наготове.

— Ну да, я слышал о таком. Ну не всех же насилуют. Жертвы притягивают своих насильников. Виктимное поведение — это же не я придумал. Женщина ведь сама может не понимать, что бессознательно этого хочет. Ну разве нет?

— Ну ты и мудак, оказывается, — фыркнула длинноволосая брюнетка, сидящая напротив.

— Ты не согласна?

— Нет, конечно. Никто из адекватных нормальных людей с таким не согласится, Лёша.

Алексей шел по скверу, с силой раскидывая носками тяжелых ботинок громкие желтые и красные листья. Обычно после сессий он приходил домой взбудораженный, вдохновленный, обсуждал с Алиной, что там происходило, пересказывал интересные истории. Но сейчас домой не хотелось. Алина заполняла своим новым блаженством, ему недоступным, всю квартиру, и даже если он объяснял, что хочет побыть один, закрывал дверь в комнату, — одиночества все равно не получалось. Сам воздух как будто стал *присутствующим*, ядовитым, медленно отравляющим. Что-то он делал с Алексеем, этот воздух. Вот и в группе — что это было? Чего он решил высунуться с этими рассуждениями? Какое ему дело до изнасилованных и насилующих?

4

Свадьба получилась короткой и скомканной. Алина не пила, почти не ела, быстро устала. Белое платье обтягивало ее все еще субтильное тело с нелепо торчащим животом. Обе мамы крутились вокруг Алины, будто она инвалид. Лёша улыбался и целовал ее, целовал и улыбался. До рождения дочери оставалось четыре месяца.

Он курил возле ресторана, красивый в дорогом костюме и белоснежной рубашке.

— Не знала, что ты куришь, — подошла высокая женщина с шелковой накидкой на плечах, бокалом красного вина в одной руке и сигаретой в другой.

— Я о тебе тоже, — улыбнулся он, поднося зажигалку к сигарете.

— Счастлив?

— Страшно.

По вечернему проспекту неслись машины, увозя людей куда-то далеко, в свободу.

— Мама, а что там прадед сделал? Бабушка говорила, что нас прокляли.

— Дура твоя бабушка. Зачем рассказала? Твой отец вот тоже к ней съездил поделиться новостью счастливой, мы же тебя так ждали, так ждали! А вернулся уничтоженный. Долбанутая.

— Мам.

— Что мам? Есть легенда, что когда-то твой прадед вступил в связь с некой Ядвигой... не совсем по ее воле, так сказать... Она забеременела, пыталась сама сделать аборт и, конечно, умерла от потери крови, — в те времена аборты так и заканчивались. И с тех пор мужчины в роду умирают, не дожив до рождения своих детей. И каково мужчине — знать о своем предке такое? Дура баба Жанна! Зачем такое рассказывать. И я — дура пьяная, — она залпом допила вино.

— Изнасиловал.

— Типа того, — мама кинула бычок в серебристую мусорку. — Идем, отец семейства. Не верь херне.

— Мама, что за выражения! — от неожиданности он искренне, по-детски рассмеялся, впервые за много месяцев.

5

Алина стояла в коридоре лохматая, сонная, в леггинсах и мягком сером халате с розовыми котами. Поглаживала выпирающий живот.

— Крокодильчик, когда вернешься?

— Не знаю. Как все улажу, — вернусь, — он чмокнул ее в щеку.

Раньше бы она учуяла — по интонации, взглядам. Всего несколько месяцев назад все было иначе: если он замыкался, недоговаривал, отвечал односложно, — она сразу чувствовала. Она цеплялась к нему, расспрашивала; если не помогало, — закатывала истерики. Это могли быть разногласия с шефом, распри с коллегами, расстройства, что в любимой машине снова что-то сломалось и нужно вкидывать деньги в ремонт — глупости, никогда ничего серьезного. Иногда он ловил себя, что специально молчит, тянет, нагнетает, не признаётся ей, что его тяготит, лишь бы она снова кричала и рыдала — ради него, от любви к нему. А сейчас, казалось, ей было все равно. Она стала цельной. Он не был ей нужен.

Он гнал по пустой туманной трассе Минск—Гомель, стрелка спидометра колебалась в районе ста двадцати. В Гомеле была квартира друга, который давно живет в Москве. Заехать к его маме, взять ключи, заселиться. Шеф разрешил на время уйти на удаленку. Нужно найти завтра, где обедать, куда ходить за продуктами.

Он шел по бетонной набережной реки Сож. Он прощался: с голыми деревьями, вечной осенне-зимней серостью, темной застывшей водой. Воздух продолжал отравлять его, повсюду его преследовал запах гари, которого никто другой не чувствовал. Оно утянет его туда, вслед за отцом, вслед за дедом и прадедом. Так тому и быть — проклятый род насильников. Прости, Ядвига.

6

Через восемь лет Алексей сидел за столиком в кафе при кинотеатре «Беларусь». Сладко пахло попкорном с карамелью. Возле входа в кинозал стоял большой стенд с фото Анджелины Джоли с двумя закрученными рогами на голове. Напротив Алексея светловолосая девочка в фиолетовой куртке крутила в руках продолговатую стеклянную сахарницу. На столике блестела скомканная фольга от шоколадки.

— У нас такая же, — произнесла девочка.

— Что?

— Сахарница. Виталик купил. Мама старую разбила и расстроилась. Виталик купил сразу новую. Виталик — хороший, — с нажимом произнесла девочка и посмотрела на него как будто с укором, но он тут же убедил себя, что показалось.

Женщина в бордовой униформе открыла дверь в кинозал, выставила пластиковый ящик с 3D-очками.

— Пойдем, дочка, зал открыли. Сфотографировать тебя с Малефисентой?

Девочка кивнула и медленно пошла к стенду. Кроваво-красные губы Малефисенты задвигались, она посмотрела Алексею в глаза и четко произнесла: «Ты — умрешь». Он навел камеру смартфона на дочь. Она смотрела исподлобья и не улыбалась.

Дмитрий Сиротин

Красный свет детства

Рассказ

Во все глаза я смотрю на паровозик. Он такой классный, и как будто специально для моей тумбочки. В комнате темно, и красная лампочка внутри паровозика горит так уютно в этой темноте... Теперь спать мне будет совсем не страшно.

— Ну что, исполнила я твою мечту? — улыбается мама.

Я молча киваю, завороженный.

Я так мечтал перестать бояться! Как только ложился спать и выключал свет, изо всех углов на меня смотрели страшные рожи, и под кроватью, казалось мне, тоже сидит рожа. И только и ждет, когда я усну, чтобы схватить!

Конечно, я не видел этих рож, но они ведь были, просто в темноте ничего не видно. А красный, приятный свет паровозика-ночника будет теперь охранять меня всю ночь. На свет рожи вылезти не посмеют! Как вся нечистая сила, они боятся света. Должны же и они чего-нибудь бояться.

Я смотрю на паровозик, никак не могу заставить себя лечь спать, все смотрю и смотрю, хотя мама уже второй раз заходит и требует ложиться: поздно уже.

Я думаю о том, что в паровозике обязательно должен быть машинист. Очень маленький, конечно, но все-таки. Беру игрушечную сову, я ее так люблю, что погрыз ей все уши. Сажаю резиновую сову на паровозик, поближе к позолоченной трубе. Вот — машинист-сова! Пусть везет теперь. А на крышу паровозика сажаю «веселых человечков», тоже любимых. У меня их целый набор: Карандаш, Дюймовочка, Буратино, Петрушка...

Вот. Теперь вообще замечательно. Сова везет, «веселые человечки» едут. А куда они едут? Смотрю на красную лампочку и вижу, как за окном паровозика проносятся снежные поля, вечные снежные поля нашего города, где лето бывает так редко, что даже, можно сказать, и не бывает его.

Поля проносятся, долго, потом появляются низенькие деревца, потом деревца становятся все выше и выше, потом они зеленеют, это значит, паровозик все ближе и ближе к Москве.

Дмитрий Сиротин родился в 1977 году в Воркуте. Окончил филологический факультет Коми государственного педагогического института. Печатался в журналах «Урал», «Октябрь» и детских — «Кукумбер», «Чиж и Ёж», «Костёр» и др. Автор нескольких книг стихов и прозы.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

В Москве так здорово! Я был там всего один раз, но все запомнил: и Красную площадь, и зоопарк, и сосиски в кафе зоопарка (вкуснотища, в нашем городе таких никогда не было!), и метро, когда едешь-едешь в вагоне, а вокруг грохот и темнота. А потом выходишь из вагона, и по лестнице-чудеснице поднимаешься вверх, не сделав ни единого шага. Выходишь из метро на площадь какую-нибудь, а там дома такие высоченные! Магазины такие громадные! Все такое интересное, большое, совсем не похожее на мой маленький северный городок на самом краю земли...

Мама сидела в метро, а я стоял, и тут она сказала:

— Встань-ка поближе, перекрой меня!

— Зачем перекрыть? — удивился я.

Мама не ответила, только раздраженно сморщилась, схватила меня за руку и поставила ровно напротив себя.

Потом, пока мы ехали вверх по лестнице-чудеснице, она объяснила, в чем дело:

— На меня солдат один так смотрел, так смотрел! Аж не по себе стало. Вот я тебя так и поставила, чтоб он меня не видел.

На маму всегда обращают внимание мужчины, даже в Москве. Мама очень красивая, к тому же одинокая, а «мужчины это чувствуют», говорит она.

Я знаю почти всех маминых знакомых мужчин, она часто приводит их домой. Ну, не одновременно, конечно. Одного приведет, потом расстанется с ним, и другого приводит...

Был у нас, например, Вадик. Некрасивый, говорила мама. Хоть и хороший, и непьющий даже. И руки золотые. Но — некрасивый, не нравился маме. Поэтому расстались. Потом был у нас Пушкин. Ну, не тот самый, конечно. Просто его тоже звали Александр Сергеевич. Он был высокий и довольно красивый, но у него тоже был сын. И мы с его сыном как-то не подружились. Просто этот сын, видно, не очень хотел, чтоб его папа встречался с моей мамой. Не хотел его ни с кем делить, очень уж Александр Сергеевич хороший папа был. Разные модели даже делал. Самолетов и танков. Такие здоровские! А паровозов не делал.

А я люблю паровозы. И именно о таком мечтал. Чтоб и паровоз, и лампочка в нем, чтобы любоваться ночью, не бояться больше темноты и придумывать, куда он едет...

Был еще у нас длинный Миша. Очень высокий. Творческий человек. Художник. Он маму рисовал. Очень красиво получалось. Но у длинного Миши все время обнаруживались разные другие женщины. И мы однажды больше не стали это терпеть.

А теперь у мамы компьютерщик Давид. Компьютеры — дело пока совсем новое, необычное, тем более в нашем городке. Давид поэтому — нарасхват. Он большой и бородатый, похожий на медведя. Я его немного боюсь, хотя он добрый. Просто угрюмый. С Давидом мы уже долго, в общем-то, он нам нравится. Но мама Давида против, что он встречается с моей мамой. Потому что моя мама его старше намного. И потому что у нее ребенок, то есть я. А его мама хочет, чтобы Давид женился на девушке своего возраста, и чтобы у них дети родились свои, и чтобы внуки были родные, а не чужие, непонятно от кого.

Давид хороший, он даже меня из садика иногда забирает. Когда мама не может. Мы с ним идем по темной снежной улице и молчим. Он иногда только спросит:

— Не холодно?

Я вежливо говорю:

— Не-а.

И дальше идем.

Я смотрю на паровозик и думаю о том, что жизнь, в общем-то, хорошая штука. И мама у меня хорошая, просто она в поиске всегда... Ну и что, что я папы своего не знаю, зато есть компьютерщик Давид, и он вполне себе ничего. Может, даже женится на маме, если свою маму, наконец, переубедить сможет. И город у нас хороший, хоть и холодно все время. Не Москва, конечно, но тоже пойдет. И мама меня любит, вон помнит, что я темноты боюсь, и такой замечательный паровозик мне подарила. Даже не на день рожденья и не на Новый год, а просто так.

Конечно, она иногда на меня злится, даже часто... Раздражается, и за руку хватает, и иногда совсем без причины на меня кричит. Ну, просто ей тяжело. Мы же с ней совсем одни живем. Помогать некому. Тут любой злиться будет, даже самый добрый.

Я смотрю на свой паровозик и думаю, что пора спать. Ложусь, укрываюсь, закрываю глаза, а в закрытых глазах — все еще свет красной лампочки паровозика.

Однажды мы возвращаемся с мамой из садика, она веселая, совсем на меня не злится, что быстро иду, а она за мной не успевает.

— Давай по коктейлю! — предлагает она.

О, я обожаю молочный коктейль! Спасибо, мамочка!

Продавщица наливает нам в стеклянные граненые стаканы коктейль, дает трубочки... Я тяну коктейль, сладкий и холодненький, и даже глаза закрыл от удовольствия.

Дома нас ждет компьютерщик Давид, он тоже веселый и даже не молчаливый, как обычно. Обнимает меня даже, колется своей большой бородой:

— Привет! Как оно? Не замерз?

Мы долго все вместе сидим на кухне, и у меня, наконец, начинают слипаться глаза. И мама гладит меня по голове и говорит:

— Иди спать, малыш.

Я иду к себе в комнату, не глядя протягиваю руку к тумбочке, чтобы включить паровозик, и рука моя повисает в воздухе. Паровозика нет. Я потрясен. Может, он упал? Ищу его на полу, под кроватью, за тумбочкой... Нет.

Бегу на кухню, взволнованно спрашиваю:

— Мама, а где паровозик?

Мама смущается, переглядывается с Давидом, идет со мной в комнату.

Мы сидим рядом на кровати, и она тихо говорит:

— Понимаешь, я его подарила... Мне очень нужно было так сделать...

— Как? Мой паровозик? Подарила?! Кому??

— Тише, тише... Ну, маме Давида. Мы ходили с утра к ней, знакомиться, наконец, чтобы отношения наладить хоть немного. Ты же знаешь, как она ко мне относится плохо... А мама у него любит такие штуки, как этот паровозик. Мы долго думали, что ей подарить, тут я про него и вспомнила. И Давид сказал: как раз то, что надо. И правда, представляешь, помогло!

Я сижу оглушенный. Молчу, потом спрашиваю:

— Ты как? Ты насовсем его? Или потом заберем?

— Да ты что! — мама пугается. — Как заберем-то? Это же подарок! Тем более, это же мама Давида... Как забрать? Она зато смягчилась хоть немного. Даже поговорила со мной. Сказала, чтоб я Давида берегла. Кормила его хорошо. А то он вечно за своими компьютерами все забывает. Представляешь?

— Но это же мой... мой паровозик... — тупо повторяю я.

Я настолько потрясен, что даже не плачу.

— Ну да, малыш, твой... Я знаю, что нельзя так... Но пойми меня! — мама умоляюще смотрит. — Пойми! Я так долго его искала...

— Паровозик?

— Да какой паровозик! Давида! Ты понимаешь, наконец, у меня все серьезно?

— Но это был мой паровозик...

Мама еле сдерживается, чтоб, по привычке, не начать злиться. Даже зубы сжимает, так сдерживается...

— Когда-нибудь ты меня поймешь, — говорит она наконец. — И простишь. А пока... Знаешь, пусть это будет самым большим горем в твоей жизни!

Мама уходит. Я сижу. В комнате совсем темно, но я не включаю свет и даже страшных рож не боюсь, хотя они, наверное, уже давно торчат во всех углах и под кроватью...

Мой паровозик с красной лампочкой внутри, он так красиво и тепло горел, и можно было смотреть, смотреть на него и потихоньку засыпать... И думать, засыпая, куда еще сова повезет «веселых человечков»...

А теперь он — у какой-то чужой женщины. У мамы Давида. Она поставит его куда-нибудь далеко на полку и, может, даже включать не станет. Паровозик будет скучать по мне. Он будет скучать по мне, мой милый паровозик с красной лампочкой внутри...

Я засыпаю только под утро. Утром мама как ни в чем не бывало шутит:

— Одевайся, дурак, собирайся, дурак!

Это она не обзывается, просто присказка такая. Из какого-то мультика ее детства. Она часто так говорит. В шутку.

Мы идем в садик, я сзади, а мама с компьютерщиком Давидом — впереди, они держатся за руки. Они счастливы. Я рад за маму, но и обижен не нее очень. И мне по-прежнему безумно жаль паровозика. Я не выспался, хнычу, утром к тому же еще холодней, чем обычно, мне зябко и грустно. А мама только иногда оборачивается:

— Эй, ну, где ты там? Давай быстрей, на зарядку опоздаем!

А через месяц мама рассталась с Давидом. Его мама нашла ему какую-то девушку и познакомила. И эта девушка ему понравилась. К тому же она была моложе мамы и красивей, хотя мама тоже очень красивая. Да, и девушка была без детей. А я все-таки Давида смущал, хоть он и добрый был. Чужой ребенок всегда смущает. Это мама мне так говорила, все рассказывала, когда перед сном пришла ко мне в комнату и плакала. Давид сперва метался от мамы к девушке, а потом все-таки решился. И ушел.

Мама плакала, а я спросил:

— Значит, и паровозик мой не помог?

Мама уставилась на меня мокрыми глазами, замерла, а потом разразилась настоящими рыданиями, обняла меня и запричитала:

— Прости меня, малыш, прости, прости! Я куплю тебе новый, я найду, обязательно найду такой же! Прости меня!

Потом она еще долго меня обнимала и говорила, что — всё, Давид был последний, больше она ни с какими мужчинами не будет встречаться, все они бессовестные, и нам с ней никто больше не нужен, проживем и так.

И мы стали жить и так. Только паровозик мама больше мне не купила. Может, не нашла, а, может, и не искала. А потом я подрос и перестал бояться темноты.

Потом мама умрет, потом, через много лет, буду умирать я, но спасусь.

Ты меня спасешь.

И однажды, в пылу откровенности, я расскажу тебе эту историю про паровозик. Расскажу и забуду. А ты не забудешь, ты ничего не забываешь. И однажды ты найдешь его и подаришь мне. Совсем такой, какой был у меня! И труба позолоченная, и по три колеса с каждой стороны — два больших и одно маленькое, и такая же кабина с красным стеклом в тоненькую полоску.

Я включу его перед сном и буду смотреть на красную лампочку, так уютно горящую в кабине. Это будет уже не в моем всегда холодном городе, а почти в Москве, да-да, в той Москве, которая так восхитила меня в детстве.

Будет лето, и в темную комнату, на свет паровозика, влетит мотылек, станет биться крыльями о стекло кабины.

Я не засну, давно уже страдая бессонницей, но свет паровозика будет успокаивать, напоминая о давно покинутом северном городе, о живой маме, о стеснительном бородатом компьютерщике Давиде, о резиновой сове с обгрызенными ушами, о «веселых человечках». О нашей с мамой последней новогодней елке...

Мотылек снова и снова бьется о красное стекло кабины, все рвется к свету. И горит, и горит во тьме твой подарок, мой паровозик, горит и горит теплым светом моего детства.

Ольга Михайлова

Для Бога времени нет!

* * *

У лягушек голос песенный не звонок,
У лягушек колокольчик оловянный,
А за ними чьи-то стоны выше тоном —
Это плачет человечек деревянный:

«Кабы я из камня был или железа,
Спал давно на дне под песню лягушачью,
А такой я и на берег-крут не влезу
И для неба и невиден, и невзрачен.

Для чего меня Ты сделал из полена?
Дал мне мысли, словно стружки завитые?
Из дубового не вырваться мне плена,
Не войти в Твои долины золотые.

Мне такому место самое в болоте,
Но не хочет принимать меня трясина.
От меня вы, Небеса, всего-то ждёте,
Чтобы стал я, наконец, по плоти сыном.

Но приходят лишь коротенькие мысли:
Жил по лжи я и остался с длинным носом.
Деревянными доспехами я стиснут,
Не могу найти ответы на вопросы.

Рядом нежные нимфеи расцветают,
Я для них совсем чужой и очень странный,
И на все мои вопросы отвечает
Лягушачий колокольчик оловянный».

Михайлова Ольга Игоревна — драматург, сценарист, поэт. Родилась и живет в Москве. Вместе с Еленой Греминой и Михаилом Уваровым основала Театр.doc. Многие пьесы и сценарии переведены на английский и французский языки. Автор книги стихов «Близкий праздник» (М., 2017). В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Ветер

Пусть ветер несётся, весенний и нежный,
Он каждый листочек погладит небрежно,
Бумажку цветную подняв с тротуара,
В воздушном балете составит ей пару,
Уронит, забудет и дальше помчится,
Чтоб в шарик воздушный вцепиться-влюбиться,
В открытом окне раздувать занавески,
И вывернуть зонтик нахально и резко,
И шляпу сорвать, и на тучу сердиться,
Что нудным дождём помешала резвиться,
Прогонит её и, качаясь на ветке,
За шиворот капли стряхнёт малолетке,
И с визгом испуга свой хохот смешает,
И юбочку ей до трусов задирает,
Но бросит, пакет целлофановый встретив,
И дальше, другие пакеты приметив,
Помчится по улице, всех забывая:
Ах, шарфик, косынка, одна иль другая,
Чтоб резвую тучку догнать на закате...
И только пусть кудри мои не лохматит.

* * *

Смотреть, как ветром сносит птицу
В пустынном небе высоко.
Искать, в какой цветок влюбиться,
Пить ледяное молоко.
Всё перечитывать в тенёчке
Одни и те же десять книг
И знать, когда дойдёшь до точки,
Тебя снесёт в единый миг.

Как птаха

Как быстро год за годом
Уходит жизнь куда-то.
Туда текут все воды,
Там спрятаны все клады.

(Для Бога времени нет!)

Там заводь золотая,
Над ней парят стрекозы.
И там, в преддверье рая,
Всю ночь сияют звёзды.

(Для Бога времени нет!)

Там ждём Его возврата,
Надеемся, боимся.
Нам и всего-то надо,
Чтоб нежно пели птицы.

(Для Бога времени нет!)

Они летят без страха
Навстречу Провиденью.
Стань лёгким, будто птаха —
У Бога день Рожденья!

Евгений Бунимович

Один день из жизни детского омбудсмена

Мобильник, похоже, сдох.

Хорошо, зарядку захватил.

Звонок.

Особый.

Жена.

— Что с тобой? Что случилось?

— А что со мной случилось?

— Как что? Интерфакс передал: «Бунимович направляется в СИЗО "Измайлово"», и в «Новой газете», в новостях... Звоню, звоню, ты не отвечаешь. Что с тобой? Почему тебя везут в СИЗО?

— Во-первых, не в СИЗО, а в ОВД. И что значит: меня везут? Я сам еду.

— Как сам? Сдаваться?

— Да нет, ты чего. Русские не сдаются. Даже если они евреи.

Вроде панику немного сбил.

Наташу успокаивают не аргументы и факты, а интонация.

— А не отвечаешь почему?

— Отвечаю. Просто все время звонят, не успеваю. И еще эсэмэски, и телега, и в личку. И все на телефоне. Вот только что сообщили: задержанных несовершеннолетних везут в ОВД «Измайлово». Туда и еду — разбираться, что там и как. Я, между прочим, омбудсмен детский. Работа у меня такая.

— Еще скажи «миссия», — кажется, наконец успокоилась, — как эта, коллега твоя, которая вчера по телеку: «моя миссия в том...»

— Нет, не скажу. Миссия — это у нее, миссия — это высоко, в небесах. А у меня работа.

— Вот и мотаешься по околоткам...

Бунимович Евгений Абрамович родился в 1954 году в Москве. Поэт, прозаик, эссеист. Окончил механико-математический факультет МГУ, более тридцати лет преподавал в школе, впоследствии — депутат Московской Думы четырех созывов. В 2009—2019 годах — Уполномоченный по правам ребенка в Москве. Автор полутора десятков книг стихов и прозы, школьных учебников по математике. Лауреат многих литературных премий. Живет в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 5.

* * *

В ОВД «Измайлово» встречают как родного.

— Только вы ошиблись, у нас нет задержанных несовершеннолетних. Вот журнал дежурного... Можете сами проверить.

Понятно. Оперативная работа. Не зря же они оперативники.

Интерфакс сообщил, что сюда еду, — ребят тут же перенаправили в другое ОВД. Теперь ищи-свищи.

Хотя чего опасаются? Тоже пугало нашли. Много ли могу?

Булькнул телефон. Новая эсэмэска от журналистки, ее тоже замели, они в одном автозаке.

Сначала из «Измайлово» их повезли в «Новогиреево». Но там переполнение. Теперь везут в «Бутырский».

* * *

— Все-таки политические разборки — это удел взрослых. В тех же девяностых путчи были, баррикады в центре Москвы, поперек Садового, на Тверской, а вот подростков особо не припомню. Обошлись как-то без гаврошей на баррикадах.

— А теперь даже с малышами приходят...

— С малышами, вообще с детьми — зачем? Не только на несанкционированных, но даже на самых санкционированных митингах. Народу полно, перекрытия, давка, ребенок может испугаться. А если приспичит — куда деться? Где там выйти? Где найти туалет? Я всегда призываю родителей уж точно не ходить на такие акции с маленькими детьми. Но это их выбор.

— А те, кто постарше? Кому уже 16? 17? Почти 18?

— Ну, конечно, тоже не надо, но тут сложнее... Напомню, что по Конвенции о правах ребенка, которую подписали практически все страны, и Россия из первых, государство должно уважать право ребенка на свободу мысли. Дети имеют право свободно выражать свое мнение, в том числе собираться в группы и т.д. В восемнадцать лет они могут голосовать, выбирать президента, призываются в армию, отдают свой долг государству, а то и жизнь за Отечество... Могут семьи создавать, детей заводить и воспитывать, вообще имеют все взрослые гражданские права. И представить себе, что за год, за месяц, за неделю до этого они еще ни о чем не задумываются, ни в чем не ориентируются, в куклы играют... Так не бывает, конечно.

— Вы сейчас общаетесь с теми подростками, которых задержали. Что они говорят?

— Знаете, ОВД — не самое удобное место для доверительной беседы. Что говорят? Кто-то пришел по приколу, кто-то — за компанию, кто-то просто шел мимо, и вообще запретный плод для подростков сладок. Ну а кто-то четко излагает свои убеждения.

— А как быть с нарушениями? На дорогу выходят, на фонари залезают...

— Здесь нет вопросов. Что нельзя — то нельзя. Другое дело, что учителя, родители должны быть готовы к открытому и уважительному диалогу с ними, даже когда приходится отвечать на самые неполиткорректные вопросы тинейджеров.

А когда мы, взрослые, не отвечаем на эти вопросы, когда отмахиваемся от них, мы теряем доверие. У подростков обострено чувство справедливости, они, быть может, не различают оттенков, часто видят только черное и белое, но...

Да, нельзя залезать на уличный фонарь, в том числе и во время митинга. Но вопрос к нам, взрослым: почему этот парень на Пушкинской, чтоб получить ответы на свои вопросы, лезет на фонарь?

(Это по дороге поясняю азы очередному журналисту. Правовой ликбез. Но куда конкретно сейчас направляюсь — уже не отвечаю. Опыт.)

* * *

ОВД «Бутырский». Пропустили сразу.

Атмосфера вроде спокойная.

В той мере, в какой она может быть спокойной в таком месте и в таких обстоятельствах.

Инспектор по делам несовершеннолетних встретила хмуро. Грубовата, но вроде тетка нормальная, без фанатизма.

— Ну, проходите, коли до нас доехали.

(В переводе: мало мне всех этих сопляков, из-за которых в субботу срочно работать вызвали, так еще этот...)

Папы-мамы потихоньку подъезжают, разбирают своих охломонов.

Так, тут проблема.

Девчонка из Кабардино-Балкарии, из-под Нальчика, только что поступила в университет. Приехала в Москву неделю назад, живет у тети. Без пяти минут студентка, но восемнадцати-то еще нет!

Никак не могла поверить, что по закону она — ребенок, отпустить могут только с кем-то из родителей.

С тетей — только при наличии нотариальной доверенности.

И это не только в околотке. А если, не дай бог, в больнице окажется?

Мама в Нальчике уже бежит к нотариусу.

Нужен подлинник.

Договорились с инспекторшей: отпустят с тетей, как только мама отправит копию по факсу. Клянется, что подлинник вышлет тут же экспресс-почтой.

Тетя, оказывается, давно за забором дежурит, проскочил на входе.

С тощим, долговязым, лохматым отроком, который тоскливо смотрит в давно не мытое окно с непременным фикусом на боку, — сложнее.

Пока я с Нальчиком разбирался, он все сам понял, выхода не видит.

Тоже студент уже, только поступил, компьютерные технологии.

Москвич, но родители за кордоном, на Кипре. На радостях, как сын поступил, отдыхать улетели.

Проводить ночь в больнице на обследовании, куда отправят отсюда, раз нет родителей, не хочет.

Инспекторша, похоже, прониклась.

Сразу почувствовал — нормальная тетка, хмурится для проформы.

Отпустила под мое поручительство.

Тут выяснилось, что есть еще один парень.

Вернулся от следователя.

Ни имени не говорит, ни координат родителей.

Попробовал я, попробовал адвокат.

Смотрит волком, молчит, не раскалывается.

Не все могу.

Не получилось.

Компьютерного студента везем к ближайшей станции метро, по пути увещеваю:

— Сейчас довезем до входа. Дальше сам, сиди дома, не выходи никуда. Ну, по минимуму — в магазин если. Учти — второй раз никто не отмажет...

Молчит.

Похоже, не убедил. А меня, когда таким был, убедило бы?

Захожу с другой стороны:

— Пойми, если нарушишь, попадешься, — других не выпустят под поручительство.

Хмуро, но кивает.

— Приехали. Дальше сам.

Вокруг заборы, ангары, стройки, грузовики, пылища.

Писали, что станцию точно открыли. Может, сразу и закрыли?

Вышел. Озирается:

— Что, здесь метро?

* * *

Как там в киносценариях?

Эпизод третий.

ОВД «Гагаринский».

Стоим перед входом — не пускают.

Жестко. Похоже, новые инструкции получили.

Никакие поручительства теперь не проканают. Но пустить-то обязаны!

Звоню куда могу.

Пускают. Но только меня.

И адвоката, который подъехал два часа назад.

Пока жду, чтоб провели в комнату к несовершеннолетним, адвокат здесь же, в коридоре, инструктирует задержанных взрослых:

— Значит, так. Или вы мимо проходили, или вы шли на несогласованную акцию. Это вы сами выбираете. Сколько за первое? Руки поднимите. Есть. Сколько за второе? Тоже есть. Если первое, мимо проходили — дальше так, записывайте, не запомните.

Пишут, кто на чем.

— Если второе — то чрезмерное, неоправданное...

Подошел подчеркнуто вежливый капитан, провожает в комнату для несовершеннолетних.

А там только одна задержанная осталась. Остальных уже отпустили.

Сидит с мамой. Хорохорится. Мама белая вся.

Успокаиваю как могу, стараюсь довести до уровня вменяемости.

Вбегает адвокат. Берет бумаги.

— Так, смотрите. Бумаги типовые, брали с компа, видите, не меняют ничего: «был в толпе, где кричали, скандировали». Первое: род не тот, второе: дата тоже не та. Даже не обновили. Это сейчас не обозначайте. Если вдруг что — будет повод опротестовать. А вот здесь написали: «кричала лозунги». Тут перетяжка! Не соглашайтесь.

* * *

Звонок.

Давняя знакомая. Деятельница искусств. Стопроцентной лояльности. Неужели и у нее?

Да, сын. Этот, похоже, действительно мимо проходил. Секция спортивная, третий год туда ходит.

Но в околотке у них какие-то странности.

Пришлые следователи. Хотят брать слюну, эпителий... На наркотики?

Еще требуют аккаунты, телефоны. Ищут заговор в сети?

Доехать все равно не успею.

— Слушай, это едва ли сработает, но передай трубку.

Какая-то хлестаковщина. А что делать?
Представляюсь. Спокойно. Солидно. Чиновно. С кем имею честь?
Понятно. Сходу меняю тон, максимально грозно:
— На каком основании?!

Пора на выход. Воздух нужен.
Бог мой! Родные места.
Как сразу не заметил, когда подъехал?
Школьный двор — прямо напротив.
Мой школьный двор.
Вторая математическая.
Сколько лет с тех пор, как пришел сюда поступать, в девятый?
Пятьдесят! Даже 51, если быть точным.

* * *

Все пришли из своих школ отличниками, звездами, а здесь выглядели так себе, первые месяцы опасались попросту вылететь из школы. Причем не вследствие какого-нибудь там буйства молодецкого, а тихо и бесславно — не сдав очередной зачет.

Только к октябрю начали осваиваться, и тут в нашем классе появилась новенькая.

Как потом выяснилось, новенькой Наташа была для нас, но не для школы, где уже училась с седьмого класса.

Наташина мама преподавала в школе физику и очень переживала, что дочка не горела особенно ни физикой с математикой, ни лекциями после уроков по опальной тогда литературе Серебряного века.

На олимпиады Наташа тоже не рвалась, зато выиграла районные соревнования по бегу.

— Что ты так переживаешь, — сказал как-то Наташиной маме на перемене учитель литературы, кумир школы, который эти самые опальные лекции и читал. — Красивая девчонка, пускай бегает!

Но Наташина мама не переживать не умела.

Наташу это все достало, и она в очередной раз окончательно и бесповоротно решила из школы уходить.

Тут переживаниями мамы проникся и ее новый коллега — тоже учитель физики и наш классный:

— У меня хороший класс, давайте ее к нам!

Наташа согласилась посидеть в новом классе пару дней перед уходом из школы, не подозревая, что этот случайный разговор во многом определит ее жизнь.

Завуч привел Наташу в класс, представил, и она села за последнюю парту, у окна (похоже на плохое кино, но правда).

Литератор не врал — Наташа действительно была самой красивой девочкой в школе.

В то время я был увлечен тонкими, ломкими, чуть угловатыми линиями женских образов раннего Пикассо и даже контрабандой водил экскурсии по французским залам Музея изящных искусств.

Очевидное сходство новенькой с полупрозрачными девушками на любимых полотнах не могло не подействовать.

А поскольку в это время на уроках литературы мы упоенно читали «Войну и мир», даже имя Наташа показалось мне редким и удивительным.

* * *

Внезапную ностальгическую атаку прервал звонок деятельницы искусств.

Надо же. Телефонная хлестаковщина, похоже, сработала: отпустили ребят без слюней и аккаунтов.

Едут домой.

Кстати, и мне пора.

Не судьба.

После митинга пошла «прогулка», винтили в районе Старой площади. И там не без отроков и отроковиц.

Как у них в школьной программе?

Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок?

Выбрали: везут аж на Лосиный остров.

Академик, лауреат всех возможных премий, которые зачем-то скороговоркой перечисляет. Нервы, видимо.

— Извините, Ваш номер дали наши общие знакомые (называет). Я бы не стал...

Прерываю:

— Извините, кто? Сын? Дочка? Внук? Племянница? Где?

— Внучка. ОВД «Лосиноостровский».

— О, как раз туда еду. Скиньте имя на телефон. Родители где?

— Сын уже там.

Почему преследует это дурацкое ощущение плохого кино?

Тревожный кадр: тропинка меж черных силуэтов деревьев, за которыми прячутся тусклые фонари, ведет к плохо освещенным воротам околотка.

Часть деревьев — вовсе не деревья.

Силуэты замерших в ожидании людей.

Сослепу не сразу разглядел.

Академиков сын узнал, подошел. Его пока не пустили, просили подождать. Не успевают с оформлением.

Другие подходят:

— Мы воду принесли, передачи...

Начальник встретил, можно сказать, даже любезно, но видно — замотанный, сначала повел в комнату ко взрослым.

Заподозрил неладное, говорю: я по детям. Дети где? Кстати, там есть такая-то (про академическую внучку)?

— Сейчас пройдем, но вы посмотрите сначала у взрослых — все у них есть, вода вот холодная, вот горячая, чай, сушки, даже печенье... Видите: все условия. Скажете тем, на улице?

Пока идем по привычно-казенному, обшитому облезлой фанерой коридору, начальник затевает привычно-казенный, обшитый казенной фанерой разговор: сыты, одеты, обуты, не то, что мы когда-то, что им еще надо?

Столь же привычно мямлю про обостренное чувство справедливости, свойственное этому возрасту, что надо взрослым с ними разговаривать, не затыкать. Вообще, вести себя прилично, не врать, не воровать...

— Ну, вы загнули, — смеется, — еще скажите: не курить, не пить, не...

Тут он сделал паузу, напрягся, вспомнил, наконец, сравнительно приемлемый глагол и смущенно произнес: не трахаться.

— Нет, это... которое последнее, — это можно. Даже нужно! У нас в стране плохо с демографией, земли вон сколько, а людей мало, и детей мало рождается. Тут президент велел как раз наоборот, как можно больше.

— Да ладно. Президент сказал?! Вы серьезно?

— Серьезно. И государство — сказал — поможет. Я вот, кстати, по правам ребенка, а ведь главное право ребенка — на жизнь.

— Ну вы даете, — сказал несколько ошалевший от нашего диалога начальник не то про меня, не то про президента, не то про нас обоих.

— А вот и ваши подопечные, — добавил он и открыл дверь в довольно большую комнату с рядами скрепленных стульев и длинным столом президиума. Наверное, тут у них собрания проходят.

Ребят много. Десятка полтора.

За столами три разновозрастные и разномастные инспекторши (одна даже рыжая), вызывают по очереди, заполняют бумаги. Протоколы задержания. Вроде без административки.

Внучка академика уже с отцом, отпускают... Она не идет, мнется.

— А Филя? Ну поймите, мы просто шли по Маросейке, гуляли. Гуляли просто. Гуляли, — повторяет в третий раз, для убедительности.

Филя тут же, сурово сводит брови над круглыми очочками.

Папаша отводит меня в сторону, шепотом:

— Филя был на учете. Наркота, хотя и снят. Дочка без него не уйдет.

— Понятно. Вы с ней в любом случае лучше выходите, ждите во дворе. Сегодня-то отпустят вашего Филю, но дальше — снова учет и прочее.

— Вы от какого ведомства? — спрашивает подошедший мужик. Он в штатском, но выправка, стрижка... Этот что здесь делает?

— А вы? От какого ведомства?

— Да я военный, при погонах, сын у меня здесь. Вон он. Еле нашел этот ваш Лосиный остров. Тринадцать лет балбесу! Сам не понимаю, как так получилось. Мама с младшим, ему двух еще нет, уехала к врачу. А этот во двор пошел погулять. На часок, — сказал. Мы вообще-то совсем не в центре живем. Как он там оказался...

Пока с военным говорил, приехала мама Фили. Выясняют отношения в углу, у окна. Очень похожи, оба в одинаковых круглых очочках.

Грохнула дверь. Влетает большая, шумная, грудастая, плащ поверх домашнего халата. Младенец в одной руке, испуганная девочка лет семи в другой. Орет на лету:

— У меня грудной на руках, видите, дочка уроки делала, сорвала ее, оставить не с кем, сын вот поехал в секцию, а вы...

Инспекторша:

— Мамаша, успокойтесь. Нам доставили. Не из секции, насколько я понимаю. Мы оформляем. Видите, сколько. Подождите. Заберете.

Мамаша не успокаивается. Все претензии к не самой счастливой жизни теперь обращены на подавшую голос рыжую инспекторшу:

— Государство бы о детях подумало, а не хватало их где ни попадя!

Инспекторша не выдерживает. Небось, тоже вызвали в выходной, а за окном уже ночь:

— Да у меня у самой трое! Вы что, не слышали, что государству наши дети не нужны?! «Сами нарожали...»

Это она про ту провинциальную чиновницу, которую вчера в новостях показали, которая: «Сами нарожали — потом жалуются». Или это в соцсетях было видео?

Смотрю на них обеих. Они тоже очень похожи.

Только без круглых очочков.

Парнишка какой-то, отдельный от всех, сбоку, в последнем ряду.

Рыжая инспекторша кивает — вот, посмотрите, сами не знаем, что с ним делать. Из Белгородской области.

Паренек в спортивных штанах и курточке, в потрепанных кроссовках. Все чуть великовато, на вырост.

Мама где? На работе. Приехать не может. Она в Москве? Да, у нее лоток на Индийской выставке в Сокольниках, работает до 11 вечера! Бабушка едет. У нее есть доверенность? Какая? Объясняю. Нет. Но тогда ей тебя не отдадут. А с ней можно связаться? Нет, телефон у нее сел, а зарядка у мамы. Мама и нужна, чтоб тебя забрать. (Про папу не спрашиваю.) Я звонил, она не может уйти, там товары, материальная ответственность. Никак не может. Дай я с ней свяжусь. Набрал. Мама сразу орать, буду всем жаловаться, я сама юрист, как вы могли. Стараюсь спокойно объяснить, кто я и зачем здесь, что надо делать, приехать с паспортом. Дело хуже. Паспорт у нее в хостеле на Мясницкой, где они поселились, надо сначала туда ехать, а потом уже сюда. Без вариантов. Но когда ж она приедет? Это же Лосиный остров. Господи.

Тут только сообразил парня спросить, он-то как сюда попал? Вышел из хостела в булочную — еды купить, мама с бабушкой в Сокольниках, а есть хотелось. Увидел: что-то на площади происходит, людей много, матюгальники, пошел посмотреть поближе. Там и забрали. Правда, не знал? Нет, мы же на три дня только приехали, на выходные, бабушка с мамой на эту ярмарку завербовались, денег заработать, в этом хостеле поселились — посоветовали.

Парень вдруг рванул к дверям. Стой, ты куда?!

А, бабушка его. Тоже орет с порога. Но про другое. Начала почему-то с чурок и хохлов, потом что-то про погибшего мужа. Про то, что приехали на три дня, на похороны заработать, кляла всех. Но без мата.

Внук рядом стоит, за руку дергает, бабушка, ну не надо, что ты им. Смотреть на них невозможно.

Внезапно замолчала. Села у дверей.

Я подсел к ней.

Муж ее — шахтер. Несколько лет работал в Луганске, потом вернулся к ним в Белгородскую область, потом снова уехал. Сказал, что поехал работать под Воронеж, а сам — к друзьям в Донецк, там воевал, они не знали, потом он пропал.

Всегда поздравлял внука с днем рождения, нас всех — с Новым годом, где бы ни был. А тут — ничего. Через год брат его двоюродный увидел в интернете фотку — снайперша украинская, с той стороны, разместила — лежит он, изо рта кровь. Она пишет, там по матери, раздолбала яйца и т.д.

Так и узнали. Я поехала туда, в Донецк. Оказалось, «друзья» засыпали труп, спрятали, не сказали — денежное и прочее довольствие чтоб на него продолжало приходить.

Привезла домой. Ходила по нашим инстанциям — ничего не положено.

Была учителем. Дочка — юристом. Нищета полная.

В Москву приезжают иногда — если подработка есть, и внука одевают на рынке «Садовод». Он в колледж у нас поступил. На электрика.

Мать позвонила — едет на Мясницкую, за паспортом. Значит, здесь будет не раньше часа ночи.

Переглянулись с инспекторшей, она взяла трубку: не надо ехать, пришлите расписку как угодно — эсэмэс, вотсап, что у вас там есть, — что доверяете бабушке забрать внука.

Инспекторша передала мне трубку. Все без толку, там мама в истерике, орет — приеду, все у вас разнесу, сил никаких нет, жизни нет... Не помню, лавку заперла? Вещи там, товары, упрут — не рассчитаюсь никогда. Хорошо, пришлю расписку. Фотку отправлю.

Отвел бабушку в сторону:

— Как вы сейчас поедете? На чем? Возьмите деньги на такси.

— Никогда. Вы что! Мы не побирушки. Я педагог.

— Я тоже, — говорю. — Мы, учителя, — мы коллеги, друг другу должны помогать.

Долго еще она рассказывала, остановиться не могла, про все: про школу, как учила, про дочку, как на юриста не доучилась, родила, про ее спившегося мужа. А вроде хороший сначала был. Растворился.

Взяла, но все просила адрес, чтоб вернуть.

* * *

07.08.2019
Прокуратура Москвы
Адрес. Исх. номер

Уважаемый Евгений Абрамович!

Ваше обращение по факту доставления в территориальные отделы МВД России по районам г. Москвы несовершеннолетних в связи с участием в несогласованном митинге рассмотрено.

Установлено, что в органы внутренних дел доставлено 76 несовершеннолетних, из которых 53 жителя г. Москвы и 23 жителя других субъектов, включая Московскую область.

По результатам проверки в отношении 32 подростков составлены административные протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ.

В отношении родителей составлено 7 административных протоколов по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в КДНиЗП по месту жительства задержанных.

В отношении 37 несовершеннолетних участие в несогласованной акции не подтвердилось.

После разбирательства и проведения профилактической беседы 66 несовершеннолетних переданы родителям и иным законным представителям, 4 помещены в ЦВСНП ГУ МВД России по г. Москве, 6 подростков направлены в медицинские учреждения.

По выявленным нарушениям требований законодательства в органы внутренних дел на основании ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской федерации» внесено 9 представлений, которые до настоящего времени не рассмотрены.

Жалобы и обращения доставленных и их законных представителей о получении телесных повреждений в Прокуратуру г. Москвы не поступали.

Учитывая изложенное, оснований для принятия иных мер прокурорского реагирования не имеется.

Подпись. Печать.

Анатолий Цирульников

Из тайных архивов русской школы

История образования в портретах и документах

Синий-синий презелёный красный шар

Школьные реформы эпохи военного коммунизма

1920 год, канун падения Перекопа. На Крымском полуострове доживает последние дни правительство юга России... барона Врангеля. Правительство как правительство, со своей канцелярией, Советом министров. Есть тут и Министерство народного просвещения. Чем оно занято накануне конца? Проводит реформу школы...

Не правда ли, странно? Но, видно, до тех пор, пока живут люди, пока сохраняется какой-то человеческий порядок вещей, остается и все, что его поддерживает, питает, лечит. Люди думают о будущем. Даже в Гражданскую войну, оказывается, думали...

Эта глава — о малоизвестной нам школе времен Гражданской войны. О школе в буквальном смысле — как учебном заведении, где чему-то учатся. Ведь интересно, чему дети учились у красных, у белых, у зеленых? Хотелось эти разные школы как-то связать между собой, — но они не связываются. Никак. Видимо, плохая связь. Все разбилось — какая уж тут связь? Обращение к этой теме именно сегодня тоже неслучайно. Хотя, может быть, и наивно, — если рассчитывать, что учителя могут уберечь, спасти от того, от чего не спасают правители и народы. Но все проходят какую-то школу, и, если посмотреть на нее более внимательно, можно узнать о себе нечто новое.

История, к сожалению, не знает черновиков. Она пишет сразу на черную доску, в белую тетрадь. Разыгрывает свой спектакль в актовом зале школы, в котором мы сидим, еще маленькие...

«Как мы заняли Министерство народного образования»

После Зимнего дворца пришла очередь министерств у Чернышёва моста. Как вспоминал Анатолий Васильевич Луначарский, Ленин сказал: надо, чтобы каждый ехал в порученное ему ведомство и живым оттуда не вышел, пока не завладеет

Продолжение. Начало см.: «ДН», 2021, № 10.

им... Это была прямая директива, но новая коллегия брать штурмом Министерство просвещения не решалась. Послали разведчика, эсера Бакрылова. Вернувшись, тот сообщил, что весь низший персонал безусловно за новую власть, но чиновники служить отказываются и заявляют, что как только Луначарский переступит порог ведомства, они уйдут оттуда, отряхнув прах с ног своих, и посмотрят, как большевикам удастся пустить в ход сложную машину просвещения российских народов. «Мне, — с улыбкой вспоминал первый нарком, — перспектива остаться с курьерами, истопниками и дворниками не улыбалась».

Однако делать нечего — пошли на штурм. Подъехали к зданию министерства на нескольких автомобилях, гуськом. Оказалось, что никакого сопротивления нет. На лестнице у подъезда стоят человек пятьдесят низшего персонала и восторженно кричат «ура». Прошли в здание. Оно совершенно пусто. Что делать? «Собрались в одной из комнат, — вспоминала Крупская, — и Анатолий Васильевич выступил с пламенной речью перед низшим персоналом — о задачах народного образования».

В ответ какой-то швейцар «в довольно прочувствованных и отчетливых выражениях заявил, что и в персонале Министерства народного просвещения шла классовая борьба и что они... служители и прислуга, чувствуют себя частью пролетариата и с восторгом готовы энергично служить новому начальству...».

Все новое. Новое министерство — комиссариат. Новые люди. А что это за люди? Их никто не знал. Кто такой Луначарский? Да, говорят, какой-то недоучившийся гимназист. Кто такая мадам Ленина, свалившаяся, как шутили, к нам на голову из Цюриха? Покровский? Познер? Никому и ничего не говорящие имена. Может, хотя бы видные большевики? Тоже нет. Ни один крупный, первого ранга большевик никогда не стремился в Наркомпрос. Сюда не ссылали даже провинившихся. Работали тут в основном чьи-то жены. Наталья Ивановна Троцкая заведовала отделом музеев; говорят, была женщина весьма разумная, принимала на работу старых, опытных людей (позже, правда, ее фамилия стала причиной разгрома «троцкистского краеведения»). Тут, в Наркомпросе, служили Злата Лилина (Зиновьева), Варвара Бонч-Бруевич, две сестры Менжинского, трое Луначарских. Родственное такое ведомство.

И общались по-родственному. На заседаниях часто слышались шутки, смех. Быстро освоились в старой бюрократической машине и через месяц-другой уже уверенно проводили коллегию, решали государственные вопросы. Но не так, как раньше, — без занудства, без волокиты.

Представьте себе большой белый кабинет с расписным потолком (привелось туда заглянуть — теперь там другое ведомство). За огромным письменным столом (экспроприированным у прежнего министра) — нарком. В глубоких красных бархатных креслах — члены коллегии. Разбирается какое-нибудь заявление. Вот хоть это — Всероссийского священного собора. А что он просит? Не отбирать, оставить ему духовные академии, семинарии.

Тов. ПОКРОВСКИЙ спрашивает: «Огласить?»

Тов. ЛУНАЧАРСКИЙ: «А там есть что-нибудь существенное?» (*Смех.*)

Тов. ПОКРОВСКИЙ: «Существенного я не нахожу ни в одном документе».

Тов. ЛУНАЧАРСКИЙ: «Тогда не стоит».

И — вопрос решен. Духовной школы больше не существует. К чему нам духовная, земская, народная, дворянская, железнодорожная (сколько их в России было?). Вместо них — единая советская трудовая! Удобно и демократично. Разделение

преподавателей на категории упраздняется. Преподавание Закона Божьего не допускается. Все экзамены отменяются...

Любопытно, что вся циркулярная деятельность нового ведомства проходит под знаком частички «не». Не разрешается. Не допускается. Осознавали ли это в Наркомпросе, не знаю, но стиль новых указов почти полностью совпадал со стилем старых, известных по не самым радужным временам российского просвещения. Тогда тоже в указах преобладала частица «не». Это странно. В ведомство пришли как будто новые люди, не чиновники, а говорят как по писаному.

Впрочем, были еще декларации. Жанр тоже не новый. Но во времена Наркомпроса расцвел с невиданной яркостью и силой. Никогда более в советское время декларации о народном просвещении не писались с таким пафосом: «Граждане, воспитаем не рабов, а свободную, творческую личность!», «Раскроем перед учеником энциклопедию мира!», «Превратим труд из проклятия — в источник здорового и активного начала!», «Добровольная дисциплина, дух взаимопомощи, самоуправление на началах полного равенства...»

Но вот что интересно. Хотя в этой знаменитой декларации Луначарского отрицалась всякая связь новой школы со старой, в основе ее лежали принципы, хорошо известные учителям до революции. «Всеобщее», «бесплатное», «единая», «трудовая», «на родном языке», «без всяких ограничений по сословиям», даже «самоуправляющаяся»... Уже не один десяток лет над этим работала русская педагогическая мысль. Достаточно заглянуть в любой либеральный дореволюционный журнал.

Зачем же выдавать за свое то, над чем давно работали другие? Недоумевавшим Наркомпрос отвечал: «Наша новая школьная программа не продукт кабинетного творчества теоретиков, как думают одни, и не простое логическое завершение “идеалов передовой педагогики”, как утверждают другие. Наша школа — это подлинное *детище Октябрьской революции*» (позволю себе выделить это место. — *А.Ц.*).

И русские учителя это поняли довольно быстро. За несколько учебных недель все стало ясно. Вместо чистых бюллетеней всеобщих демократических выборов — вооруженная диктатура. Разогнаны органы общественного самоуправления. Упразднены учебные округа. Назначаются комиссары...

Собравшись на чрезвычайное совещание, Всероссийский учительский союз заявил, что декларации Наркомпроса — ложь. «Русская интеллигенция находится в трагическом положении. До революции стояла старая деспотическая власть. Теперь... власть демагогическая».

Кому бы это понравилось? И новая власть отреагировала... нет, пока не арестами. Наркомпрос выпускает скромный такой циркуляр «Об ускоренном выпуске в текущем году». В нем говорится, что в школах России возникла невероятно тяжелая психологическая атмосфера. Налицо явный разлад между передовой молодежью и «отсталым учительством», идущим «против требований трудящихся масс». Разве можно в этих условиях заниматься? Какой же выход? Простой: «Предлагаю закончить все занятия к 22 декабря. Народный комиссар по просвещению А.В.Луначарский».

Такого указа не знала еще история педагогики. Министерство просвещения закрывает школы, поскольку учителя отсталые, учить не могут. Представляете, как ученики обрадовались!

При всей уникальности данного декрета можно было, однако, увидеть, что использованный здесь «педагогический прием» — намеренного противопоставления «передовых учеников» «отсталым учителям», умелого натравливания их друг на друга,

провокации, подрыва — не являлся собственно открытием Наркомпроса. Этот метод широко применялся новой властью в самых разных ситуациях. Отцы и дети, пролетарии и крестьяне, народ и интеллигенция — область использования метода безгранична. В то самое время, когда готовился декрет Наркомпроса, трудовых казаков учил Ленин: «Объявите Каледина, Корнилова, Дутова, Караулова и всех их сообщников и пособников врагами народа, изменниками и предателями. Арестуйте их собственными силами и передайте их в руки советской власти...»

Всегда есть чему учиться — были б учителя. Новые сразу не появятся, приходится использовать старых. Конечно, это «негодный материал», объяснял в конце 1918 года Луначарский товарищам по Наркомпросу, но следует помнить положение Ильича: нужно быть ребенком, чтобы думать, что коммунисты своими руками могут построить коммунизм. Требуется использовать некоммунистических спецов. Надо привлечь их в школу по образцу Красной Армии, где мы перемалываем и подчиняем себе офицерство...

Очередной декрет Наркомпроса назывался «О выборности всех педагогических и административно-педагогических должностей».

Опять-таки идея не новая. Выборы с участием родителей, местной общественности проходили и до революции. Таким образом школа пыталась тогда освободиться от «человека в футляре». Теперь большевики умело использовали эту процедуру для освобождения от «человеков» вообще.

Написан декрет о выборах просто и доходчиво. В нем говорится, что в народном образовании сам народ волен выбирать себе учителей, которые бы ему служили. Так выполним его волю. С этого дня все учителя считаются уволенными. А желающие служить народу должны в такой-то срок подать заявление в органы народной власти с соответствующими рекомендациями партийных органов и изложением своих политических взглядов. К декрету имелось знаменательное примечание: «Отсутствие звания учителя или диплома не является безусловным препятствием к занятию должности».

Ход был глубоко продуман. Забегая вперед, заметим, что, когда школьные преподаватели, народные учителя, директора гимназий возмутились и забастовали, их места быстро заняли активисты заблаговременно созданного Союза низших служащих — министерские дворники, школьные нянечки и швейцары.

Те самые, перед которыми со своей первой зажигательной речью выступил новоиспеченный нарком Луначарский.

«Белые» министерства

В те дни, когда Наркомпрос издавал свои первые декларации, разгоралась Гражданская война. Генерал от инфантерии Алексеев сменил убитого под Екатеринодаром Корнилова. После разгрома большевиками Учредительного собрания бурно формировалась Русская добровольческая армия. С юга на Курск и Орёл шел Деникин. С северо-запада — Юденич. С востока — Колчак.

Вокруг Петрограда начало образовываться знаменитое по школьному учебнику «огненное кольцо». С территорий, занятых большевиками, усилился поток беженцев. Среди них много интеллигенции: инженеров, врачей, профессоров. Немало учителей, возвращавшихся с фронта и уже наслышанных о переменах, бежали на территорию Добровольческой армии, в особенности на юг. Здесь в университетах, гимназиях, учебных округах мелькают то и дело знакомые петербургские и московские фамилии:

ближайшие сотрудники Столыпина, коллеги знакомого нам министра народного просвещения графа П.Н.Игнатьева, редакторы известных педагогических изданий.

Во время Гражданской войны наряду с красным Наркомпросом работало как минимум три белых ведомства народного просвещения. При Юдениче в правительстве северо-западной области России в г. Ревеле (Таллин) находилось Министерство народного просвещения, которое возглавлял Фёдор Александрович Эрн. Министерство просуществовало недолго, сохранилось мало архивов. Все же известно, что тамошние деятели просвещения считали: искажение большевиками идеи единой трудовой школы не основание для ее перечеркивания. В ходе наступления армии в ведомство были включены советские школы, но их реорганизация мыслилась не как возврат к старому. Население северо-западных областей России было наиболее грамотным и пыталось решать проблемы, сути которых сегодня многие даже не понимают.

Вот одна из них: русская школа в Прибалтике. До недавнего времени самая убогая, самая советская. По сравнению с эстонской или латвийской разрыв в уровне общего образования, культуры колоссальный (даже в учебных часах можно просчитать: в три раза меньше музыки и рисования, в два раза — истории и т. д.). А когда отставание началось? Смотрю архивы — и глазам не верю: в конце XIX века интеллигенция Прибалтики бьет тревогу: увеличивается разрыв в уровне образования! Грамотность в Риге по народностям в 1897 году: немцы — 837 грамотных на тысячу, латыши — 740, поляки — 631, русские — чуть больше пятисот. А в XX веке еще меньше: хлынули неграмотные переселенцы, беженцы из Витебской, Ковенской, Псковской областей. И не раз потом еще хлынут. В январе 1991-го беспокоились: не аукнется ли в Риге, Вильнюсе, Таллине разрыв в культуре? Аукнулся...

Тогда, в Гражданскую, эти проблемы только вызревали. Но деятели культуры северо-западных областей России считали, что их надо решать немедленно, старая школа отжила свое и не соответствует современным общественным настроениям.

Вот один из характерных документов, отражающих настроение этого российского региона в конце 1919 года: «Педагогический мир Пскова, представители городского и земского самоуправления, родительских организаций единодушно высказались... против возвращения школы к прежним ее формам и за желательную реорганизацию ее теперь же на принципах единства, преемственности и общедоступности».

Северо-западное правительство даже подготовило проект реформы школы. Последняя должна была, как и в Советской России, состоять из двух ступеней, причем первая — шестиклассная начальная (в Советской России — четырехклассная) подразумевалась бесплатной. Однако быстрое поражение армии Юденича оставило эту реформу на бумаге. Единственное, что успело министерство в самые последние дни перед эвакуацией, — «денационализировать книжный фонд», вернуть отобранные советской властью частные библиотеки их владельцам.

Дольше (около двух лет) действовало Министерство народного просвещения Временного сибирского правительства. Одно время, при Колчаке, это министерство возглавлял заслуженный профессор Томского университета Василий Васильевич Сапожников. Деятельность ведомства являлась многоплановой и охватывала все звенья образования: от народных детских садов до университетов. В школах сибирского правительства жалованье учителя было в 2 раза выше, чем в Советской России (где народных учителей переименовали в шкрабов, а Ленин говорил: «Мы должны поставить учителя на такую высоту...»). Несмотря на растущую дороговизну, в сибирском правительстве росли расходы на образование, в том числе на внешкольное и педагогическое; в 1918 году в полтора раза увеличились расходы казны на содержание

магнитных и метеорологических обсерваторий. Активизировались учительские союзы, возобновились, как в прежние времена, командировки педагогов в культурные места России и за границу. Был открыт новый университет в Иркутске, подготовлен ряд законопроектов: о Томском институте исследования Сибири, об охране архивов и исторических памятников.

Как-то в Томской области я увидел старинное здание бывшей гимназии — с изумительной лепниной, колоннами, высокими окнами. На фасаде табличка: «Здесь в 1919 г. размещался комитет большевиков». Одни — строили, а другие — размещались. Теперь тут находилось ПТУ. За 70 лет советской власти к зданию гимназии пристроили военный плац с плакатом «Отдавание чести стоя» и холодную уборную во дворе. А тогда, в сибирском правительстве, развертывали школьно-строительный фонд имени Петра Великого, миллионными тиражами печатали учебники.

Впрочем, книг и учебников на Сибирь явно не хватало. Прекрасные библиотеки (по 10—12 тыс. томов и более) имелись лишь в губернских гимназиях. Да и сами учебные заведения были разбросаны по Сибири нещедро. В иных губерниях на 10—15 волостей с населением 12 тыс. душ не имелось ни одной школы. В сравнении с земскими губерниями Центральной России, где грамотных было более половины (Наркомпрос буржуазной школьной статистике не доверял и упрямо творил миф о поголовной безграмотности России), «неземская Сибирь» отставала сильно. По плану 1913 года Россия должна была покрыться школьной сетью всеобщего обучения к 1938-му, но дело шло медленно.

Понадобилось две войны и две революции, чтобы государственные мужи задумались о связи происходящего в народном просвещении с народным невежеством. Впрочем, и тогда эту связь понимали далеко не все. Однако факт остается фактом: в годы катаклизмов школьная сеть в Сибири начала расти невиданными до того темпами. Менее чем за полгода в 1919-м открыли 40 уездных и городских училищ. А хотели еще больше: «В Омской губернии — 614 низших начальных училищ, в Приуралье — тысячу одноклассных и двухклассных школ...»

Открыли ли? Архивы молчат.

Но знаю точно, что 28 декабря 1918 года Совет министров Временного сибирского правительства, учитывая «тяжелое положение народного образования» и необходимость «коренной реорганизации школьного дела», освободил учителей от призыва в армию (мы-то, кажется, и сейчас, в мирное время, не освобождаем). Началась школьная реформа. В архивах сохранились ее проекты, программы. По ним можно догадаться, что в Сибири тоже хотели школу трудовую, демократическую, как и на северо-западе, как и в Наркомпросе. Правда, стиль по сравнению с Наркомпросом принципиально иной.

«...Никакая сила извне не должна ни связывать, ни торопить учителя, всюду школа должна создаваться им совместно с учащимися и непосредственно вытекать из обмена мыслей».

Известный психолог и педагог, академик А.В.Петровский рассказывал, что в 60-е годы готовился к печати научный сборник, а в нем статья под названием «Развитие народного образования в период Временного сибирского правительства». Редактора этого сборника, замечательного педагога, математика и тогдашнего заместителя министра просвещения А.Маркушевича вызвали в ЦК партии: «Что это за правительство?!» Услышав фамилию «Колчак», в ЦК выкатили глаза: «Ну, если вы еще такой же ученый, как зам. министра...»

Скоро появился новый зам, а та единственная за всю историю советской педагогики «контрреволюционная статья» так и не увидела свет.

...А ведь было еще одно удивительное Министерство народного просвещения — при Врангеле. Много чего было. Зеркало, в которое веками смотрелась Россия, то мутное, то светлое, треснуло, раскололось — и осколки разлетелись далеко в разные стороны. Один — в Тамбове, другой — в Иркутске, третий — в Гуляй-Поле. Тут появилась «красная» школа, здесь — «белая», там, вообразите, — «зеленая». Самых разных оттенков... Как в детской песенке: «Мы ходили по Неглинной, заходили на бульвар. Нам купили синий-синий презлёный красный шар». Все это бы ничего, да ведь осколки!.. Неровен час, как в сказке про Снежную королеву, попадет в глаз кусочек разбитого зеркала — и все вдруг станет видеться в ином свете...

Тихий переворот

В Советской России бурлила всеобщая учительская забастовка. Надо было знать психологию российского учительства: в самые нетерпимые дореволюционные времена бастовал кто угодно — только не учителя. Забастовка в педагогической среде считалась за границей этических норм. Пока учитель оставался учителем, он не мог бросить детей, отданных обществом под его духовную опеку. Поэтому, когда появилась директива Наркомпроса о «всенародных выборах», учителя встали перед дилеммой: или склонить голову перед самозваной властью, вручить судьбу школы малограмотным авантюристам — или бастовать (и, может быть, покинуть школу навсегда).

2 января 1918 года в Университете Шанявского состоялся большой митинг деятелей просвещения (среди них известнейшие педагоги того времени: Н.Чехов, В.Герд, С.Золотарёв). В аудитории были заняты не только скамьи, но и все ступеньки в проходах. Шли жаркие споры.

«Мы видим крушение всех политических завоеваний и не можем идти за теми, кто разрушает свободную школу и свободное государство». — «Но против кого бастовать? Не против ли того самого народа, которому учительство отдавало все?..» — «...Деформация души углубляется. Дети производят ночные обыски у саботажников и дрожащими руками перебирают чужие письма, роются в шкафах...» — «Но если молодежь вторгается силой вещей в круг политических вопросов, то долг педагога не уходить от ответственности... Если царь-голод ставит подростка около фабричного колеса, то нужно показать этому подростку, как ему уберечь свои пальцы от зубьев и ножей дикой, слепой машины».

Учителя склонялись к компромиссу с этой машиной. Хорошо, пусть выборы. Но пусть учителей выбирают коллеги! Между тем дело шло своим чередом. Новая власть быстро формировала выборные комиссии. В Екатеринбурге в комиссию по выборам педагогов вошли 28 человек: половина — из Советов рабочих депутатов, а другая половина — ученики, члены Союза коммунистической молодежи. В Воронеже они опубликовали декларацию: от перевыборов учителей — к «достижению диктатуры ученического пролетариата внутри школы».

Желая спасти учеников от безумия, учителя предлагают власти новый компромисс. Делегаты учительского союза Московской губернии на съезде признали факт перехода всей власти в руки Советов. Вступая в «деловые отношения» с новой властью, просили лишь о простой порядочности: не требуйте от нас унизительной расписки, партийных поручительств, признайте автономию школы! Святая простота!.. В Казани учебные

заведения тоже обратились с вопросом: как смотрит местный комиссариат просвещения на школьную автономию? Ответ последовал такой: «Полная автономия в сторону реформы школы и суд народа, если уклоняются от этого пути. Комиссар просвещения А.Максимов».

Линия Наркомпроса выдерживалась жестко. Покровитель искусств, тонкий ценитель сложного духовного мира личности Анатолий Васильевич Луначарский не шел с педагогами ни на какие компромиссы. Один старый педагог из Академии педагогических наук сказал однажды мне про Луначарского: «Он, знаете ли, был с загибом...» Казалось, он чего-то недоговаривает. С именем Луначарского связывалась какая-то загадка: революционные идеалы, новаторство 20-х... В начале перестройки, когда развернулась критика сталинизма и началась романтизация ленинского периода, над Луначарским засиял нимб мученика. Прошло еще немного времени, и проступил лик злодея...

Как человека мы знаем Луначарского мало. С его именем связывают много анекдотичного, почти водевильного. Известно, что первый нарком был капризен. Что-нибудь не так, отказали в ассигнованиях — заявление в прессу. Восемь раз подавал в отставку. В ноябре семнадцатого, узнав про обстрел Кремля, упал в обморок: гибнут исторические ценности! И сам, своими декретами, разрушил немало ценностей... Николай Бердяев, встречавшийся с Луначарским до революции, в вологодской ссылке, заметил, что по характеру будущий нарком просвещения был менее всего жесток и его, наверное, шокировала деятельность ЧК. «Он был человек широко начитанный и одаренный, — говорит Бердяев, — но на нем лежала печать легкомыслия». Так же, только со знаком «плюс», считал и Ленин: «Чертовски талантлив, — сказал о Луначарском Ильич, — его “чертовский талант” сослужил большую службу революции».

Компромисса не получилось. Российское учительство оказалось загнанным в угол. Первыми забастовали школы Москвы, затем — Петрограда, Саратова, Казани, Екатеринбурга...

Власти реагировали незамедлительно. Бастующих учителей лишили жалованья и продуктовых карточек. В то голодное время это было равносильно смерти. Начались выселения учителей из квартир, обыски и аресты.

На место не желавших подчиняться старых учителей стали приходить новые, прошедшие выборы. Среди них обыватели, которым было безразлично, кому служить, и фанатики из Союза учителей-интернационалистов. Директорские и учительские места занимали министерские курьеры, школьные швейцары, нянечки, ротные писари...

Мы думаем, что российская школа кончилась, когда поменяли ее программу? Чепуха! Она кончилась, когда из нее ушли учителя...

В 1918-м в Советской России они еще были. Некоторые ученики тайком бегали от новых учителей к старым и, вспоминая урок из курса Закона Божьего о Христе и Никодиме, таинственно шептали на ухо своей учительнице: «Мы ваши тайные ученики...» И еще — неожиданно для большевиков — учителей поддержали родители. Тот самый народ, именем которого действовала власть. Не только интеллигенция, но и рабочие окраины Москвы и Питера пришли на родительские собрания и выразили учителям «доверие и солидарность». Эти родительские собрания были разогнаны. И созданы новые. Злоба, ненависть, клевета обрушились на учительство. «Они, несомненно, убоялись света... — говорилось в обращении Всероссийского учительского союза, — убоялись сближения учительства с населением: слепые прозреют и увидят, в какую пропасть ведут их вожди большевизма».

В золотой фонд отечественной педагогики должна войти Уфимская учительская забастовка 1917—1918 годов. Вот ее основные этапы.

19 декабря 1917 г. в Уфе создана губернская коллегия по народному образованию. Председатель — комиссар Семеновская, курсистка Высших женских курсов, члены коллегии — фельдшер, конторщик и неграмотный. Постановили: упразднить учебный округ, уволить попечителя, ликвидировать институт директоров и инспекторов и т.д. 21 декабря: как протест против насилия во всех школах занятия прекращаются. 31 декабря: революционный комитет занимает здание епархиального женского училища. 6 января: получено сообщение о разгоне Учредительного собрания. В этот же день коллегия выдвигает ультиматум: или учителя приступают к своим обязанностям, или они будут уволены, а организаторы саботажа арестованы. 15 января: школы по-прежнему пустуют. С 20-го начинаются замены педагогического состава в основном подростками-гимназистами и бывшими солдатами.

Революционная коллегия Наркомпроса объявляет все школы губернии «социалистическими».

Тогда учителя принимают неожиданное решение: с помощью родителей и общественности города строят частные школы! Низшие начальные, как и прежде, бесплатные, а для оплаты жалованья учителей создается фонд их поддержки, коллеги поддерживают коллег! 26 марта открываются первые частные, вернее сказать, независимые школы. Постепенно в них переходят ученики и учителя из «правительственных». Революционная коллегия в бешенстве, но сделать ничего не может — частные школы декретом Наркомпроса не упразднены. Всего таким образом в Уфе было «переоткрыто» 28 низших и двухклассных заведений, два высших и все средние учебные заведения. Уникальный случай! В таком количестве частные школы не открывались нигде и никогда.

Но в Советах сидели тоже не дураки. Коллегия в составе фельдшера, конторщика и неграмотного посоветовалась с товарищами — и школьные здания отдали под постой красной кавалерии. Срочным порядком в Уфу завезли из Петрограда несколько тысяч беспризорных детей. Их размещали не в пустых «правительственных», а в переполненных «частных» школах. Вид беспризорников подействовал на учителей сильнее кавалерии...

Старая орфография

Осколки старого мира разлетелись по всей России. Один из самых крупных оказался на юге. При Деникине он назывался управлением, а с 1920 года, при Врангеле — Министерством народного просвещения. Министра И.И.Малинина Деникин характеризовал одним словом — «либерал».

Министерство находилось в Крыму. Казалось, здесь к концу Гражданской войны собралась вся дореволюционная Россия. Пестрая, разночинная, с бойкими разносчиками горячих бубликов и газет, с важными господами и разгуливающими по набережной дамами, спекулянтами и бывшими членами Государственной думы, юнкерами, студентами, профессорами... Жили какой-то своей жизнью, уже не прежней, но и не новой: пересадка в пути, когда поезд задерживается и неизвестно, когда его подадут к перрону. Но жизнь продолжалась, ходили на службу, праздновали именины, растили детей... Пережив ужас революции, все хотели одного: чтобы все поскорее стало как прежде.

Вот стенограмма важного педагогического совещания в Симферополе. Один говорит: надо вернуть прежнюю орфографию. Другой возражает: не надо. А в чем суть спора? В том, что новой орфографией пользуются большевики. Позвольте, при чем тут большевики? Новую орфографию ввело Временное правительство!

Сегодня думаешь, что в этой старой бюрократической машине много очаровательного. И много глупого. Выпускник учительской семинарии желает сдать экзамен за университет и недоумевает: почему снова нужно повторять школьный экзамен? Почему нельзя сразу? На полях его заявления резолюция: «Закон не допускает».

Да, старые бюрократы. Но все же — закон. Не «революционная совесть». Чиновники скрипят перьями: «В согласии с законом 1908 года...»

«Пошла писать губерния»? Но эта древняя законопреемственность наполняла их работу смыслом, позволяла и впрямь что-то восстановить, утвердить. Они возрождают прежние училища (стекла в окнах, выбитые артиллерией, изломанную мебель). Учреждают на основании решения уже не существующей Думы университет в Таврии, открывают в Севастополе Юридический институт. И получается, вообразите, совсем не глупо! Получается, что вся эта старая канцелярия — «столов черных с двумя ящиками... длинных желтых скамеек...» — людям необходима.

Эта фаза южного ведомства оказалась короткой. Даже по бумагам видно: «господин министр» скоро сменяется «гражданином». Восстановить прежнюю орфографию невозможно. К тому же ритм жизни данного ведомства особый. Дружественный Наркомпрос только однажды переехал из Петрограда в Москву (потеряв по дороге ящики с имуществом, в результате чего все проблемы народного образования были отброшены и месяц все искали ящики. Это и по протоколам заседаний видно: «Где ящики? Куда девались ящики?»). А южное ведомство перемещалось постоянно, можно сказать, блуждало вместе с линией фронта.

Все эти годы в ведомстве мучились со сметами. Только утвердят ассигнования на подведомственные школы — фронт сместился, и уже непонятно, чьи теперь школы: «белые» или «красные»? А ученики — чьи?

Вот удивительный документ эпохи — может, сегодня он пригодится и нам. «11 ноября 1919 г. Циркулярно. Гг. попечителю и окружным инспекторам учебных округов. В последнее время все чаще встречаются случаи обращения бежавших из Советской России учащихся с просьбами о принятии в соответствующие классы средних учебных заведений, причем в подтверждение своих словесных показаний они или предъявляют советские свидетельства, не имеющие никакой юридической силы, или не предъявляют никаких...»

Что же делать, рассуждает чиновник: с одной стороны, в Советской России налицо разруха школьного дела, установить преемственность тех школ и этих (с вековой традицией) нет никакой возможности. А с другой — нельзя же оставить детей без школы!

И как вы полагаете, что придумали чиновники? Ни за что не догадаетесь!

В архиве хранится «Временная таблица соотношения между классами школ на территории Добровольческой армии и советских». Два столбика друг против друга: классы «белой» школы и «красной». Младшему, подготовительному, чиновник поставил в соответствие младшую группу советской школы первой ступени. Эти столбики — не враждующие армии. Это дети...

Разбитое сердце

Никакой документ не выразит точнее дух времени, чем эти школьные отчеты! Составленные на дореволюционной мелованной бумаге, со старыми «ятями» и такими отстраненными от времени вопросами. Когда было основано училище? Сколько учащихся подвергалось экзамену и выдержало таковой удовлетворительно?

Вопросы из одного времени, а ответы — из другого. Разделяют их всего каких-то несколько лет, но они как будто не слышат друг друга — вопросы, подразумевающие другие ответы, и ответы — вовсе не на эти вопросы.

Две разорванные жизни. «Чем замечателен отчетный год в жизни училищ? Особые случаи, экскурсии, прогулки, праздники, древонасаждения, вечера, елки?..»

Я прямо-таки как живого вижу этого директора: в стоячем воротнике, с блестящими пуговицами на мундире. Тщательно протирает пенсне. Прислушивается к чему-то в собственной душе. И пишет ответ:

«...В течение апреля город три раза переходил из рук казаков в руки красных, от выпущенных артиллерийских снарядов повредилась крыша, и в окнах училища выбито много стекол. Несчастий с детьми, слава Богу, не было... При большевиках число учащихся уменьшилось, и значительно усилились манкировки. Вообще, ученики стали относиться к учебным занятиям крайне небрежно» (красные, белые, серо-буро-малиновые, как бы с осуждением говорит директор, а учебный процесс нарушать недопустимо...).

Какой там еще вопрос?

«Преподается ли рукоделие? Изучаются ли пение, гимнастика, дополнительные предметы?»

«...По Положению о трудовой школе, в каковую училище было переименовано советской властью с 1 апреля 1919 г., были определены занятия под открытым небом: в саду, в огороде, в поле. Но из этого ничего не вышло, так как при училище нет ни сада, ни огорода, ни поля...»

Тут директор смотрит в окно. Интересно, что он там видит? Ну что можно увидеть в пыльном уездном городе? Разве что небо...

«Сколько преподавателей с университетским образованием? Выдающиеся вопросы, обсуждавшиеся в педагогическом совете?..»

«...Из преподавателей особенно пострадавшими являются учитель математики М.Рабинович, уволенный по доносу учащихся ячейки коммунистической молодежи “за несоответствие социалистическому строю школы” (причина доноса крылась в строгом требовании указанным учителем выполнения уроков), законоучитель протоиерей Евгений Николаевич Белозеров, учитель Александр Павлович Скипенко, содержащийся в Воронежской тюрьме...»

«Достаточно ли светлое помещение? Имеется ли при школе двор или сад? В каком состоянии библиотека и наглядные пособия?»

Вот извлеченная из того же архива таблица. Именуется как поэма: «Список испорченных, уничтоженных и бесследно пропавших учебных пособий и других предметов, хранившихся в шкафу в учительской комнате, квартировавшими 29–31 августа 1918 г. в помещении высшего начального училища солдатами Красной Армии».

Да и строки таблицы под стать «Илиаде»:

Электрическая машина Винтера	1	18р.	разломана и уничтожена
Франклинов кипятильник	1	10р.	разбит
Архимедово ведро	1	5р.	унесено
Кубический дециметр	1	4р .	ящик разломан, кубики, бруски и квадратные доски раскиданы
Чучела птиц цыпленка, утки, дятла, галки, ястреба и скворца	6	11р.	унесены дятел и утка
Глазное яблоко с оболочками	1	10р.	разбито
Модель сердца взрослого человека	1	12р.	унесено

Никогда мы не узнаем, кто и зачем это сделал. Но это расколотое где-то втихомолку глазное яблоко, это утащенное в «архимедовом ведре» сердце не дают мне покоя.

Из материалов особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков при главнокомандующем вооруженными силами юга России (Новочеркасск, 1919 г.):

«На трупе капитана Лемешева обнаружено до десяти глубоких штыковых ран на спине и боках и разворочена грудная клетка с вынутыми легкими... На трупе подполковника Полякова рана в затылочной части черепа, до пяти глубоких штыковых ран и разорванная грудь, причем сердце было вынуто и валялось рядом».

Строители новой школы

Старинное московское здание на Чистых прудах — бывший Наркомпрос. Широкая лестница, длинные красные ковровые дорожки. Теперь тут Министерство образования России. Пришли новые люди. «А вы по какой лестнице ходите?» — спрашивает старый работник аппарата министерства моего знакомого, как раз нового министерского работника. «Как — по какой?» — удивляется новый. «Мы ходим по той, — доверительно объясняет старый, показывая лестницу черного хода, — а по этой ходит министр...»

Рассказывая, мой знакомый смеется. Он ходит на коллегию по главной, парадной лестнице, вызывая шок старожилов. Никак они не могут привыкнуть к переменам (впрочем, стоит ли привыкать, надолго ли?).

После революции атмосфера в Наркомпросе тоже была самая демократическая. Собирались у буржуйки с морковным чаем и до рассвета обсуждали завораживающие картины будущего. Может быть, даже в этой комнате. Или в этой...

«Протокол № 45 заседания 14—20 июля 1918 г.

Тов. ЛЕПЕШИНСКИЙ оглашает тезисы, выработанные отделом реформы школы:

1. Учебное время продолжается круглый год.

2. Школьники занимаются 7 дней в неделю.

3. Учителя должны избегать пользоваться учебниками...

КРУПСКАЯ. Учебники не должны быть отменены. Учебник как учебный материал, данный в руки учеников, ничего дурного сам по себе не представляет. Другое дело — как он будет использован.

Тов. ПОЛЯНСКИЙ. Наша первая задача — изгнание из школы ненужного хлама. Мы уже изгнали Закон Божий, латинский язык, мы также должны изгнать, вообще обязательное изучение языков, даже русского, старая математика и словесность должны быть изгнаны из школы...»

...Кто же все-таки эти люди — первые руководители «красного просвещения»? Невежды? Фанатики? Проходимцы? Некоторые из них именовали себя «саперами революции», «подрывниками старой школы». Сотрудник отдела реформы школы Л.Шапиро на полном серьезе говорил товарищам: «Мы глубоко опечалены тем, что наша минно-подрывная работа идет недостаточно интенсивно, и зовем всех, в ком жива энергия творческого подъема, спешить с разрушением школы». Нет, это не был «корабль дураков», как называли Наркомпрос в «белых» ведомствах просвещения. Это был корабль дилетантов. Вначале прекраснодушных. Казалось, всё они смогут, им и море по колено. В новой школе, которую они построят, не будет окриков, наказаний, а только энтузиазм, творческий труд и живая тяга к знаниям.

«Я помню, — вспоминала об этой поре Крупская, — как кто-то привел в Наркомпрос молодого парня, приехавшего из деревни. Он слышал, что бедняцкой молодежи теперь можно учиться.

Приехал в Москву, разыскал памятник Ломоносову, сел около него и ждал, что его кто-нибудь возьмет и отведет учиться».

Тяга к знаниям действительно была огромная. И в разгар Гражданской, так же как на территории белых, у красных росла сеть школ, открывались клубы, рабфаки...

В середине 20-х в Праге будет создан Институт изучения России, и эмигранты — известные русские статистики, экономисты, педагоги — будут исследовать причины этого феномена: роста, несмотря ни на что, системы образования на родине. Приедет делегация зарубежных учителей изучать русскую школу. Будут восхищены. Великий Дьюи заплачет: то, о чем мы мечтали, вы сделали... Что же их так поразит: массовый энтузиазм, огромные потенции?

Да, и то и другое было. Вспомним кадр старого советского кино: бородатые неграмотные мужики обступили грамотного чтеца. Слушают про советскую власть. По всем селам, деревням слушают. А попробуй — не послушай. Ведь 10 декабря 1918 года самим Ульяновым (Лениным) был издан декрет «О мобилизации грамотных». Всем грамотным России предписывалось встать на учет, закрепиться каждому за отведенным участком города или селом и, как сказано в декрете, «ясно и толково читать вслух» ленинскую «Правду». И еще как читали! Уклонение от «мобилизации для выполнения обязанностей чтецов» (впрочем, как и слушателей) каралось революционным трибуналом.

Вот тебе и ликбез! Вот тебе и народное просвещение! «Учиться, учиться и еще раз учиться!» — с годами это известное обращение к молодежи приобрело отвлеченный смысл. А Владимир Ильич, как всегда, говорил конкретно. Луначарский комментировал это так: бороться, бороться и еще раз бороться за молодежь, «потому что поскольку молодежь будет завоевана и не выпадет из рук рабочего класса, постольку она будет мощным оружием в предстоящей борьбе».

В конце 1919 года бюллетени комиссариата торжествующе сообщали: фундамент новой школы заложен! Увы, деятели Наркомпроса часто принимали желаемое за действительное. Даже там, где старых учителей полностью заменили новые, прошедшие краткосрочные курсы, новации прививались туго. В Орловской губернии, например, записались на курсы новой школы 310 человек. Курсантам выдали повышенный красноармейский паек. Но половина не проучилась и трех месяцев. Другие новоявленные учителя, придя в школу, начисто забывали передовые приемы преподавания: «книга — бич детства», «в письме надо самый жесткий контроль объявить линейкам, особенно косым», «долой изложение, да здравствует свободное сочинение!» — и принимались неуклюже копировать старые методы обучения. Да и как могло быть иначе —

школьная прислуга еще помнила гимназические времена и относилась к прежним учителям (а теперешним коллегам) дружелюбно, похлопывая по плечу. В душе директор-швейцар считал, что обучение по-новому — это блажь.

В революционном Наркомпросе не понимали, что происходит: реставрация? Контрреволюция? В 1917 году Луначарский жаловался на нехватку людей, а в 1921-м недоуменно разводил руками: в аппарате сидели 100 тысяч чиновников — в 15 раз больше, чем при старом режиме. И вот беда: этот новый аппарат, сменивший старый, оказался страшно неблагодарным. Почуяв опасность сокращения, собрался в комфракцию ЦК Всероссийского союза просвещения и 29 июля 1922 года обратился в ЦК РКП(б), требуя отставки Луначарского. Просили заменить его Троцким. «Назначение тов. Троцкого, — говорилось в обращении нового аппарата, — поднимет столь низко павший авторитет Наркомпроса... поможет сдвинуть воз просвещения из того гнилого болота, в котором он находится сейчас».

Нарастала «тоска по Троцкому». Прекраснодушные дилетанты начали превращаться в воинствующих невежд. «Чудовище пожирало чудовище».

В конце 20-х годов развернулись масштабные «педагогические процессы». Теперь бывшие соратники клеймят, уничтожают друг друга. В 1931 году выходит постановление «учителя народов», который называет новаторство 20-х годов «глупыми идеями». Закрываются все опытные станции, прекращаются все эксперименты. Куда-то пропадают заведующие школами-коммунами. Сама школа резко меняет облик: в нее возвращаются строгий контроль, отметки, дисциплинарные взыскания.

Такой удивительный виток сделает школьная история. Не менее удивительно другое. С середины 30-х годов произойдет возврат к идеям самодержавия. Как апологетика мудрой сталинской политики начнется безудержное воспевание всего «русского». И тогда восстанет из пепла старая дореволюционная педагогика. Восстановят не только Ушинского, Толстого — мельчайшие имена бывших противников будут печатать миллионными тиражами. Нет худа без добра.

В тот период извлекут на свет и некоторые старые программы, учебники, по которым будут учиться до 50-х годов. Если кто помнит, по математике, физике они были очень хорошие, ясные. А имена тех, кто в начале 20-х их выбрасывал? Кто делал революцию в народном просвещении, кто искренне верил? Их имена забыты, вымараны из педагогической энциклопедии. Многие стерты в лагерную пыль.

Такова история дилетантов. Но закончена ли она?..

«Зе-лё-ны-е!!!»

А еще ведь был «курень смерти» Петлюры. Атаманша Маруська. Народный учитель батька Махно. У них тоже имелась своя школа. У каждого правительства — краевого, станичного — свое народное просвещение. И они не собирались ни в какую федерацию. «Яка до биса хвадирация, — заявляли казаки, — колы бэз штанив сыдымо».

Без штанов и без просвещения — и тогда федерация не получилась. Вот странно! До революции, в «тюрьме народов», национальные проблемы не звучали так яростно, хамски, оголтело. На территории Черноморского округа — будущих «зеленых», на Дону, Кубани издавались вполне респектабельные педагогические журналы. В иных станицах действовало по десять училищ, работали школьные кооперативы, вводилась гимнастика по системе Лесгафта, создавались фребелевские курсы... Культурное вроде общество. А дореволюционные станичные атаманы ничуть не похожи на

послереволюционных: благопристойные люди, почетные члены школьного попечительства. И как все переменилось! Теперь батьки и атаманы (крест-накрест пулеметные ленты) дружно голосовали за «самостийную школу». Симон Петлюра основал Украинскую академию наук (торжественное открытие ее состоялось в 1919 году). Годом раньше издали пухлый том «Украиноведение» со всеми учебными предметами (украинское «естествознавство», даже физика и химия — украинские). Минская городская дума запретила в школах — как заразу — Жуковского, Гоголя, Пушкина, Салтыкова-Щедрина...

Даже горцы Кавказа, спустившись с гор, заявили союзникам о полной автономии школы! Теперь все ходили на уроки только в национальной одежде, пели национальные гимны. И вешали на фонарях не только свои флаги, но и учителей — и красных, и белых...

Торжествовала реакция. На поверхности оказывалось то, что многие годы воспрещалось и преследовалось. Ведь преследовалось же? Запрещали школам праздновать юбилей Тараса Шевченко? Не желали видеть в классе портрет усатого Шевченко — черта лысого в подарок получите: Котовского! Заключали в черте оседлости, не пускали в университет, громили хедеры — выучили Троцкого! «Закон Божий католиков заставляют вести на русском... В армянских школах волнения — не утверждают учителей... Мусульманская школа переживает глубокий кризис. Все это движение национальной школы ищет себе выхода...» — предупреждали задолго до революции.

И какой все это нашло выход? В Гуляй-Поле батька Махно проводит реформу просвещения! Вот еще одна неизвестная страница нашей истории. В молодости Нестор Махно сдал экзамен на звание сельского учителя, одно время учительствовал в Мариупольском и Брянском уездах. Пропагандировал среди крестьян анархическое учение. Сохранились свидетельства, что учитель Махно имел дар: так влиял на крестьянскую молодежь, что никто не смел его ослушаться. «Я приказал, и надо исполнить», — властно распоряжался Махно, сверкая глазами. И его приказы исполнялись. Совершались налеты на погреба, усадьбы, уездные казначейства. За разбой и убийства был осужден, но после Февральской революции оказался на свободе и опять занялся народным просвещением. В своих мемуарах «Русская революция на Украине» эмигрант Махно позже вспоминал: «Одно меня угнетало — это отсутствие у меня надежного образования... в области проблем анархизма».

Вернувшись в Гуляй-Поле, Махно организует «комиссию» — обследовать состояние народного образования. Почему нет школ анархизма? И чем вообще занимаются? «В 10 часов утра я, в сопровождении товарищей, был на базаре, рассматривал площадь, здания домов и гимназий. Зашел в одну из них, где встретился с директором и долго говорил с ним о программе преподавания, в которой (кстати сказать) ничего не понимал, — самокритично вспоминал Махно, — но узнал, что Закон Божий в программе стоит и, по словам директора, ревностно оберегается попами и отчасти родителями учащихся. Я очень возмутился...»

Вначале Махно ратовал за мирную реформу школы. Даже, как вспоминает, записался членом Общества просвещения. Глубоко верил, что, став членом этого общества, пошатнет религиозный вопрос. Но через просвещение не получилось. И тогда Махно начал свою реформу...

Это сейчас кажется фарсом. Банды народных учителей (а в окружении Махно их было много) мотаются на каких-то рыдванах с пулеметами по деревням и селам, устанавливают советскую власть. Да, настоящую, не большевистскую, а — с кресть-

янскими съездами и выборными советами хлеборобов анархистов-коммунистов. Издавали собственные указы, имели свои газеты. И школы действовали — на полном самоуправлении.

Вот бред! И батька Махно хотел ту же школу — свободную, трудовую, самоуправляемую? Все, если задуматься, — красные в косоворотках, белые с золотыми погонами, эти «зеленые» с пушкой на телеге, — в сущности хотели одного. Все по-своему хотели добра. Все кричали одно и то же — и не слышали друг друга.

Точь-в-точь как сейчас...

«Кто он, откуда, куда он идёт?»

В марте 1920 года находившийся в Севастополе отставной генерал-лейтенант Врангель был призван Русской добровольческой армией последним главнокомандующим. Как вспоминают очевидцы, Врангель слыл человеком своеобразным. В отличие от Деникина («очаровывавшего своим милым добродушным лицом», но игнорировавшего мнение собеседника») Врангель, напротив, старался с жадностью черпать в самой жизни ответы на вопросы своей политики. Шансы победы над большевиками он оценивал как «один из ста». Да и этот один шанс видел не в новом походе на Москву, а в том, чтобы возможно скорее закончить Гражданскую войну с сохранением южнорусской государственности и «единую Россию» не положить в фундамент программы (как это было при Деникине), а сделать крышей медленно строящегося здания. Крымский полуостров для него был чем-то вроде катушки, на которую постепенно наматывалась бы вся Россия.

Создание государства в Крыму началось с большим подъемом. Среди ближайших советников Врангеля встречались люди немалого государственного ума и опыта. Благодаря управляющему ведомством иностранных дел Петру Борисовичу Струве крымское правительство быстро наладило торговые связи с миром (в Гражданскую войну экспортировали даже зерно). Провели ряд крупных реформ. Одна из самых радикальных — аграрная: передали всю землю в руки среднего и зажиточного крестьянства. Восстановили земское самоуправление, но на новых началах — крестьянских (вся разночинная сельская интеллигенция, включая народных учителей, не имела права участия в волостных земствах). Бурно расцвела при Врангеле печать: газеты, вестники росли как грибы, однако независимые издания — в Ялте, Феодосии — часто выходили после цензуры с пустыми столбцами.

Временами давали о себе знать вспышки антисемитизма, погромные речи раздавались даже с амвона кафедрального собора. Росли спекуляция и взяточничество, страшно падали бумажные деньги (разменной монетой стала ассигнация в 500 руб.), в ущерб фронту разбухал тыл.

И все же... Хватало сил и средств на народное просвещение. Вначале министерство располагалось в Севастополе, что было крайне неудобно и дорого — весь губернский аппарат оставался в Симферополе, добрая половина севастопольских чиновников просвещения только и делала, что занималась перепиской с подчиненными губернскими учреждениями (сохранились горы архивов). Поезда ходили нерегулярно. И ходоки добирались в министерство, ночуя по дороге в волшебном Бахчисарае, по выбитому грязному севастопольскому шоссе, на лошадях, как в предыдущем веке...

За это время все же был решен вопрос об инородческой школе. Легализованы татарские учительские семинарии, открыты местные художественно-промысловые

училища. В высшей школе подняли жалованье профессорам и, учитывая поток беженцев, открыли новые кафедры. А когда министерство переехало в Симферополь, работа пошла с удвоенной силой.

И что же — все напрасно? Все прахом?

Университет в Симферополе при Врангеле основал Вернадский. В здании средней школы № 1, бывшей симферопольской первой гимназии, учился будущий конструктор Королёв. Какая причудливая связь: жизнь, биосфера, космос — и гражданская война, «белые», «красные». И какое странное чувство одиночества возникает, когда роешься в старых папках (как будто ты один среди звезд, а внизу — шарик синий вспыхивает, наливается красным). В них все перемешано: сводки с фронта, засушенная бабочка из гербария, извещение о смерти, фотография детской площадки в Ялте... Пожелтевшие афиши того времени. В садах общественного собрания — детские спектакли: «Мальчик-с-пальчик», «Кот и лиса», «Снегур Снегурович»... Сами дети инсценировали, шили костюмы, играли. Как всем детям, им нравились сказки с хорошим концом. Так почему же, вырастая, они оказывались втянутыми в сказку с концом столь плохим? Куда улетел воздушный шарик удивительной российской культуры, воспитания домашнего и общественного, какие нам и не снились — университеты, лицеи, гимназии, коммерческие училища, кадетские корпуса?..

Мы ведь столько лет практически ничего об этом не знали. Про сто типов школ помните? Про двести — только в центральной полосе России! — педагогических газет? Про триста — открывшихся только в одном квартале 1915 года — научных и культурно-просветительных обществ? Царскосельское общество содействия физическому развитию подрастающего поколения «Русский витязь». Харбинское общество распространения среднего образования. Общество разумных развлечений города Самары... Сколько поколений — и каких разных — строило российское народное образование: промышленники, культурные бюрократы, меценаты, кооператоры, духовенство, попечители, земские деятели!.. И сколько тупости, невежества в русской истории в отношении к образованию! Как холодно-безразличны были цари! Как поздно начинали и как медленно двигались по пути прогресса! Как легкомысленно относились к опасностям, способным превращаться в катастрофы! Почему накануне — всякий раз только накануне! — общественных переломов, войн, революций просыпался у общества интерес к культуре, народному образованию? Кажется, чем ощутимее становился жар испепеляющего огня, чем острее осознавался конец, тем скорее и смелее шли перемены в народном образовании. Как будто в приближающемся конце люди прозревали и за месяцы, недели, дни пытались сделать то, чего не сделали за века.

«...Все начальные училища переданы в ведение земств и городов... Проведена децентрализация ведомства, вдвое сокращен аппарат. Принят закон о поддержке общественной и частной инициативы...»

«Я стал доказывать Врангелю, что он совершенно не понимает, что такое “общественность”, о которой так часто говорит, — вспоминал председатель губернской управы князь В.А.Оболенский. — Вы должны понять, Пётр Николаевич, что общественность может быть только свободной, общественность, лишенная свободы суждений, общественность, раболепствующая перед властью, теряет смысл своего существования...»

Не могли же они этого не понимать!

Вся российская история доказывала: засыпает общественность — просыпается смута. Впрочем, Врангель предпочитал другую формулу: «диктатура, опирающаяся

на общественность», «сильная власть в дружной работе с широким местным самоуправлением». Так говорили и дотоле. Так будут говорить и потом.

Но осуществить эту формулу еще никому не удавалось — то ли потому, что в ней изначально заключено неодолимое для России внутреннее противоречие, то ли оттого, что все российские диктаторы органически не способны понять дух общественности. Дух народного просвещения.

«...Преобразуется система профессионального образования... Открыты высшие курсы крестьянского права и хозяйства. Поставлен вопрос о реформе народной школы...»

Кто-то ведь читал в южном правительстве удивительный доклад нынче никому не известного инспектора русских народных училищ И.М.Гепнера о воссоздании народной школы. Прежде чем написать свою докладную записку, он объехал все русские села губернии, накопил огромный материал, беседовал с крестьянами, «только что вырвавшимися из огня большевистских социальных экспериментов», — и все это служит ему основанием своего взгляда на народное образование.

Что говорят теперь крестьяне? Школа — «это окошко, сквозь которое из своего угла да на весь мир глядеть можно». Однако та школа, что есть, ненастоящая. «От одного берега отплывают, а к другому не приплывают», «ни поп, ни пахарь» — так отзываются они о выучениках народной школы, об оторвавшихся от корней, умноживших племя деревенских лодырей, городских хулиганов, темных, но уже с претензией, не способных приняться ни за какой труд. Кабак, гармошка, «пинжак» и сапоги «бутылкой» — вот идеал этих людей, мнящих себя деревенской интеллигенцией. И городской — пролетарской, большевистской... Как точно сказано: «От одного берега отплывают, а к другому не приплывают». Там, между берегами малой речки, впадающей в большую, может, и происходит все: топят, тонут, тянут за собою. А чем же могут помочь школа, образование? Предложения инспектора Гепнера кажутся простыми. Почти банальными.

Первое: школа должна помочь тем, кто хочет и может доплыть до другого берега, уйти от сохи к профессиям умственным. Абсурдно предположить, пишет он, что это могут сделать вся деревня, все ученики школы.

Поэтому — второе: не отрывать от берега. Не отчуждать от деревни, в основе школы — трудовое начало, изменение умонастроения, не «учись, если не хочешь быть свинопасом», но «человека роняет не труд, а умственное и нравственное невежество».

Однако этого мало. Нужна народная аудитория — аудитория, в которой каждый имеет возможность поставить свой вопрос. «Нельзя теперь, после горького опыта, не ознаться, что...» — последняя строчка оборванного отчета.

Продолжения нет, а значит, мы никогда не узнаем, что он, инспектор Гепнер, предлагал. Он, заявивший в первых строках, что у него есть конкретные предложения, целая программа: что делать теперь же, чтобы не допустить в будущем «вывихнутых людей». Так он называл этих несчастных, тех, что между берегами.

А нам что делать?

«...Начата реформа средней школы, упразднены тупиковые ветви... Созван учительский съезд по новым программам преподавания...»

Они тоже разрабатывали программы для школы настоящего и будущего (отведенного им историей). В то же самое время, что и в Наркомпросе. В те же самые дни, может быть, даже часы (стенограммы позволяют соотнести и установить это точно). Можно вообразить себе, как на огромном пространстве, почти через всю Россию, охваченную огнем, тревогою, неустройством, то в такт, то не в такт бился

маятник — влево, вправо, на север, на юг — как два учительских сердца. Вернее, половинки одного.

Из стенограммы заседания программной комиссии Министерства народного просвещения правительства юга России (октябрь 1920 года — за считанные дни до падения Перекопа):

— Комиссии следует встать на более практическую почву. Финансовое положение затруднительно!

— Экономить на народном просвещении? Мы проиграли войну и довели до развала Россию из-за экономии...

Фамилии спорщиков, написанные от руки, неразборчивы. Да и не в них дело. Не они — так другие: дело в самой сути спора...

Что они обсуждают, о чем спорят? Да о чем всегда спорят педагоги: сколько часов на математику, а сколько — на русский? Что увеличить, а что уменьшить? За счет чего? Что положить в основу? Один говорит: всестороннее гармоническое развитие личности, а другой перебивает: опомнитесь, какое гармоническое?

— Школа должна соответствовать переживаемому моменту жизни, а такой момент сейчас: в человеке проснулся зверь...

— Я согласен с Петром Владимировичем, переживаемое нами ужасно. Совершаются тягчайшие преступления, кровь человеческая льется рекой. Русское общество гибнет, ибо оно потеряло свои идеалы. Мы потеряли все. Для того, чтобы спасти общество, сохранить последние остатки культуры, необходимо религиозное воспитание, оно одно может...

— Увеличить число уроков на Закон Божий? Он был и до переворота.

— Уроки истории, лучшим средством служат уроки истории!

— «О, разрешите мне жизни загадку! Кто он, откуда, куда он идёт, кто там вверху, над звездами живёт?» Господа, на этот вопрос могут дать ответ только философия и религия, а не наука.

— Но если среди народа сейчас не все звери, если народ еще сохраняет моральную силу, то в этом заслуга...

Далее — неразборчиво: кажется, уже слышится артобстрел, приближается грохот канонады...

И — последнее, как слабый всхлип:

— Не являются ли труды нашей комиссии лишней кипой бумаг, которые будут сложены в пыли архивов, где уже много лежит трудов разных комиссий?..

«Не уходите!»

Всероссийская учительская забастовка окончилась к летним каникулам 1918 года. Но фактически уже в марте, с началом наступления германской армии, когда нависла опасность, русские учителя вернулись к детям, заключили свой «Брестский мир». Они так и говорили: «наш Брест». Как забастовка угасала, можно проследить по педагогическим газетам того времени, большевистским и независимым, от номера к номеру постепенно изменявшим тон, выдвигавшим все более мягкие требования, а потом не требовавшим ничего (с августа уже печатаются декреты и хроника Наркомпроса).

Можно восстановить буквально по неделям, дням, как они отступали, как расслаивалось учительство России на «революционных», «сочувствующих»,

«протестующих»... Их просто-напросто обманули. Предложили сотрудничество, а когда они протянули руки — вывернули за спину и щелкнули наручниками. «Разжигали национальную рознь?» «Участвовали в мятежах?» Большинство пунктов предъявленного им обвинения было смехотворно. Но последствия разгона Всероссийского учительского союза (ВУС) оказались серьезными. На многие годы было уничтожено (и когда еще восстановится — неизвестно) общественно-педагогическое движение России. Свободный союз профессионалов. Не распределяющий путевки, — но защищающий «каждого маленького учителя». Вырабатывающий политику народного образования. И не зависящий от аппарата власти. Такой учительский союз мог быть в России...

Если бы весной 1918 года учительство капитулировало, убедившись в правоте противника, все было бы понятно.

«Но, показав так ярко свое бессилие перед большевиками, учительство вместе с тем продемонстрировало свое бессилие вообще, бессилие — как свою духовную сущность: уступив сегодня большевикам, оно так же легко и вяло может уступить завтра кому угодно», — так писала последняя не задушенная коммунистической цензурой газета...

А если это так, встает другой вопрос: а пригодны ли учителя, интеллигенция вообще к борьбе, которую России предстоит вести не с большевиками или меньшевиками, а с теми злосчастными судьбами, которые на нее обрушились?.. Испытав разочарование, поражение, они пытались честно ответить на вопрос: в чем слабость русского учительства? И отвечали: в дряблости всей русской интеллигенции. Во все подавляющем эгоизме, когда единицы, десятки, может быть, сотни работают самоотверженно, напрягая все душевные силы, но тысячи, десятки тысяч хладнокровно смотрят на эту работу, не желая лезть на рожон. Именно из этой гущи лепятся фигуры, готовые служить любой власти, любому террору. И это та гуща, которая выдавливает из своих рядов коллегу — «лишь бы мне уцелеть».

Да, это правда, правда... Но не вся правда, спорила сама с собою интеллигенция, и разве не российское учительство несло светильники истины, красоты, добра, разве не служило народу, не просветляло его на историческом пути? Вся история народной школы говорит об этом!

Но светильники гаснут, тут же и отвечали они сами себе. Тьма нависает над страной. Кошмары давят. Голод гонит учителей из деревни. А что деревня, что ваш народ? Недоверчивый, озлобленный, разрушающий очаги духовной культуры, свои немногие библиотеки и школы? Называющий нас буржуями? Вас, народные учителя...

— Это не народ, он сбит с толку невежественными пропагандистами, демагогами. Он не ведает, что творит.

— Но кто же эти «невежественные пропагандисты»? Это же мы с вами! Разве не мы, народные учителя, «народники», более полувека проповедовали революционные идеи? Еще в «школах грамоты» 60-х. Да, мы во имя служения народу шли в деревню. Но ведь и мы — под видом рабочих, ремесленников, торговцев, под видом учителей — проникали в народную среду и расшатывали ее своими мыслями и словами!

Именно мы стали главными агентами партии. А девятьсот пятый год?

— Реакция обрушилась на учительские организации более чем на какие-либо другие. Две с половиной тысячи учителей были сосланы, десять тысяч лишились своих мест. Среди народных учителей были убитые и казненные...

— Но мы при этом ничего не поняли! Ничему не научились! Мы продолжали готовить революцию! Раздувать злобу, ненависть!

— Но ненависть шла от несправедливости. От нужды, холода, сырых келий. Плетей, зверства. Разве народные учителя виноваты в этом?..

Никак не могли понять, в чем их вина. Проще всего обстояло с большевиками. А с народом? Может быть, думали учителя, мы никогда не понимали этого народа? Выдумали его?

Ответить на это они не могли. И тогда по-другому вставал вопрос. Не почему, а «за что?» — спрашивали себя те, кто молился перед расстрелом, и те, кто расстреливал. Воевали и убеждались, что это не война.

Еще тогда, в 1918 году, в Советской России последняя независимая газета обращалась к учителям: «Светильники гаснут, не уходите! Будьте вместе с народом, сколько бы ни кричали темные силы “распни его” — не уходите!»

Лекция по Бердяеву

Эвакуация Крыма началась 28 октября 1920 года. Красная Армия внезапно перебралась через Сиваш, в тыл, казавшихся неприступными, перекопских позиций. Началась паника. Пароходы отплывали из Севастополя, а туда еще надо было добраться. Учителя, профессора, работники министерства с кульками, семьями, смешиваясь с толпой, набивались в вагоны разного класса, от голубых до желтых. Пропускали бронепоезда с фронта. Томились, глядя на ярко освещенный электричеством пролетающий мимо поезд генерала Кутепова. Наконец тронулся и этот поезд, едва таща тяжелые колеса...

Может быть, они ехали в нем последнем? За ним, вспоминали очевидцы, шли саперы, взрывавшие пути. Поезд застрял, и все начали пихать вагоны: «Навались, ра-аз, поддай, ра-аз!» Поезд тихо двигался в гору.

Какая стояла тогда погода? По одному из воспоминаний, после 15 градусов мороза в этот день светило яркое южное солнце (чудесная погода для осеннего школьного сочинения) и грело тех, кто сидел на крышах и тормозах. Солдаты, с которыми ехали учителя, веселились, балагурили, радовались, как дети, туннелям, распластываясь на крышах, чтобы не оторвало голову.

А где они ночевали в Севастополе, перед отплытием?

А как добывали паспорта и пропуска на пароходы?

Бежали мимо какие-то оборванцы, держа наперевес винтовки. Кричали, плакали дети. Графская пристань. Уходящие пароходы...

Так, примерно, описывает прощание с Россией один из эмигрантов — князь В.А.Оболенский. Он являлся общественным деятелем, а значит, занимался народным образованием. Все они так или иначе были причастны к народному образованию. Все — народные учителя и народные ученики...

Так почему? Вернее, за что? За какую несправедливость, за какое такое преступление пришло к ним ко всем — к тем, кто погиб, кто умер, кто уехал и кто остался, — ко всей России на многие годы это страшное необъяснимое наказание?..

Трескучей голодной зимой 1920 года в Москве, в Вольной академии духовной культуры тогда еще молодой Николай Бердяев попробовал ответить на вопрос по-своему: «Смысл революции, — говорил он той зимой в своих лекциях студентам, — есть внутренний апокалипсис истории. Апокалипсис не есть только откровение о конце мира, о Страшном суде. Апокалипсис есть также откровение о всегдашней близости конца внутри самой истории... обличение неудачи истории».

Студенты, вышибленные из университета «по классовому признаку», а может, и не поступившие туда, куда широко были открыты всем двери, ежились и жались к «буржуйке», трещавшей поленьями, стоившими в несколько миллионов.

«В нашем злом мире, — тихо говорил преподаватель, — оказывается невозможным непрерывное, поступательное развитие. В нем всегда накопляется много зла, много ядов, в нем всегда происходят и процессы разложения. Слишком часто бывает так, что в обществе не находится положительных, творческих, возрождающих сил. И тогда неизбежен суд над обществом, тогда на небесах постановляется неизбежность революции... Суд Смысла над бессмыслицей, действие Промысла во тьме».

Это не научное объяснение. Религиозное, историософическое. Лично для меня тут главное — отсутствие в обществе, в людях положительных, творческих, возрождающих сил.

Последний «школьный пароход» уплыл в 1922 году. Правда, чуть позже был еще «философский пароход». Дальше уходили в одиночку. Не потому, что не пускали. Просто уходить оставалось некому...

В потоке истории

(Эдуард Днепров)

«Люди обычно не отдают себе отчета или мало задумываются о том, что их действия исторические, — писал Э.Д.Днепров. — Это, впрочем, совсем не главное. Главное — действовать. И хоть изредка, но осознавать себя в потоке Истории».

Историку это чувство особенно знакомо. Вот ты приходишь в архив, раскрываешь папку с пожелтевшими документами, воспоминаниями: приглашение на концерт 1915г., детское фото, письмо с театра военных действий, газеты того времени, заметка о назначении нового министра народного образования, жаркий спор о реформе — и тебя охватывает это странное чувство, как будто они все живые, и чем дальше, тем явственнее ты начинаешь различать лица, слышать голоса и ощущать такой мощный напор некогда существовавшей жизни, испытывать поток истории...

«История — это не отстранение от современности, “вещь в себе”... Она каждодневно пронизывает, держит под своим током современность, которая так же каждодневно, переворачивая страницу своего календаря, становится частью истории. В истории лежат как корни кардинальных современных проблем, так и многие ключи к их решению».

Автор этой цитаты Э.Д.Днепров в качестве историка полжизни провел в архивах Ленинграда-Петербурга. История была его любимым профессиональным делом, причем русская история. А это довольно тяжелая, капризная дама. Недавно вычитал у одного из глубоких современных философов — Михаила Эпштейна — мысль о том, что история России похожа на шарнир, на который нанизываются, сменяя друг друга, совершенно разные общественные устройства, она как бы пробует примерить на себя разные модели и легко переходит от революции к террористическому государству, от коммунизма к капитализму, от капитализма к фашизму... Доходит до края пропасти, отшатывается и идет в другую сторону — опять до края...

И история российского образования не исключение.

Днепров знал и сам писал о бесконечной череде коротких, всегда коротких образовательных реформ и о тягуче длинных, захватывающих, кажется, всю историю

контр- и псевдореформах, череде с завидным упорством сменяющих друг друга министров-новаторов и реакционеров, консерваторов.

Но тогда (думаю я) сколько же нужно иметь не только человеческого мужества, но и глубокого исторического сознания, обладать каким-то другим взглядом на всю эту странную картинку, чтобы, несмотря ни на что, решиться — еще раз — попробовать!

«То, что Россия долгое время "беременна" реваншем, — говорит Днепров, — отнюдь не "закон маятника", не историческая закономерность реформ. Это прямой результат стратегического и нравственного просчета "реформаторов всех созывов". Оторванности, отчужденности от страны власти. И ответного презрения населения... История не знает альтернатив, — продолжает он. — Но альтернативы знает политика, делающая историю».

Часто удивляются тому, как и почему историк педагогики Эдуард Днепров стал министром, политиком. Сам он прекрасно отдавал себе отчет — почему. «Эти две профессии, два рода занятий, — писал он, — схожи более, чем все другие. Они имеют одну природу. Цель первой — познание закономерностей исторического развития. Цель второй — выбор оптимальной системы действий в рамках этих закономерностей... Политика — это сотворение современной и будущей истории».

Первая диссертация Днепрова была посвящена общественно-педагогическому движению поры Великих реформ: после отмены крепостного права, в период «оттепели» XIX в. Позднее Днепров напишет, что это была самая успешная реформа образования в истории России. И самая длительная по своим последствиям — хотя была, как всегда, короткой. Проводивший ее министр народного просвещения статс-секретарь А.В.Головнин единственный из членов правительства не носил министерского фрака, понимая, что это ненадолго. Но кое-что за отведенные ему 52 месяца (как сам высчитал) успел.

Причину успеха Головнина Днепров видел в активной поддержке общества, всех его социальных слоев. Днепров и в своей реформе («четвертой», как он ее назвал) опирался, во всяком случае, на первых порах, на поддержку учителей, родителей, ученых, управленцев, журналистов, деятелей культуры, регионов России, инновационного движения.

То, что Днепрова больше всего волновало в науке истории, он использовал, когда стал руководителем ВНИКа «Школа» (очень похожего на тот коллектив, которым руководил будущий министр Головнин накануне великих реформ, в конце 1850-х годов, работая в морском ведомстве. Удивительный, кстати, резонанс: А.В.Головнин — сын знаменитого мореплавателя и вице-адмирала; Э.Д.Днепров — сын морского офицера, выпускник Нахимовского училища, бывший штурман эскадренного миноносца). Днепров проецировал исторические закономерности в стратегию ВНИКа и тогда, когда стал политиком, министром, реформатором образования.

Когда-то (еще в книжке, отпечатанной ротапринтом) Днепров впервые обратился не к разрозненным звеньям, а к системе народного образования в ее динамике и противоречиях; он писал о сравнительных историко-педагогических исследованиях, когда об этом мало кто говорил, о России в мировом историко-педагогическом процессе, анализировал феномен общественно-педагогического движения (он называл его «просветительным»).

В его трудах соединялись фундаментальность и новаторство, и в тех ранних, и в позднейших, когда он снова с головой погрузился в историю образования после политической, реформаторской деятельности. Он открыл новые страницы истории

образовательных реформ и контрреформ, российских и советской, сталинской, смысл которых передал емким определением Герцена: «душевредительство правительственного воспитания», «настойчивое стремление сломить отроческую душу».

Вытравить все человеческое, чтобы сделать верноподданных по образу и подобию своему. Вывести «новый тип интеллигенции» — нет, людей не безвольных, напротив, как говорили в николаевские времена, деятельных, особым образом «дисциплинированных», благонадежных, крепких охранительными убеждениями.

Новый тип народа охранители создавать не пытались, напротив, их всецело устраивал «старый тип». Не правда ли, исторические размышления Днепрова о «новых людях», «старом народе» актуальны и сегодня?

Хотел написать о нем как о министре и историке, без мемуарной лирики. Но мы долгое время были коллегами, товарищами; трудно отделить одно от другого.

Он был очень обаятельным человеком. В нем чувствовалась «белая кость», как именуют в армии флотских офицеров. Он красиво жил, красиво дарил цветы женщинам. Ученым червем, повторю, никогда не был, хотя всю жизнь вкалывал как мало кто.

Жизнь складывалась по-разному, одно время ему приходилось часто переезжать с квартиры на квартиру. И «вниковцы» помогали перетаскивать единственное в то время его достояние — огромный, с дореволюционных времен стол с зеленым сукном, на котором Днепров писал свои исторические сочинения и проекты будущего.

...Когда я работал в архивах, исследуя разных министров, то на карточках личных дел все время натыкался на имя научного сотрудника Э.Днепрова, который изучал их раньше меня. «Может быть, — посмеивались позднее между собой соратники, — он уже тогда думал стать министром?»

Как историк и политик он глубже многих понимал причины и просчеты. В своих позднейших трудах он вывел уроки школьных реформ, и от нас зависит, выучим ли мы их или, как всегда, пропустим мимо ушей. Про общественную поддержку и инициативу, про внутреннее многообразие, про саморазвитие...

«Четвертую реформу» Днепров привязал к созданному тогда новому Закону об образовании и датировал 1992 годом. Политически это, наверное, оправданно, хотя педагогическая реформа началась раньше, с середины 80-х, с уникальной «школьной перестройки снизу», — и тогда рядом с Днепровым надо было бы поставить имена В.Ф.Матвеева и С.Л.Соловейчика, и, конечно, манифест учителей-новаторов «Педагогика сотрудничества», и свежий ветер перемен, возникших с приходом «старого нового человека», последнего министра образования СССР Г.А.Ягодина (без него — и его коллег — не было бы и ВНИКа «Школа»).

С того времени минуло более четверти века. Да, мы опять вляпались в историю. Но все же... Не кажется ли вам, что все сколько-нибудь разумное и свободное в образовании пришло оттуда, из поры надежд?

Когда-то мой коллега, в прошлом сотрудник днепровского ВНИКа (а потом сам министр) экономист Евгений Сабуров сказал мне: «Знаешь, мы тут писали национальный доклад, анализировали, вышло, что отдача от образования в десять раз больше, чем затраты на него. Это же ошеломляющий факт! Такого же у нас никогда не было!»

Если это так, то перед нами социально-экономические последствия образовательной реформы конца 80-х — начала 90-х годов, результат открывшейся когда-то свободы, реализации новых концепций и подходов к образованию и школе, отозвавшихся спустя десятилетия подвижкой в общественных ценностях, которые отразили значимость образованного человека. Это необыкновенно важный вывод! Пускай мы

по показателям экономики и политики съехали бог знает куда, но в образовании человека в обществе подвижки есть. И в этом немалая заслуга Эдуарда Днепрова.

Под занавес еще две его цитаты — одна общечеловеческая, на все времена, идущая от Пирогова, Ушинского и Толстого — его любимых персоналий, идеи которых он считал основанием реформ. «Основная гуманистическая идея, — писал Днепров о самой, на его взгляд, фундаментальной реформе образования, — идея развития человека, очеловечивания образования... пробуждение и формирование личности ребенка».

А вторая цитата — для утешения сегодняшних нас с вами, для долготерпения, потому что история — это вообще длинное дело, иногда и потерпеть нужно, не покладая рук, конечно.

Вот эта цитата Эдуарда Дмитриевича:

«Известно, что человек, как тростник, может выдержать сильные бури. Да и в обществе, как бы ни пытались его заблокировать, всегда остается воздух и, пусть в малой дозе и в "малых группах", самосознание, а значит, — протест. Сопротивление. В разных его формах... Человек, общество, наука, культура, образование даже при этом режиме... вырабатывают и реализуют "тактику выживания"... которая со временем может стать и становится тактикой выживания (но уже в другом смысле), изживания режима, избавления от него».

Как бы там ни было, а любое время, наша драгоценная жизнь — только миг.

Важно не сломиться, думаю я вслед за Эдуардом Дмитриевичем Днепровым, осознать себя в потоке Истории...

* * *

Спустя 20 лет был снят фильм в память ВНИКа. Его участники отвечали на простые вопросы: «Что, вы считаете, получилось из тех замыслов, той истории, а что нет?»

Один из участников сказал: «Что не получилось?.. Страна, к сожалению, не получилась».

Изумление, шепот, шорох прошел по залу. Аплодисменты.

Но чему мы аплодируем? Восьмидесятым, когда не было ни путча, ни термидора и дул свежий ветер, и поток истории поднимал нас, казалось, в светлые дали? Или тому, что произошло после? Сегодняшнему? Легче всего искать причину происходящего в не зависящих от тебя «объективных» законах, обстоятельствах, в ком-то.

Ту или иную историю делаем мы сами.

«Пока свободою горим...»

(Александр Тубельский)

С Александром Наумовичем, Сашей, я познакомился в 1980-е, в начале перестройки, а до этого видел его однажды на каком-то заседании в Академии педнаук — красивого, молодого, с седой копной волос.Он обращал на себя внимание уже интонацией голоса — так сильно отличалась его интонация от академической тягомотины. Я подумал: надо же...

А чуть позже мы познакомились. Дело было так: «Учительская газета» опубликовала мою статью о педагоге, как тогда говорили, новаторе — Михаиле Щетинине, вызвав бурные обсуждения, шквал голосов «за» и «против». По моей небрежности в текст

вкрались фактические неточности, что дало основание противникам опыта накатать телегу в партийные инстанции. Героев очерка стали вызывать на ковер и требовать отказаться от сообщенных фактов. Редактор знаменитой «Учительской...» Владимир Фёдорович Матвеев попросил меня съездить на место действия, на Украину, в село Зыбково, и расследовать сложившуюся ситуацию. Одному ехать в самое «логово», где автора статьи с нетерпением ожидали «оппоненты», я побаивался, и Матвеев в качестве группы поддержки командировал вместе со мной начинающего московского директора школы. В нем я узнал того самого необычного человека, выступавшего в академии. И мы с Тубельским (оказавшимся, кстати, товарищем Щетинина) съездили в школу, собрали материал и даже, помнится, провели «спецоперацию»: я пробрался на поезд, а Тубельский поехал в другую сторону, отвлекая на себя черные волги местной бюрократии.

Незаметно мы с Сашей подружились, оказались в одной компании, и в конце 80-х мне довелось писать уже о его школе: в разгар перестройки, когда Тубельский начал проводить свои демократические преобразования-инновации, школа раскололась: одна часть коллектива «за», другая — «против». Пошли письма, бурные собрания с участием учителей, учеников, родителей. Этим воспользовались противники эксперимента, который попытались закрыть; в общем, то, что происходило тогда в школе Тубельского, моделировало происходившее в обществе, на школьном пятачке разыгрывались широкие, далеко идущие процессы.

Материал, который напечатала та же «Учительская газета», назывался «Пока свободою горим»; в тексте статьи учителя обсуждали смысл пушкинской строки, разный в зависимости от поставленного ударения: одно дело, если ударение на слове «свобода», другое — на «пока» и совсем третье, если на «горим»...

В августе 91-го ученики Тубельского стояли у Белого дома. В той конкретной истории победила все же свобода. И, мне кажется, в случае с Тубельским надолго победила. Уже когда со свободой в стране опять стало туго, в школе Тубельского она продолжала существовать и жила все эти годы — и 80-е, и 90-е, и 2000-е, — сохранялся островок свободы и гуманизма в педагогике, центр духа и обновления, куда приходили, приезжали за знанием и поддержкой люди из разных частей педагогического света.

Постепенно имя Александра Наумовича, заведение, которое привычно называли школой Тубельского, поднималось и поднималось в общественном сознании, приобретая непререкаемый общественный авторитет, становясь камертоном, чистым звуком, с которым соотносилось происходящее в системе образования. Что бы там ни происходило, на душе было легче: знали, что школа Тубельского жива.

Александр Наумович и его взрослые и юные коллеги написали немало книг, и блестящие педагогические идеи и технологии школы проработаны и описаны в деталях (поэтому я не соглашусь с теми, кто считает педагогику Тубельского так называемой атмосферной, в отличие от технологической, — дух Саши и его школы в такой же мере растворен в технологии, в какой созданные в этой школе новаторские педагогические средства растворены в ее духе). Имея эти книги, зная его коллег, учеников, последователей по всей стране и в других странах мира, рассказывать здесь о деталях школы нет смысла.

Но одно педагогическое кредо Тубельского впечаталось в мою память.

Как-то мы говорили о знаменитом педагоге, нашем товарище, и Саша сказал: «Да, конечно, он гений, но, понимаешь, я много думал и понял, в чем у нас расхождение: он считает, что педагог имеет право быть «гуру», а я думаю, — что нет...»

Обладая огромным личным влиянием и педагогическим авторитетом, Саша

никогда не позволял себе играть роль высшего учителя, «гуру», пытаться формировать ребенка по своим лекалам, — на это, считал Тубельский, у него нет права, это дело самого ученика, самоопределяющейся личности. Поэтому школа и называлась не как-нибудь, а «школой самоопределения». Или по-другому: каждый человек, говорил и реализовывал на практике Александр Наумович, является на свет со своим предначертанием, смутным образом самого себя, и задача образования — создать условия, при которых ребенок, ученик сможет проявить в себе этот предначертанный образ, свое призвание.

Если говорить о самом Тубельском, то он, по-моему, проявил свое человеческое призвание абсолютно ясно и точно. Он, собственно, всю жизнь этим и занимался. Когда-то скоропостижно ушел из жизни замечательный педагог, наш общий товарищ, и я, как и многие, находясь под впечатлением утраты, вдруг стал допытываться у Саши — что он думает о неизбежном.

«Знаешь, — ответил он, — мне это вообще неинтересно. Мне интересно то, что происходит сейчас, — жизнь, творчество...»

Он был очень красивый человек. Красиво одевался, жил. Незадолго до случившегося звонил мне и приглашал — были на лето такие планы — съездить на корабле в красивую страну: так будет хорошо, говорил, утром встаешь — тихо, никого нет, кораблик идет, а ты рассматриваешь берега...

Светлая жизнь. Это большая редкость — такой красивый и совершенно светлый человек, без пятнышка.

И если там, у врат, распределяют, куда кому, пусть примут во внимание, что Саша Тубельский свой путь дальнейший земной жизнью сам определил.

Мой друг Куркин

Последнее время мы часто общались — по телефону. Не только из-за пандемии. Просто пришло такое время — дистантное. Ну, хотя бы не по имейлу, не эсэмэсками. Когда слышишь человеческий голос, — это совсем другое, чем короткие письма-записки с отсрочкой ответа получателя.

А тут как бы не прерывается.

Вот прервалось.

Мы познакомились в перестройку. Но до этого я прочитал в журнале «Знамя» статью некоего человека из украинского города Харцизск — молодого заведующего гороно, который отважился собственными руками вытащить из-под себя кресло. Замахнулся на систему и сказал вслух, попробовал опрокинуть эту многоярусную пустотелую — внутри же ничего нет — «пирамиду Хеопса», как назвал он систему государственного управления. Всю эту псевдопедагогическую вертикаль от районо до самого верха.

Статья, с глубокой аналитикой, в литературном отношении была блестящей — знаменитый Симон Соловейчик назвал ее вершиной педагогической публицистики. Сравнил, кажется, с «Педагогической поэмой» Макаренко. А я, когда читал, видел Шацкого и моего учителя Костяшкина. В отличие от мертвого школоведения у Куркина школьная организация оживала, в ней двигались дети, мальчики и девочки разного возраста и интересов, родители, учителя, управленцы... И это было совершенно другое управление.

Я думаю, Куркин уже тогда был в ряду классиков, занимал в нем особенное, редчайшее, незаменимое место. Помнится, в газете я назвал его «чиновником-новатором» (он смеялся).

Эксперименты в управлении система не прощает. Куркина с треском сняли.

Какое-то время он работал директором школы, переехав с семьей под Тулу. А потом, уже в самый разгар перестройки, заявил на страницах «Учительской газеты»: «Прошу разрешить эксперимент».

Время было такое, сумасшедшее. Раздался звонок секретаря горкома партии сибирского города: «Евгений Борисович, приезжайте». И он переехал и начал эксперимент в городе Урай, в Тюменской области. Получил зеленый свет, официальное разрешение и поддержку председателя Совета министров Н.И.Рыжкова (пробрался к нему в кабинет и убедил).

Так Куркин стал генеральным директором того, чему аналогов в истории, кажется, до него не было. Уходившая в небеса командная вертикаль легла на землю и была трансформирована в самоуправляющуюся горизонталь НППО — научно-производственно-педагогического объединения, модели «города-воспитателя». В Урае в него вошли школы — обычные и спортивно-музыкально-художественные, профучилище, завод местной промышленности, магазин... Дети пробовали, переходили из одной сферы деятельности в другую, а учителя и наставники помогали найти себя. Никаких вертикальных органов и посредников не было, объединение имело прямой выход на республику, а управлял всем Совет представителей входивших в объединение организаций, включая школьников-старшеклассников.

Мечта сбывалась. Бюрократия, казалось, умирала. Возник невиданный всплеск внешкольного, дополнительного образования, становящегося основным. Вся картинка менялась.

Тогда я с Женей Куркиным и познакомился. Он приезжал из Урая в Москву в командировку и раз ночевал у меня в однокомнатной квартире.

Мы оказались с ним в одном ВНИКе — временном научно-исследовательском коллективе «Школа», в котором собрались тогда сливки образовательного общества (я уже писал о нем). Потом вместе с друзьями пошли в Министерство образования. Куркина уговорили временно передать начатый эксперимент другим и стать замом министра.

Какое широкое поле открывалось нам! И как мы бездарно его профукали... Как все в стране, песня была недолгой.

Куркина уволили. Система управления, на которую он покушался, не прощала — у нее была длинная память. Хотя при чем тут система, думаю я, у нее же конкретные имена — друзья поссорились.

Куркин сделал невиданный шаг — подал в суд на Министерство просвещения. Судился четыре года и выиграл дело.

Возвратился уже при другом министре. Куркина были вынуждены принять — дали кабинет. Куркин сидел в нем и не знал, что делать, — ему не определили функционал. Система — все-таки система, а кто же еще? — думала, как отделаться от упрямого чужака.

Думала, думала и придумала: министерство реорганизовали (поменяли вывеску), и в новом штатном расписании Куркина не оказалось.

«Побереги себя», — говорили друзья (удивительно, в том же ведомстве, теми же словами, что в XIX в. «белой вороне» — реформатору А.В.Головнину). Куркин не стал дальше играть в этом спектакле. Ушел. Но и потом делал дело. Был главным редактором издательства «Педагогика-Пресс» и за несколько лет успел выпустить уникальные, зачитанные теперь до дыр «Энциклопедии для юношества». Замечательные

книги (среди них и наш скромный труд в зеленой обложке, с изображением мундира чиновника и пером вместо головы).

Издал впервые переведенную на русский старинную книгу «Самообучение. Мой метод», благодаря чему 100 лет спустя началось возрождение педагогики Монтессори в России с помощью Елены Хилтунен и Евгения Борисовича Куркина.

Потом он вернулся в школу, вел проекты, разрабатывал и проверял на практике модели начальной, подростковой, старшей школы, не похожей на сегодняшнюю (она из будущего). Защитился, стал научным сотрудником, сам написал немало книг. И в книгах тоже выступал непохожим автором, новатором.

Прочтите их, пожалуйста, может быть, вы откроете новое имя в педагогике. Старое-новое. Мы так редко читаем и интересуемся друг другом и часто не отдаем себе отчета, кто находится среди нас, с нами рядом. Не осознаем масштаб и глубину личности. Оставленные им деяния.

По образованию он был историком и многое видел по-другому, из исторической дали. Был оптимистом и делал усилия, прерванные самым могучим, всесильным бюрократом на свете, который неумолим и дожидается своего часа.

Пробил он и для Жени Куркина. Я бы хотел, чтобы мы его не забыли.

«Стереть, истребить невозможно...»
(Михаил Щетинин)

Я всегда чувствовал его присутствие. Даже когда забывал о его существовании. Он вроде звезды в темном небе, со своими детьми, школой, всем своим миром, нес нам какое-то важное послание. И когда о нем долго молчали или он сам молчал — в последние годы о его школе не вышло ни одной публикации, и, по-моему, он это делал намеренно, — это совершенно ничего не означало, все равно я знал, что он есть, школа есть, явление существует, — и этого достаточно.

Мне нелегко рассказывать о нем как о человеке.

Благодаря ему я впервые осознал, что существует другая школа и педагогика. А он говорил, что я спас его, подразумевая «Эксперимент в селе Зыбково» — статью в «Учительской...» в раннюю перестройку. Это была шумная публикация. Он стал необыкновенно известен. Его показывали крупным планом в Останкино. Хотя все это не спасло эксперимента. В советское время было такое полушутливое предостережение писателя Симона Соловейчика: хочешь погубить новатора — напиши о нем.

Щетинин был среди учителей, выступивших с манифестом «педагогика сотрудничества», с которого началась «школьная перестройка снизу». На сохранившейся групповой фотографии 1987 г. Щетинин в первом ряду, четвертый слева, между Шалвой Амонашвили, с которым сдружился после этого на всю жизнь, и легендарным редактором Матвеевым.

Щетинин на снимке со всеми вместе, но как-то особняком. В другую эпоху он говорил мне, что никогда не чувствовал себя демократом. Но было заметно — пробуждался всякий раз, когда начинали душить школу.

Мы нечасто встречались, но встречи не были случайными. Он считал, что таких не бывает. Иногда после долгих лет молчания вдруг звонил, ничего не объясняя, я понимал: что-то стряслось.

Иногда сам звонил ему: «Миша, а можно...» «Можно». — «Но ты же не знаешь что». — «Тебе все можно». И я брал в охапку переставшее учиться «дитя», которому никто на свете не смог бы помочь, и тащил в Текос — через полтора месяца оно молча

возвращалось и бешено начинало учиться. Мне было неважно, как это у него получилось.

В Текосе у детей были особенные лица, светлые, светящиеся, взрослые какие-то.

Я знал выпускников его школ. Нет, не гении. Обычные люди. Успешные. Как правило, предприниматели, имевшие свое дело. Мобильные. Ответственные.

Разговаривая с ними, я вспоминал: короткие контрастные уроки, смена деятельности, движение в своем темпе. Способность напрячься и решить неподъемную задачу. Есть ли связь?

* * *

Окрестные станицы были сплошь забиты родителями с детьми. Почему их везли сюда? Причины разные. Кто-то — спасти ребенка (у каждого своя история, как жизнь калечила). Но залечивались раны, распрямлялись плечи, становилась другой походка — не только из-за хореографии, хорового пения и занятий по самообороне. Не хочу влезать в подробности, я не о его педагогической системе рассказываю — о нем.

Хотя трудно оторвать одно от другого.

Он совсем не изменился со временем, такой же прямой, стремительный. Только голова белая и усы казацкие. Я говорил ему: «Миша, ты что-то среднее между Эйнштейном и Сковородой». Смеялся.

Будущее (как теперь мы начинаем понимать, он создавал школу будущего) было не из бронзы, скорее — из детского пластилина. Из него возникало то и другое — ни одна из его школ, а их было немало, не была копией других. Он все время менял форму, отбрасывая то, что ему, казалось, мешает, создавал новое.

Это была отважная экспериментальная педагогика. Но не в том смысле, в каком говорят «нельзя экспериментировать на детях» (а сами постоянно «экспериментируют» над детьми и страной). Щетинин, что бы ни делал, оберегал, защищал ребенка. Дети смотрели на него как на бога.

* * *

Со временем мне начинало казаться, что он выходит за рамки педагогики. Вокруг крутились жириновцы, коммунисты, национал-патриоты. Мог приехать бывший премьер-министр, спикер. Командующий бронетанковых войск с женой и дочкой в шортах (дети шепотом обсуждали — у них девушкам так ходить было не принято). Раз я слышал, как он разговаривает по телефону, обсуждая с атаманом кандидатуру в казачьей иерархии. На той стороне провода ловили каждое его слово.

В 90-е на стене в его кабинете в школе висела нагайка. Я напрягся. «Вообще-то, Толя, — успокоил он меня, — я нагайку на стенку вешаю, когда казаки должны зайти. А так она в письменном столе у меня лежит».

Иногда такое отчебучивал, волосы на голове вставали дыбом. Говорил детям о близящейся войне, передавал задачу командования разработать модель нового танка вместо заглохшего на параде на Красной площади. Мальчишки с прямыми спинами не дыша сидели на краешках стульев. Я думал: докатился!

Но это не было игрой в войнушку — просто он проигрывал очередную версию будущего — ту, которую и представить себе было немыслимо до Украины, Грузии, Сирии... На пятачке школы он проигрывал самые непредсказуемые варианты будущего страны, с которым могли столкнуться дети. Но они готовились не исполнять приказы укрывшихся в безопасном месте генералов, а прислушиваться к собственной совести.

На небольшой школьной площади развевались флаги страны, края и Военно-морского флота. Учебные корпуса, строения, которые возвели дети, имели названия «Омега», «Ольха», «Сура», «Степной», «Святогор»... «Сейчас все больше, — заметила об одном из них бывшая выпускница, — почему-то "Родина" называется».

* * *

Сколько его знаю, у него постоянно происходили столкновения с властью, не отвлеченной, а с конкретными людьми у ее кормила, «этими сущностями», как выразился недавно единомышленник Щетинина.

В 70-е годы в Ясных Зорях Щетинин создал первую в стране школу-комплекс, она получила звание лауреата премии Ленинского комсомола (в те времена считалось высокой наградой). Наверху ликовали. «Меня позвали на обкомовскую дачу, в баню, — рассказывал он. — Там я увидел настоящий публичный дом. Мне намекнули: Михаил Петрович, вам оказали большую честь, скажите тост. Ну, я им сказал... И в ту минуту мои "ясные зори" кончились».

В 80-е в украинском Зыбково проводил уникальный эксперимент — убрал классно-урочную систему и домашние задания, ввел метод погружения, взаимное обучение детьми друг друга, давшее неслыханные результаты.

Класс гудел, как пчелиный рой...

Из школьного многопрофильного агропрома «Надежда» выросла молодежная бригада. Шутя, ребята называли ее «Окно в Европу». Их в одиночку рассеяли по пьяни. Урожай затоптали.

Щетинин не хотел верить в злонамеренность. Но не мог забыть, как председатель колхоза, снисходительно улыбаясь, поучал: «Михаил Петрович, нам гармоничные личности не нужны. Нам бы дураков».

Подумаешь, председатель колхоза...

До заседания Политбюро дело дошло.

* * *

В Текосе Щетинин укоренился. «Мне кажется, — говорил он мне, — в педагогике пришло время припадания к корням. Это так всегда, когда бушует стихия: хочется найти опору в глубинном, что стереть, истребить невозможно. Мы раньше говорили: неважно, какая у человека национальность. Нет, важно! Береза растет иначе, чем эвкалипт. Если из прекрасной березы пытаются вырастить огурец, она все равно будет березой, только искалеченной».

Еще один из сценариев будущего — национальная школа.

«Не будет национальной школы, — говорил он, — будет националистическая».

В основе всего — род. Ты не сам по себе, а представитель своего рода, людей, которые выстроились друг за другом позади тебя и впереди. Надо продолжить род, надо оставить наследие, свеча чтобы не погасла. «Алексей Михайлович, сколько тебе лет?» — «Двенадцать» — «Нет, тебе вечность...»

Собирались дети не только из разных концов России. Из Приднестровья, Карабаха, Кривого Рога, Германии, с острова Мальта, из Сирии... Он это делал намеренно. Заговорить на языке другого народа. Затанцевать, запеть. Зарядиться энергетикой. Чтобы твои гены проснулись.

В конце 90-х годов ЮНЕСКО признало его школу одной из лучших педагогических систем в мире.

* * *

Одна из ее вольных интерпретаций: «Открытая закрытая школа». Открыта для ребенка, мироздания. «О чем ты детей спрашивал?» Я ходил с тетрадкой по территории, записывал. «А о чем можно детей спрашивать? Ни о чем. Посмотри, — сказал он, коснувшись листа на ветке. — Видишь, блестит, прожилки светятся. О чем ты его будешь спрашивать? Ответ раньше вопроса».

Школа, открытая людям, которые приходят с добром и любовью.

И закрытая — от недобрых.

* * *

Подлость. Из темноты, подворотни. Знали, что он тяжело болен, что слаб физически, не сможет противодействовать. Если бы был в силе, они бы не решились. Но он болел, и возглавлявшая эту банду налетчиков, ни разу в Текосе не бывавшая, но информированная, все время, говорят, повторяла: «Щетинин уже не тот», «Щетинин не тот...»

Это была подготовленная спецоперация. Комиссия из сотрудников Минпроса РФ и Министерства образования Краснодарского края, судебных приставов, вышибал, инспекторов по делам несовершеннолетних... предъявила обвинения.

Дети находятся в школе незаконно, учебные здания, которые они построили и подарили государству, не зарегистрированы и поэтому представляют опасность для жизни детей, школу нужно немедленно закрыть.

Я не могу выразить словами безжалостность, безрассудство, безумство, с которыми проверяющие, направляемые лично министром просвещения, насильственно выселяли детей. Как оскорбляли национальное достоинство. Стеснительный чеченский мальчик Рахим Баймерзаев рассказывал мне про одного из «группы захвата». «Мы сидели в доме, Паша Самохин почерк улучшал перед экзаменом. А он зашел и спросил: “Кто тут главный самец?”» Рахим ответил: «Я не самец. Я чеченец».

Стеснительный чеченский мальчик из Аки-Юрта, сел*а* на границе Ингушетии и Чечни. Щетинин с детьми строили мирный Кавказ. Эти, из подворотни, хотят взорвать, что ли?

Я не могу выразить словами, как детей из разных концов России пугали сиротскими домами, если их немедленно не заберут родители, как давили на родителей по месту жительства люди, которым было дано указание во что бы то ни стало «прикрепить» детей к близлежащим школам, не дать вернуться в Текос, — подневольные школьные работники, социальные педагоги, налоговые служащие, сотрудники полиции, приставы звонили, давили, требовали, уговаривали.

Когда школа опустела, приезжие сели в автобус, но вернулись и рыскали в темноте, не остался ли кто. Так искали в степи, в горах случайно затерявшихся от конвоя при поголовной высылке. Это называлось «зачистка». Им надо было любой ценой «зачистить» школу от детей. Выслать отсюда. Вернуть в систему.

Это явление не описано в педагогике — депортация детства.

* * *

Такая тихая золотая осень выдалась нынче в Текосе в ноябре... Еще не облетевшая огненная, насквозь пронизанная светом листва. Красные, синие, зеленые крыши не похожих один на другой домов. Мостики, беседки, тропинки, укромные места, где вызревают мысль и чувство ребенка. И никого, пусто, нет детей.

На веранде одного из корпусов — оставленная детьми сменная обувь: аккуратно поставленные десятки пар сандалий и кроссовок. Будто в ожидании, что дети вернутся.

Щетинин сидит у русской печки, смотрит на огонь. Таким я его никогда не видел — постаревшим, вдруг враз переменившимся. Он уже в другом мире. Временами выпадает — уснул, кажется, — и вдруг снова выныривает его голос:

— ...Слово есть Бог. Поэтому все из слова. Человек — чело века. Совесть — весть семени.

Откуда он это взял? Раньше говорил — санскрит; потом — «из библиотеки звезд»...

— Ну, это я так сочинил, чтобы не приставали.

Звезды, со-весть, чело-века — вот о чем мы говорим на фоне спецоперации.

Я спрашиваю, что в его жизненном путешествии, в творении разных миров, школ оставалось неизменным. И это, оказывается, так немудрено, просто. «Ребенок, — отвечает он, — человек».

Ведь то же самое из века в век повторяют нам выдающиеся представители человечества, у которых мы ищем разгадки каких-то неразгаданных секретов, волшебные ключики, педагогические системы, забывая о главном, о чем они иногда обмолвятся: «Сердце отдаю детям», жизнь свою, идя с ними в топку. Глядя в жерло печи, Щетинин вспомнил о Корчаке.

— Человек, ребенок... — говорит он. — Я всегда смотрел в человека, как в бездну. Внимательно. И сам становился человеком.

Он говорит: «Я обратил внимание, что тот, в кого ты смотришь, наполняет тебя тем же: интересом к тебе, любовью... Человек — лучшее, что сотворил Бог, он сотрудник его». Он смотрел в ребенка, в человека, как в бездну — вселенскую, бесконечную. Но, если человек смотрит в бездну, другая бездна может заглянуть в него.

Вот она и заглянула в Текос.

* * *

«Все, кончилась эпоха», — сказал водитель, везший меня в Текос из заповедных мест, где находились щетининские ученики. Тридцать два несогласных строили со взрослыми проекты новых школ-поселений, о которых водитель Дмитрий Юрьевич сказал: «Если бы они размножились, десять лет — и страна стала бы немного другой».

А Щетинин умер. Разорвалась артерия.

«Кончилась эпоха с уходом Михаила Петровича, — повторил водитель. — И в этом ведь все участвовали — книжники и фарисеи, лицемеры, судьи и палачи, наблюдающие, смотрящие. Теперь будет видно, что станут делать. Каждый может сказать: я не виноват, не знал, я выполнял. Понтий Пилат чем кончил? — вдруг вспомнил он. — Сидел с собакой на лунной дорожке. И будет сидеть вечно...»

Миша был великий Мастер. И ушел как мастер. Его мир, школа, дети — роман. А что олицетворяет Маргариту? Может быть, любовь?

На похороны в Текосе собрались тысячи людей — так в истории, по-моему, не хоронили ни одного школьного учителя. Потом, как он и предполагал, — пена. Кто первый прокукарекает. С саблями наперевес. «Да кто он такой?» — «Великий русский педагог!» — «Да кто это вам сказал?» — «Секта! Секта!»

26 ноября снова нагрянула бесовская комиссия. А 29-го дети соскучились и приехали в школу. Флаги были приспущены. На площадке для занятий хореографией они вдруг начали танцевать, все дети, без музыки, молча. Это было такое потрясающее зрелище.

Над поселком шел дождь, сильный: на площади, там, где длинный магазин — везде. И только над школой как будто висел купол — дождя не было.

«Алексей Михайлович, тебе сколько лет?» — «Двенадцать», — «Нет, тебе вечность...»

* * *

Пройдет время, Михаил Петрович Щетинин войдет во всеобщую историю — в отличие от его гонителей-губителей, которые ничего из себя не представляют, пустое место.

Чего они там добиваются, в подземелье? Усидеть на месте, на которое вскарабкались.

Они живут в безмолвии, темноте и очень боятся света — на свету они скукоживаются, как шагреневая кожа, тают.

Хватит темноты.

(Окончание в следующем номере)

ДОСТОЕВСКИЙ 200+

Возможна ли «кровь по совести»?..

Белгородские школьники читают Достоевского

Эти сочинения были написаны в конце 2020/21 учебного года. Для многих наших замечательных постоянных авторов, вместе с которыми мы мечтали, выбирали любимые книжки, подглядывали, что читает мама, смотрели телевизор, ловили приметы взросления, искали среди одноклассниц тургеневских девушек, это был последний школьный год. Мы поздравляем их со вступлением во взрослую жизнь и надеемся через несколько лет узнать, сбываются ли мечты и каково это — быть взрослым.

Ну а сейчас — размышления уже выпускников и еще школьников, ставших за лето на класс старше, о том, зачем сегодня русским — и не только — мальчикам и девочкам читать Достоевского.

Достоевский рядом?

Опрос, проведенный ЛитРес о самых читаемых сегодня писателях-классиках, показал, что Достоевский является самым популярным писателем современных поколений — в том числе и молодых.

Что в общем-то и неудивительно.

Дело даже не в рекламе или моде на слоганы в СМИ и соцсетях: «Убил старушку топором и мучался» или «Достал ты меня, Достоевский». Было бы заблуждением считать, что Достоевский вывел некий алгоритм социального протеста, которому в дальнейшем следовали наиболее гиперактивные представители гиперактивного времени: «Тварь я дрожащая или право имею», «Перед кем просить прощения, Соня? Они миллионами убивают, и им ничего за это...» По-видимому, писатель ощутил наэлектризованность общественной атмосферы конца XIX столетия. Это возникающее в определенные эпохи раздражение умов и состояний — чем оно вызвано? Все представляется в болезненно-подростковом, самолюбиво-неуступчивом зрении, в уязвленной гордости, в унизительной зависимости от финансов старших, в обостренном чувстве несправедливости... Неслучайно один из романов Достоевского так и называется — «Подросток».

Не все читают Достоевского, однако не в каждом ли современном инциденте мы угадываем очерченные им конфликты сознаний, стремлений, самолюбий, неукротимой страсти к праву ухватить власть «над всем муравейником», обрести полную свободу, то есть вседозволенность, царство своих «хочу» без всяких «должен», как мы чаще всего и рисуем себе свободу? И в преступлениях нынешних все та же невзрослая обидчивая натура и стремление любой пустяк превратить в необходимость утвердиться,

---

Сочинения публикуются с сокращениями. Написание имен и названий, орфография, пунктуация и стилевые особенности авторов сохраняются.

что я не тварь, не тварь, а хочу — и будет власть над муравейником? Все как помешанные, — и мой ровесник Соколов, краса и гордость петербургского истфака, танцевавший на реконструкторских балах в костюме Наполеона и убивший подругу-аспирантку и расчленивший ее труп; и чиновники, расстреливающие краснокнижных туров с вертолета; и постмодерн-охотник Брейвик, неумолимо настигший своих жертв в молодежном лагере в Норвегии, а вслед за ним — сын егеря из белгородского охотхозяйства Помазун, насмотревшийся то ли охотничьих игр новоиспеченных вельмож, то ли голливудских боевиков по ночам? А еще — те, кто почувствовал себя персонажем суперигр в керченском техникуме в 2018 году, в Казани прошлой весной и совсем недавно — в Пермском университете...

Им не важен Достоевский, — а вот писателю было мучительно важно, чтобы мы пережили в его романах процесс становления духовных основ человека, все это безумие и зло, рожденное идеей индивидуализма и личной свободы, — пока ничего не случилось... Пока носитель «прав человека» со школьной скамьи не предъявил адскую справку — разрешение крови по совести.

Нет, в большинстве своем поколения «зет» и «альфа» — против насилия. Но и на решительный протест не выйдут. Пока не доведут до кипения.

А можно ли победить насилие ненасилием? Вечный вопрос, ведущий от Достоевского к Толстому. Меня как старшую, отвечающую за младших, новое поколение очень беспокоит неспособностью к защите и самозащите.

Психологи бьют тревогу: у молодых тотально закрыты чувства. Психотерапевтам приходится вытаскивать из тридцатилетних эмоции, провоцировать их. К счастью, младшим еще не до психотерапевтов. Но и для них ничто не является событием. Болезнь, даже смерть — не событие, когда вокруг ковид. Реальный мир обживается лишь небольшой частью души. Эмоциональная реакция на происходящее в виртуальной реальности — вторична.

Психологи видят в этом проявления инфантильности и озабочены углубляющимся разрывом взаимопонимания отцов и детей. Эксперты педагогики добавляют: воспитывать детей в обществе без идеологии — значит растить поколение на зыбкой почве.

Одно утешает: русские мальчики, способные, по Достоевскому, часами решать глобальные вопросы человечества, не считаясь со временем (которое, однако же, по классике общественных отношений, деньги и бизнес), мальчики, сидящие над картой звездного неба и возвращающие ее всю исправленную, — не перевелись. Хотя иногда их и не разглядеть в общей массе.

Когда на дворе маячит лето и выпускной ЕГЭ, они пишут сочинения по Достоевскому — вне программы и оценок — и размышляют: зачем русским мальчикам все-таки нужно читать. И Достоевского — обязательно.

Они смотрят в телескоп вместе с учителем астрономии Надеждой Павловной Ульяновой из белгородского лицея № 9 и чуть ли не ежегодно побеждают на международных астрономических олимпиадах. С учителем Натальей Ивановной Немыкиной из гимназии № 3 они едут вскладчину за тридевять регионов в Тарусу — к Цветаевой — с докладами на научных конференциях. С учителем мировой художественной культуры (предмет, ныне упраздненный) Людмилой Ивановной Явтушенко создают Косенковское братство (в память художника-графика Станислава Косенкова, известного, в частности, своими иллюстрациями к «Преступлению и наказанию»). И вырастают не только победителями престижного конкурса «Большая перемена», но — прежде всего — думающими, ответственными, творческими личностями.

Ответственными — это значит отвечающими за все на этой планете. И за всех, кого приручил — или пока не приручил.

...Июньским полднем, в начинающуюся жару этого лета, мы сидим в кафе: Игорь — программист из Национального центра биотехнологической информации (NCBI) Национальной библиотеки медицины США, пятидесяти четырех лет (мой первый выпуск 1984 года), Жора, он же Гоша — преподаватель химии на факультете фармакологии БелГУ, сорока семи лет (тоже мой ученик) и Лука, девятнадцати лет от роду, который не нашел себя на бюджете в Воронежском медицинском, рвется поступать на биотехнологии в МГУ (я вела в его классе уроки по мировой художественной культуре).

Мальчики увлеченно говорят о своем — то есть о вирусах, ДНК и РНК, рибосомах, плазмидах, разговор поглощает все внимание, на меня сыплются термины и цифры — с трудом улавливаю суть. Я пью кофе и блаженствую. Воистину Достоевский!

Как здорово, что Игорь смог приехать из Вашингтона после всех карантинов! Он скажет просто: «Соскучился!»

А Лука поведает мне после — в совершенном потрясении: «Он работает с самим Куниным!» И я пойму, что сегодня он как бы запросто поздоровался за руку с небожителем.

Я для них и собеседник, и диспетчер интересных встреч — без меня они, как кометы, пролетели бы каждый по своей траектории.

Когда-то было приключение. Игорь, тогда студент Бауманки, начал запоем читать Достоевского, том за томом, и однажды влетел ко мне с открытием: оказывается, это фразу князя Мышкина, сказанную Настасье Филипповне: «Я эти глаза точно видел где-то — наверно, во сне», Блок взял эпиграфом к символистской пьесе «Незнакомка», которую мы играли на школьной сцене — островке творческой свободы в болоте идеологических штампов и клише школы начала 80-х.

Цитаты, афоризмы из спектаклей становились жизненными маяками, помогали увидеть знакомое в хаотичном, запутанном новом времени. Увидеть и расставлять маяки для дальнейшего пути.

Процитированный Блоком Достоевский лучше всего показывает: все, что прочитано, когда-то в тебе оживет. В сочинениях школьников о Достоевском — первые ростки идей будущей жизни.

Быть их учителем так же естественно, как есть, пить и спать. Оглянешься — вокруг все враздробь, каждый спешит за своим, а тут — чем дальше, тем сильнее притяжение. Когда-то разыгранное и пережитое в школьном театре бросило свет в будущее, то есть нынешнее — общие высокие цели и общую идею. Жаль, что многие родители не находят этого в своих семьях, — какие крепкие были бы семейные гнезда!

Разделяет ли нас возраст? Это та ситуация, когда поколения протягивают руки друг другу без всякого пафоса. По душевному чувству.

Во дворе московской школы, которая носит имя Достоевского, установлен памятник писателю. На постаменте высечены его слова: «Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна, и именно идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные "высшие" идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают».

Кажется, эта мысль писателя — самое необходимое, что должны прочитать школьники перед началом нового дня.

Но в ответственности взрослых — услышать их голоса...

Елена Коняева, учитель (г. Белгород)
20.09.2021

Возможно ли представить себе Раскольникова в наши дни?

Лицей № 9

Алина Фисенко, 10б

В любое время каждый человек думает, что он приходит в этот мир с определенным назначением. Тогда люди начинают пытаться проявлять себя, чтобы это доказать. Каждый это делает по-своему: кто-то проявляет себя через творчество, а кто-то через знания и умения.

Пути разные, а цель одна — доказать, что ты чего-либо стоишь.

Родион Романович Раскольников является бедным молодым человеком, его существование и обучение обеспечивают материально мать с сестрой. Он, быть может, именно из-за собственной несостоятельности приходит к определенным действиям.

Согласно теории он делит людей на «тварей дрожащих», которые ни на что не способны, и на особых людей, которые «право имеют» на всё. Необыкновенные люди, почти Наполеоны — это те, кто управляет миром.

Кто знает, может Раскольников решил, что цель оправдывает средства.

Многие, как и Раскольников, забывают о том, что у этой всем известной фразы есть продолжение: цель оправдывает средства, если цель — спасение души.

Это ли цель Раскольникова? Сомнительно.

Он обвиняет других в своих бедах и идет на преступление, убивая старуху, ее сестру и ее нерожденного ребенка. В ходе этого он совершает ещё одно преступление. Раскольников убивает себя.

Средства, которые он использует для доказательства своей теории, не стали спасением его души, а, наоборот, погубили его.

Данную модель поведения можно переложить и на современную молодежь. Всегда есть несколько путей. Подобные Раскольникову всегда ищут наиболее простые пути решения. Не трудом, а чем-то более неверным они пробивают себе путь в жизни.

Если все для достижения целей и нахождения своего места в обществе будут вести себя так, как ведет себя Раскольников, то все это приведет к плачевным последействиям для самого себя и общества в целом.

Сергей Кахидзе, 10а

Я считаю, что возможно представить Раскольникова в наши дни. Может существовать такой студент, который живет за чертой бедности и имеет странные убеждения. Теория, которой придерживается Раскольников, способна привлечь неосознанную молодежь, которая не смогла найти свое место в жизни. Теория «высших» и «низших» людей не будет интересна большей части молодого поколения, так как нормальный человек не станет действовать против моральных принципов. Следование теории Раскольникова способно привести к жизни в тюрьме, потому что она не соответствует правам человека и нравственным устоям общества.

Анна Алейник, 10б

Возможно ли представить себе Раскольникова в наши дни? Я думаю, что да, ведь ключевыми в образе Раскольникова являются его мысли, взгляды, внутренний мир, а не время, в которое он живет. Гордый, вспыльчивый, желчный, излишне раздражительный, но притом милосердный и благородный, если это необходимо. Несложно представить себе такого человека не только в 19 веке, но и сейчас.

Единственное, что, я думаю, могло бы измениться в действиях Раскольникова — это преступление, которое он совершил. В 19 веке — убийство старухи-процентщицы.

В современности, думаю, это могло бы быть вступление в местную террористическую или экстремистскую группировку или курирование смертельной игры, подобной «синему киту». Что-то в мировых масштабах незначительное, но дающее возможность герою проверить его теорию, «осмелиться». В современном мире преступление, подходящее под эти критерии, совершить проще ввиду наличия сети «интернет», которая, в свою очередь, помогает и с распространением идей героя.

Я считаю, что теория Раскольникова вполне способна привлечь к себе современную молодёжь. Каждый из нас как минимум где-то на подсознательном уровне хочет быть выше других, быть в своём роде уникальным. Кто из нас, самых обычных людей, а особенно молодых, горящих идеями, не мечтал о власти? О том, чтобы сделать что-то великое. Теория Раскольникова вбирает в себя все эти желания и ставит перед желающим лишь один простой вопрос «тварь ли я дрожащая или право имею?» Но печальная суть состоит в том, что увлечение большого количества людей подобной теорией в наши дни может привести к разрушительным последствиям. Преступления и убийства будут совершаться из соображения, что кто-то «имеет право власть иметь». Данная теория может привести к бессмысленному и жестокому кровопролитию в наши дни.

«Грандиозность замысла», «руководящая мысль» и «особое место в золотой сокровищнице русской литературы»

Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха»

Артём Кашицын, 11б

Великий роман Ф.М.Достоевского был написан в сложное для всей России время. В конце 1860-х годов наша страна находилась в состоянии экономического и политического кризиса. Большая часть населения России опускалась до уровня нищеты. Такой великий писатель, как Достоевский, в своём романе показал, какой трагедией могут обернуться изменения в обществе для обычного человека. Стремление к честной жизни привело семью Мармеладовых к краху: Соня вынуждена обстоятельствами принести себя в жертву. Дуня ради любимого брата готова выйти замуж за ужасного человека. В этой атмосфере мысль Раскольникова об убийстве вредной старухи, которая наживается на страданиях других людей, представляется делом чуть ли не полезным...

Я считаю, что счастье других не может быть основано на крови одного.

Раскольников убеждён, что нет таких правил и законов, которые могли бы осудить его поступок. Но что же тогда заставляет мучиться его душу после убийства?

Противоречие между мыслями, убеждениями — и поступками сближают Раскольникова с Соней. Именно она сможет вернуть к жизни человека, который был погребен в недрах своей черной души.

Мысли о неприкосновенности каждой человеческой жизни, вне зависимости от личных качеств и истории индивида, играет главную роль в романе «Преступление и наказание». Автор этого произведения оказался самым верным защитником идеи ценности любой человеческой жизни.

Ульяна Безуглая, 11б

Социально-психологический роман Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» относится к числу тех произведений мировой литературы, ценность которых со временем не уменьшается, а возрастает для каждого последующего поколения. Роман оказал огромное влияние на культуру и жизнь людей, а образ

Родиона Раскольникова стал воплощением образа мыслей молодого поколения второй половины 19 века.

Руководящая мысль романа — совершение преступления и наказание за сделанное, мотивы, которые побудили главного героя пойти на такое страшное дело.

Автор опускает бытовую сторону убийства: нам неважно кто и как убил старуху-процентщицу, об этом Достоевский говорит сразу же. Нам важно то, что побудило главного героя совершить этот отчаянный шаг, что происходит у него в душе. А главное — стоит ли этот шаг чего-либо?

Говоря о мотиве Раскольникова, стоит сказать, что совершил он это, одержимый теорией о людях обыкновенных и необыкновенных, тех, кто подчиняется, и тех, кто подчиняет, тем самым доказав себе и остальным, что он вправе что-либо изменить в этой жизни. Так Достоевский поднимает одну из самых острых проблем того времени — проблему развития человеческой личности в новых условиях жизни, которые сложились в связи с переменами в общественном строе, такими как, например, отмена крепостного права в России. Писатель защищает идею свободы личности, нравственного достоинства человека, который не желает оставаться «тварью дрожащей», не хочет безмолвно подчиняться и терпеть, и всем своим существом восстает против общественной несправедливости.

И вместе с тем утверждает Достоевский другое. После совершения преступления для главного героя наступает время душевных терзаний. Тут проявляется проблема морали и нравственности. Ведь поступи Раскольников «правильно», он бы не стал мучиться, сомневаться в необходимости совершенного. Объективно, сам его бунт против существующей бесчеловечности и несправедливости носит бесчеловечный характер, ведет не к подъему, не к новой светлой жизни, а к подавлению и нравственному уничтожению личности. И герой романа начинает постепенно ощущать это, говоря, что, убив старушку, он убил самого себя.

На примере главного героя Фёдор Михайлович показывает, раскрывает мотивы, которые способны подвигнуть человека на поиск разрешения острых социальных проблем, прибегая к крайним мерам. Стоит отметить, что автор осуждает, отрицает условия и ценности современной ему жизни русского народа, что основано на власти денег и унижении личности: ведь именно эти идеи порождают крайности в решении вышеописанных проблем.

Писатель считает, что нравственность — главное, что должно присутствовать в жизни человека. Именно нравственностью должен руководствоваться человек. Также необходимо добавить, что Фёдор Михайлович провозглашает идею ценности любой человеческой жизни, человеческой личности. И эта идея абсолютно оправдана, поскольку только законными и гуманными методами можно добиться истинной справедливости в мире.

Екатерина Серых, 11б

Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского по праву можно считать одним из главных романов, написанных в XIX веке. Несмотря на то что тема романа является шокирующей и жестокой, прочитать его нужно каждому, вне зависимости от возраста.

Судя по событиям, описанным в романе, «Преступление и наказание» можно отнести к жанру детектива, но не в его привычном понимании. Обычно главными вопросами детективного сюжета является вопрос кто убил и как всё это случилось. Достоевский же в самом начале романа отвечает на эти вопросы и кроме ответов на них спрашивает: «Можно ли убивать?»

Автор нарочно подчеркивает отвратительные черты старухи-процентщицы (жертвы), тем самым говорит: нет причин не убивать. Так, он использует для характеристики этого второстепенного персонажа эпитеты «гаденькая», «чахоточная», «глупая» и другие. Эта «ничтожная» старушонка портит жизнь не только своей сестре

Лизавете, но и всем бедным людям, приходящим от нужды за деньгами. Главный герой Достоевского Родион Раскольников убежден в своей теории о «делении людей», поэтому хочет проверить, сможет ли он сам пойти на убийство, переступить через себя ради справедливости.

После долгих размышлений, понимая, что смерть старухи облегчит жизнь многим людям, герой решается пойти на преступление. Но своим решением — так сложились обстоятельства — Раскольников убивает не только старуху, но ещё и Лизавету, а в дальнейшем и свою мать, не сумевшую смириться с тем, что её Родя оказался убийцей. В конце концов Раскольников понимает, что не прошел проверку на «особенного» человека, но всё-таки не отказывается от своей теории. Родион загорается этой идеей из-за своей гордыни (одного из смертных грехов); это произошло, как мне кажется, из-за его отрицания Бога. Но в ответ на это безверие Достоевский включает в свой роман чтение легенды о Лазаре, говоря тем самым, что только с помощью веры возможно очищение и возрождение для любого человека. Важно отметить, что по ходу действия романа героя наказывает не столько закон, сколько собственная совесть, что напрямую связано с историей священного писания.

Мне кажется, в этом и заключается главная мысль, которую донес до читателя Достоевский. Только после полного самоуничтожения человек способен очиститься и начать новую жизнь.

Софья Полухина, 11б

Произведения Ф.М.Достоевского поражают грандиозностью замысла, занимая особое место в золотой сокровищнице русской литературы. Тайна этой мощной, титанической фигуры остается объектом внимания многих современных исследователей. Юные читатели задаются вопросом: кем был Достоевский — гением или безумцем? И, кажется, даже этот вопрос автор предвосхитил в своем творчестве.

Одной из основных содержательных категорий, определяющих художественные построения и религиозно-нравственные убеждения Ф.М.Достоевского, является свобода. В наибольшей степени талант Фёдора Михайловича проявился в анализе внутренней свободы человека, ведь в душе каждого из нас заложена жажда индивидуального самоутверждения. В этом — подлинная суть человека, его болезненная противоречивость.

В повести «Записки из подполья», которую по праву считают одним из истоков экзистенциализма, автор обращается к описанию жизни совершенно свободного человека. Подпольный человек — натура, освободившаяся от оков условностей. Он не может начать действовать, потому что видит относительность любой цели, проявляя свободу в своеволии. По его убеждению, единственная цель человека «в том и состоит, чтобы поминутно доказывать себе, что он человек, а не штифтик». Подпольный человек стремится к разрушению, инстинктивно боясь довершить созидаемое, так как он будет вынужден действовать в соответствии с требованиями общества. Нельзя не отметить наличие полярности: с одной стороны, — ощущение безграничной свободы, с другой, — невозможность действия. Полная свобода оборачивается зависимостью. Подневольный человек не может свободно действовать по принуждению, а подпольный не способен остановиться в выборе мотива действия, ведь все цели кажутся ему относительными. Достижение результата подчиняет себе человека. Осознание свободы подпольного человека парализует его, лишает внутренней опоры, опустошает.

Родион Раскольников, главный герой романа «Преступление и наказание», также является человеком из подполья, но решившимся действовать, проверить свою теорию о «сверхчеловеке». Раскольников задается вопросом о свободе, пребывая в обществе «униженных и оскорбленных», где царит всепоглощающая несправедливость, которую он порицает. Родион стремится скрыться от конкретности безразличия и упадка, уходя от этого реализма в грех. Достоевский отражает двойственность его

натуры через описание чувств героя: спокойном рассуждении о предстоящем преступлении и об ужасе осознания этого замысла. Однако писатель говорит о неподдельной доброте героя, его способности к состраданию. Раскольников мечется между Наполеоном и Евангелием, но побеждает в этих метаниях, превосходит всё убеждение в необходимости совершения преступления ради блага. Этот конфликт приводит героя к нравственным мучениям.

Достоевский показал то, как свобода преображается в своеволие, своеволие ведет к злу, а зло — к преступлению. Грехопадение влечет наказание и страдание, искупающее зло. Страдание есть показатель глубины человеческой души, благодаря которому мы поднимаемся вверх. Однако основой этого восхождения является свобода. Единственный, кто способен лишить человека внутренней свободы, — это сам человек, когда он обращается к непристойным идеям, отказывается от веры. На примере судеб своих героев Достоевский показывает, что ложные цели приводят человека к соблазну. Преодолев искушения, человек обретает духовность.

Ф.М.Достоевский всесторонне исследовал сущность свободы, дав пищу для размышления многим поколениям. Каждый, обращаясь к произведениям этого писателя, способен отметить, что его интересуют не столько процессы, происходящие в подсознании, сколько путь духовных исканий человека. Он апеллирует не к психологии, а к метафизике — той сфере сознания, где человек воспринимает себя не руководимым физическими потребностями и психологическими процессами, а свободно определяющим свою позицию в мире ценностей. Достоевским рассматриваются «вечные» и роковые вопросы, именно поэтому интерес к его творчеству не иссякает в наши дни.

Михаил Котляров, 11б

Роман «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского по праву считается одним из фундаментальных произведений мировой литературы. Автор создал творение, опередившее своё время, способное заставить взглянуть на общество с другой стороны.

Родион Раскольников является первым персонажем в русской литературе, идейно исповедовавшим убийство. Несмотря на то, что это убеждение имеет под собой обоснование, для меня убийство не может быть оправдано. Я считаю, что самосуд заключает в себе превышение своих нравственных возможностей и ведет к хаосу. Решать, кто достоин вершить судьбы, а кто — нет, не имеет права ни один человек.

Проблема Раскольникова в том, что он переоценивает свои возможности и тем самым берет на себя ношу сверхчеловека, каковым сам не является. Он поздно это понимает, раскаивается и обращается к вере, после чего получает шанс возрождения.

«Моё мнение об этом писателе неоднозначно»

Гимназия № 12

Александра Ожередова, 11а

Ф М Достоевский — очень сложный для восприятия писатель. В его произведениях безусловно сокрыт глубокий смысл, но его сложные образы создают у читателя мнение, что эта сложность им чужда. На самом деле, каждый человек в реальной жизни тоже может быть сложным для других людей. Так, и образы Достоевского, его герои произведений — такие, как Раскольников, князь Мышкин и другие, — заставляют о многом задуматься: о тяжелом поиске себя, о любви и ненависти, о правильном и неправильном.

Несмотря на то, что многие восхищаются творчеством Достоевского, я считаю его сложным и немного несовременным. Да, мы стоим на нравственном перепутье, да, мы не можем найти себя, но на данный момент глубокий смысл его произведений никому не нужен. Его романы созданы для тех, кто «ныряет с головой» в тексты, ставя себя на место героев. К сожалению, таких людей мало.

Александра Леонтьева, 11а

Фёдор Достоевский — русский писатель и мыслитель, первопроходец в психологический реализм. Отличительной чертой автора является депрессивный стиль описания, драма, проходящая внутри героев, и тонкая психология.

Разбирая произведения Достоевского с точки зрения философии и психологии, можно почувствовать весь трагизм, который писатель вкладывал в написанные строки. В его произведениях Петербург сер, суров и беспощаден к своим горожанам, что ярко видно в повести «Двойник», в которой главный герой Яков Голядкин теряет в городе рассудок. Петербург давит на Голядкина, заставляя того в мании ужаса метаться по ночным улицам, пугает его тенями от редких фонарей, вводит в панику нездоровый рассудок.

Насколько мне известно, Ф М Достоевский был болен эпилепсией. Если ссылаться на работу английского нейробиолога О.Сакса, эпилепсия нередко сопровождается помутнением рассудка, что выражается в раздвоении мышления и самогаллюцинациях. Двойник Голядкина — такая галлюцинация. Он видит себя самого со стороны, что свидетельствует о патологии вилочных долей мозга. Читая это произведение Достоевского, я связала симптоматику болезни автора с тем, что испытывает главный герой. Похоже, что Достоевский проецировал свою болезнь на главного героя повести «Двойник».

Я считаю Достоевского гениальным в плане визуализаций психопатологий в своих текстах. Ранее Фёдор Михайлович был моим фаворитом в литературе, но перечитав его книги по нескольку раз, этот психологический реализм начал вводить меня в глубокую тоску.

Никита Поляков, 11а

Достоевский — это, безусловно, величайшее явление в русской культуре.

Непростые времена, предвидение потрясений основ жизни начала 20 века отразились на мышлении писателя и захватили, захлестнули его. Достоевского достаточно трудно понять с первого раза, хотя на английском его произведения звучат гораздо красивее и иностранным читателям они очень нравятся[1].

Я думаю, что для того, чтобы действительно понять произведения писателя, их нужно прочитать несколько раз. С некоторым промежутком времени, тогда они раскроются в другом свете.

Дарья Пономарёва, 11а

Фёдор Михайлович Достоевский писал свои произведения в период, когда весь мир стремился освободиться от рабства. Он глубоко сочувствовал угнетенным людям. Многие его произведения посвящены разоблачению вседозволенности людей, власти денег, лицемерия. Главной темой во многих произведениях Достоевского была борьба между добром и злом.

Творчество Достоевского нельзя назвать оптимистичным или радужным, но автор верил в добро в людях. Он верил, что в будущем общество будет справедливое и честное. Он считал, что человек должен совершенствоваться и совершенствовать других. Осознавать свою ответственность перед ними.

[1] Гимназия № 12 — с углубленным изучением иностранных языков. — *Прим. ред.*

В творчестве Достоевского много противоречий и парадоксов. Его произведения имеют глубокий смысл.

Я считаю, что произведения Достоевского довольно интересны, но для старшего поколения. Для меня его произведения не всегда понятны.

Агнеса Эпельбаум, 11а

Достоевский занимает отдельное место в литературном мире и является популярным писателем не только в России, но и за рубежом.

Считается, что Достоевский как писатель чувствовал русскую душу и проблемы насущные, раскрывая их под особым углом, оформляя эти проблемы литературной каемкой.

Мое мнение об этом писателе неоднозначно, поскольку я не восхищаюсь подобным стилем повествования о проблемах человека и влияния общественно-политических событий на бытие человека.

Грубо говоря, я сама не копаюсь в грязном белье, а уж тем более мне не симпатизируют писатели, романтизирующие эти самые проблемы. Более того, в произведениях Фёдора Михайловича встречаются такие герои, типы личностей которых вызывают у меня отвращение и полное непонимание их мировоззрения. Даже сама биография Достоевского вселила в меня множество вопросов и сомнений.

Но, пожалуй, я бы порекомендовала бы прочитать «Преступление и наказание» — не чтобы как-то осудить теорию Раскольникова и судьбу Сони Мармеладовой, а чтобы понять, насколько смешно и утопично размышляют о высоком люди из «черни»: ничего из себя не представляющие, не добившиеся и ничего не делающие.

Илона Моцная, 11а

У Фёдора Михайловича Достоевского была очень сложная жизнь. Тяжелый характер отца, смерть матери, когда Фёдору было всего шестнадцать лет. Арест и приговор к расстрелу самого молодого писателя, помилование, ссылка в Омский острог потом солдатчина в Семипалатинске смерть горячо любимого брата. Все это не могло не повлиять на формирование взглядов писателя. «Сибирские повести», «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели», «Идиот», «Записки из мёртвого дома»... — каждое из произведений Достоевского несет на себе отпечаток его жизни.

Но для меня Достоевский — это, прежде всего, «Преступление и наказание». Странный необычный сюжет, загадки, намеки и сочетание реальности с миром греха и фантазий...

Ф.М.Достоевский — очень сложный писатель. Чтобы до конца понять осмыслить его произведения надо не просто прочитать (пусть даже не один раз), но вжиться в его образы, поставить себя на место героев, проникнуться их переживаниями. Герой Достоевского прежде всего личность, индивидуалист, живущий в своем мире. Может быть, именно это и привлекает: своеобразное, необычное восприятие жизни, непонятность и одиночество.

Майя Сартания, 11а

Прочитав произведение «Идиот», захотелось мне посмотреть фильм Ивана Пырьева. А после захотелось и дальше продолжать читать произведения Фёдора Михайловича Достоевского. Я считаю, что Фёдор Михайлович является уникальным писателем всех времен и народов.

Он оставил богатое культурное наследие, обессмертил свое имя. Его произведения я читаю на одном дыхании.

Иногда я перечитываю некоторые произведения и с каждым разом открываю для себя что-то новенькое.

Достоевский многогранен и не всегда понятен. Я считаю Фёдора Михайловича великим писателем России.

Амина Боровская, 11а

Во все времена существует и будет существовать понятие общественной морали — определенный набор правил и норм поведения, он во многом определяется той эпохой, в которую выпало жить.

Все мы живем в обществе, зависим от него, приспосабливаемся к нему и с детства впитываем те устои, которые в данном обществе существуют.

Но вместе с общественными нормами всегда существовали и будут существовать люди, которые не хотят согласиться с существующими правилами.

Ф.М.Достоевский является одним из тех писателей, которые заставляют читателей задуматься об общественной природе человека. Он был философом, психологом, исследователем человеческой души. По мнению писателя, каждый из людей — это средоточие, загадочное сочетание хорошего и плохого, доброго и зловещего, честного и подлого. Писатель старается понять, насколько сильно среда влияет на человека и что может помочь человеку противиться влиянию окружающей среды. В душе наиболее сильных героев — таких, как Родион Раскольников — возникает стремление взять от жизни то, что недополучили, чего были лишены в силу внешних обстоятельств. Нищета, общественная несправедливость настолько велики, что нельзя осудить Соню, предающую свое тело ради своей семьи, или Дуню, собирающуюся выйти замуж за нелюбимого человека во имя благополучия своего брата. Общество называет поведение Сонечки преступным, но так ли оно на самом деле?

Родион Раскольников тоже задумывал свое преступление — убийство старухи — ради счастья других людей и проверки своей теории. Он хотел проверить, может ли он совершить этот поступок, относится ли он к числу тех великих людей, которым дозволено в жизни больше, чем обыкновенным людям, тем «тварям дрожащим», которых так презирает герой Фёдора Достоевского.

Понятно, что никакое убийство не может быть оправдано теорией, какой бы красивой она ни казалась.

Только одна теория, один закон может быть мерилом поступков человека — закон нравственности, основанный на христианской религии, на стремлении к поиску в себе Бога. Только Бог, считает Достоевский, имеет право распоряжаться судьбами людей.

Мучается от угрызений совести Родион, не находя сил простить самому себе содеянное. Кончает жизнь самоубийством Ставрогин из романа «Бесы».

По мнению Достоевского, именно общество должно стремиться к нравственному, христианскому отношению к личности; именно общество должно задуматься, какие устои царят в нем и каковы последствия тех ужасных теорий, которые могут стать источником бед для многих поколений.

Владислава Чушкина, 11а

У Фёдора Д. был весьма строгий отец. С родителями у него сложилось сложно, как и у многих классиков. Отец был врачом, а мать из богатого купеческого рода. Достоевский был увлечен азартными играми, которые разрушали жизнь писателя. От кредиторов он скрывался за границей.

Опыт тюремного заключения он написал в книге «Записки из Мёртвого дома».

Виктория Хвостова, 11а

Он родился в 1821 году и в 27 лет примкнул к обществу петрашевцев, целью которых являлся переворот в России. Но их спалил один из членов, который был агентом полиции.

Это был очень необдуманный поступок со стороны Достоевского т к их неудача была очевидна. Кроме того, он был обвинен в распространении пропагандистской литературы. Из-за этого он был приговорен к расстрелу. Ему повезло тем, что наказание сменили на ссылку.

Я считаю, что он совершал необдуманные поступки и ухудшил свою жизнь. Также его произведения для меня не понятны, т к он писал о людях, оправдывающих убийство во имя идеи. Я считаю это неправильным.

Анна Ангелова, 11а

Произведения Достоевского включены в школьную программу. Я считаю, что у этого писателя есть много интересных произведений, например, «Преступление и наказание», где он очень эмоционально передает характеры героев, описывая каждого очень подробно.

Однако, по моему мнению, произведения не предназначены для школьной программы, т к эти произведения бывают сложными для понимания. Достоевский вкладывает много глубокого смысла в свои рассказы, а школьникам это трудно понять.

«Многое изменилось в молодёжи с Достоевских времен»

Лицей № 9

Полина Трунова, 11б

В современном обществе, в формировании его сознания, конечно, большую роль играет молодежь. Так было и в середине XIX в., когда был впервые опубликован роман «Преступление и наказание». А ведь прошло больше полутора века.

Так можем мы считать теорию Раскольникова, главного героя, актуальной для современной молодежи?

Очевидно, что с появлением Интернета, а также социальных сетей и СМИ молодые люди становятся заинтересованными в вопросах нашего бытия, человеческого сознания, политики, прав каждого человека. Однако отличительной чертой убеждений современной молодежи является равноправие всех членов общества: детей, мужчин и женщин людей разных национальностей и религий.

Они не делят людей на тварей дрожащих и право имеющих.

В этом конечно главную роль играет толерантность, борьба с насилием, с которым сталкивается человек.

Здесь право имеют все, и никто не имеет возможности решать что-то за других.

Если же сравнивать стремление Раскольникова к воплощению своей теории и стремления нашей молодежи, то и здесь можно проследить разные точки зрения. Герой «Преступления и наказания» допускал убийство «тварей дрожащих», считая, что в данном случае преступить через человеческую жизнь — значит совершить правосудие. Однако же молодые люди нашего времени выступают категорически против насилия и убийств.

И именно поэтому я считаю, что действовать в логике Раскольникова неактуально для современной молодежи.

Сейчас люди крайне остро реагируют на ущемление своих прав, больше заботятся о чувствах друг друга и стараются искоренять насилие и несправедливое отношение к людям разных рас, национальностей, убеждений.

Анастасия Емельянова, 11б

Современная молодежь отличается от других поколений стремлением к самореализации. Это происходит с целью не показать другим, какой ты и на что способен,

а доказать самому себе, что твои возможности безграничны и ты можешь добиться большего. Такое стремление к лучшей жизни присутствует в логике Раскольникова, главного героя романа Ф М Достоевского «Преступление и наказание», ведь для него было важно доказать именно себе, а не кому-то другому, что он не тварь дрожащая и право имеет. Герой таким образом хотел показать, что он может иметь более высокий социальный статус и занимать положение в обществе выше имеющегося, а значит, иметь возможность свободы действий. Сейчас представители молодых стараются развивать свои способности во многих сферах, чтобы развивать себя как личность и открывать для себя новые возможности. Логика Раскольникова также заключается в создании своей собственной теории и ее доказательстве в дальнейшем.

Можно сказать, что по такому принципу живет современная молодежь. Она ищет себя, познает себя. Люди, являющиеся представителями современной молодежи, в большинстве случаев ставят себя и свое мнение выше общественного. Для них свои мысли, своя теория очень важны, и для их доказательства они готовы приложить все усилия, сделать все, что в их силах.

Ольга Андреева, 11б

Многое изменилось в молодежи с Достоевских времен, у нынешних студентов несколько другие взгляды, другие мнения.

Но современная молодежь как бы разделилась на два лагеря: доказать всем вокруг и доказать себе, для нее существует внешняя борьба и внутренняя. В социальных сетях стало важно обязательно иметь свое мнение, обладать своей позицией и защищать ее.

Люди современного поколения хотят быть значимыми, жаждут менять мир вокруг, доказать, что они сильные и способны говорить вслух что думают. В этом они сродни Раскольникову и его желанию доказать, что они право имеют, что их не замучают власти, родители или учителя, не заставят замолчать и спрятать глубоко внутри чувства — для них это тоже своеобразное *переступить*, но не как у Раскольникова — переступить закон, а переступить себя и установку, скрывать свое мнение, если оно не совпадает с правильным.

Те, кто относятся к нынешней молодежи, сродни Родиону Раскольникову и в том, что хотят самим себе не только на публику показать, насколько они могут быть смелыми и сильными.

Молодые хотят знать, что могут справиться с чем угодно, что их не подавить, что они будут жить в мире, где никто не будет оказывать давление на их мнения и чувства.

Стефания Сероштан, 11б

Произведение Ф. Достоевского «Преступление и наказание» — это та классика, которая будет актуальна всегда. Роман затрагивает множество проблем, одной из которых является такая: какими путями можно добиться чего-либо в жизни? На что может пойти человек, чтобы обрести достойное место в обществе? Главный герой романа Родион Раскольников настолько хотел доказать обществу и самому себе, что он имеет право, что пошел на убийство. Из-за стремления доказать и добиться чего-то некоторые люди могут переступить черту моральных устоев — у таких людей стирается понятие между добром и злом.

Как бы грустно это ни было, но я все же склоняюсь к тому, что современное поколение готово идти по головам в прямом и переносном смысле.

Одно из главных отличий моих сверстников состоит в том, что с детства им внушают то, что они должны добиться чего-то, быть успешными, содержать семью, себя, быть образованными, сделать так, чтобы все гордились их поступками. Именно это давление с многих сторон и ломает некоторых людей — у них возникает мнение, что нужно занять место, которое требуют от них окружающие несмотря ни на что.

На самом деле это страшно, так как в современном обществе практически во всех сферах возникает конкуренция, из-за которой люди готовы по меньшей мере предать, чтобы выбраться самому. Некоторые способны на большее.

Кроме того, есть мнение, когда возникают такие ситуации, где нужно доказать свою правоту, то можно встретить такую защитную реакцию, как агрессия.

Я все равно верю в то, что современные некоторые поступки можно сопоставить с логикой Раскольникова.

«Он предлагает не сваливать все свои неудачи на несовершенный мир»

Гимназия № 3

Ирина Гермаш, 11а

В наши дни культура личностного роста становится все более популярной, и это значит, что каждый из нас хочет стать особенным, избавиться от роли «твари дрожащей». Но можем ли мы сказать, что современные подростки слишком эгоцентричны и «теория Раскольникова» является для них негласным правилом успеха? Я могу с уверенностью заявить, что мы, молодежь XXI века, считаем «теорию Раскольника» поистине бесчеловечной и разрушительной. Представители нынешней молодежи, наоборот, выступают против какого-либо насилия и реагируют на него с заслуженным порицанием. Мы уважаем свои и чужие границы и считаем, что каждый человек достоин счастья. Подростки читали, читают и будут читать книги великих авторов, в число которых входит и Ф.М.Достоевский. Мы читаем Достоевского по одной простой причине: не хотим оставаться равнодушными. Автор романа «Униженные и оскорблённые» научил меня сопереживать, а эмпатия, как мне кажется, во все времена являлась ключом к уничтожению зла. Зачем читать Ф.М.Достоевского? Ответ прост: чтобы оставаться людьми.

Дмитрий Колесниченко, 11б

Я думаю, что Достоевский побуждает любого читателя прежде всего к Богообщению, видеть в каждом человеке образ Божий. По своей сути все его творчество — глубоко христианское.

Без Достоевского невозможно понять, что происходит с тобой и с миром. Он учит понимать людей, чувствовать всякого человека, знать, как ему помочь.

Главным в его романах является диалог человека со своим вторым «Я». Например, в романе «Преступление и наказание» Раскольников задает самому себе вопрос: «Тварь ли я дрожащая или право имею?». Этот вопрос позволяет увидеть все глубины человеческой души. А что волнует человека, способного заглянуть в такие глубины? Зачем я явился в этот мир? По каким законам он устроен? В чем смысл человеческого бытия? Вот об этом и пишет Достоевский.

Человек, который читал произведения Достоевского, понимает про жизнь очень многое. А еще Достоевский формирует чувство личной ответственности за свои поступки.

И, пожалуй, на мой взгляд, самое главное: он предлагает не сваливать все свои неудачи на несовершенный мир, призывает делать правильный выбор и никогда добровольно не отказываться от главного дара, который у нас есть, — от свободы.

Артём Фучижи, 11а

Чтение Достоевского необходимо всем, кто с магистрали ищет выход на поросшие травой тропки. Вся Россия раздроблена на его героев, которых встречаешь в знакомых

и незнакомцах. До сих пор на улицах бродят святые Алёши Карамазовы и лихорадочные Раскольниковы, до сих пор лакействуют Смердяковы и мечтают об Америке Свидригайловы. Каждый день происходят сцены из романов Достоевского. Полные криков, истерик, притч, мучительных откровений и потаенных знаний. В подвалах беседуют по-достоевски — о самом главном, о самом страшном.

Хорошо, что оставили раскольниковский топор. Обагренный кровью, он напоминает об убийстве. Напоминает в ночных кошмарах и мелькнувших отражениях. Но все-таки висит. И все-таки страшно. Если выстрелит чеховское ружье, останется ли топор без дела?

Виктория Томчук, 11б

Ф.М.Достоевский хорошо чувствовал мир человека: он мог предвидеть действия человека даже в той ситуации, в которой он сам не был. Тем самым он через того же Раскольникова доказал, что навязчивые мысли не всегда могут приносить желаемый результат. Свидригайлов в разговоре с Авдотьей Романовной произносит такие слова: «Русские люди... широкие люди... чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному; но беда быть широким без особенной гениальности». Так он говорит именно о Родионе Романовиче. Раскольников ставил себя рядом с великими людьми, например, с Наполеоном. Он думал, что его теория может стать спасительной для всего человечества, но все обернулось для него совсем иначе. Для того, чтобы быть гениальным, нужно иметь гениальные идеи, мысли, не нарушающие общественный порядок, чего нельзя сказать об идеях Раскольникова. Убить человека — это совсем не путь к освобождению, это путь к гниению личности, к беспорядочным, не дающим покоя мыслям и угрызениям совести. Именно таких целей добился Родион Романович своим поступком, он себя погубил.

Произведением «Преступление и наказание» Достоевский учит моральным принципам. Да и вообще, человек со времен Достоевского ничуть не изменился, поэтому-то русский писатель XIX века остается актуальным и необходимым для современной молодежи. Очень глубоко Достоевский понимал человеческие отношения. Любовь, дружба, преданность — все эти чувства так же свойственны современным людям. Вот и ещё одна причина заинтересованности молодёжи в чтении Достоевского.

Владислав Вяткин, 11б

В России было много знаменитых писателей, среди которых — Фёдор Михайлович Достоевский. Его произведения прославились на весь мир тем, что он прекрасно описывал различные психотипы людей. Но в современном обществе молодежь перестала читать Достоевского. Такая тенденция обусловлена тем, что подростку тяжело понять весь смысл его романов. Вдобавок он тяжело пишет! Но кто сказал, что самообразование — это легкий путь! Если вы по-настоящему хотите допускать меньше ошибок в вашей жизни, то вам надо прочитать все произведения Достоевского, а потом разобрать его с более умным человеком, чтобы понять смысл! Так как в его романах описывается много различных людей, то вам непременно встретится хоть один человек, который будет похож на одного из его героев. Поэтому я считаю, что подростку нужно читать Достоевского! Ведь так он получит чей-то жизненный опыт, скорее всего, стоящий кому-то, к сожалению, жизни.

Анастасия Анциферова, 11а

Для меня роман Достоевского «Преступление и наказание» окрашен в темные цвета и наполнен мрачной атмосферой. В некоторых эпизодах он оказывает моральное давление на читателя: ты невольно переносишься в роман и меняешься местами с героями, испытывая на себе их чувства и эмоции. В произведении часто упоминаются кровь, смерть, боль и человеческие страдания: возможно, именно это оказывает

психологическое давление. Особенно «ярко» и детально Достоевский рисует жизнь бедных и несчастных людей. Во время чтения подобных эпизодов у меня возникали смешанные чувства: с одной стороны, я испытывала жалость к героям, а с другой — неприязнь.

Именно Достоевский заставил меня задуматься над вопросом: «А сколько “униженных и оскорбленных” в XXI веке?» Я думаю, что не меньше, чем было сто пятьдесят лет назад. В современном развитом мире эта проблема выглядит еще острее. Как в обществе, где столько умных и образованных людей, кто-то может быть обездоленным? Наверное, такие люди будут всегда, как и Лужины, как и Свидригайловы, жаль, что только добрых и светлых Сонь Мармеладовых становится все меньше. В какое время бы ни жили «униженные и оскорбленные», они достойны счастья, как и любые другие люди, независимо ни от чего. Самое главное, уметь прощать и всегда оставаться человеком, только так судьба «униженных и оскорбленных» превратится в жизнь «счастливых и любимых».

Алексей Сбоев, 11б

Достоевский глубоко и точно раскрывает тему общественных пороков, которые приводят к моральной гибели человека. Печально, что эта тема до сих пор является актуальной. Автор хочет донести до читателя, что человек, измученный чужими страданиями, пусть даже добрый и честный, неотвратимо будет приносить боль и зло другим. Таким нам и предстает бывший студент-юрист Родион Романович Раскольников в романе «Преступление и наказание», исключенный из университета, чувствующий себя отверженным. На всю свою жизнь он смотрит сквозь призму собственной теории: «Я только в главную мысль мою верю. Она именно состоит в том, что люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово». Раскольников хочет доказать не только себе, но и окружающим, что он не «дрожащая тварь», а «властелин судьбы». Разбираясь в своей теории, в вопросах совести и правильности поступков, он все же дает себе разрешение «перешагнуть через кровь»: убивает старуху-процентщицу. Описывая поведение своего героя в различных жизненных ситуациях, автор дает возможность читателю глубже раскрыть персонаж, его нравственные муки, погрузиться в мир его переживаний. Таким образом, возникает противоречие, в котором Раскольников хочет защитить «униженных и оскорбленных», но в то же время его ложные убеждения толкают его на преступление. А проблема освобождения людей от страданий, которую пытается решить герой, оказывается неразрешимой.

Андрей Гаргома, 11б

Достоевский заставил меня задуматься над вопросом: если убийство является самым страшным грехом, то все участники боевых действий, отнимавшие жизни других людей, должны гореть в аду? В Библии не сказано, что разрешается убивать людей, если ты защищаешь свою страну. Тогда получается, что наши прадеды являются страшными грешниками. Для ответа на свой вопрос я обратился к дополнительным источникам. Церковь «не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости», несмотря на известную всем заповедь «не убий». «Убийство остается грехом даже на войне. Но жизнь наша не однозначна. И зачастую приходится из двух зол выбирать меньшее. Убийство противника на оборонительной или освободительной войне — меньшее зло, чем дезертирство», — считает иерей Александр Цыганов, священник 234-го гвардейского десантно-штурмового полка. Подтверждение сказанного иереем я нашел в Библии: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою

за друзей своих». Так как военнослужащие готовы отдать свою жизнь за спасение родных, они проявляют самую большую любовь, и их грехи будут прощены.

Зло было, есть и будет всегда, пока на земле будет царить нищета, пока правительство будет думать в первую очередь о себе, а потом о людях. Возможна ли «кровь по совести»? Скажу честно: я изменил свою точку зрения. «Кровь по совести» возможна только тогда, когда приходится «из двух зол выбирать меньшее». У Раскольникова не было необходимости совершать преступление, поэтому «кровью по совести» это назвать нельзя. Старуха-процентщица хотела оставить свое состояние монастырю, а это тоже благое дело, которому Родион хотел помешать. Насилие я не считаю двигателем прогресса, ведь всегда все можно решить мирным путь, хоть это и бывает довольно сложно. Когда человек хочет совершить революцию и спрашивает себя: «Тварь ли я дрожащая или право имею?» — ему нужно помнить о том, что в мире еще существуют реформы, которые нужно начинать проводить в первую очередь в самом себе.

Мы благодарим за сотрудничество белгородских преподавателей русского языка и литературы: Лидию Васильевну Богомазову (гимназия № 12), Наталью Ивановну Немыкину (гимназия № 3), Татьяну Александровну Овчарову (лицей № 9), Павла Юрьевича Федорченко (образовательный комплекс «Алгоритм успеха»).

Николай Александров

«Жизни спутанные нити»

Жанр документального романа как будто балансирует на грани научного исследования и художественной рефлексии. Степень художественности, наверное, и заставляет использовать именно слово «роман», а не, скажем «эссе», как принято во Франции, например. Автор, с одной стороны, отказывается от сухой филологической наррации, но с другой — все-таки вынужден сдерживать свое воображение, имея дела с реальными фактами и живыми, невыдуманными персонажами, с героями, чья судьба уже определена жизнью и историей. Остается лишь ярко выраженное видение, взгляд, в котором домыслы опираются на действительно бывшее, особая, как сегодня принято говорить, оптика при погружении в историю вообще и истории героев, которая и становится инструментом интерпретации или, если угодно, ярко выраженным авторским волюнтаризмом, то есть тем островом свободы, на котором возможна стилистическая свобода документального романа.

Сергей Беляков берется за судьбы героев, которые действительно стоят или заслуживают романа. Или, по крайней мере, подталкивают к романному воплощению, даже романному обобщению, если угодно. Поскольку речь идет не просто о типологии рока, общем узоре нитей, сплетенных Паркой, но о странных закономерностях времени, столкновении разных эпох и разных культур, кровавых конфликтах прошлого столетия, которые и сегодня отдаются внятным эхом.

Эти герои — Георгий Эфрон и Дмитрий Сеземан.

У обоих родители (у Эфрона — отец, у Сеземана — отчим, Николай Клепинин) были белыми офицерами. Оба вырастали в парижской эмиграции и впитывали в себя воздух французской культуры, удивительную атмосферу Парижа, который затем будут вспоминать всю жизнь и в который будут стремиться. И Николай Клепинин, и Сергей Эфрон были завербованы советскими спецслужбами и выполняли задания советской разведки. И Георгий Эфрон, и Дмитрий Сеземан были страстно увлечены новой советской реальностью и стремились в коммунистическую Россию. И вернулись вместе с семьями. И жили вместе. И тот и другой обманулись в своих ожиданиях, пережили репрессии, смерть родных и близких, в войну ушли на фронт. Только Эфрон погиб, а Сеземан выжил. Выжил и вернулся в Париж. «У меня нет сомнений, что Мур повторил бы судьбу этих парижских мальчиков. В Москве сделал бы карьеру. Добился бы и богатства, и успеха... Но и он покинул бы Москву и умер, конечно, в Париже. В январе 1943-го, в том самом исповедальном письме к Муле Гуревичу, Мур предсказал: “И последняя моя мысль будет о Франции, о Париже, которого не могу, как ни стараюсь, забыть”. А что мысль эта промелькнула в голове не где-нибудь у Бельфорского льва, а на проселочной дороге северной Белоруссии, так в том не его вина», — пишет Сергей Беляков в финале романа.

Понятно, что рассказ об этих судьбах требует многого. Слишком много событий, фактов, людей, нюансов — бытовых, идеологических, исторических, уже исследованных,

---

Сергей Беляков. Парижские мальчики в сталинской Москве: Документальный роман. — М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021.

интерпретированных. Революция, гражданская война, эмиграция и раскол внутри эмиграции, шпионская деятельность и измена своим убеждениям (если не предательство), сталинский террор, голод, война, болезни, столкновение западной культуры и советского образования — да мало ли что еще. И на протяжении всего повествования Сергей Беляков пытается сохранить верность фактам, воссоздать обстановку (обстановки), в которой оказываются герои, обращает внимание на мелочи (будь то одежда, еда или специфика советских газет и советского обучения, а главное, не упускает из виду, пожалуй, самое важное: в чем же специфика, в чем же феномен восприятия советского мира «парижскими мальчиками», в чем основа, в чем корень их чужеродности (и не только языковой, хотя он один из главных — Эфрон и Сеземан были билингвами), но одновременно и какой-то глубокой причастности к этому миру.

«Две культуры — это ведь не две суммы знаний, это два образа мысли, два ощущения мира. Русская, как только я попал в Россию, поразила меня и пленила. Тем не менее, ни метафизический бунт Достоевского, ни всеприятие Толстого прочно привиться так и не смогли. Всё, что я до этого во Франции читал, учил, всё, что мне внушали, противилось неразумному и восторженному, как полагалось, приятию действительности. Потому что и Вольтер, и Стендаль, и Флобер, и Ларошфуко, и Андре Жид, и Пруст, мой любимый Пруст, научили меня несколько скептическому взгляду на жизнь...» — цитирует Беляков интервью Дмитрия Сеземана радиостанции «Свобода».

Но есть еще один очень важный аспект, который, разумеется, будет учитываться при чтении романа и даже приниматься во внимание в первую очередь. Это имя Марины Цветаевой. Ее судьба, ее трагическая смерть, ее творчество — это тот свет, который невозможно заслонить, который освещает все. В ткань ее жизни вплетены нити судеб ее мужа Сергея Эфрона, ее сына Георгия (Мура), дочери Ариадны (Али) и многих, многих других. Это ее текст, который выходит далеко за хронологические рамки описываемых в романе событий.

Может быть, символично, что роман Белякова выходит одновременно с томом писем Ариадны Эфрон к Анне Саакянц («Вторая жизнь Марины Цветаевой. Письма 1961—1975»). По существу, этот внимательно откомментированный том — хроника возвращения творчества Марины Цветаевой российскому читателю и свидетельство подвига, данного себе Ариадной Эфрон зарока — дать вторую жизнь тому, что, казалось, эпоха, это страшное пространство-время XX века обрекло на забвение.

Эти две книги находятся как будто во взаимном отражении и уж точно перекликаются друг с другом.

Книга писем Ариадны Эфрон раскрывает историю издания произведений Цветаевой. Роман Белякова — в том числе раскрывает, скажем так, некий психологический, экзистенциальный контекст, в котором действуют участники этого процесса.

В мае 1956 года Илья Эренбург пишет вступительную статью «Поэзия Марины Цветаевой» для сборника ее лирики, который должен был выйти Гослитиздате и который «пробила» и составила Ариадна Эфрон. Эренбург наверняка понимал, какому риску он себя подвергает, под какой удар подставляется. И действительно, его статья, опубликованная в альманахе «Литературная Москва» в качестве предисловия к публикации семи цветаевских стихотворений, вызвала грандиозный скандал и стала объектом сокрушительной критики. «Эренбурга обвиняли в том, что в статье отмечается, будто трагедия Цветаевой “никак не связана с ее глубоким отчуждением от революционных путей родной страны”, а также в том, что автор статьи “уклоняется от исторического конкретного анализа и прямых идейных оценок” и пропагандирует произведения “декаденствующей поэтессы”, от стихов которой “веет чужеродным, давно ушедшим в прошлое” и которые “не нашли отклика в сердце народа” и т.д. и т.п.», — пишет Татьяна Горькова в предисловии к книге писем Ариадны Эфрон.

В этом контексте поступок Эренбурга выглядит бескорыстно-мужественным. Но дело обстоит несколько сложнее. Есть и другие причины морально-нравственного порядка. Эренбурга мучили угрызения совести. Сергей Беляков напоминает в своем романе, ссылаясь на воспоминания современников

и свидетельства Дмитрия Сеземана в частности, что именно Эренбург уговорил Цветаеву вернуться в СССР, пообещав ей издание ее книг, понимание и востребо-ванность, которых не было во Франции, говоря, что «в России ее ждут, что там не только ее родина, но и ее читатели, что... никто не потребует никаких отречений». В действительности же все обстояло совершенно иначе: «Марина, — приводит Беляков разговор, состоявшийся уже в Москве между Эренбургом и Цветаевой, в передаче Сеземана со ссылкой на Георгия Эфрона, — стала Эренбурга горько упрекать: "Вы мне объясняли, что мое место, моя родина, мои читатели здесь; а вот теперь мой муж и моя дочь в тюрьме, я с сыном без средств, на улице, и никто не то что печатать, а и разговаривать со мной не желает". <...> Эренбург ответил Цветаевой так: "Марина, Марина, есть высшие государственные интересы, кото-рые от нас с вами сокрыты и в сравнении с которыми личная судьба каждого из нас не стоит ничего..." Он бы еще долго продолжал свою проповедь, но Марина прервала его: "Вы негодяй", — сказала она и ушла, хлопнув дверью».

Вот еще две цитаты из романа Белякова.

Первая касается ареста Ариадны Эфрон: «...ее пытали бессонницей, избивали резиновыми дубинками (их называли "дамскими вопросниками"), запирали раздетой в холодном боксе и даже имитировали расстрел. Силы человеческие не безграничны. Ариадна Сергеевна призналась, что "с декабря месяца 1936 г." стала "агентом французской разведки, от которой имела задание вести в СССР шпионскую работу..." Но Аля следователей не очень интересовала. Важнее было получить показания на ее отца. И ее заставили подписать и это чудовищное признание: "Не желая скрывать чего-либо от следствия, должна сообщить о том, что мой отец Эфрон Сергей Яковлевич, так же как и я, является агентом французской разведки..." И она странно смотрится рядом с другой цитатой уже в финале книги: «Ариадна Эфрон отсидит все восемь лет и выйдет на свободу только в 1948 году...» Ариадна Эфрон вернется из пожизненной ссылки в 1955 году, предварительно написав известное нам письмо в военную прокуратуру. Оно завершалось такими словами: «..весь остаток своей жизни буду стараться оправдать оказанное мне доверие. Спасибо советскому правосудию!».

Это последние слова об Ариадне Эфрон в романе. И, как мне кажется, не слишком справедливые интонационно. Хотя бы если принять во внимание, что смогла сделать Ариадна Эфрон после освобождения. И они иначе воспринимаются в контексте книги ее писем. «Увы, после маминой смерти и более близкой по времени и пространству (когда мама умерла, я ведь сама была «по ту сторону») — смерти Бориса Леонидовича я твердо убедилась в том, что и сама непременно умру. Раньше, даже на самом краешке жизни, я не задумывалась о том, что и мои дни сочтены. А теперь знаю, что прожито уже много-много, осталось мало-мало, и надо торопиться. Торопиться же что-то не хочется. Сейчас цветут вишни, сливы, черемуха. Я уже несколько раз навещала домик маминого детства — и очень хорошо, т.к. "отдыхающие" еще не наехали (домик на территории Дома отдыха) и было пустынно и тихо. Вокруг дома растут четыре высоченных ели, когда-то посаженные дедом в честь четверых его детей», — писала Ариадна в одном из писем. Для нее это было уже другое время, другой модус существования.

Если угодно — вторая жизнь, которой не было дано ее брату Муру.

Ольга Гертман

Иномосковье, которое всегда с нами

Вообще удивительно: почему такой книги у нас, москвичей, до сих пор не было? Вот у жителей Львова и Киева, например, — спору нет, городов таинственных и мистических — давно уже есть: соответственно, «Случайному гостю» и «Дни яблок» Алексея Гедеонова — о мальчике-маге Лесике и о бремени его дара. О Гарри Поттере с его магической Англией и не говорю: сама оглушительная популярность его, сделавшая истории о Гарри неотъемлемой частью современного мифологического сознания, — вернейшее свидетельство того, что волшебность детства нуждается во внимательном осмыслении.

И этого осмысления никогда не бывает ни много, ни вообще достаточно — хотя бы уже потому, что в родстве детства и магии (с ее ужасом и очарованием) сомневаться вообще невозможно. Ну, то, что все дети — волшебники, совершенно очевидно, просто не все они в этом признаются (вот и правильно делают: тайна же! а взрослые все равно не поймут...). Вырастая, они обычно теряют память об этом. Некоторые, впрочем, прекрасно помнят, и автор книги — явно из таких.

Как заметила одна юная героиня книги, «самым странным мне кажется то, что дети превращаются во взрослых. И перестают быть детьми». Совершенно ведь точно. И как при этом утверждать, что волшебства не бывает?

Но ведь и еще более того: чуть менее ясно и на общекультурном уровне не очень-то продумано, что у разных городов и пространств — собственное волшебство. Оно проживается в них по-разному, потому что возникает, когда магия человека вступает в непредсказуемое взаимодействие с магией места. Есть истории, которые могут быть прожиты только в Москве... и что, много ли мы таких читали? Даже, честно сказать, обидно за наш город — он ведь изобилует местами, которые буквально напрашиваются на то, чтобы стать героями волшебных историй.

Опять же, почему-то не все это чувствуют. Но некоторые — да!

А вот между прочим: почему это все время о мальчиках да о мальчиках? В том же «Гарри Поттере» Гермиона хотя как будто и входит в число ведущих персонажей, но ведь, согласитесь, все-таки не она там главная... (Девочки же на самом деле куда волшебнее, но тссс!.. об этом никому.)

Ну, наконец-то все стало на свои места. Три московских девочки-подростка, наши с вами современницы, под влиянием четвертой задумали стать колдуньями, и — небольшой спойлер: у них очень многое получилось! И мы даже получим некоторую возможность узнать, как именно...

Однако книга Надежды Беленькой, в которой рассказывается о том, как это все происходило и какие трудности героиням пришлось преодолевать на пути к цели, на самом деле — как и положено волшебным предметам — не совсем то, чем она предстает поверхностному взгляду. Или даже совсем не то.

Прежде всего, она старательно и очень убедительно мимикрирует под роман взросления и воспитания. Да, это у нее получается. Она предстает романом психологическим, то есть точно передающим чувства и воображение подростков, с их замиранием на пороге взрослой жизни, на пороге своего и чужого вообще — с особенностями их чувствования времени, пространства, других людей, самих себя.

Надежда Беленькая. Девочки-колдуньи. — М.: Самокат, 2020. — 304 с.

(И успевает заодно показать — и напомнить нам, выросшим, — огромность детского времени: «...все это было давным-давно. Может, год назад...»; и способность любого, даже самого пустякового события в детстве — вроде, например, случайного забегания в чужой двор — стать переломным и распахнуть огромные, пугающие внутренние перспективы.) Оборачивается она и романом, помогающим своим растущим читателям сориентироваться в нравах, обычаях, иерархиях, границах, стереотипах и страхах общества, в котором им случилось родиться (девочки-героини принадлежат к разным социальным стратам, и это, конечно, влияет на их самовосприятие и взаимодействие). Получается и это.

Но ведь вы же согласитесь, что историю взросления — проходящего вполне классические этапы и проживающего всякий раз совершенно архетипические ситуации, среди которых — дружба с ее правилами, влюбленность с ее волнениями, взрослые и дети в их взаимонепонятности, другие люди вообще с их влекуще-непонятными жизнями и непересекаемыми, сколько ни бейся, границами, свое и чужое, одиночество и самоутверждение, ревность и зависть, обида и прощение... — можно рассказать на любом материале. И ценности — ответственности, усилий, внимания и уважения к человеку... — можно опять-таки утвердить на каком угодно материале, на то они и вечные.

Да, если уж очень захотеть, можно вынести за скобки колдовство с волшебством (...кстати: читатель, помимо многого другого, получает тут возможность узнать, почему это не одно и то же — так что, может быть, все-таки не будем их выносить?). Но при такой операции нечто существенное окажется непоправимо утраченным. Ведь здесь же явно происходит что-то еще — что никак не умещается в рамки этих традиционных сценариев.

Плохая литература читает мораль, хорошая — ставит эксперименты. Перед нами — как раз второй случай.

Конечно, книга, кроме всего прочего, изо всех сил притворяется историей о колдовстве (которое не тождественно волшебству). Тут рассказывается много всякого разного: ну, скажем, что будет, если внимательно-внимательно, не отвлекаясь, посмотреть на сушеную лапку ящерицы; как с помощью этой лапки наколдовать себе нужные предметы — например, часы, дизайнерское мыло или сардельки (а заодно и о том, что вообще-то с этим надо быть как минимум осторожнее...). Главное же — роман психологичен еще и в этой области, здесь показывается, что и как чувствует человек, особенно — человек растущий, еще не знающий собственных границ, когда понимает (и совершенно неважно, заблуждается он при этом или нет), что имеет дело с чем-то радикально преображающим жизнь, что в его власти собственными руками эту жизнь преображать.

Плохая литература (только) развлекает. Хорошая — проводит исследования. Вы уже поняли, какой случай перед нами.

А на самом-то деле это — роман между человеком и городом. В том смысле, в каком это слово привычно употреблять, говоря о романе между людьми: влечение, заинтригованность, домысливание, нащупывание возможностей, выращивание связей...

Это — роман удивления Москве, которой мы не знаем. Заодно немного и путеводитель по ней — по такой, которая вообще показывается очень немногим (героиням книги вот показалась). Я бы даже сказала — по Иномосковью. И еще того глубже: эта книга — оптическое устройство, позволяющее перенастроить зрение так, чтобы стало возможно увидеть таинственную сущность города. Например, разглядеть его магическую геометрию.

У Москвы есть свой треугольник, магичности которого несомненно завидует Бермудский. Наверняка их в каждом городе, и в нашем тоже, несколько, но события романа волею судеб происходят в одном из них, который автор знает подробнее всего. Вершинами треугольника можно считать Курский вокзал, Чистые пруды и Китай-город. Стороны его, они же — границы между пространством сакральным и профанным — Земляной вал (там-то, на самом краю магической территории, в одном из домов — Земляной вал, 48 — и живут девочки-колдуньи), Воронцово поле и Яузский бульвар, Покровка и Маросейка. А внутри — пространство, полное внутренних складок с накопленным в них временем,

ветвящееся ходами в возможности иного существования — Ивановская горка со своими переулками: Подколокольным, Хохловским..., Хитровка — район, кишевший некогда нищими, жуликами и ворами... там тревожно и по сию пору. У пространства есть память и сны!

А ведь существует еще и подземная Москва: русла подземных рек, подземные ходы и колодцы, подземное озеро, даже подземное море! Не говоря уж о метро, которое — вообще откровенно параллельная жизнь, где и пропасть недолго... Существуют трамваи, которые, пересекая границы городских урочищ, соединяют разноустроенные реальности друг с другом. (Ну кто бы стал отрицать, что Яузский бульвар и окрестности метро «Ленинский проспект», с которыми соединяет его трамвай № 39, — реальности несопоставимо разноустроенные?) Город (по крайней мере тот, что очерчен названными сторонами треугольника) переполнен подтекстами. Как неспроста показалось одной из героинь, «обычный город — дома, улицы, школы, торговые центры — это только вывеска, наивная и простая». Правильно показалось. Он весь — волнующее, тревожное соединение видимого и невидимого, высказанного и умолчаний.

Без колдовства как стержневой темы романа об этом, может быть, и не догадаешься. Вернее, колдовство, реальное ли, мнимое ли, и связанные с ним интриги — прекрасный повод и способ об этом рассказать.

Москва — это головоломка, которую нам, москвичам, приходится разгадывать, — говорит бабушка самой младшей из героинь.

«— А если не разгадаешь? — спросила Аля.

— Если не разгадаешь, город тебе не откроется. Можно всю жизнь прожить в наглухо закрытом городе и ничего про него не знать.»

Истинно так!

У Беленькой это показано на примере очень точной топографии — хоть ходи по улицам с книгой, как с картой. И не сможешь не почувствовать — не ощутить прямо телесно — разнокачественность открывающихся перед тобой городских пространств: «Они перешли Яузский бульвар, прошли Подколокольный переулок мимо ресторана, мимо старых домов, пересекли Хитровскую площадь. Дальше начиналась путаница узких и очень старых улиц с обшарпанными зданиями. Ходить так далеко им запрещалось». «Светка прошла по Яузскому бульвару, затем по Покровскому, свернула на Покровку и зашагала в сторону Маросейки. Погожим летним днем в этом районе было жарко и душно — не то что в их тихом Обуховом переулке».

В своем романе (который потому только детский, что героиням от девяти до тринадцати лет; потому, наконец, что дети с их незащищенностью и непривычностью к миру очень остро чувствуют эмоциональную, смысловую, образную неравномерность пространства... а что, взрослые разве совсем не чувствуют ничего такого?), Надежда Беленькая выполняет важную и нетривиальную работу, которую, не знаю, делает ли кто еще в нынешней детской и взрослой литературе — то есть именно художественными средствами. В историю взаимоотношений нескольких разных по душевному устройству героинь с одним городским урочищем она вписывает много наблюдений, явно добытых из живого опыта: об антропологии пространства, о субъективном, эмоциональном его картографировании, а особенно — пространства «своего», домашнего, давно и тщательно обитаемого, о непременной изнанке всего обжитого и знакомого. (Чувствую я, роман способен дать много материала для осмысления специалистам по гуманитарной географии, исследователям московских локальных мифологий.) Показывает нерасторжимую связь повседневности и мифологического сознания, то, как Москва именно обыденными практиками вроде, например, прогулок во дворе или утренних пробежек выращивает свое Иномосковье — и непредставима без него.

«...Для города миф и легенда важны не меньше, чем ваша информация!»

Вот, например, Гедеонов в своих львовской и киевской книгах пишет о днях, когда граница между мирами становится более тонкой и проницаемой: время перед самым Рождеством, дни поминовения мертвых. У Беленькой круче: в ее Москве граница между мирами проницаема всегда, каждый день, каждую минуту. Нам с вами тут стоит быть особенно внимательными и осторожными.

(Кстати, это касается не одних только улиц. Как опять же справедливо заметила еще одна из девочек-колдуний, «все странное».)

Не откажем себе в удовольствии еще одного небольшого спойлера: далеко не все из загадок, которыми полон роман, обретут к его концу свои разгадки, и не на все вопросы будет найден ответ. Куда и почему, например, пропадала таинственная девочка Натка, которая и взволновала умы героинь идеей колдовства? Почему Шаман расписывал магическими граффити стены Яузского бульвара и Воронцова поля, да еще и ночью? Случайно ли сошлись в одной точке времени-пространства похороны курицы старухой и шаровая молния? Действительно ли четверо воронят-подростков, которыми заканчивается книга, увидели, как девочки стоят вокруг молнии, зависшей в воздухе, «неподвижно, как статуи в старом парке, запрокинув лица и подняв руки ладонями кверху», — или кто-то из девочек это придумал? И самое, самое главное: там, в мире романа, колдовство и вправду существует или происходит только в распаленном воображении героинь?

...И все-таки хорошая литература, хоть и не читает, как мы помним, мораль и не раскрывает всех карт, — чему-то непременно учит. Этот роман, например, учит своих читателей, сколько бы лет им ни было, чувствовать свое пространство (особенно — ближайшее, повседневное) и удивляться ему. Неважно, московское оно или нет. А город, как опять же справедливо сказал один из почти случайно мелькнувших героев книги, обязательно отзовется.

Мария Ануфриева

Недетская история игрушек

В мире, взявшем курс на геополитическое противостояние, раздор и распри, гораздо легче найти то, что разъединяет народы. Тем ценнее говорить об общих материальных и духовных ценностях, понятных на разных континентах и, что немаловажно, в разные века. Однако не будем умничать, ведь речь идет об игрушках. У кого их не было? Они были у всех — разные, часто не детьми выбранные, созданные в угоду идеологическим воззрениям, тряпичные и высокотехнологичные... Отними у ребенка игрушку — и ты отнимешь у него детство.

«Дизайн детства: игрушки и материальная культура детства с 1700 года до наших дней» — объемный сборник статей зарубежных авторов, создающий обобщенный социокультурный портрет привычных с детства игрушек.

Представьте, что этот портрет не статичен, его пытались рассмотреть с разных ракурсов из нынешнего времени, заглядывая в предыдущие века. Не удивляйтесь, если он будет отворачиваться от вас, подмигивать, а то и скалиться, ведь привычная кукла может оказаться не тем, что вы думали... Чего стоит одна история про сделанную в полный рост восковую фигуру младенца с закрытыми глазами, которая предназначалась, как

Дизайн детства: Игрушки и материальная культура детства с 1700 года до наших дней / Под редакцией Меган Брендоу-Фаллер; пер. с англ. А. Ландиховой. – М.: Новое литературное обозрение, 2021. (Серия «Культура повседневности»)

считается, для обета исцеления больного ребенка в Португалии в конце XVII века. Но прежде чем она попала в Музей Виктории и Альберта в 1917 году, ею играло несколько поколений детишек на постоялом дворе в Кентербери.

В книге не единожды звучит мысль о том, что изначально куклы предназначались вовсе не для игры, а использовались в культовых и похоронных обрядах. В подтверждение исследователи обращаются к этимологии слова «кукла»: «немецкое *Puppe*, французское *poupee* и английское *puppet* происходят от латинского *puppa*— вотивный образ, приносимый в дар божеству».

Дизайн детства — это насчитывающая три столетия история «изобретения детства», ведь «игрушки, как правило, раскрывают не детский мир, а мир взрослых ожиданий по поводу детства». Благодаря обилию деталей и примеров, каждая эпоха раскрывается своими гранями конструирования взрослыми индустрии детства.

Не уверена, что это исследование окажется востребованным самым широким кругом читателей — родителями, покупающими детям игрушки. Но оно точно будет интересно и полезно социологам, культурологам, искусствоведам, студентам профильных вузов, изучающим историю костюма и предметов материальногобыта народов, в конце концов— адептам (адепткам?) современного феминисткого дискурса, наследующим идею дискриминации женщин, в том числе испокон веков навязываемой девочкам игрой в куклы.

Всех ждут содержательные открытия — от насыщенного фактами текста до развенчания патриархальных гендерных мифов: и в прежние века не все девочки любили играть в куклы и беспрекословно усваивали уроки добродетели, материнства и ведения домашнего хозяйства, предписанного игрой, а кто-то их откровенно ненавидел: «От кукол у меня всегда оставалось чувство мрачной насмешки над человечеством, которое они якобы изображают. В самом существовании куклы, в том, что она похожа на младенца, было для меня что-то зловещее, если не сказать жуткое. Я испытывала нервную, смешанную со страхом, неприязнь к этим улыбающимся подобиям, которых девочки обязаны любить и испытывать к ним что-то вроде материнского чувства» (Фанни Кембл, британская актриса, первая половина XIX века).

Коллекционеры старинных и авторских кукол, игрушек ушедших эпох — еще один пласт целевой аудитории, который видится в списке читателей «Дизайна игрушек». Мне как коллекционеру кукол хорошо известен этот хобби-сегмент, поэтому позволю себе усомниться. Конечно, приятно осознавать, что твой кукольный шкаф — наследник известных еще с XVI века Dockenhaus, но фактуры для того, чтобы стать настольной книгой коллекционера данному изданию недостаточно. Впрочем, авторы не преследовали такую цель — перед нами не энциклопедическое или справочное издание, а произвольный экскурс в прошлое, одна из многочисленных мозаик калейдоскопа «дизайна детства 1700 г. — н.в.», который можно поворачивать и получать иные узоры снова и снова. И уж точно эта мозаика имеет право на жизнь и заинтересованное прочтение.

Основное внимание в книге уделено XVIII веку, когда, по мысли авторов, впервые сформировалось представление о том, что игра — дело детей, выросшее из просветительского осознания «детства как особой стадии развития человека», и веку XIX, поставившему производство игрушек на фабричный поток.

И если в эпоху Просвещения игрушки выполняли функцию воспитания и нравоучения, готовили детей к исполнению предписанных им социальных ролей, то уже скоро — семимильными шагами — превратились в средство, позволившее исследователям назвать детей популярным ныне словом «потребитель». Воспитание ребенка-потребителя на примере игр, игрушек и обучения покупкам в Великобритании XVIII века подробно описывает Серена Дайер. Уже тогда навеянная идеями Джона Локка педагогика взяла в спутницы коммерциализацию, что подтверждает столь знакомая современному читателю взаимосвязанная продажа игрушек, детских книг и аксессуаров. Автор подробно

рассказывает о практике ведения детьми высшего сословия «маленьких записных книжек» для фиксации расходования карманных денег, что формировало ранние навыки финансовой грамотности, столь необходимой впоследствии хозяевам усадеб и поместий. Такая скрупулезность и не снилась современным юным потребителям. Например, племянница Джейн Остин вела учет своих трат всю жизнь, начиная с десятилетнего возраста. И все же считается, что до начала XX века дети не обладали знаниями, опытом и правом на покупку: «К 1900 году дети в западном мире заняли положение бесполезных, но бесценных в эмоциональном смысле членов семьи, и вокруг них сформировался целый потребительский мир».

Пытаясь осмыслить детское потребление в XX веке, зарубежные исследователи спорят, остался ребенок «эксплуатируемым» или стал «эксплуататором». В любом случае, даже банальное детское «выклянчивание» нашло свое научное определение и описание (термин «pester power» означает ожидание производителей, что дети просьбами рано или поздно заставят родителей купить рекламируемую игрушку).

Но и упрощенная бинарная модель «жертвы» и «сильного потребителя» подверглась критике: «<...> детство и культура потребления взаимно формируют друг друга, и невозможно точно указать момент, когда дети стали частью рынка. Сегодня ребенок вовлечен в потребительскую культуру уже с первых дней жизни, а зачастую и до рождения. Родные и близкие зачастую «создают образ своего ребенка, представляя, что у него будет или чего он захочет», примеряют на детей готовые идентичности, имеющиеся в окружающем их материальном мире».

Стоит отметить, что перед нами своего рода и книга-полемика, книга-спор, когда авторы, склоняясь к определенной точке зрения, приводят в сносках альтернативные концепции, и все это, несомненно, работает на общий замысел: показать историю становления материального мира и культуры детства всесторонне, без единственно верных трактовок, которых в данном случае и не может быть.

Едва игрушка была осмыслена как необходимый и самостоятельный атрибут детского бытия, она тут же попала под влияние политических, социально-экономических, идеологическихреалий. Яркий тому пример— куклы, на протяжении трех веков как воплощавшие в себе передовые идеи и настроения общества, так и закреплявшие существующие паттерны, а может, и пороки: «В конце XIX столетия наступил “золотой век” кукол французских фабрикантов Пьера Жумо и Аделаиды Уре. Их миниатюрные наряды “от кутюр” отражали озабоченность общества Второй империи внешней роскошью, а критики сравнивали этих кукол с элитными проститутками, заявляя, что “роскошь” французской куклы в морально-этическом смысле напрямую связана с коррумпированной легкомысленной властью Второй империи».

О западных фабрикантах, наживавшихся на империалистическом дискурсе и официальном расизме пишет Джейкоб Золманн в статье «Игрушки для империи? Материальная культура детей Германии и германских колоний в Юго-Западной Африке в 1890—1918 годах». В колониальный контекст оказались вовлечены игрушки по всему миру: «В США начала XX века механические игрушки и копилки буквально вдохнули жизнь в пагубные расовые стереотипы. Копилки часто делались в виде фигурки бедного афроамериканца, занятого низкооплачиваемым ручным трудом, либо ленивого веселого музыканта с характерными для механической игрушки отрывистыми движениями. (Последний вариант копилки оказался на пике популярности как раз в то время, когда белые представители среднего класса чуть не лишились работы из-за притока иностранных мигрантов)».

В Германии большую популярность приобрели колониальные оловянные солдатики, пропагандировавшие идею немецкого превосходства. Для девочек же появился новый популярный вид кукол под названием Negerpuppen (в английской версии — голливог). «Эта кукла изображала пупса с африканскими чертами лица, утрированными и подчеркнуто детскими. Термин «голливог» стал обозначать целый ряд разнообразных черных кукол, представлявших расовые стереотипы. Германских Negerpuppen, как и американских голливогов, использова-

ли, чтобы через материальное воплощение в кукле стереотипных черт африканцев (толстые губы, экзотический наряд) объяснить и привить понятие "расы". У этих черных кукол была четкая задача: они служили инструментами расового внушения».

В начале 1920-х годов в Германии художницы Кете Крузе и Марион Каулитц создавали гендерно-нейтральные «характерные куклы» с неповторимыми чертами лица, тем самым используя «реформированных» кукол, чтобы формировать собственную среду на основе феминистских принципов».

В 1985 году в США был создан бренд American Girl Dolls (AGD). «Компания, основанная американской учительницей и автором учебников Плезант Роуланд, стала выпускать линейку высококачественных кукол, аксессуаров и книжек, которые предлагали девочкам позитивные исторические ролевые модели в качестве альтернативы Барби и прочим куклам-манекенам. Изначально линейка кукол и соответствующих рекламных книжек сосредоточилась на трех выдуманных персонажах: это Кирстен, шведская иммигрантка середины XIX века; Саманта, сирота времен конца викторианской эпохи; и Молли, представительница эпохи Второй мировой войны. В 1990-е годы компания расширила линейку AGD, в которую вошли образы американских девочек разных культур. Среди них были латиноамериканка, афроамериканка и представительница еврейской диаспоры. Кроме того, появилась новая линейка современных кукол: каждая девочка теперь могла создать куклу, похожую на себя, самостоятельно выбирая из более чем двадцати вариантов тона кожи, цвета и типа волос, черт лица и цвета глаз. Но план Роуланд сурово раскритиковали за то, что ради повышения продаж она изрядно «подчистила» историю американской иммиграции и этнических меньшинств, а ее персонажи оказались наделены раздутой исторической агентностью, которой на самом деле не могло быть у их прототипов. Ирония состоит в том, что бренд, который начинался как "анти-Барби", был куплен в 1998 году за 700 миллионов долларов фирмой Mattel, управляющей компанией Barbie».

Та же компаниея Mattel выпустила в 1990-х годах линейку темнокожих Барби с реалистичными формами. Барби-афроамериканки выпускались под брендом «Шани и ее друзья». «Их рекламировали как кукол с "правдоподобными" чертами: широкие черные бедра и ягодицы, полные губы и более широкий нос. Кроме того, в самой упаковке и в одежде куклы (ткань с орнаментом из переплетенных линий) эксплуатировалась идея о ее гордом африканском происхождении. Создание правдоподобной темнокожей куклы оказалосьдля фабрикантов нелегкой задачей — именно потому, что нужно было "представить культурные, расовые и фенотипические отличия и не впасть в упрощенческий стереотип, вроде полных губ и широких бедер", созданный научным расизмом XIX века. В конечном счете все попытки придать Барби "туземный" вид с помощью краски или одежды и тем самым пойти навстречу мультикультурализму закончились для производителей игрушек созданием еще одной рекламы, едва ли способной к критике официального расизма».

Всемирно известная датская компания LEGO по-своему напоролась на то, что сейчас мы бы назвали новой этикой. Начав с гендерно-нейтральных идеалов свободного творчества, в результате затейливых перипетий ребрендинга производитель определил «основного покупателя конструктора LEGO как белого, привилегированного мужчину». Его образ воплотил в себе мальчик «Зак — Лего-маньяк», герой успешного рекламного ролика 1980-х годов, и именно ему и предназначались новые линейки конструкторов на военную и технологическую тематику, а для девочек продавались отдельные фантазийные конструкторы в пастельных тонах. Например, серия LEGO «Friends» 2012 года выпуска.

В наборе были представлены кубики пастельных тонов и женственные фигурки наподобие кукол. Эти конструкторы продавались уже не в «синем» гендерно-нейтральном уголке LEGO, а в «розовом» потребительском угол-ке, рядом с Барби. «Новый гендерноориентированный маркетинг иигровые сценарии LEGO подверглись коллективной критике на феминистских ресурсах за то, что наборы, сосредоточенные на гетеронормативных темах

(красота, дом, готовка и верховая езда), ограничивают творчество по сравнению с конструкторами для мальчиков (предполагающими сражения и приключения).

В феминистских соцсетях разошлась картинка с двумя рекламами LEGO: на изображении 1981 года девочка держит в руках постройку из LEGO свободной формы, а в 2014 году девочка держит гендерно окрашенную игрушку из линейки Friends. Второе фото снабжено подписью: «В чем разница?»

Этот и множество других приведенных в книге примеров показывают, как, с одной стороны, игрушки три века шли к тому, чтобы стать частью идеологической, социальной, общественно-политической повестки, с другой — болезненную, немедленную и отнюдь не игрушечную реакцию общества на педалирование актуальной повестки в сфере детского потребления.

Иногда человека настолько захватывает дизайн детства, что расставаться с ним он не хочет. В книге вскользь упоминается культура кидалтов (от англ. kid — ребенок и adult — взрослый), получившая распространение в XXI веке. Для этих взрослых, увлеченных детскими играми, также выпускаются игрушки, например, кукольные домики, причем гендерно-нейтральные, что роднит XXI век с XVIII, когда коллекционирование кукол не было исключительно дамским занятием.

Ольга Балла

Огромная, как большой мир

Дочки-матери, или Во что играют большие девочки: сборник / Сост. И.Головинской. — М.: Время, 2021. — 224 с. — (Диалог) — Авт.: Диана Арбенина, Екатерина Барабаш, Лилия Владимирова, Саша Галицкий, Ирина Головинская, Линор Горалик, Люба Гурова, Мария Игнатьева, Ольга Исаева, Марта Кетро, Наталья Ким, Вера Копылова, Екатерина Корсунская, Анастасия Манакова, Ирина Машинская, Тинатин Мжаванадзе, Ира Нахова, Гелия Певзнер, Людмила Петрушевская, Евгения Пищикова, Юлия Рублёва, Алёна Солнцева;
Ева ЛЕВИТ. Мама, ты лучше всех!: Как родить пятерню и не сойти с ума. — М.: Время, 2020. — 224 с. — (Где наши не пропадали).

Изданная «Временем» в серии «Диалог» книга о том, во что играют большие девочки, оказавшись в роли дочери и / или матери, — и в самом деле диалогична.

Составленная из рассказов, воспоминаний, эссе о дочерях и матерях, дочерей и матерей друг о друге, она написана со множества разных (иногда до противоположности) точек зрения и позиций: от притяжения до отталкивания, от счастливой благодарности и нежности до раздражения, гнева, обиды и потребности защищаться. Все это составляет, как видно практически из каждого текста, совершенно и принципиально не распутываемый клубок, нерасторжимый комплекс отношений. Разные нити этого клубка — показывают нам авторы и собравший их высказывания в мозаичное целое составитель, — не только предполагают, но требуют и создают друг друга. И вообще состоят из одних и тех же волокон.

Затем и разножанровость: чтобы рассмотреть волокна разных видов.

Книга-переживание и книга-исследование одновременно, этот сборник — о силе и трудности связи между матерью и дочерью, замечаемых обеими сторонами.

«Я мечтала о мальчике, — признается Евгения Пищикова, — оттого, что в моей семье из поколения в поколение передавалась традиция чрезвычайной связи матери и дочери. В определенном смысле у нас многопоколенческая семья симбиотов».

«Звони в расцвете сил, — формулирует Люба Гурова "правила общей безопасности" при общении с матерью по телефону, и метафоры при этом — одна красноречивее другой. — Не в том дело, что голос должен быть фальшиво бодрым, а в том дело, что если я устала и не держу удар, то какой-нибудь ловкий хук да пропущу и поезд сойдет с рельсов. <...> У мамы радар на все, что может в вашей жизни пойти не так. Радар устроен интересно, мамина карта звездного неба с вашей ни в чем не совпадает, но на маминой карте много страшных зверей. Мама беспокоится. Если у вас все спокойно — мама найдет, о чем беспокоиться».

«Она так беспокоилась за меня, — вдруг совпадает с нею, говоря о своей маме, в совсем иначе организованной истории Екатерина Корсунская, — что постепенно я перестала ей рассказывать, что со мной происходит, чтобы не волновать ее». И она же, дальше: «В детстве я чувствовала себя совершенно счастливой, а взрослой начала составлять список обид, как будто постепенно осознавая их. Обиды выстраивались в ряд и тянули руки, кто первый...»

«Мы всегда не совпадали во времени, — вспоминает Ирина Нахова, — когда я нуждалась в маме: "Мама! Мама!" — ей было не до меня. А когда она стала: "Ира! Ира!" — то я оказывалась в недосягаемости».

Авторы книги — почти сплошь, как это модно нынче говорить, авторки (да и составитель — тоже составительница); единственное средь них исключение мужеска пола — Саша Галицкий. Русский израильтянин Галицкий присутствует здесь не столько как писатель, сколько как практикующий психолог, психотерапевт, педагог, автор курса социально-психологической реабилитации пожилых людей посредством творчества, одна из книг которого была посвящена тому, «как научиться общаться с пожилыми родителями и при этом не сойти с ума самому». Один из двух на всю книгу специалист с профессиональным подходом к теме разговора, он тут, однако, говорит почти как частный человек, взволнованно и удивленно — о проблеме, с которой профессиональными средствами ему справиться не удалось. Позиция психолога в строгом смысле представлена в книге Юлией Рублёвой, психологом-практиком, с 2012 года ведущей собственную авторскую группу «Мама и мои отношения». Кстати, эссе Рублёвой вынесены в особый раздел — «Вместо послесловия», поскольку и интонационно, и рациональной, профессиональной прорефлектированностью представленной в них позиции отличаются от всех остальных текстов книги. Они предлагают некоторую вполне твердую основу для понимания всему, о чем в ней говорится. Причем говорится изнутри, в конечном счете, вовлеченности и в дочерне-материнские отношения, и в их большие исторические обстоятельства. «Наши родители, те, кто родился сразу после войны, особенное поколение, — старается автор с самого начала взять предмет разговора в историческую рамку и ею же многое в нем объяснить, хотя в сборнике участвуют представители очень разных поколений, и это касается далеко не всех обсуждаемых здесь родителей. — Инфантильное или слишком властное, жесткое и жестокое, беспомощное в обычных человеческих проявлениях и часто вовсе бесчеловечное — таким выглядит это поколение во многих историях, которые рассказывают их выросшие дети».

Галицкий же — единственный участник разговора, в дочерне-материнские отношения не вовлеченный, носитель взгляда извне, он знает об этих отношениях в силу профессиональной позиции, пожалуй, побольше основного числа вовлеченных.

«— Я неудачная дочь, — сообщила мне неудачная дочь 51 года от роду.

— С чего ты взяла?

— Мама все время мне это говорит. И вздыхает: "Ну что же, видно, ничего уже не исправить..."

— Ты? Неудачная дочь?! Ты, которая почти каждый день заходит ее проведать, возишь по врачам, когда приспичит, и сидишь там с ней часами, выясняя на приеме у врачей подробности?! Ты, которая до десяти раз в день звонит ей по телефону — и последний контрольный звонок в ухо всегда ровно в 23:00? Что бы с тобой ни происходило в этот поздний час? Ты?! Которой, если не дай бог что-то все-таки случится, понадобится от 20 секунд до двух минут, чтобы, задыхаясь, оказаться подле маминой двери?

— Да. Я. Неудачная дочь».

Отчаявшись переубедить собеседницу, в конце своего текста Галицкий восклицает:

«Может, у людей, как и у зверей всяких хищных, родители воспитывают щенков, натаскивая на все житейские сложности, пока озверевший подросток не покусает собственную мать за ее же хвост? И только тогда родители начнут щенков своих уважать, понимая, что наконец-то их воспитали и подготовили к жизни? И если этого не происходит никогда, то, мол, и "неудачная дочь"?

Как думаете?

И че делать?»

Это — запись из блога Галицкого (видимо, пост из фейсбука), которую в книге сопровождает один из комментариев — анонимный.

«*Для меня это больная и личная тема,* — пишет неназванная собеседница автора. — *<...> У нас почему-то принято считать, что родители — это святое и им позволено унижать, обесценивать, постоянно критиковать, это они так проявляют "любовь". Я уже давно решила, что могу счастливо и спокойно прожить без такой любви и, соответственно, послала. О чем не жалею. С родителями, как мне когда-то сказали, тоже должно повезти. Они тоже бывают "неудачные"*».

И это — решительное отвержение — одна из крайних точек развернувшегося в книге разговора. Вторая крайняя точка — счастливое благодарное принятие — представлена, пожалуй, воспоминанием Тинатин Мжаванадзе («Купание младенца») о том, как ее мама практически волшебной силой вылечила ее маленького сына и вообще поставила распадавшуюся жизнь на место и вернула ей совсем было утраченную гармонию.

Текст Галицкого составитель мудро запрятала в самую сердцевину книги, не превращая его ни в послесловие — итог всему здесь сказанному, ни в предисловие — ключ ко всему сказанному, хотя ведь очень напрашивается, — наверно, именно потому, что очень напрашивается. Дело, кажется, в том, что при обсуждении громадного, размером во всю жизнь, вопроса отношений между матерью и дочерью лучше и честнее всего — именно разомкнутая конструкция, без окончательных выводов и ответов. (И даже внятные советы Юлии Рублёвой о том, как воспринимать родителей и связанные с ними болевые точки, — никак не окончательные ответы, хотя на них можно и нужно опираться, — общие идеи тут такие: прощать, жалеть и понимать. Себя, кстати, тоже.)

Книгу можно было бы назвать психологической, будь она в целом более аналитичной и отстраненной. То есть, по вниманию практически всех авторов к душевным подробностям куда более, чем к социальным она, конечно, психологична. Но предмет обсуждения — такого свойства, что говорить о нем отстраненно, аналитично и уравновешенно, особенно если ты в обсуждаемые отношения включен, — значит все-таки ощутимо его упрощать. Поэтому разговор получается эмоциональный, страстный и пристрастный, а книга в целом — скорее уж мифологической.

Все-таки мать — как показывают нам даже наиболее рациональные и аналитичные из участниц разговора (например, Евгения Пищикова), — фигура магическая, волшебная, власть которой над дочерними чувствами и воображением, безусловная в детстве, не прекращается никогда. Отношения с матерью — это отношения с собственными истоками («Мама — это плацента, детское место, питание и дыхание», — говорит Екатерина Корсунская, думавшая вначале, что в силу безусловности этой связи ей о маме и написать-то нечего). И с собственным прообразом, — совсем не обязательно генетическим, но уж точно символическим.

(В этом смысле показательна история, рассказанная Екатериной Барабаш, где не ведающая о своем удочерении девушка упрекает родителей, на самом деле приемных,

в том, что все свои неправильные и неудобные, по ее чувству, качества и свойства она унаследовала от них.)

Отношения матери и дочери — прежде всего символические (при том, что в чистом виде их мифологичность проговорена тут в единственном тексте — в рассказе Анастасии Манаковой, под конец которого вдруг выясняется, что Мать — так, с большой буквы — девочки Наташи, огромная, «как большой мир», шерстистая, таинственная, «вот уже двести с лишним лет» спит в подземной пещере, и Наташа, вдоволь накатавшись на катке, всегда возвращается к ней: ползет в глубь норы, «упорно двигая руками осыпающуюся землю, <...> на звук и животный теплый запах, бьющий в лицо» и зарывается «с головой в жесткую, как иглы, остро пахнущую шерсть»). Дочь и мать (нет, так: дочь-и-мать) — это же архетипы. Один двуединый архетип. «Бифем», как выразилась Людмила Петрушевская.

Дочь-и-мать — показано нам в книге — это всегда в какой-то мере об (архетипической) невозможности (быть «достаточно хорошей», например, — дочерью ли, матерью ли; не быть виноватой, не обижать и не обижаться; сохранить полноту детского доверия и единства; понять и принять вполне; защитить и удержать от смерти, наконец). И о неразрывности связи — вопреки всем невозможностям. Связи, которая, наверное, даже сильней и неотменимее любви — если вдруг почему-то на нее перестает хватать (суетных, страстных, эгоцентричных и уязвимых) человеческих сил, — и не прекращается даже после смерти, которой она уж явно сильнее.

моя мама уже умерла
но не во мне, не во мне
и я гимн сочиняла
о любви материнской
что не знает ответа

в честь любви простодушной
отчаянной и слепой
в честь руки протянутой
губ протянутых
старых увядших
я не плакала
но мама была со мной
я сама была уже мамой
из того же племени падших

Так пишет в самом начале книги — задавая тон всему дальнейшему разговору, — Людмила Петрушевская.

Во что же играют большие девочки?

В жизнь и в самих себя — в том числе до полной гибели всерьез.

И тут самое время обратить внимание на книгу Евы Левит, которую так и хочется прочитать единым взглядом с дочерне-материнским сборником. Связана с ним книга Левит хотя бы уж тем, что она — тоже об отношениях матери с детьми и издана тем же «Временем» (правда, в совсем другой серии — «Где наши не пропадали». Ну, то есть чем-то родственна инструкциям по выживанию. Мы вскоре увидим: да, очень родственна). Автор — мать шестерых детей, пятеро из которых — близнецы. Более того, некоторое время она растила их в одиночку, что в голове почти не укладывается, но тем не менее, если верить автору (а что за основания у нас ей не верить?), — все получилось. То есть получились шестеро (ну, пока пятеро: на момент написания книги близнецам было по восемнадцать, а шестой, младше их на три года, до совершеннолетия еще не добрался) взрослых людей, совершенно разных в своем душевном устройстве и объединенных лишь тем, что каждый из них — счастливый, яркий, гармоничный,

самодостаточный. И да, у каждого прекрасные отношения с самим собой и с матерью. «Мама, ты лучше всех!» — это они сказали.

Ох, — воскликнет в смятении человек из семьи с куда более традиционным составом, но не имеющий оснований похвастаться всем перечисленным, — да как такое возможно?

Вот нам и рассказывают, как возможно.

Книга Левит действительно читается как дополнение к сборнику, добавляющее к рассказанным в нем историям то, чего там все-таки недостает: именно ту самую инструкцию. Среди нескольких жанров, к которым этот текст принадлежит одновременно: и (психологическая по преимуществу) автобиография с элементами самоанализа, и исповеди (нетипично закрытая в ряде отношений — например, принципиально не называющая своих детей по именам и предпочитающая упоминать их под номерами: № 1, № 2... и так далее до шестого, Левит временами откровенна и до бравады и провокативности, и до беззащитности), и «история успеха» (как справедливо сказано уже в аннотации к книге), и «медицинская проза», — «психологическая инструкция для родителей», пожалуй, занимает одно из ведущих мест.

Для советов тут даже заведена сквозная, время от времени перебивающая повествование, рубрика «Педсовет», в которой прямо говорится, что делать, как и даже почему. Как, например, обходиться с любовью детей к сладостям («дети хорошо улавливают позывные организма и едят именно то, что последнему требуется», а «мозг не живет без глюкозы»). Чему важнее всего их научить («принимать решения» — самостоятельно, «от самых мелких до жизненно важных», а также «с самого раннего возраста <...> заботиться о других» и ни о ком не судить поверхностно, но при этом отстаивать себя и не стесняться слова «Я», которое только в русском алфавите, несчастной волею судеб, последняя буква. А когда-то было и первой: «Аз»!). Что важно им разрешать — даже если не хочется (пробовать устраивать дела по-своему и при этом ошибаться). Как с ними себя вести («с детьми всегда надо взвешивать слова», общаться — серьезно и на равных и более того! — даже не наказывать, но заменить наказание «исправлением содеянного». «Глаза в глаза, брови в брови»). О том, что их, не обманывая, надо готовить «к несовершенному и опасному миру»: «детей категорически нельзя кормить сказками про прекрасный и добрый мир, заполненный цветами, бабочками и отзывчивыми людьми». И при этом обязательно создавать у ребенка уверенность, «что со всем, то есть абсолютно со всем, он может прийти к тебе — родителю».

Кстати, Левит — профессиональный, практикующий психолог, знает, что говорит.

Это, конечно, осмысление экстремального опыта. Притом — осмысление на редкость конструктивное.

Экстремальность ее опыта началась прямо с того самого момента, как будущая мать узнала о своей беременности четырьмя близнецами (то, что их пятеро, выяснилось чуть позже) и ей тут же предложили то, что называется «редукцией». То есть внутриутробное умерщвление части детей. На выбор.

«А делается она, кстати, так.

Под контролем ультразвука с помощью тонкой иглы через брюшную стенку матери в грудную клетку эмбриона вводится яд.

Эмбрион при этом должен быть молодым — желательно не старше 8—9 акушерских недель беременности, максимум — до 13.

Это для того, чтобы, погибнув, растворился без следа и (не обладая излишней массой) не отравил соседей по матке.

При этом игла выбирает (под чутким руководством врача, конечно) того, кто «покрупнее». Если, конечно, слово «покрупнее» уместно в случае разницы в пару десятых грамма».

Реакция — при всем понимании опасностей, очень трезвом, — была такой: «Нет, это совершенно невозможно».

Не смягчая трудного, не преуменьшая страшного (иной раз, пожалуй, даже подчеркивая его), автор укладывает пережитое в — насколько такое вообще возможно — конструктивное русло. Рассказывает нам о корнях ценностей и установок, ставших основой того, что она справилась с очень сложной совокупностью задач.

Что же касается ответа на вопрос, как все это возможно и что для этого нужно, то ответ напрашивается такой: прежде всего, надо быть Евой Левит (Ириной Левитиной по прежней жизни — переехав в Израиль, она даже имя себе изменила — не затем, чтобы полнее вписаться в израильский контекст, но именно с той целью, чтобы правильно себя настроить), с ее душевным и умственным устройством. При всем умении с хирургической точностью видеть трудное и страшное в ее сознании принципиально нет двух (многое уничтожающих) качеств: катастрофизма (точнее: вкуса к катастрофизму, трагизму, отчаянию, потребности в том, чтобы поддаваться их соблазну, — а они, ох, соблазнительны!) и склонности себя жалеть. И «само-пожертвование» — тоже, кажется, не из ее лексикона (скорее уж самоутверждение и самореализация, от которых Левит не намерена была отказываться). Она, борец и победитель по изначальному душевному типу, привыкшая быть первой и бросать вызов трудностям («И общеизвестное прозвище у меня было, кочующее со мной из одного учебного заведения в другое, из инстанции в инстанцию, как то самое переходящее красное знамя, — Королева. И дипломы у меня все красные»), решала задачи.

То есть на самом деле история очень индивидуальная.

Но и тому, кто волею судеб родился и вырос с другим душевным устройством, тут есть чему научиться. Заинтересованные имеют все возможности примерить на себя хотя бы некоторые лайфхаки, о которых рассказано в рубрике «Педсовет», проверить, в какой мере они работают на другой психологической и биографической почве.

А вообще все это наводит на мысли о том, как роль матери меняет и выращивает человека, дает ему (ей) возможности стать больше самой себя (конечно, ими можно и не воспользоваться, но они есть). Мать — это не только о заботе, любви, понимании, ответственности, смирении, самопожертвовании (и волшебстве, да, как же без этого), — это еще и о человеческой крупности, которой возможно научиться. Мать — это огромно, как большой мир.

А роль дочери, к которой материнство обращено, которой оно адресовано, — еще и для того, чтобы все это смогло осуществиться.

Борис Минаев

Эй, взрослые!

Когда-то любая интеллигентная московская семья обязана была сводить ребенка на «Синюю птицу» во МХАТ. Это был ритуал, такая традиция, что-то вроде конфирмации культурой — можно было отложить эту историю до шести, до семи, ну, максимум до восьми лет. Но уж никак не до девяти!

Шучу, конечно. Откладывали, да и не все попали на этот чудесный спектакль.

Меня, например, мама сразу повела на «Старый Новый год» Розова в филиал МХАТа (теперь там находится Театр наций). Я мало что понял в свои десять лет, но был потрясен. С течением времени выяснилось, что первая пьеса была выбрана правильно — я люблю театр и всю жизнь в него хожу.

Спектакль «Синяя птица» бережно сохранялся из поколения в поколение, в него вводили все новых и новых актеров.

Но постепенно спектакль ветшал и старел, и я хорошо помню то время (90-е годы), когда «Вредные советы» Григория Остера в театре «Школа современной пьесы» постепенно вытеснили «Синюю птицу» и на несколько лет стали главным детским спектаклем Москвы. Затем место «Вредных советов» (в нулевые) занял «Конёк-горбунок» в МХТ.

В этом сезоне — скорее всего — таким спектаклем станет «Маугли» в ТЮЗе — огромные ростовые куклы, маски и трансформеры, оглушительные эмоции, словом, яркий и зрелищный спектакль наверняка привлечет к себе продвинутых родителей, а они информацию «о хорошем» быстро передают друг другу.

Однако за это время встал совсем иной вопрос — а что такое вообще «детский театр»? Нужен ли он в современном мире? Не устарела ли сама институция?

Прошедший недавно 100-летний юбилей РАМТа (бывшего Центрального детского, а ныне — Российского академического молодёжного) дает, в общем, некое представление о том пути, какой проделала эта идея за последний век, особенно, скажем, за 30—40 лет из этих ста.

В 1986 году тогда еще Центральный детский поставил пьесу Юрия Щекочихина «Ловушка номер 46. Рост второй». Я помню, как Юра относился к этой пьесе, я знал, на основе чего она создавалась: ведь до того, как заняться расследовательской журналистикой, Щекочихин долгие годы работал в «школьном отделе» газеты «Комсомольская правда», выпускал страницу для подростков «Алый парус». «Алый парус» — это была почти религия, настоящий культ для нас, молодых журналистов (и не только журналистов) в 70-е и 80-е годы. Прежде чем начать бороться с организованной преступностью, Юра долго боролся с заскорузлыми представлениями о том, что подростковая жестокость или подростковый суицид (о котором тогда вообще не говорили) — случайность, вина конкретной школы или конкретных родителей. По его мнению, это было лишь отражением, симптомом глубочайших социальных проблем,

охвативших тогда страну, — ощущения неустроенности, потерянности, социального одиночества и «оставленности» миллионов и миллионов людей, среди которых подростки были на первом месте.

Говоря сегодняшним языком, именно в этих взрослеющих людях он увидел ту бунтующую силу, которая способна привести потом к широким изменениям.

На поверхности лежали разные проблемы — подростки сбивались в неформальные группы, порой довольно криминальные. Подростки были готовы ради престижных вещей обмануть, а то и убить. Подростки отгораживались от правил и законов в своем отдельном мире.

Но в глубине лежала именно эта ситуация подспудного брожения — огромная часть общества соскочила с идеологического крючка, с ними нельзя было больше разговаривать на прежнем «авторитетном» языке — ни в жизни, ни в журналистике, ни в искусстве.

...По времени эта пьеса Щекочихина совпала с «новой волной» в кино, где героями стали «неудобные подростки»: с фильмами Динары Асановой («Не болит голова у дятла», «Ключ без права передачи», «Пацаны»), Сергея Соловьёва («Сто дней после детства», «Спасатель»), Ролана Быкова («Чучело»). В советском искусстве впервые заговорили о буллинге, до сих пор мы помним этот шок, фильм Быкова, конечно, намного опередил свое время! Но я должен отметить, что если фильмы уже вышли, книги или сценарии, по которым они ставились, уже были написаны, то в театре — «Ловушка» была едва ли не первой ласточкой.

Настолько жестко и настолько остро о подростках еще никто не говорил на сцене. Я помню, какое же это было громадное, просто космическое событие для Юры Щекочихина, сколько сил он вложил в свои пьесы, в свои повести, но на роду ему было написано жить и умереть бойцом газетной строки, а спектакль был невероятный, конечно, сколько этой подростковой сумасшедшей энергии, энергии нового поколения они тогда вытащили на сцену, это был знаковый и поворотный для театра спектакль — живой еще и молодой Дворжецкий, молодые Серов и Весёлкин и другие, все они просто светились этой энергией, сияли ею.

Всю классическую советскую эпоху детский театр жил в привычной «воспитательной линейке»: мы делаем спектакли для самых маленьких, потом для зрителей из начальной школы, для постарше, и, наконец, — «для подростков и юношества». Там, конечно, были свои удачи, неудачи, даже свои шедевры, — но принципиально важен был адрес, точка отсчета: мы делаем спектакли *для них*. О них. Мы — взрослые. Они — дети.

Но с какого-то момента, с 60-х годов прошлого века, изменилась сама система координат — детские театры стали говорить со взрослыми от имени нового поколения, пытаться сказать то, что на «взрослой» сцене говорить не удавалось.

Детский театр, ТЮЗ — странным образом стал территорией свободы, пограничной территорией, где любимые персонажи детских сказок: зайцы и волки, бабы-яги и мальчиши-кибальчиши, новогодние елки, круговерть волшебства и романтической борьбы добра со злом — вдруг сделались «движущей силой» и в каком-то смысле даже маскировкой для эстетической революции.

Первыми баррикадными боями стали спектакли Адольфа Шапиро в Рижском ТЮЗе. Он пришел туда в 1962-м, прямо со студенческой скамьи, и с молодой безоглядностью взял на себя руководство театром. Вскоре на спектакли в Ригу начали приезжать критики, журналисты и просто театральные зрители из Москвы, Ленинграда, Таллина, со всей страны, все хотели это увидеть, все хотели подышать воздухом этой театральной свободы. Чеховский «Иванов» (1975) оказался настолько революционен

(и здесь мы можем только в очередной раз пожалеть, что театральные спектакли, в отличие от кинофильмов, почти всегда исчезают бесследно), что «Правда» обрушилась на него с гневной статьей.

Но Шапиро выдержал, и за те почти 30 лет, что он руководил театром, границы не только ТЮЗовской эстетики, «театра для детей», но и театра как такового неуклонно раздвигались с каждым спектаклем, тут можно вспомнить и «Принц Гомбургский» Генриха фон Клейста, и «Страх и отчаяние Третьей империи» Брехта, и чеховского «Лешего», и «Демократия!» Бродского, и еще многое другое. Пришло и международное признание: в 1990 году Адольф Шапиро был избран Всемирным Президентом Международной Ассоциации театров для детей и молодёжи (АССИТЕЖ). А в 1992-м оказалось, что уникально-двуязычный, новаторский, свободный театр новым латвийским властям мешает. Рижский молодёжный ликвидировали. Режиссер вынужден был уехать в Москву...

Я не видел те рижские спектакли в силу возраста и обстоятельств, но... Есть театральные легенды, которые со временем лишь приобретают в многозначности, в весе — спектакли Шапиро из этой категории.

Поиски интеллектуальной свободы, попытки взорвать жанры и смыслы — шли, конечно, не только в Риге, был замечательный ленинградский ТЮЗ имени Брянцева Зиновия Корогодского, был Горьковский ТЮЗ Наравцевича, были первые спектакли театра Спесивцева в Москве в 70-е годы — очень часто то, что предназначалось вроде бы только для подростковой аудитории, становилось полной сенсацией для взрослых. Оказалось, что эта «пограничная территория» детства невероятно благотворна для «взрыва шаблонов», и далеко не случайно, что в режиссерской лаборатории у Марии Кнебель учились Шапиро, Бородин, Додин, Виктюк.

Эти поиски нового ТЮЗовского языка продолжались и в 90-е, а как же иначе.

И здесь важно вспомнить два спектакля Московского ТЮЗа: «Пушкин. Дуэль. Смерть» и «К.И. из "Преступления" Камы Гинкаса. Оба шли в 90-е на малой сцене, во флигеле, — камерные спектакли, собиравшие самое большее 20—30 зрителей, но имевшие оглушительный успех. Гинкас предложил смотреть на эти фигуры и тексты «для зубрежки» (Пушкин, Достоевский) — опять-таки глазами наивного и упрямого подростка-старшеклассника, не понимающего, как взрослые могут *не видеть* и *не понимать*. Школьная программа стала плацдармом для наступления на отжившие идеологические миры. То, как металась Катерина Ивановна по маленькой комнате среди немного напуганных зрителей, погружая их в кошмар своего нищенского и беспросветного существования, то, как сидевшие за столом современники Пушкина копались в его мятущейся душе, безжалостные и искренние в их дистанцированности от трагедии, происходящей с другим человеком, — все это взрывало наши заскорузлые стереотипы, так же как взрывала щекочихинская «Ловушка» в Центральном детском.

Ну, по крайней мере, тогда я воспринял эти спектакли так. Их «лабораторный характер» не мог обмануть.

Так готовилась революция в понимании детского театра как явления. И само время этому немало способствовало. Само это время было неустойчивым, тревожным, как холодный весенний ветер, и, конечно, оно было революционным — тогда менялось многое, в культуре в том числе, в театре уж тем более. Больше не существовало «отделов культуры» и «худсоветов», над душой не стояли чиновники и методисты, ортодоксальные критики, ушло и прежнее понимание задач детского театра.

Надо сказать, что и раньше, то есть в иные, далекие времена Центральный детский время от времени опережал театры взрослые. На шаг, на миг, но опережал. Это было и во времена Наталии Сац, и во времена Марии Кнебель, в 50-е годы в театре

работал Олег Ефремов, который затем увел группу ведущих актеров в созданный им «Современник», в 60-е — Анатолий Эфрос.

Однако именно в 90-е началось движение в сторону совсем нового театра. Начался диалог со взрослым зрителем от имени того самого юного максималиста, революционного юноши, взрывающего и опровергающего опыт взрослых. На сцене появился и футуристический текст Алексея Кручёных («Береника»), и текст классика американской фантастики Рэя Брэдбери («Марсианские хроники») — то, что раньше в советском детском театре и представить было нельзя. Ну и, наконец, театр сменил название — теперь это был уже не Центральный детский, а Российский молодёжный. К рубящей воздух абрревиатуре — РАМТ — быстро привыкли.

Энергия 90-х долго перерабатывалась и в 2007 году переросла в оглушительную премьеру — это был «Берег утопии» Тома Стоппарда.

Восемь часов сценического действия. Три спектакля подряд — утром, днем и вечером (первый начинался в 12.00, третий — в 19.00). Целая толпа героев и персонажей, почти греческий хор. Зритель выходил из РАМТа, пошатываясь от усталости, потрясенный.

В то же самое время эта пьеса с огромным успехом шла на сценах Лондона и Нью-Йорка. Стоппард, один из самых актуальных драматургов современности, приезжал в Москву и вместе с актерами осваивал текст на русском, помогал в репетициях. Появилось — может быть, слегка преждевременное — ощущение, что «холодная война» кончилась навсегда, по крайней мере, в культуре.

Но дело было даже не в этом. «Выросший подросток» — выросший внутри детского театра, в его творческой лаборатории — заговорил с нами, окончательно ломая все стереотипы. «Портретики», которые всегда лишь висели над партами в классе, сошли со стены и заговорили как живые, ранимые, очень противоречивые и страдающие люди — Белинский и Тургенев, Герцен и Огарёв, Бакунин и Маркс, московские профессора Станкевич и Грановский, — и мы с изумлением наблюдали за тем, как из их биографий, юношеских комплексов, болезненных отношений, любовей и разводов рождалась русская революция. В таком ракурсе мы ее, пожалуй, не воспринимали никогда.

Отныне задачей этого детского театра стало — говорить со взрослыми. Говорить от имени нового поколения. Говорить от имени тех, кто пришел нам на смену — или придет в скором времени. Пожалуй, «Берег утопии» стал главным событием «эпохи Бородина», который руководит театром, начиная с 80-х годов XX века. То есть уже почти сорок лет.

Это не значит, что из репертуара театра исчезают спектакли привычной «линейки возрастов» — для маленьких, для постарше, для школьников и подростков. Нет, они не исчезают. И даже наоборот. «Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий», русские сказки Афанасьева и вечные «Ромео и Джульетта», «Манюня» Наринэ Абгарян, «Я хочу в школу» Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, «Сказки на всякий случай» Евгения Клюева, «Самая лёгкая лодка в мире» Юрия Коваля — в РАМТе огромный репертуар для юного зрителя. Но появился он за последние десятилетия именно потому, что у театра есть сердцевина: говорить со взрослыми от имени новых поколений, ломать их стереотипы и даже будить их совесть, ответственность, как это делают наши дети порой с нами.

Может быть, это высокопарно сказано, но это именно так.

Summary

Traditionally our November issue is dedicated to children — "Friendship for Growth".

"Only children's books to read" (Osip Mandelshtam)
For the first time it was in 2015 that we proposed to our authors from Russia and abroad to remember the main book of their childhood and to tell what their children and grandchildren like to read. Within seven years in our "moneybox" have accumulated 125 stories of love for books. In this issue — new authors and new books.

Susannah KULESHOVA. Indigo Games
"The counting raven", "the one who comprehends dolphins", "she who sees the auras", "the blind and voiceless sinking in the information field" Who are they, the protagonists of this novel — unhappy children whom their parents don't understand or the children with some special abilities – with some unappreciated and maybe needless gifts? Separately it is difficult for them to live and gathered together they are ready to escape from our world into the world of their own fancies.

Poetry
Not every poet, even a pure lyricist, even a woman-poet is capable to write for children. Our brilliant authors are up to the task. The poems by Eguina FET are about the unusual Catfish. Roman RUBANOV is telling in a new fashion the old tale about Alyosha POPOVICH and Ilya Murometz. Olga ZLOTNIKOVA is meditating on home and childhood. And Ganna SHEVCHENKO honestly confesses that she believes in Father Frost, fairy tails, the time-machine, the good and love.

Dostoevskij 200+
In this anniversary year we proposed to our regular authors schoolchildren from Belgorod to think over the theme: why should Russian – and not only – boys and girls read Dostoevskij today? The answers vary from "Though many people admire the books of Dostoevskij I find him too complicated and slightly outdated" till "The main thing in him is that he warns not to blame the imperfect world of one's own failures".

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на **http://дружбанародов.com**

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17, вход с Малого Гнездниковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру** в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректура: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

Цена свободная

Индекс 70250

12/2021

Читайте:

Девяностые и сегодня: прошлое в настоящем

Александр Григоренко:

Если не считать армию, то взрослым советским человеком довелось мне побыть совсем недолго. Наверное, поэтому, когда СССР рухнул, я не испытал внутренней катастрофы; не было опыта, той насиженности и веры, которые за годы врастают в сознание и удаляются только по живому, без наркоза. Но тех, кто вдвое старше — крутило и выворачивало...

Алексей Торк:

Мои 90-е были ужасны, но сейчас я понимаю, что это было время крупных людей, крупных событий. Мы попали в чудовищной силы историческую грозу, когда молнии били диаметром с колонну, грохотал вселенский гром, ветер срывал нам шапки. Это было страшно, но завораживающе. Во всяком случае, это обещало будущие очистительные смыслы — другой, великий день...

Олеся Николаева:

Мы попали в какой-то невероятный контекст. <...> Литература как живой процесс самосознания нации умерла. Это не значит, что и сейчас нет прекрасных поэтов, замечательных прозаиков и проницательных критиков. Но они <...> не формируют контекст. Каждый сам по себе и за себя. Перефразируя поэта, никто ни с кем не аукается «через степь». И здесь все мои надежды и чаянья начала 90-х потерпели полнейший крах...

ISSN 0012-6756

Дружба народов • 2021 • №11 • 1—272